Новый Журнал

№304

Нью-Йорк

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят девятый год издания

Кн. 304 **НЬЮ-ЙОРК** **2021**

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Марина Гарбер, Елена Дубровина, Мария Рубинс, Владимир фон Цуриков.

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская
Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рудольф Фурман

The New Review, Inc.:

T.Bobrinskoy; T.Chebotareva; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd; G.Mesniaeff; A.Neratoff; I.Sikorsky; P.Tcherepnine; V. von Tsurikov; L.Vulfina, Y.Vulfin, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW
№ 304, сентябрь 2021
© 2021 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review, 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Итоги Литературной премии им. Марка Алданова 4
А. Казарновский – На стенах твоих поставил я стражей. Повесть ... 5
Вячеслав Шаповалов – «Мы миру не должны!..» Стихи 82
Вера Зубарева – Памяти дома. Стихи 89
Вадим Ярмолинец – Мотоциклистка. Рассказ 93
Борис Фабрикант – Стихи 100
Ольга Иванова – Между томом и Эдемом. Стихи 104
Полина Брейтер – Бирюзовый дождь. Повесть 108
Вячеслав Попов – Река называется Ривой. Стихи 226
Янислав Вольфсон – Стихи 230
Сергей Шестаков – Стихи 235
Станислав Бельский – Из цикла «Синематограф». Стихи 238
Сергей Жадан – Стихи (*Пер. С. Бельского*) 241

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Е. Е. Климов – Записки художника (*Публ. – А. Е. Климов*) 250
Владимир Хазан – Переписка Гершона Света с Жозефиной и Лидией Пастернак 268
Переписка Гершона Света (*Публ. – В. Хазан*) 274
Е. Дубровина, М. Адамович – Поэт и музыкант В. А. Верещагин ... 286
Из архива В. А. Верещагина (*Публ. – Е. Дубровина, М. Адамович*) ... 313
О. Ф. Кузнецова – Из переписки З. Шаховской и И. Гуаданини с Игорем Чинновым 328
Переписка с Игорем Чинновым (*Публ. – О. Кузнецова*) 356

КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА

Геннадий Кацов – Четверть века без Иосифа Бродского. Актуальный ориентализм 367
И. Грубмайр – Русский Загреб Татьяны Пушкадии-Рыбкиной. Памяти Т. В. Пушкадии-Рыбкиной (1929–2021) 385

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Памяти Норы Крук (1920–2021) 396

ОБ АВТОРАХ 398

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА посвящена памяти Марка Алданова (1886–1957), выдающегося писателя русской эмиграции, одного из основателей «Нового Журнала».

Премия утверждена во имя сохранения и развития традиций русской литературы в контексте мировой культуры и призвана поддержать писателей русскоязычной диаспоры, живущих в рассеянии по всему миру. Премия присуждается прозаикам, создающим свои произведения на русском языке и живущим вне Российской Федерации.

В 2021 году в конкурсе на соискание звания лауреата принимали участие прозаики Русского Зарубежья из Германии, Израиля, Испании, Казахстана, Канады, Латвии, Польши, Румынии, США, Украины, Эстонии.

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ:

Каринэ Арутюнова – Аптека Габбе (Украина)

Владимир Гржонко – Разочарованный странник (США)

Сергей Захаров – Через две недели мы будем счастливы (Испания)

Алла Кречмер – Последнее воскресенье (Израиль)

Зорий Шохин – Путешествие внутрь картины (США)

Решением членов жюри Премии призовые места распределились следующим образом:

1-е МЕСТО (по равному количеству баллов)

Владимир Гржонко – Разочарованный странник (США)

Сергей Захаров – Через две недели мы будем счастливы (Испания)

2-е МЕСТО

Каринэ Арутюнова – Аптека Габбе (Украина)

3-е МЕСТО

Алла Кречмер – Последнее воскресенье (Израиль)

Победителям конкурса присвоено звание «Лауреат Литературной премии им. Марка Алданова». Всем лауреатам будут высланы дипломы и подарена бесплатная подписка на «Новый Журнал» на 2022 год. Тексты лауреатов будут опубликованы в «Новом Журнале» и на сайте журнала.

Корпорация, редакционная коллегия и редакция «Нового Журнала» поздравляют лауреатов Литературной премии им. Марка Алданова и желают им новых творческих успехов!

Члены жюри в 2021 году: Наталья Бешенковская (Червинская), лауреат Премии им. Марка Алданова, 2012 (США); Антонина Буа (Antonina W. Bouis), переводчик (США); Алла Макеева-Ройланс, Specialized Research Services / Russian and Slavic Studies, NYU (США); Марк Уральский, литературовед, историк, журналист (Германия); Марина Адамович, главный редактор НЖ (США).

Оргкомитет Премии им. Марка Алданова и редакция «Нового Журнала» благодарят коллектив Журнального Зала за помощь в освещении конкурса на звание лауреата Премии им. Марка Алданова.

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Александр Казарновский

На стенах твоих поставил я стражей...

ГЛАВА 1. ПРОЛОГ НА НЕБЕ

586 до н.э. Третий год осады Иерусалима Навуходоносором

«На стенах твоих, Иерусалим, поставил я стражей...» – поют левиты, поднимаясь по ступеням. На самом деле речь идет не о стенах Иерусалима, а о стенах Храма, куда мне путь заказан! О, Предвечный! Вот я стою над Тобою, я, Сатан, я – Повелитель тьмы, черный, прекрасный, в черном облачении, и очень, очень высокий!

А вон мои ангелы-губители, малахей-хабала... О да, их миллионы, но все они – часть меня. И эти, чье тело целиком состоит из глаз, и эти, крылатые, чье тело целиком состоит из крыльев... черных крыльев... черных, как я... И вон те, с птичьими лицами! Ты сам повелел, чтобы каждое из человеческих преступлений, каждая дурная мысль там, внизу, облекалась здесь, в Верхнем мире, в зримый образ, вызывала к жизни вот такого ангела и он становился частью меня! – Вот видишь, Ты согласен со мной! А ныне их миллионы! Люди в том, Нижнем мире, сотворили их себе на погибель. На духовную погибель. На вечную погибель! Но они же воздвигли стены, которые отделяют меня от телесного мира, поставили на них стражей, что не дают мне и моим воинам прорваться в этот мир и завоевать его. Мы заперты в Верхнем мире, в то время как Нижний, столь прекрасный, отдан этим гнусным тварям, этим людям.

Мои воины стоят, они хотят прорваться в Нижний мир, они ждут приказа. Они верят в мое всемогущество, но я бессилен, я стиснут рамками Верхнего мира, где я, по сути, такой же раб, как и они. Ты велел мне нести глупую, унизительную службу! Я должен был стать пьедесталом для этих мерзких тварей, лишенных всесилия и взамен получивших свободу выбора, этих уродов, этих... этих... этих людей! И мне, Повелителю тьмы, ровеснику сотворения неба и земли, Ты поручил быть низким соблазнителем, обоеполой блудницей, которая, едва сладострастник устоит перед ней, должна мчаться наверх, лебезить пред Тобой и со счастливой улыбкой докладывать, что грешник на один

---

* Лауреат Премии им. Марка Алданова, 2020.

волосок стал праведнее, на один волосок ближе к Тебе. И входить в Нижний мир мне разрешено не в виде могучего воинства, а всего лишь в виде злого духа, злого начала?! Что я могу сделать, коли этот мир отдан на растерзание людишкам, существам, которые кичатся тем, что души их – из высших миров, забывая при этом, что тела, тела-то их всё из того же Нижнего, затемненного мира. О Господи! Как рвутся тела их нарушить волю Твою! Как стремятся они растерзать сотворенный Тобой мир и помешать Славе Твоей раскрыться! Но ты наглухо закрыл от нас, высших, этот Нижний мир?! Ты оставил лишь крохотную щелочку, крохотный зазор между двумя мирами в виде горы Мория, да и щелочку эту залепил душами праведных коэнов и левитов?! Кричат: «Гора Мория – шея, соединяющая Небеса и землю!» Кричат: «Смычка между материальным и духовным мирами!» Кричат: «Поцелуй Верхнего и Нижнего миров!» Какая шея?! Какая смычка?! – Стена! Мертвая стена! Глухая стена! И ведь мало этого, у них еще есть тайная стража, созданная левитами, – специально против меня! Специально, чтобы ни одно существо из Верхнего мира не проникло на территорию их Храма. Да что там из Верхнего мира! Даже шедим, бесам – уж на что ничтожные существа – даже им нет ходу на территорию Храма! Ах, если бы как-то обмануть их бдительность, найти у них слабинку! Если бы... О нас говорят: «Они зовутся силами Зла, ибо желают людям зла. На самом деле же они сотворены для добра! Они всегда должны проигрывать – в этом их предназначение». А мы вот возьмем да и выиграем! Причем выиграем не у отдельных людишек, а у всего человечества в целом, начиная с его главной ударной силы в бою против нас. – С иудеев? – Ты задаешь вопрос? Ну что ж, отвечу: ниже, чем эти образцы добра и нравственности, пасть невозможно! Что только они не вытворяют – и убивают друг друга, и спят с чужими женами, и поклоняются всякой дряни, изменяя Всевышнему, а Ты к ним взываешь: «Вернитесь ко Мне, дети мои, и я вернусь к Вам!»

Ах, если бы смог повести моих героев туда, вниз, какое счастье испытал бы я тогда. Я принес бы Нижний мир к твоим стопам, к твоему трону! Я сказал бы: «Ты призывал людей впустить Творца в Нижний мир! Смотри! Я распахиваю пред Тобой врата его – входи!» Зарезали, беднягу, прямо в собственном доме! А как там насчет заповеди «не убий», а, драгоценные? Молчите, святоши? Да, сейчас самое время! Ниточка, связывавшая род людской с Тобой, вот-вот окончательно порвется, и Храм никому не будет нужен. Он вот-вот рухнет, и если евреи не раскаются – а они не раскаются, – то скоро там, где сейчас стоит их Храм, будет стоять наш храм. Их Храм – крепость, которую нам предстоит захватить. Да, пока она для нас неприступна. Эти левиты, которые служат в Храме, все праведники! Да и к коэнам

не подступиться, а без их жертвоприношений никакая связь с Тобой невозможна... Вся, понимаете ли, Иудея утопает во зле, а Храм этот проклятый эдакой скалою праведности высится. А как одолеть Первосвященника? А вот как: в Йом Кипур он четырежды заходит в Святая Святых и произносит тайное имя Твое, если в какой-то из этих моментов на совести его окажется хоть крохотный грешок, в котором он не раскаялся, или если его посетит хоть тень дурной мыслишки, он тут же упадет мертвым и его вытащат за золотую цепочку, привязанную к ноге. И тогда преступления евреев не будут прощены, связь с Творцом прервется окончательно, и – конец их Храму!

Нет, не зря сейчас вавилоняне так мощно Иерусалим осаждают! Всё идет к нашей победе! Однако без Твоего решения ничего не получится. Надо, чтобы Первосвященник согрешил, хотя бы в мыслях. Знаю, он тяжел на грех да скор на покаяние. Хорошо бы, конечно, внушить ему дурные мысли, когда он будет в Святая Святых, но увы, на сегодняшний день и это почти невозможно. Вся Храмовая гора окружена неприступной стеной святости, так что воздействовать на душу Первосвященника можно, только материализовавшись на территории Храма. И я это сделаю, только как – пока не знаю... Понятно одно: евреи сами идут к своей гибели. Мое дело – в нужный момент последнюю пылинку на нужную чашу весов бросить! О, я верю, что он придет, день моего торжества! И тогда... и тогда... На стенах твоих поставлю я стражей!

ГЛАВА 2. ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

– Ты ведь добрый человек... – пролепетал Меир. Он стоял у входа, потупив взор, переминаясь с ноги на ногу.

– Что, почтенный сосед? – воскликнул Шимон. – Неужели опять?!

– Опять, – прошептал Меир, виновато опустив глаза.

– Это невозможно, ох, невозможно! Я же не получаю добавочных порций воды. Того, что три дня назад выдали, должно хватить еще на завтра. А вы уже в третий раз...

– Я... как бы это сказать... – смущенно бормотал Меир. – Сегодня начал умываться и... задумался. Вся вода на меня и вылилась.

– А вчера вы просто пролили воду. А позавчера у вас спина чесалась, и вы решили ее помыть. А ведь мы с мамой...

Тут он осекся. Перед глазами встали события двухлетней давности. Так навсегда и осталось загадкой, кто, когда и, главное, зачем выкопал канаву в шестидесяти локтях от дома, где Шимон жил с сорокапятилетней матерью. Но не разглядел Шимон эту канаву в тот ночной час, шел он с факелом в руках, возвращаясь из Храма после суточного бдения. Вскрикнув от неожиданности, полетел он в канаву, а

факел полетел в другую сторону, ткнулся в землю, волглую от осенних дождей, и погас. Шимон лежал в канаве и кричал от боли, но никто его не слышал – дело было в канун старинного, от Адама, праздника света, – говорят, отмечается людьми всех племен и всех вер. Да и соседи – кто погиб в первые месяцы осады, кто находился в дозоре на городских стенах, а кто умер от эпидемии... Хана, мать Шимона, пошла проведать его братьев и сестер, живших в других концах Иерусалима – на Шавуот они с женами, мужьями и детьми традиционно собирались у Ханы и Шимона, на Суккот каждый в своем шалаше сидел, на весь Песах Шимон с матерью отправлялись к кому-то из них в гости. А вот на День света по семейной традиции Хана просто обходила сыновей и дочерей. А Шимон? Шимон старался присоединиться к матери, но не всегда получалось – иногда он на весь День света уходил в Храм. Иногда – как в тот день, два года назад, – он освобождался с выходом звезд, а что толку? К кому из родных идти, он всё равно не знает – к непоседе Исраэлю или к хохотушке Наоми? А может, к Натану, которого старшие братья и сестры всю жизнь в шутку называли пророком? У кого из них сейчас сидит мать? Где она остановится на ночлег? Вот он и поплелся тогда домой. И оказался на дне канавы. Что если он сломал ногу? Разрешено ли будет ему, калеке, служить в Храме? Был бы коэном – точно нельзя было бы. Левиту вроде можно, но нехорошо как-то: Храм – и вдруг уродство... Ведь телесный изъян есть отражение изъяна душевного. Недаром говорят: «Маленькая брешь в теле – большая брешь в душе». «Эй, помогите хоть кто-нибудь!»

Сразу утешим читателя: перелома не было – был сильный ушиб. Но в тот момент Шимон этого не знал. Он лежал и кричал, и никто не шел на помощь. О чем думает человек, когда его жизнь находится в опасности? Правильно, не о чем, а о ком! По крайней мере Шимон думал о рыжеволосой голубоглазой Мирьям – о Мирьям, у которой такая нежная кожа, что не успело наступить лето, как на ее носике и на лбу появились ожоги. Но хозяин, старый зловредный Шауль, не обращал на это внимания и погнал бедняжку работать в винограднике. Спасибо, что сына своего не стал женить на ней, беженке с Юга, продавшей себя в рабство на семь лет, потому что нечего было есть! Шимон твердо решил начать откладывать серебро, чтобы как можно скорее выкупить ее, а потом... а потом ей решать, выходить ли замуж за него. Решать ей и только ей.

Не будет никакого решения! Его никто не найдет, и он умрет в этой канаве. А несчастная Мирьям будет еще шесть с половиной лет страдать под лучами солнца, сжигающего ее нежную кожицу. На глаза Шимона навернулись слезы. Он готов был разрыдаться от жалости к себе – правда, он думал, что это жалость к возлюбленной.

И вдруг... О, то был ангел, сошедший с небес и принявший облик соседа Меира! Могучий, неуклюжий, Меир с неожиданным проворством спрыгнул в канаву, сгреб в охапку худенького Шимона и, подхватив, как перышко, вытащил и понес домой.

А вот теперь, два года спустя, этот самый Меир стоял, переминаясь с ноги на ногу, и смиренно просил воды, нехватка которой в осажденном Иерусалиме ощущалась с каждым днем всё сильнее и которую он, добрый, но бестолковый, не умел экономно использовать.

У Шимона оставалось два меха воды – один для матери, другой для него самого. Если сейчас отдать свой, завтра придется весь день просидеть без воды. Это очень тяжело, а поскольку на дворе лето, то и опасно. А отказать? Ну как можно отказать этому беспомощному великану с таким виноватым лицом, этому обладателю лапищ, которые в ту ночь вознесли его со дна бездны обратно к свету. Такие вещи всю жизнь должно помнить!

– Заходите, – вздохнув, произнес Шимон, затем повернулся к незваному гостю спиной и нырнул в дверной проем. Меир проследовал за ним.

– Вот, берите! – Шимон протянул великану мех с водой.

– Нет, здесь слишком много... – Меир потупился.

– Берите, берите! У меня еще есть! Вон, видите? – и Шимон указал на циновку, покрытую овечьей шкурой, возле которой лежал еще один перевязанный веревкой мех с водой.

Сообразить, что делить этот мех Шимону придется с матерью и что в результате получится совсем немного воды на каждого, для Меира было непосильной задачей. Рассыпаясь в благодарностях, он прижал к груди мех с живительной влагой и поспешил к выходу. Шимон долго молча смотрел вслед.

На Небесах тем временем кое-кто наблюдал за Шимоном:

– Всё понятно. У парня повышенное чувство благодарности. Как он там говорил: брешь в теле – брешь в душе? А мы попробуем его самого сделать брешью – брешью в стене, окружающей Храм. Ох, мальчик, и великие же тебе предстоят свершения! Я заранее ликую, видя, как разгорается твоя благодарность, прожигая трещинку в стене, окружающей Храм, и как трещина эта разрастается до размеров зияющего пролома, и как в пролом устремляются легионы, легионы и тех, с птичьими лицами, и тех, чье тело целиком из глаз, и тех, чье тело целиком из крыльев – крыльев, черных, как я... Что бы я без тебя делал, добрый человек!

ГЛАВА 3. В ОФРУ ЗА МАСЛОМ

Ну, а кого, кроме молодого левита, послать в Офру за маслом для храмового светильника, Меноры? Это в былые дни можно было

отправить туда целый караван повозок и таким образом запастись впрок маслом, чтобы никогда в Меноре, в Храмовом светильнике, не гас огонь, чтобы весело играли огни и в других светильниках, чтобы струился свет в мир сквозь окна Храма – единственного в мире здания, чьи окна расширяются не внутрь, а наружу, ибо предназначение Храма – освещать этот мир. А сейчас в Офру ходили молодые левиты группками по два-три человека, а иногда и вообще поодиночке. Так вот, Шимон и Реувен возвращались из Офры – некогда цветущего города, который после египетских, ассирийских и вавилонских нашествий скукожился до размеров деревни на шестьдесят дворов. Возвращались они с огромными кувшинами, наполненными чистейшим, отборнейшим оливковым маслом. Позади было тяжелое и опасное путешествие, начавшееся в ту ночь, когда они, два худеньких паренька, спустились с городской стены ночью на веревках. В любой момент их могли поразить стрелы вавилонян. Но Господь милосерден! – всё обошлось. Они на брюхе, как змеи, проползли мимо вавилонских постов. Всякий раз, останавливаясь на отдых, укрывались белыми накидками, и в темноте их можно было принять за валуны, вроде тех, которыми пестрела долина. По счастью, позиции врагов четко очерчивались вереницей факелов, от которой юноши, пробираясь козьими тропами, старались держаться подальше. Наконец, они выбрались на равнину и вздохнули с облегчением – чужеземцы остались позади. Вражеские солдаты не разбредались по захваченной территории. Строго говоря, и территория-то захвачена не была. Просто Навуходоносор с войском сначала сжег Лахиш, потом селения Южной Иудеи, а затем подошел к Иерусалиму. Гарнизонов он нигде не оставлял – воины были нужны ему для взятия Иерусалима. Возьмет Иерусалим – вся Иудея покорится, Иерусалим выстоит – никакие гарнизоны не помогут.

В ближайшей деревушке, Криде, обзавелись осликом – не навсегда, а на время, – и, усевшись на него, отправились в Офру. Целый день в Офре был им отведен на отдых. Целый день они наслаждались студеной водой, которой угощали их местные жители. Потом валялись на жесткой траве, поймали двух многоножек и устроили им состязания в беге. Каждый поставил на «свою» многоножку, они подбадривали их криками: «Махли, вперед!», «Непобедимый, давай, давай!» – они смеялись, глядя, как их подопечные усердно перебирают бесчисленными ножками, и всякий раз после очередного забега владелец победителя обладателю побежденного отвешивал щелбаны. Меж тем уставший с дороги ослик с удовольствием жевал сено, а воды пил столько, что казалось – это он пришел из осажденного города.

Наутро двинулись в обратный путь. Теперь уже не сидели

вдвоем на ослике. Их места заняли большие кувшины с драгоценным маслом, а сами они шагали рядом с осликом.

– Три осла! – подытожил Реувен, когда до Криды оставалось не более трех тысяч локтей. Зато, едва юные левиты распрощались с осликом, начались мучения. Тащить тяжеленные кувшины, привязанные к спинам, было жутко неудобно. Встречные черепахи, повернув ради интереса вслед за ними, порой их обгоняли. Когда они спустились в долину, к тяжестям пути добавились еще и опасности. Двигаться приходилось ночью, причем дважды наши путешественники натыкались на солдат противника и лишь в последний момент, прижавшись к скалам или припавши к земле, застывали на месте и находились в таком положении до тех пор, пока не убеждались в том, что смертельная угроза миновала.

Вот и сейчас с рассветом они залезли в пещеру, которой постоянно пользовались иерусалимские гонцы. Там они нашли большой плоский камень и сдвинули его. Под камнем была яма – в ней лежали толстые бараньи шкуры, а под ними сено, которое сюда натаскали жители Криды. Сено юноши разложили на полу, шкуры постелили сверху, и пещера, которая только что имела вид необитаемый, превратилась в уютное лежбище. Не слишком уютное, поскольку всё – и пол, и стены, и камни – было покрыто толстенном слоем пыли. Затем они достали со дна ямы кувшин с водой. Вода уже давно потеряла свежесть и приобрела болотный вкус, но всё же это была вода. Достали они и амфору, в которой хранились сушеные плоды смоковницы и маца – продукты, над которыми в иерусалимском климате время почти не властно. Отмыв у входа в пещеру руки и смоквы от пыли, они перекусили и повалились на шкуры, подняв облака пыли размерами с Облака Славы, которые, как известно, сопровождали евреев в Синайской пустыне.

Проснулись, уже когда солнце стало медленно опускаться на верхушки деревьев, чуть ли не заглядывающие в пещеру. Листва прямо-таки запылала в предсмертном сиянии алых его лучей. В Йом Кипур в Храме в это время начинают приносить жертву под названием «Неила». Но то был будний день, и Реувен, глядя на истекающее кровью солнце, сказал:

– Думаю, можно сейчас вылезать. Вавилоняне по этой тропке не ходят. А пока мы с кувшинами спустимся в ущелье, глядишь, небо уже будет звездами осыпано. К полуночи доберемся до городской стены. Подадим сигнал, и канаты упадут к нашим ногам, словно покорные рабы.

Они аккуратно отправили на дно ямы остатки воды и пищи, убрали сено до единой травинки, накрыли всё это шкурами, привязали кожаными ремнями кувшины к спинам друг друга и выползли

навстречу неописуемой красоте заблудившегося в листве обреченного, как барашек на заклание, солнца.

– Эрец Исраэль! Земля Израиля! – воскликнул спустя двадцать семь столетий потрясенный этим зрелищем солдат ЦАХАЛа, с которым мы вместе стояли на автобусной остановке, ловя попутку.

– Эрец Исраэль! – воскликнули восхищенно наши герои, и тут же нахлынули мрачные мысли: Самарию чужеземцы уже отняли, теперь другие чужеземцы хотят отобрать у них остатки Эрец Исраэль...

Тропка, ведущая вниз из пещеры, была довольно крутой, а уж с их ношами и вовсе тяжело было спускаться.

– Вот что, Шимон, – произнес Реувен, соскальзывая с валуна. – Давай ты мне будешь подавать кувшины, а я...

Он стоял лицом к пещере, спиной к ущелью. «Вьюю-уу!» – пропела стрела, и в следующее мгновение он уже лежал, прижавшись щекой к алым цветам, росшим у входа. Из спины его торчала длинная, почти без оперения вавилонская стрела. Горлом хлынула кровь. Капли этой крови были неотличимы от рассыпанных вокруг лепестков , а лепестки – от алых капель крови. «Вьюю-у-у!» – пропела еще одна стрела в тефахе* от головы Шимона, и кусок известняка, отколотый ее тяжелым железным наконечником от стенки пещеры, упал почти к его ногам. Шимон в ужасе бросился на пол, понимая, что это ничему не поможет, что он лишь оттягивает свою гибель на считаные мгновения, что сейчас, вот сейчас враги войдут в пещеру – и всё закончится.

И они действительно вошли. Их было двое. Высокие, с аккуратно подстриженными бородами, в белых шлемах и перехваченных кожаными поясами белых туниках с короткими рукавами, оканчивающихся примерно на полтора тефаха выше колен. На ногах у них были белые сандалии на толстых каблуках, в мускулистых руках – тугие луки. Они были красивы, безумно красивы, настолько красивы, что к ужасу, охватившему Шимона, примешалась капелька горькой радости, что погибнет он от рук не каких-нибудь уродов, а этаких статных...

Как сразу он не сообразил – в яму, и шкурами укрыться. Теперь – поздно. Он прижался к усеянному острыми выступами полу пещеры, пыль, заклубившаяся, когда он упал, понемногу начала оседать, застилая глаза...

– Эстан! – крикнул нависший над ним красавец.

Шимон, немного понимавший по-аккадски, мысленно перевел: «Здесь!» Перевел и понял, что ему конец. Второй воин отозвался, должно быть, из глубины пещеры, судя по эху, гулкому, но не сделавшему вопрос менее отчетливым: «Али?» – «Али» значило «где», и то,

* Тефах – ширина в 4 сомкнутых пальца, около 8 см.

что его будущие убийцы переговаривались не на вавилонском, означало, что хотя бы один их них был чужеземным наемником или воином, рекрутированным из какой-нибудь покоренной страны. Впрочем, какое это сейчас имело значение?

Сверху снова послышалось что-то на вавилонском, и издалека, слегка размытое эхом, донеслось аккадское: «Анна!» – что означало «да!». Голос опять затараторил по-аккадски, из чего Шимон смог разобрать только одно слово – «араллу», «преисподняя». Почти без страха, а даже с каким-то интересом, задумался: о чем у них речь – о том, что в пещере жарко, как в аду, или о том, что его, Шимона, сейчас в ад отправят. Великан наклонился, схватил Шимона за шиворот и рывком поставил на ноги. В воздух поднялись тучи пыли. Пока вавилонский воин морщился и отплевывался, второй подскочил, хохоча, и, разгоняя ладонями пыль, заорал: «Инибару! Инибару!» – «Туман, метель!»

Бедный Шимон, чувствуя, что еще немного и обмочится, и уже мечтающий о том, чтобы этот ужас поскорее закончился, пусть даже вместе с жизнью, начал лепетать по-аккадски: «Ануку... ануку...» – что означало «я». Все другие слова он с перепугу забыл. «Адану», – наконец объявил вавилонянин и вынул железный меч из ножен, украшенных какими-то завитками, напоминающими капитель колонны. «Адану» можно было перевести как «предел времени», иными словами – «хватит», и Шимон понял, что имеется в виду: дескать, наступил предел его, Шимона, жизни – пожил и хватит. И вновь мысленному взору нашего героя предстала рыженькая Мирьям, Мирьям, с которой он, проходя через виноградник старого Шауля, дважды разговорился, а в последний раз она ему даже улыбнулась; Мирьям, ради освобождения которой он за год скопил почти сто шекелей чистого серебра, и осталось всего-то ничего, каких-то жалких пятьсот... Не дождется любимая Мирьям ни ста шекелей, ни пятисот, ни его самого. Всё кончено.

И когда какая-то тень мелькнула у входа в пещеру, он подумал, что это Самаэль, ангел смерти, Повелитель тьмы, явился за ним. Строго говоря, он не ошибся, просто события стали развиваться не так, как он предполагал. На самом-то деле – хуже, хотя ему в тот момент казалось – хуже некуда.

– Ухрр! – с гулом пробив воздух, копье, брошенное чьей-то мощной рукою, вошло в спину вавилонянина, ломая кости, пронзило грудную клетку и высунуло любопытный наконечник откуда-то из-под сердца.

Как по камням, усеявшим склоны иудейских гор, несется обильный поток после зимней грозы, так густо хлынула кровь по металлическим пластинкам, покрывающим стеганый шерстяной панцирь вавилонянина. Какие-то доли мгновения тот раскачивался, словно

раздумывая, упасть ли замертво или пожить еще немного, и за это время некто, в буром хитоне, коренастый, с мускулистыми руками, в два прыжка долетел до умирающего, подхватил меч, выпавший из его руки, и двинулся к остолбеневшему от изумления второму. Тот едва успел вытащить из ножен собственный меч, который тотчас был выбит из руки, настолько силен был удар, нанесенный коренастым спасителем Шимона. Страх перекосил лицо красавца. В это мгновение первый вавилонянин наконец рухнул окровавленным лицом в густо-красное болотце, образовавшееся от смешения его крови и толстого слоя пыли, торчащее из его спины древко копья заходило перед глазами обмочившегося уже Шимона, как маятник, – туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда.

Коренастый боец, подойдя широкими неторопливыми шагами к убитому, одним движением вырвал из тела копье; второй вавилонянин, еще живой, поняв, что до выхода из пещеры ему не добраться, забился в какую-то расселину – да так глубоко, что мечом его коренастый не мог достать. Только тяжелое дыхание, доносящееся из расселины, говорило, что вавилонянин далеко не ушел, ибо уходить ему некуда. Спаситель Шимона не спеша подошел к расселине, прищурил левый глаз, примерился и с размаху всадил копье в того, кто, казалось, был уже вне досягаемости. А затем, взявшись за конец древка, вытащил наружу труп.

Шимон куском холстины обтер бедра и робко подошел к коренастому.

– Из Иерусалима? – спросил тот на чистом иврите, положив парню руку на плечи. Юноша кивнул. – А что за стенами не сиделось?

– За маслом для Храма нас отправили...

– А оружия с собой не дали?

– Дали... Дротики и пару кинжалов. Кинжал мой вот, – он доверчиво протянул незнакомцу бронзовый клинок, – а дротики там, на тропе, остались...

– А что же ты не метал в негодяев этих дротики? – спросил, прищурившись, коренастый незнакомец.

– Да не умею я. Я ведь левит, а не воин! – начал оправдываться Шимон.

– Левит! – хмыкнул незнакомец. – Что ж вас, левитов, сражаться-то не учат?

– Учат нас сражаться, да только... – он вдруг замолчал.

– Только – что?!

– Только не с людьми. Нет, есть постоянный отряд левитов, который стены Храмового двора охраняет от разбойников всяких... Есть стражи порядка во Храмовом дворе... А так, главная охрана – это обычные воины-иудеи, те, что снаружи. Ну, и Стражи ворот – они

тоже снаружи. Они все больше из биньяминитов. Сыны Биньямина – они же все высоченные, широкоплечие! Вон царь Шаул каким был!

И мысленно добавил: «Не путать с толстяком Шаулем, хозяином Мирьям!»

– Ну, а вы-то, левиты, вы с кем воюете?

– Мы?.. Вот я состою в Тайной страже. У нас на устах Тайное учение. Противостоим главному врагу человека – Злому началу, он же Ангел смерти Самаэль, он же Повелитель тьмы, он же Сатан! Вот с его воинством мы и боремся. Усилился он в последнее время, ох, усилился! Много зла на земле стало, а еще больше в сердцах наших! Оттого-то вавилоняне пришли на нашу землю и осаждают Иерусалим! Темные силы норовят на территорию Храма проникнуть, ведь Храм – место поцелуя Неба и Земли. Если прорвутся к нам, всю землю затопят, ох, затопят!

– Темные силы, говоришь? А ангелов тоже не пускаете?

– Ну, вообще-то правило такое: врата должны быть закрыты наглухо. Для всех... В первую голову для демонов, для воинства Сатана. Им путь к нам заказан, ох, заказан! Пусть сидят у себя в высших мирах и дожидаются, когда наши души явятся к ним на проверку или на растерзание. Да, есть ангелы, которых Всевышний посылает в наш мир, мир действия. Таким, конечно же, дорога широкая. Даже Сатан может посещать наш мир, но лишь в виде Злого побуждения. Может ли человек достигнуть близости с Творцом и заслужить его милость иначе, как преодолевая соблазны, которые ставит Сатан перед нами? А наше, левитское, дело – произносить нужные благословения, да повязывать ремешки с тайными именами Всевышнего.

– Понятно, – с грустью произнес незнакомец. – Значит, и меня не впустите.

– А ты что, ангел? – в страхе произнес Шимон, а у самого в голове пронеслось: «Кто увидит ангела, тот умрет... А впрочем, Маноах, отец Шимшона, видел ангела – и ничего, жив остался...»

«Эге-ге-е-й!» – послышалось сзади. Шимон невольно обернулся, чтобы посмотреть, кто это там, снаружи, кричит «эге-гей», уж не вавилоняне ли опять. Но никого там не увидел. Обернулся к незнакомцу, но незнакомца тоже не было. Совсем не было. Была пещера, была пыль, много пыли, были шкуры в яме, были два трупа, в пыли и в крови. Вид трупов и осознание того, что странное существо, спасшее ему жизнь, исчезло и вновь некому защитить его, наполнило душу таким ужасом, что он стрелой вылетел из пещеры и, рискуя сломать ноги, не разбирая тропы, стал скачками продвигаться туда, где лежало тело его друга Реувена, а рядом – дротики и целехонькая амфора с маслом для храмовой Меноры...

И вовремя покинул он пещеру – не видел, как из пропитанного пылью и духотой воздуха вдруг материализовался тот самый таинственный незнакомец, как копье стало выдвигаться из тела нанизанного на него вавилонянина, как второй вавилонянин медленно начал подниматься из лужи крови – впрочем, никакой крови уже не было, равно как и чьих-либо следов на пыльном полу, кроме следов Шимона и Реувена, как оба этих вавилонянина медленно в пылевом тумане подплыли к незнакомцу, почти не касаясь ногами земли, как тела их слились с его телом и как его тело, став пылевым облаком, вылетело из пещеры и вознеслось.

ГЛАВА 4. МЫ ИЗ ЛАХИША

– Мы из Лахиша, – шептала Мирьям, обхватив колени руками и низко наклонив голову, так что рыжие волосы стекали по ее плечам, словно водопад в Галилейских горах, а лица вообще не было видно. – Мы из Лахиша. Если бы ты знал, как это было страшно! Здесь, в Иерусалиме, мощные стены... Здесь царь! Здесь войско! Здесь великий Ирмиягу, и хотя местные не слишком его жалуют, но заставит он нас выполнять волю Бога, а Бог слышит молитву его и защитит нас. Наконец, здесь Храм. Ведь если сюда ворвутся касдимы...

– Почему ты их всё время называешь касдимами? – спросил Шимон. – Мы говорим «вавилоняне».

– Потому что вы видите их сверху, со стен, и для вас они все на одно лицо, а по нам прошлись сапожища, и мы знаем, касдимы суть самые страшные, самые бессердечные в вавилонском войске...

«Вы видите их сверху, со стен...» Шимон давно хотел рассказать Мирьям о том, что с ним приключилось во дороге из Цриды, но что-то удерживало его. Может, стыд – он вел себя далеко не как воин, а приукрашивать рассказ он не хотел. А может, ему просто не хотелось волновать Мирьям, ведь у нее и своих горестей хватает, ох, хватает! Да нет! Просто Шимон не мог себе признаться в том, что странный человек из пещеры, его спаситель, очаровал его, что он мечтает что-нибудь сделать ради этого человека... Но он чувствовал во всем этом некую червоточину, словно в самой глубине золотого шара крылась черная точка. А Мирьям... он помнил слова своего великого учителя, Эфраима бен Бейри: «Знай, что женщины куда мудрее нас! То, что мы пытаемся уяснить своим убогим рассудком, они напрямую постигают сразу всей душой. Потому мы, мужчины, и управляем миром, что, дай женщинам, они бы исправили его в два счета, и мы бы оказались не нужны!» Так вот Мирьям – она всё чувствует с такой силой! И он отметил про себя: «Должно быть, на нас напали именно касдимы».

– ...И видим, – услышал он, очнувшись от своих мыслей, – они

бесконечною лентой растянулись, и только пики торчат, словно помесь змеи с дикобразом. И ужас, ужас, – ведь это они за мною пришли – за мною, за мамой и за отцом, за Едидьей, за Тамар и за Цруей! Представляешь, сотни тысяч людей проделали путь из Вавилона на побережье Великого моря, а оттуда в Лахиш – всё лишь ради того, чтобы убить нас, убить нас, убить нас!.

Она замолчала. Они сидели на бугорке в винограднике и смотрели на жгуче-синее небо. По траве ползали долгоножки, которых в эту пору было много. Он снял плащ, расстелил его по земле и тихо сказал:

– Садись. Мама говорит, если девушка сидит на голой земле, у нее потом детей не будет.

Мирьям, прищурившись, посмотрела на него и усмехнулась:

– А что мои дети тебя так волнуют?

Лицо Шимона стало краснее винограда, что выращивали в Ткоа прежде, чем Ткоа было сожжено вавилонянами, должно быть, касдимами...

– Я говорил тебе, что откладываю деньги, чтобы выкупить тебя... – начал он.

– Выкупить или перекупить?..

– Ты же знаешь, по нашим законам раба нельзя продать.

– Точно. А еще нельзя убивать, прелюбодействовать и поклоняться идолам. Можно подумать, что люди здесь занимаются чем-то иным.

– Мирьям, не надо так об Иерусалиме! Все-таки он стал твоим убежищем.

– Стал! Эфраим, распределитель рабов, вел себя так, будто он лично с мечом и щитом в руках защищал меня, и отца, и маму, и братьев моих, и сестру... Защищал да недозащитил! Как это у него получилось, коли он годами не покидал Иерусалим, – любопытно! Но обо мне он счел своим долгом позаботиться, словно отец родной, о чем и объявил громогласно. И позаботился – сдал меня с рук на руки старому Шаулю, – тот отвесил ему серебра полной мерой. Лихо, не так ли? Хотя и другие не отстают – вот Шмуэль, посредник, тоже из Лакиша, кстати... Он строит новый дворец для хозяев своих! Слышишь, дворец! Народ голодает, под стенами Иерусалима касдимы, воду дают по чуть-чуть, а эти строят дворец!

Шимон молчал.

– Ладно, – продолжила Мирьям. – Речь не о них. Ты ответь мне, с чего это вдруг ты заботиться стал о будущих детях моих?

– Ну, вообще... – залепетал Шимон. – Ты... Ты мне... Ты мне ведь небезразлична.

– Смотри мне в глаза и от ответа не вздумай увиливать, – строго

приказала Мирьям, чувствуя свою безграничную власть над этим юным существом, которое, хотя и было старше ее на три года, но не пережило и одной тысячной того, что пережила она. Знала бы она, что с ним произошло всего неделю назад!

– Я... я... я не хотел тебе говорить, да-да, не хотел, чтобы всё не испортить. – Шимон смотрел на нее как завороженный. – Я решил – после того, как выкуплю тебя, предложу тебе выйти за меня замуж. Не захочешь – нет так нет! А сейчас прошу, не надо мне отвечать, ох, не надо! Это окончательно всё испортит. Выкуплю – тогда поговорим.

– Понятно, – сказала Мирьям задумчиво. – А я, значит, буду должна спасителю броситься на шею!

– Мирьям, я прошу тебя, давай перестанем об этом!

– Из рабства обычного – в добровольное? Нищенка в объятьях богатого мужа?

– Да какой я богатый?! – в отчаянии крикнул Шимон. – У меня же вообще ничего нет! Я же по крупицам откладываю, чтобы тебя выкупить. Я сам – нищий.

– Правда – нищий? – улыбнулась она, вставая с земли. Ничего не понимая, он просто кивнул, вопросительно глядя на нее.

– Это меняет дело, – сказала девушка, подойдя к нему вплотную. – Тогда обними меня.

– Нельзя прикасаться к женщине до свадьбы... ну, по крайней мере, до обручения, ох, нельзя!

– Я не женщина, – усмехнулась она. – Я еще дева.

– Всё равно!

– Ну, тогда я сама прикоснусь к тебе. Что, боишься?

Она протянула руки, и ему показалось, что это не руки, а крылья херувимов, которые в Двир, в Святая Святых, протягивают друг к другу, когда в еврейском народе царят мир и любовь. Вот только всякий раз в Йом Кипур, когда Первосвященник, единственный, кому это было дозволено, при нем входил в Двир, не протягивали друг другу херувимы крылья, отворачивались они друг от друга. И почувствовал Шимон, что если сейчас, даже вопреки закону, обнимет ее, то это хотя бы на одну искорку прибавит любви в народе Израиля. А значит...

Кто знает, сколько времени они так простояли посреди виноградника, прижавшись друг к другу сначала щеками, а потом – губами. Очнуться их заставил крик Амоца, раба-домоправителя:

– Все сюда!

Домоправитель вперевалочку прошел к поваленному стволу старого оливкового дерева, уселся на него, дождался, когда соберутся рабы, и начал:

– Братья, у меня к вам важное сообщение. Все вы наверняка слы-

шали, что наш великий пророк Ирмиягу из-за того, что проклинал наших богатеев и грозил карами народу за непослушание Всевышнему, на сегодняшний день находится в заточении, во Дворе Стражи при царском дворе, в так называемой «Яме». Однако далеко не все из вас знают, что каждую ночь охранники снимают с его ног колодки и приводят его в покои царя Цидкиягу, который хотя и опасается гнева знати, но втайне является сторонником пророка и во всем с ним советуется. Еще меньше вы осведомлены о том, что нынешней ночью Царь обратился к Ирмиягу с вопросом: «Где мне взять людей, чтобы защищать город от вавилонян? Народу в Иерусалиме много, но в основном это беженцы, обращенные в рабство, а рабам брать в руки оружие не положено». И мало кому из вас ведомо, что Ирмиягу объявил царю: «Было ко мне слово от Всевышнего, чтобы провозгласить свободу всем, кто находится в рабстве в Иерусалиме, чтобы отпустил каждый человек раба своего и рабыню свою, сделав их вольными, дабы не порабощал человек брата своего – иудея». И уж никто из вас не догадывается, что сегодня днем на главной площади города царь Цидкиягу убедил всех богатых граждан отпустить рабов без всякого выкупа! Братья, мы с вами свободны!

«Что есть любовь?» – думал Шимон среди кутерьмы, наполнившей поляну, среди криков, радостного смеха, безумных плясок, объятий и счастья, которое закружило людей и закружилось над людьми, словно огромная стая птиц, что по осени прилетает с севера и выписывает в небе узоры, исполненные бесконечной красоты. «Я люблю ее? – Да. Я счастлив за нее? – О, да! Я откладывал деньги, чтобы выкупить ее из рабства, и вот теперь эти деньги оказались не нужны. Я не стал ей спасителем. Я НИКЕМ ей не стал. Больно, ох, больно! Ну что ж...»

Нежная рука Мирьям обняла его за пояс.

– Да люблю я тебя, люблю!... – прошептала она Шимону прямо в ухо. – Ты не бойся, не бойся, не бойся!

ГЛАВА 5. СТАРЫЙ ЛЕВИТ

Большой Йосеф, старый левит, гордится тем, что у него ни одного черного волоса не только в бороде – этим может похвалиться любой знаток Торы, – но и на голове. Нос его – точно орлиный клюв. Этим он тоже гордится.

«Как Всевышний, – любит он говорить молодым левитам, – когда мы выходили из Египта, носил нас на орлиных крыльях, так и я, дети мои, нянчусь с вами. И когда я разеваю свой клюв, – при этих словах он, как правило, проводит пальцем по горбинке носа, – я вкладываю вам в уста пищу, но не телесную, не ман, хотя и он не был чисто телесной пищей. Я же вкладываю вам в уста пищу чисто духовную!»

Перед тем как заступить на смену в Тайной страже, юные левиты по традиции собрались у Йосефа, сидящего на большой каменной глыбе.

– Мир Действия, – задумчиво начал Большой Йосеф, – Мир Действия... а в нем – Царство Действия. Мы живем в этом царстве, но ведь есть в Мире Действия иные области, они столь же телесны, как и мы с вами, но не видны человеческому глазу. И в них присутствуют мириады существ, которые, подобно людям, являются помесью добра и зла. Эти сущности зовутся ангелами, и они совершают всякие действия над миром материи. Говорят, что низшие формы этих ангелов обладают телами, состоящими из огня и, возможно, из воздуха. Но нет в телах их плоти и крови, как в наших телах. Вовеки не поймем мы природу этих сущностей, а меж тем они существуют и являются обитателями Земли так же, как мы являемся ее обитателями. А есть еще некая общность иных обитателей Земли, чьи тела также состоят из огня и воздуха. Эти сущности, которые, как и ангелы, невидимы, путешествуют по воздуху путем перелета с места на место...

Сущности... общности... путешествия по воздуху путем перелета с места на место... Шимон почувствовал, что от всего этого у него начинает кружиться голова, – а может, кружилась она не от этого, а от поста. Ведь с рассвета и до момента, когда левиты из Тайной страже заступали на смену, им запрещено было есть и пить.

– А летают они на лучах света, и еще обладают они способностью предвидеть будущее так же, как мы помним прошлое. И при том эти сущности едят, спят, размножаются и умирают. Так что в каком-то смысле они подобны ангелам, а в каком-то смысле подобны людям. И они, и все им подобные именуются демонами...

«Демоны или не демоны, – подумал Шимон, – похоже, я до рассвета не доживу – либо околею от слабости на исходе поста, либо сейчас помру со скуки! И бедная Мирьям так и не дождется...»

Но тут Бог сжалился над Шимоном и его товарищами – Эвьясафом, Элпаалом и коротышкой Йахатом.

– Всё, воины! – объявил Большой Йосеф. – Сейчас каждому прочесть по семь псалмов – сегодня читаем с тридцать пятого по сорок второй, а потом – отдых. Пока тень от Яхина не доползет до края вот этой плиты, можете наслаждаться жизнью! А если кто уснет, не тревожьтесь, я-то спать не буду. Приду и разбужу.

Яхин и Боаз были два медных столба посреди Храмового двора. Правый столб, если стоять лицом к Святилищу, звался Яхин, был толщиною в три с половиной локтя, высотою в шестнадцать с половиной локтей, а сверху была нахлобучена еще таких же размеров капитель, украшенная изображениями лилий.

Каждый раз, когда юные левиты постились перед тем, как заступить на стражу, Большой Йосеф, скормив им очередную порцию Тайного учения, отпускал их на часок-другой отдохнуть в одном из прохладных подвалов галереи, двумя рукавами вырастающей из Храма, но зорко следил, когда торопливая тень Яхина дотянется до края одной и той же плиты. В наше время эту конструкцию из плиты, Яхина и Большого Йосефа назвали бы солнечным будильником. Шимон, Эвьясаф, Элпаал и Йахат отправились в прохладу, повалились на охапки сена, покрытые бараньими шкурами. Повеяло приятным ветерком. Шимон открыл глаза. То есть ему приснилось, будто он их открыл. И увидел, что это никакой не ветерок, что это Мирьям проходит, проплывает, пролетает в длинном платье из прямоугольного куска ткани, напоминающем эфод, и полы этого платья, слегка развеваясь, создают то дуновение, которое он принял за ветерок. И – маленькие ступни, белые ступни, нежные ступни... И складки платья, сбегающие водопадом...

– Вставайте! Немедленно все вставайте! У нас большие изменения! Вставайте!

Голос Большого Йосефа ворвался в тишину, словно стрела, поразившая семь дней назад Реувена, друга Шимона. Шимон вспомнил, как тогда, попрощавшись с незнакомцем, спасшим ему жизнь, и придя в себя после того, как осознал, что смертельная угроза миновала, он сидел на тропе около трупа друга и рыдал, рыдал...

– Да вставай же!

Что случилось? Никогда такого не было, чтобы Большой Йосеф будил их раньше времени. Шимон сел на своем ложе, собираясь с силами, чтобы подняться, но не успел. Большой Йосеф схватил его за плечи и резким рывком поставил на ноги. Во силища! В полумраке он увидел, что друзья его еще продолжают мирно посапывать.

Вот оно что. То, что у него ручки-то послабее, чем у Большого Йосефа, и поднять всю эту юную ораву займет раза в три больше времени, никого не волнует.

Шимон ошибся. Борьба за приведение соратников по тайному оружию в вертикальное положение заняла не в три, а в пять раз больше времени. Сначала удалось поднять Йахата. Потом – с куда большим трудом – Элпаала. Пока он поднимал Элпаала, Йахат вновь растянулся на шкуре. Пришлось вернуться к Йахату. Разумеется, к тому моменту, как тот оказался в вертикальном положении, Элпаал уже опять находился в горизонтальном. К счастью, сообразительный Шимон быстро нашел выход. Элпаала он поручил Йахату, а сам кинулся к Эвьясафу. Короче, вскоре все четверо, слегка пошатываясь от слабости по случаю поста, выбрались на Храмовый двор.

Большой Йосеф был не один. Рядом с ним – крупноголовый, с длинными растрепанными волосами, с широкими плечами, объемом и фактурой напоминавшими капитель Яхина, – стоял пророк Яир.

Шимон почуял недоброе. Вообще-то, пророки не были редкостью на дорогах Иудеи. Существовали целые школы пророков. Нет, конечно, для искусства видеть незримое, осязать неосязаемое, вдыхать безвоздушное и слышать симфонии тишины необходим был Божий дар, но не только. Как одной способности к рисованию мало, чтобы стать портретистом, как великий финикийский зодчий Хирам Абифф, создатель иерусалимского Храма, обладал не только гением от природы, но и огромным благоприобретенным умением и бесчисленными навыками, так и мудрые пророки старших поколений передавали своим ученикам знания и приемы, из которых введение себя в транс было лишь самым простым и начальным. Яир же был храмовым пророком, причем опекал он именно их, Тайную стражу. В начале службы Шимона всякий раз, как Яир появлялся перед их выходом на стены, сердце замирало от счастья – значит, сегодня их ждут приключения. Но после того, как из-за неправильно завязанного ремешка чудом прорвавшийся в материальный мир демон в образе летучей мыши сшиб ему шапку и вцепился острыми когтями в бритую макушку, энтузиазма поубавилось, а после того, как его друга Малкишуа чуть не убила посланная Сатаном молния, желание сражаться с силами Тьмы исчезло напрочь, и всякий раз, как Шимон заступал в караул, он молил Бога лишь о том, чтобы дежурство прошло спокойно. И вот – Яир.

Только сейчас левиты заметили, что тень от Яхина еще чуть ли не двух локтей не доползла до плиты, означавшей побудку. То есть подняли их задолго до положенного срока. Что случилось?

– Случилось, – сказал Большой Йосеф и сделал шаг в сторону и чуть назад, как бы предоставляя слово Яиру. Тот начал:

– Слово было сказано Яиру о юношах-левитах и о Храме великом! В ночь сию большая беда нависает над Домом Господним, над миром тленным. Сам Повелитель сонмов тьмы во главе воинства своего двинется на стены сии!..

Наступила тишина. Такие предсказания из уст Яира еще не звучали. Шимон и остальные замерли в ужасе.

– Но да не будете вы трепетать пред ним! – вновь заговорил пророк. – Могучая сила сокрыта в вас! Препояшьте чресла свои, да будут Имена Святые украшать голени ваши и рамена ваши, чела ваши и грудь каждого из вас. Да возблещут Имена сии на щитах ваших и на дротиках ваших, и да воссияет величайшее из Имен алым огнем на острие копья, и да не дрогнет рука юного мужа, мечущего это копье! – С этими словами пророк Яир повернулся к ним спиной и зашагал прочь.

ГЛАВА 6. С ИМЕНЕМ ТВОРЦА

И были повязаны на голени их, на бедра их и на предплечья их ремешки с двенадцатибуквенным именем Творца. И на грудь каждого и на чело каждого надеты золотые дощечки с двадцатидвухбуквенным именем Творца. И каждый в правую руку взял меч с сорокадвухбуквенным именем Творца, а в левую – щит с сорокадвухбуквенным именем Творца. И вывели их на Храмовый двор, и посреди двора высилось копье, и было на нем начертано семидесятидвухбуквенное имя Всевышнего.

– Ты, Йахат, – сказал Большой Йосеф, – с щитом и мечом встанешь у Притвора, с восточной стороны. Вы, Элпаал и Эвьясаф, возьмете щиты и мечи и подниметесь на стены, Элпаал – на северную, а Эвьясаф – на южную. Встанете по обе стороны Хейхала, Святилище охранять будете.

– А я? – пытаясь унять дрожь, хриплым голосом спросил Шимон. (Прощай, Мирьям!)

– А ты, – отвечал Большой Йосеф, – возьмешь копье. Встанешь у входа в Святая Святых!

Страшно стало Шимону. По-настоящему страшно. Защищать от происков темных сил Святая Святых – это и честь, и нечто очень опасное. Лишь раз видел он, как левит с копьем встает у золотой двери, за которой хранится Ковчег Завета, сделанный из кедра и покрытый золотом. На золотой крышке ковчега два керува, два херувима, – один с лицом мальчика, другой с лицом девочки. Они не были приплавлены к крышке, они были отлиты из того же куска золота, что и сама крышка.

Лишь раз видел он, как встает левит с копьем у входа в Двир, чтобы отразить атаку темных сил, но в тот раз левит был опытный, а атака, судя по всему, была отменена. А что будет сейчас? Когда он поднимал копье, оно показалось ему безумно тяжелым, он никогда не сможет метнуть его. Он даже с места сдвинуть его не сможет. Пальцы коснулись углублений в металле – это было семидесятидвухбуквенное имя Творца. Незаметно для самого себя он начал гладить его, шепча: «Гоподи, помоги мне! Господи, помоги мне! Господи, помоги мне!» И помощь пришла, пришло успокоение. Сжав в правой руке копье – оно показалось ему невесомым, мягко ступая по плитам Храмового двора, он двинулся в сторону Притвора. В этот момент последний луч заката поник за стеною Храмового двора, и на небо, словно черная туча, поползла ночь. Сразу повеяло каким-то неземным холодом, какого уже почти и не бывает в двенадцатом месяце.

«Может, это у меня озноб?» – подумалось Шимону. Но Йахат, стоя у Восточных ворот, тоже поеживается. А небо между тем за считанные мгновения полностью почернело. Ни одной звезды на нем не

было. Ветер усиливался, усиливался, и вдруг... что-то кольнуло Шимона в щеку. Потом в другую. Потом в лоб. Снег! Снег посреди весны – неслыханно! Снег после очень теплого дня!

То был не просто снег. То были острия иголок, вонзающиеся в кожу ядовитые жала. Снежный вихрь налетел на Храм, змеистыми щупальцами попытался обхватить каждого из защитников Храма, закружить в сатанинском танце. Шимон и Йахат поняли, что нападение началось. Они начали вертеть во все стороны щиты с сорокадвухбуквенным именем Всевышнего, подставляя эти щиты под потоки смертоносного снега. И снежинки разлетались в разные стороны, каплями крови падали на плиты Храмового двора, дуновением красноватого пара поднимались ввысь и снова пускались в атаку, уже приобретя цвет крови, запах крови, вкус крови. Алая метель захлестнула Храмовый двор, алая вьюга закружила его, алая пурга обрушилась на галерею Алия, через которую царь мог входить в Храм прямо из дворца, на большой трехступенчатый жертвенник всесожжения, на огромную бронзовую чашу под названием «Море», стоявшую на спинах трех медных быков и служившую коэнам для омовения рук и ног, на Боаза и Яхина, в которых она ударила с такой силою, что те зашатались.

И тут имена Творца, внезапно сорвавшись с ремешков, обтягивающих голени и предплечья Шимона и Йахата, устремились к их устам. Оба начали выкрикивать доселе не известные им, нечитаемые, непроизносимые имена Всевышнего. И, точно горное эхо, эти же имена отозвались на северной и южной стенах Храмового двора. Голоса Элпаала и Эвьясафа зазвучали в ответ голосам Шимона и Йахата. После каждого возгласа Всевышний отвечал ударом грома, и с каждым ударом грома буран становился всё слабее, слабее, пока не вышел весь.

Шимон утер лоб рукой, покрытой кровавым снегом. Снег растаял, по лицу поползли кровавые змейки. Бабах! Камень величиной с голову ягненка, просвистев, ударился о плиту у самых ног Шимона и разлетелся на куски. Еще один! Шимон рывком занес щит над собственной головой – и вовремя: удар по нему сверху был такой силы, что острая боль пронзила пальцы рук. А вот еще удар! И еще. А вон уже целая глыба грохнулась на плиту в трех локтях от Шимона и раскололась пополам. И еще одна! Она была поменьше, но ударилась оземь с такой силой, что отскочивший кусок ее ранил нашего героя в левое бедро. Послышался крик со стороны ворот. Шимон бросил туда взгляд и увидел, что Йахат под градом камней и глыб, прикрываясь щитом, ковыляет к нему, припадая на правую ступню, из которой сочится кровь. Шимона поразило, что те камни и глыбы, которые попадали в щит с семидесятидвухбуквенным именем Творца, не рас-

калывались и даже не крошились, а испарялись, едва лишь коснувшись щита, и синим дымом поднимались к небу.

Он бросился навстречу Йахату, и несколько мгновений они стояли бок о бок, сомкнув над головами щиты, по которым барабанил каменный град. Они надеялись, что буквы великого имени Творца, как и во время метели, припадут к их устам, но буквы оставались на щитах, словно приклеенные, а камнепад не прекращался.

Наоборот, мощный удар обрушился на щит Шимона, он еле сдержал этот удар, даже в локтях заломило. И сразу же другая глыба шарахнула по щиту Йахата, так что бедняга даже присел слегка. Присесть-то присел, а вот выпрямиться, похоже, ему было нелегко. Ноги начали разъезжаться на гладкой плите, скользкой от полурастаявшего сатанинского снега и крови, вытекшей из его собственной пораненной щиколотки и из бедра Шимона. Еще даже не осознавая, что он делает, Шимон занес свой щит над щитом коротышки, подставив собственную голову в промокшем от пота и снега тюрбане летящим с небес глыбам смерти. «Вот сейчас ударит... вот сейчас»... – проносилось в его мозгу.

Ударяло. Только ударяло почему-то не по нему, а по его щиту, прикрывавшему щит Йахата. Ударяло со всей силы, но Шимон сдерживал удары, и с каждым из них проходил страх смерти. В какой-то миг Шимон даже открыл глаза и увидел, что глыбы и камни, касаясь его щита, по-прежнему испаряются, а откуда берутся эти страшные удары – Господь знает! Мы бы сказали: «Черт его знает», это было бы точнее, но такие выражения в те времена иудеям были неведомы.

А что Шимон и Йахат? Последний, обнаружив, что звуки ударов идут сверху, но не сотрясают его щит, быстро открыл глаза, которые зажмурил было от ужаса после первого удара, и, увидев, что Шимон, пользуясь своим высоким ростом, прикрывает его, Йахата, щит собственным щитом, в свою очередь, встав на цыпочки, передвинул собственный щит так, что тот стал защищать голову Шимона. Оба, скрестив руки, образовали довольно странную скульптурную группу – две параллельные вселенные, которые вдруг взяли и пересеклись.

И камнепад прекратился. Сразу же. Ребята опустили щиты и утерли лбы. А на стенах, между тем, послышалось глухое рычание. Приближалась следующая схватка.

– Внутрь! – заорал Йахат. – В Улам! В Хейхаль! У тебя всё равно нет меча!..

– У меня копье... – робко начал Шимон.

– Копье для другого! Копье – Двир защищать.

Рычание послышалось уже у восточных ворот.

– Ну?! – крикнул коротышка и, видя, что его друг не двигается с места, попросту схватил его за шерстяной ворот верхней рубахи и

потащил ко входу в здание Храма. Спотыкаясь о ступени, они поднялись к двери, справа от которой стоял Яхин, а слева – Боаз.

Здесь мы вынуждены прервать наше повествование, чтобы читатель смог разобраться, где что происходит.

Здание Храма состояло из трех смежных помещений одинаковой ширины – Притвора (Улам), Зала (Хейхаль, или Кодеш) и Святая Святых (Двир, или Кодеш а-Кодашим). Притвор (Улам), составлявший восточную часть Храма, отделял святое от мирского. Он имел двадцать локтей в ширину (с севера на юг) и десять локтей в длину (с востока на запад). В высоту он достигал ста двадцати локтей.

Йахат, поднатужась, отворил тяжелую дверь, впихнул Шимона в Притвор и задвинул дверь за ним. Внутри царил полумрак. Небольшое помещение освещалось двумя факелами – один горел на северной стене, другой – на южной. Со стен, обшитых кедром и покрытых золотом, смотрели выпуклые херувимы, пальмы и распускающиеся цветы, заключенные в квадратные клетки решетки.

И в этом пустом коридоре Шимон, герой, только что готовый спасти жизнь товарища ценою собственной жизни, а теперь дрожащий от ужаса при мысли о том, что их еще ожидает, этот самый Шимон вдруг ощутил нечто необычное... Впрочем, почему необычное? – Это необычно для нас, с робостью и благоговением приближающихся к ограде бывших Храмовых задворок, именуемой Стеной Плача, а для любого, кто переступал порог Храма, это было так же естественно, как встретиться с отцом или матерью. Ноги сами понесли его к двустворчатой кипарисовой двери, ведущей из Притвора в Хейхаль, в Святилище. Он буквально подлетел к этой двери, украшенной вырезанными на ней херувимами, пальмами и распускающимися цветами. На косяке двери чернела мезуза из оливкового дерева. С какой-то бушующей в нем радостью Шимон распахнул дверь и застыл на пороге, ослепленный светом Меноры, – Меноры, которую отлил из золота великий Бецалель, Меноры, которую некогда держал в руках сам пророк Моше. Эта Менора не просто горела, она сияла, сверкала, пылала! Сквозь окна, которые, в отличие от всех других окон на земле, расширялись не внутрь, а наружу, свет Меноры днем и ночью потоком выплескивался в мир. По обе стороны от Меноры, у северной и южной стен Хейхаля, находились еще по пять золотых семисвечников. Их некогда отлил финикиец Хирам. Они горели постоянно, освещая Храм и днем, и ночью. Также у стен стояли золотые столы для хлебов предложения – пищи коэнов.

И нечто, туманное Нечто, которое явилось ему минуту назад в Притворе, приобрело формы и черты. Это было четкое ощущение

присутствия Того, кто сотворил и Шимона, и предков Шимона, и всё живое, и весь этот мир. Творец был рядом. Шимон чувствовал его присутствие всем телом, а еще больше – всей душой. Он ощущал Его дыхание, он ощущал Его объятие. И великое успокоение снизошло на душу Шимона. Страх, тревога, чувство одиночества покинули его. Чего бояться, когда с тобою Тот, Кто в бесконечное число раз мощнее всего, что есть на свете.

«Поддержкой отцам нашим был Ты всегда, – начал он шептать слова молитвы, – защитником и спасителем был для них, а после них – для сыновей их во всех поколениях... Поистине, Ты – Властелин своего народа, могучий Владыка, заступающийся за него...» Дальше была – вершина. Дальше было – Прикосновение! Отец прикоснулся к сыну.

Как в Йом Кипур, в День Искупления, Шимон распластался на полу и лежал так, потеряв счет времени. Казалось, прохладный пол Святилища и свет Меноры наполняют его новыми соками, новой жизненной силой. Так оно, собственно говоря, и было.

Поднялся Шимон другим человеком, твердым, уверенным в себе, уверенным в Боге. Он поднял копье, которое уронил, входя в Хейхаль, и широкими шагами двинулся к обшитой кедром каменной стене, отделяющей Святая Святых от Святилища. Он остановился у входа в Двир, у кипарисовой двери с косяками из оливкового дерева. Ее закрывала завеса, парохет.

А в это время на стенах и у входа в Притвор началось новое сражение. На молодых левитов стали набрасываться невесть откуда взявшиеся огромные черные волки. Глаза и зубы их светились в темноте, словно огромные светляки, а когти звенели, ударяясь о камни стен и плиты Двора, словно медные. Возможно, таковыми они и были. Когда Эвьясаф, Элпаал и Йахат разрубали такого волка мечом, на котором пылало сорокадвухбуквенное имя Творца, каждая половина немедленно прирастала недостающей частью, и вместо одного волка получалось два. Первым нашел выход Йахат. Он изловчился и ударил очередное наскочившее на него чудовище мечом плашмя, причем прикоснулся к его темени как раз той стороною меча, на которой было начертано Имя.

Зверь растаял, как кучка градин, когда пригреет непостоянное зимнее солнышко, и потоком чистой воды помчался по плитам Храмового двора прочь, к воротам! Следующего подскочившего зверя Йахат тем же приемом огрел по голове. И еще один поток. А со стен по-прежнему доносились крики его друзей и рычание волков.

– Эвьясаф! Элпаал! Смотрите! – заорал он что было сил и привычным движением превратил очередного волка в чистый ручеек. Левиты оказались хорошими учениками, с первого раза поняли, как

надо действовать, – и вскоре о прошедшей битве напоминали лишь водопады, льющиеся со стен. Победители стояли на местах, тяжело дыша и утирая пот. Они не знали, что самое страшное впереди, что случится оно не на стенах и не в Храмовом дворе, а в Хейхале, у самого входа в Святая Святых. Да так никогда об этом и не узнали.

...Двустворчатая кипарисовая дверь, отделявшая Притвор от Хейхаля, медленно начала отворяться. Беззвучно. На пороге появилась невысокая фигура, с головой закутанная в черный плащ. От нее веяло мертвым холодом. В любом другом месте Шимон ощутил бы леденящий ужас, но не здесь. Он знал, что Всевышний с ним. Он ничего не боялся и крепче сжал в руке копье. Он не знал лишь, что смелость бывает бессильна против хитрости.

– Стой! – крикнул он. Но человек не остановился. Не спеша он начал приближаться к Двиру, к Шимону. Что-то в его походке казалось нашему герою знакомым, только он не мог понять, что.

– Остановись! – почти умоляюще крикнул Шимон. Но человек продолжал двигаться прямо на него.

– Я убью тебя! – уже в отчаянии прокричал левит и, видя, что человек продолжает упрямо идти вперед, занес копье.

– Убей! – послышался шепот, и – странное дело – голос Шимона в этом пустом помещении не звучал гулко, а стоило незнакомцу прошептать одно слово, как стены тоже многократно прошептали: «Убей! Убей! Убей!» Зажмурив глаза – а какой смысл целиться?! – семидесятидвухбуквенное имя мимо цели не пролетит! – Шимон со всей силы метнул копье. И не открывал глаза долго-долго, пока не стих предсмертный крик незнакомца.

Незнакомца! Вот она, страшная догадка! Открыв глаза, Шимон побежал к телу, пронзенному копьем. Копье торчало из груди прямо, как Яхин у входа в Притвор. Еще не заглянув мертвому в лицо, Шимон ясно понял – это он, тот, кто две недели назад спас ему жизнь в душной и пыльной пещере. Он склонился над трупом. В глазах незнакомца был укор... «Я спас тебя, а ты...» В ужасе Шимон закрыл лицо руками. Прошла вечность, прежде чем у него хватило сил и мужества опустить руки и открыть глаза. Тела не было. В свете Меноры чернело воткнутое в землю копье.

ГЛАВА 7. ТЫ ЗАЧЕМ МЕНЯ УБИЛ?

– Ты зачем меня убил?! – и эхо повторило: «Убил... убил... убил...» – Ведь я же спас тебе жизнь!

И эхо повторило: «Жизнь... жизнь... жизнь...» И удары! Удары! Удары! Удары! Удары! Удары! Как будто кто-то стучит в дверь.

– Шимон, вставай! Вставай! Просыпайся! К тебе пришла...

Мать запнулась. Произнести: «К тебе пришла женщина...» – для Ханы, матери Шимона, значило разрушить свой мир, сжечь свой дом. Наверное, убить сына ей было бы легче, чем произнести фразу, хотя бы бочком проводящую малейшую параллель между ним и юнцами из богатых семейств, что бегали в дома блудниц или норовили соблазнить жен, принадлежащих таким же знатным бездельникам, как они сами.

– У нас в гостях какая-то девушка, – наконец вывернулась она.

Она! Не успела Мирьям, стоящая на пороге, пролепетать: «Шимон...», – он уже знал – это она! В следующий миг он был на ногах. Еще несколько мгновений ушло на то, чтобы натянуть хитон, омыть руки и сполоснуть рот водой, в которую было добавлено несколько капель сока этрога. И вот он уже стоит перед ней, сгорбившейся, как черная тень на фоне дверного проема.

– Да входи же, входи! Мирьям, милая, что с тобой случилось! (А в голове всё еще звучит: «Убил... убил... убил... Жизнь... жизнь... жизнь...»)

Она вошла, отдышалась, села – куда девались ее властность и самоуверенность? Ничего не поняв, но помня закон гостеприимства, и, главное, потрясенная жалким видом девушки, мать Шимона предложила ей вина. Прошептав благословение, Мирьям сделала глоток и тихо сказала:

– Негде мне жить.

Хана вопросительно посмотрела на сына. Тот сам ничего не понимал.

– Шауль меня выгнал.

– Как «выгнал»?

– Он сказал, что я теперь наемница, вольная труженица, и должна платить за жилье.

– Но ведь ты у него работаешь!

– Конечно, работаю. Только платит он мне три геры в день, а за жилье четыре берет.

– Но это же грабеж!

– Грабеж. В городе тысячи беженцев просто готовы работать за миску похлебки, а что до жилья – подойди к городским воротам и посмотри, сколько народу спит на земле.

– Что же делать?.. – растерянно пробормотал Шимон. Мирьям пожала плечами.

– Мужчины здоровые, что не в силах заработок найти, подаянья просят. Девицы идут в дом блудниц.

Охваченный ужасом, Шимон бросился к Мирьям и обнял ее с такой силой и одновременно нежностью, что теперь уже глаза округлились от ужаса у его матери.

– Мирьям, родная, я тебе не дам... я тебя спасу...

– Что же ты сделаешь?! – с горечью произнесла Мирьям.

– Я? Ты теперь будешь жить у нас!

– Шимон, у нас еще не было свадьбы!

– Так будет!

– Надо сперва кидушин, сватовство. После него – хупа* лишь через полгода!

– Я завтра пойду к Большому Йосефу! Я пойду к пророку Яиру!

– Дети мои, – раздался вдруг голос Ханы. – А моего благословения вы случайно испросить не забыли?

Оба обернулись. Лицо ее было цвета снега, что в десятом месяце лежал на плоских иерусалимских крышах.

– Прости, мать! – выдохнул Шимон и, буквально распластавшись, обнял ноги Ханы. Мирьям молча опустилась рядом с ним на колени и стала целовать руки матери своего возлюбленного.

– Пустите! – закричала Хана, пытаясь вырваться от них. – Что вы устраиваете поклонение Ваалам и Астартам! Забыли, что еврей ни перед кем не встает на колени и тем более ни перед кем не ползает на брюхе?! Завтра ты можешь отправиться хоть к Большому Йосефу, хоть к Великому Коэну, а я с э-э-э... Мирьям, да? – я с Мирьям пойду к Исраэлю... или к Наоми... или к Натану. У всех троих большие семьи, найдется место еще для одного тела. Поживешь там... пока! Все-таки будущая родственница.

Счастливые Шимон и Мирьям бросились обнимать Хану, но она оттолкнула их.

– Погодите, всё по порядку! – возложив руки на голову Мирьям, она произнесла слова, которыми по традиции мать благословляет дочь: «Пусть сделает тебя Бог подобной Саре, Ривке, Рахели и Лее! Пусть благословит тебя Господь и сохранит! Пусть прояснит лицо Свое для тебя и помилует тебя. Пусть обратит Господь лицо свое к тебе и пусть дарует тебе мир!» И, притянув к себе голову девушки, поцеловала ее в лоб.

– А ты, – обратилась она к сыну, – сегодня ночью поспишь на дворе. Вот так. Возьми подстилку и отправляйся. Мирьям будет спать на твоем ложе. И не надейтесь хотя бы одну ночь до хупы провести в одном помещении.

...Ночь была не то чтобы сильно холодной, но и особо жаркой назвать ее было трудно – двенадцатый месяц, как-никак, весна на дворе. Шимон провел ее под открытым небом. Кутаясь в баранью шку-

---

* Хупа – балдахин, под которым стоят жених и невеста; в широком смысле – свадебный обряд.

ру, он то окунался в сон, то вскакивал, разбуженный ежиным шорохом под самым боком или лаем собаки где-то по соседству. Петухи не беспокоили. Петухов давно съели – шел второй год осады. Лишь под утро, опьяненный воздухом, в котором смешались весна и ночь, он наконец впал в забытье, и снова увидел ЕГО.

Тот каждую ночь то ли врастал в сон, то ли вырастал из сна. А скорее всего, никуда из сна не девался, так во сне и дожидался Шимона. Сидел посреди Храмового двора на той самой плите, до которой дотягивалась тень Яхина. И всякий раз, как Шимон засыпал, он видел его – темного, коренастого. И снова полное горечи:

– Ты зачем меня убил? Ведь я тебе спас жизнь! Ты зачем меня убил? Ведь я тебе спас жизнь! Зачем?

И взгляд – взгляд, пропитанный болью и укоризной. А однажды Шимону даже почудилось – состраданием. Дескать, несчастный, убил друга, убил спасителя! Теперь мучиться тебе всю жизнь!

Этого уже Шимон не мог выдержать.

– Что?! – закричал он. – Что мне сделать, чтобы искупить свою вину?!

И сам проснулся от собственного крика. Луна светила вовсю. В ее лучах время от времени порхали долгоножки – гигантские комары, которых всегда перед Песахом такое обилие в Иудее. Шимон приподнялся на локте и осмотрелся. Всё было тихо. В вышине носились летучие мыши, которые никак не могли нарадоваться тому, что очнулись от зимней спячки. Шимон натянул баранью шкуру на голову. Хорошо, что можно выспаться.

Он! Опять он! Ну что, что мне сделать?!

Шимон проснулся в слезах. Луна была похожа на серебряную ложку, только без ручки. Он напрягся, обхватил голову руками. Что-то очень важное было сказано ему во сне. И это что-то надо было ухватить, как птицу за хвост. Ну! Еще чуть-чуть! Вот оно! В ушах Шимона вновь зазвучал хриплый голос коренастого: «Помоги мне!»

ГЛАВА 8. ЭТИ ДНИ

Эти дни, предшествовавшие предпесаховой неделе, воистину пылали. Никто не помнил, чтобы в первом весеннем месяце, именуемом Авив, стояла такая жара – страшнее, чем летом. Воздух плавился над холмами так, как редко плавится в четвертом или пятом месяце. Зато когда дневной зной спадал, народ высыпал во дворики. Выносили из домов скудную снедь, разводили огонь в жаровнях. В былые времена клали на угли мясо, но сейчас, в разгар осады, забыли его вкус, довольствовались обжариванием овощей, которые всё еще выращивались местными жителями, а порой доставлялись из

окрестных деревень – пронести в город их было полегче, чем баранью тушу, да и стоили они дешевле. Люди возлежали за столами и вели беседы – так, будто не было никакой войны, никаких лишений, никаких вавилонян. Некоторые устраивались на плоских крышах. Запах жареных овощей разносился далеко за пределы города.

В один из таких вечеров Шимон шагал на гору Мория. Сегодня было обычное дежурство в Притворе. На душе было неспокойно. Утром состоялся печальный разговор с Мирьям: Шауль совсем озверел – заставлял работать целый день за миску вареной репы, а если работница съедала хотя бы кусочек хлеба, то получалось, что она не только ничего за день не заработала, но и оставалась ему должна. Лицо Мирьям осунулось, под глазами появились черные круги. Так же выглядели все остальные рабы, отпущенные на волю по призыву пророка Ирмиягу и царя Цидкиягу. Все, кроме тех, кто записался в войско, защищающее Иерусалим. Но женщин туда не брали. Практически все рабы, не нашедшие жилья и продолжавшие работать у Шауля, вновь продали себя в рабство. От «вольных» наемных работников их отличал более здоровый цвет лица и отсутствие страшной худобы. Подобное происходило по всему Иерусалиму. Повсюду бывшие рабы возвращались к своим хозяевам. Кроме того, жилье для Мирьям нашлось лишь в семье Натана, у остальных было переполнено. Натан жил на другом конце города. Пока Мирьям добиралась до виноградника старого Шауля, где ждала ее тяжелая работа, ноги ее оказывались сбиты в кровь, а силы – на исходе. Шимон искал ей другое место работы, но тщетно. Он пытался помогать ей материально, но серебро, которое он с таким трудом скопил, таяло на глазах. Короче говоря, сегодня днем...

– Но как ты можешь?! – воскликнул Шимон.

– С голоду не хочу умирать, – ответила Мирьям.

– Но наша помолвка...

– После конца осады сможешь меня выкупить, тогда и устроим помолвку.

– А когда она кончится, осада, и главное – чем?

Мирьям не ответила.

– Но ты так счастлива была, когда избавилась от рабства!

– Жизнь ведь дороже свободы, – отвечала Мирьям.

– Я что-нибудь придумаю, – пролепетал Шимон, понимая, что он ничего не сможет придумать.

Итак, Мирьям решила снова стать рабыней.

Уже луна из серпика превратилась в увесистую дыню, уже долгоножки, словно летающие пауки, настолько заполнили вечерний воздух, что за ними и звезды было едва видны. Уже...

– Сегодня будешь дежурить в Хейхале, – сказал Большой Йосеф.

Какое-то тяжелое чувство вдруг охватило Шимона.

– Может, здесь, в Притворе, вместе с Эвьясафом? – робко спросил он. – Ведь сегодня нападения не ожидается.

– В Святилище! – отрезал Большой Йосеф, и Шимон понуро побрел к кипарисовой двери. Но и Менора, казалось, светила тусклее, чем обычно, и светильники были подобны увядающим цветам, и даже золотые столы отливали каким-то медноватым оттенком.

«Поддержкой отцам нашим был Ты всегда, – заговорил он, – защитником и спасителем был для них, а после них – для сыновей их во всех поколениях... Ты властелин своего народа, могучий Владыка, заступающийся за него...» Слова гулко отдавались в пустом помещении. Всевышнего рядом не было.

«Только на Всесильного уповает душа моя! – буквально заголосил несчастный, покинутый Богом Шимон. – Только Он твердыня моя и спасение! Он убежище мое, не пошатнусь сильно!» – продолжал он слова песни Давида и вдруг услышал язвительный шепот:

– А слабо пошатнешься?

Шимон резко повернулся, обвел взглядом Святилище. Никого не было. И вдруг... Странное облако теплоты окутало его, словно Некто обнял Шимона. Потерянный Всевышний возвращался, но, возвращаясь, Он словно говорил юноше: «Нельзя пошатнуться! Ни сильно, ни слабо!»

Шимон подошел к двери в Святая Святых. Взглянул на завесу, за которой скрывалась дверь, открывавшаяся настежь лишь единожды в году. Он уже слышал за спиной тихое дыхание и сдавленные всхлипы. Он знал, что *он* там. Он знал, *что* он ему скажет. Одного не знал Шимон – что делать?!

Наконец он обернулся. Коренастый сидел на полу на том самом месте, где две недели назад его пронзило копье. Он плакал.

– Прости меня!

– Знаешь, как больно, когда тебя убивают!

– Что я могу для тебя сделать? – спросил Шимон.

– Хэт... – тихо сказал коренастый. – Убери хэт из семидесятидвухбуквенного имени, что начертано на копье.

«Хэт, – подумал Шимон. – ‘Хэт’ означает ‘грех’. Правильно, так этому ‘хэту’ и надо! Уберем ‘хэт’ из семидесятидвухбуквенного имени навсегда! – Но ведь тогда имя перестанет быть семидесятидвухбуквенным...»

– Замени на «самех»!

– Хорошо... – Шимон пожал плечами.

– «Йуд», – продолжал коренастый.

– Но ведь «йуд» – основа имени Всевышнего! – вскричал Шимон.

– Убери «йуд»! – взмолился коренастый.

– Но ведь «хэт» и «йуд» вместе – «хай», что значит «живой». Убирая «хай», мы убираем жизнь!

– Ты уже один раз забрал мою жизнь! Верни мне ее, молю тебя, верни мне ее! Забери из семидесятидвухбуквенного имени и верни мне ее! Если бы ты знал, как это тяжко – быть мертвым!

Глаза Шимона наполнились слезами.

– Конечно! Конечно! Я готов, но чем же мне «йуд» заменить?

– «Мем», – одними губами обозначил коренастый.

– «Самех», «мем»! – воскликнул потрясенный Шимон. – Это же начальные буквы Самаэля, ангела смерти! Так это – ты?! Нет! Никогда! Ни за что!

– Да, – просто сказал коренастый. – Да.

И в наступившей тишине, уже исчезая, добавил: «И да будет счастлива Мирьям!»

ГЛАВА 9. ЭТА НОЧЬ

Что отличает
Эту вот ночь
От прочих ночей?

– запел маленький Маром, сын Исраэля, и четверо его братьев и сестер дружно загудели:

От прочих ночей...
Что всегда по ночам
Можем мы есть
Хамец и мацу!
Хамец и мацу!
А в эту вот ночь,
А в эту вот ночь
Одну ма-а-а-цу-у-у...

Ора, старшая сестра, явно пела не в тон, но, похоже, никто этого не замечал, а Арье – тот вообще не пел, а орал, заглушая всех.

Бедный Шимон, чье ухо и глотка были хорошо натренированы во время бесконечных распевок в Храме, не говоря уже о днях, когда наступала их смена петь во время жертвоприношений, молча страдал. Ну ладно, Ора. А какой же певец получится из Арье, если тот вообще не понимает, что такое петь, а только орет?! Эх, тоже левит называется!

«Рабами были мы у фараона, – зазвучал тяжелый бас Исраэля,

старшего брата Шимона, у которого в этом году они праздновали Песах. – Рабами были мы в Египте...» Собственно, на этом заканчивался общий ритуал. Дальше в каждой еврейской семье звучал свой собственный рассказ, передававшийся из поколения в поколение, от отца к сыну.

– Наш отец... – начал Исраэль, – Шимон помнит его хорошо, а ты, Ора – увы!..

– Зато я сотню раз от тебя этот рассказ слышала, – вставила девочка.

– Ну, не сотню, а всего раз пять, была слишком маленькой, чтобы что-то понимать!

– Пять – тоже много, – возразила Ора.

– И шесть раз послушаешь, и семь, и так, пока замуж не выйдешь, а там уже будешь слушать рассказ своего мужа или его отца.

– А я тоже помню этот рассказ, – начал Арье. – Ты в прошлом году рассказывал. Это тот же рассказ?

– Рассказ-то тот же, – усмехнулся Исраэль, – да ты был другим!

– Как это так? – удивился мальчик и скосил глаза себе на грудь – дескать, вот он я, тот же самый!

Но Исраэль в ответ лишь рассмеялся. Вслед за ним захихикала Ора, заулыбались сидящие за столом взрослые. Маленький Арье некоторое время таращил глаза, но потом расхохотался и он, сам не понимая чему.

– Зато Мирьям не слышала, ох, не слышала! – произнес Шимон, когда шум затих, и тут же сообразил, что можно было бы и не напоминать девушке за пасхальным столом, что ее родителям вавилоняне, или, как она говорит, касдим, вспороли животы при штурме Лахиша.

Но не такая Мирьям была девушка, чтобы чье-то прикосновение к ее ране вызвало у нее слезы.

– Предок мой каменотес был! – с гордостью произнесла она. – Вот с такими руками! С ладонями, как их ни мой, серыми от пыли каменной, въевшейся в кожу! Строил он город-хранилище для египтян – Питом!

За столом, на котором стояли блюда с горькой зеленью, подносы с мацой и золоченые миски с дымящимися кусками жертвенного ягненка, воцарилась тишина. Неловкая тишина. Мирьям, очевидно, забыла, что Исраэль и Шимон, и маленький Арье были из колена Леви, а левиты, будучи в Египте, и дня не работали на египтян – не желали отрываться от Учения, по традиции доставшегося им от Адама и Ноя через Авраама, Ицхака и Яакова. Когда всё еврейское население Египта по призыву фараона дружно вышло на строительство городов-хранилищ, демонстрируя свою лояльность к овальной фараоновой короне с отли-

той из золота змеей и к радушной нации, некогда распахнувшей объятия голодающей родне своего великого управителя, Йосефа, левиты продолжали тупо сидеть в домах учения и обсуждать такие неактуальные вопросы, как что есть подражание Всевышнему, какие идеалы Он ставил перед Авраамом, а какие перед Йосефом, и так далее.

Все шишки сыпались в те дни на левитов от прочих евреев – и дармоеды они, и не патриоты, и оторвались от нормальной жизни, от практических дел, витают в облаках, парят в мире своих фантазий. Зато и египтяне, обращая в рабство всех остальных, полных энтузиазма, не трогали левитов, этих блаженных, – и так на протяжении поколений. В результате, когда Моше через Аарона призвал еврейский народ покинуть египетских хозяев и отправиться на родную землю, чтобы служить Творцу вселенной, у нации рабов возникло ощущение, что их простой и ясный мир, где есть низшие и высшие, где первые служат вторым, что этот мир, к их ужасу, разваливается на куски. А левиты...

– А что вас повергает в такой трепет? – спросил мой предок Узиэль бедных, покрытых каменной пылью, вконец запутавшихся евреев. – Ведь такой порядок даже проще! Вот вы, рабы управляющего строительством Питома. Тот повинуется господину номарху. Господин номарх, в свою очередь, повергается во прах перед его величеством фараоном, Великим Крокодилом, повелевающим Нилом, да продлятся его дни и так далее! А над фараоном – Царь вселенной, и хотя сам фараон – да продлится его великое крокодильство – не признает над собой власти этого Царя и надменно восклицает: «Да кто такой этот ваш Всевышний! Не знаю я никакого Всевышнего!» – он ни вздохнуть, ни пошевелиться не может без соизволения на то Всевышнего! Да что – соизволения?! Без желания Всевышнего! Да-да, острого желания! По сути, он раб Царя вселенной, хотя и делает вид, что не знает это! Так зачем вам, евреи, пресмыкаться перед управляющим – рабом раба раба?! Не лучше ли напрямую служить господину?

За столом царила тишина. Рассказ, который большинство присутствующих знали наизусть, в очередной раз сотрясал сердца. Насладившись этим молчанием досыта, Исраэль, старший брат Шимона, продолжал:

– И тогда из толпы строителей вышел каменотес, каждый кулак которого был величиной с баранью голову, и сказал: «Вот ты говоришь – ‘вы – евреи’, ‘вы – рабы’. А вы, левиты? Да, мы служим египтянам, настанет миг – будем служить и Всевышнему! А вы – как сможете служить Ему, если вы никому служить не привыкли, если вообще не умеете служить?!» И предок мой спросил: «Как зовут тебя, каменотес?» И тот ответил: «Михаэль, сын Иегуды, сына Эвена Белоголового».

– Это был мой предок... – прошептала Мирьям.

Когда рассказ закончился, четыре кубка вина были выпиты, а пятый, для Элиягу-пророка – налит, Арье меленько затрусил к двери и отворил ее, чтобы Элиягу мог войти и вкусить вина и возгласить, что Мессия уже в пути... И тут действительно послышались шаги у порога, и вошел – нет, не Элиягу-пророк, а Биньямин, посланник от старого Шауля, одетый в пестрые одежды и с новомодным тюрбаном на голове.

– Хорошего Песаха! – крикнул он. – Здесь проживает Мирьям, дочь Эфрат и Игаля из Лахиша?

Все с удивлением взглянули на человека, в столь неурочный час явившегося в празднующий дом, а тот спокойно развернул пергаментный свиток и, поправив тюрбан, принялся громко читать: «Я, Шауль, сын Баруха, сына Элиу, сына Орнана, сына Шломо, торжественно объявляю, что прощаю своей рабыне Мирьям из города Лахиш весь ее денежный долг до последней серебряной пылинки. Отныне Мирьям полностью свободна и ни у кого нет права на ее свободу покуситься. Но, – тут посланник поднял палец, – если Мирьям пожелает продолжать работать у меня, готов нанять ее за две геры в день с правом бесплатно питаться в моем винограднике...»

Все стояли потрясенные. Сама Мирьям не верила своим ушам. Свобода, работа и еда! Ожидали Элиягу-пророка, а пришел – в полном смысле ангел!

Ангел! Эта мысль, сформировавшись в покрытой рыжими волосами головке Мирьям, выпорхнула наружу и, покружившись по комнате, забралась в мозг к Шимону. «Ангел!» Он словно услышал это слово, словно поймал его, как бабочку, летающую над головой. «Ангел! Это он! Это тот коренастый! Он ангел! Ангел! Ангел!»

А ангел, он же посланец, подошел к столу, молча взял кубок, приготовленный для Элиягу-пророка, громко произнес благословение на вино, с особенным пиететом пропев имя Всевышнего, опорожнил его, со стуком поставил обратно на стол и размашистыми шагами двинулся прочь, оставив дверь распахнутой настежь. Отойдя шагов на тридцать, он снял с головы тюрбан, размотал его и подбросил в воздух. Тюрбан, преобразовавшись в легкое облачко, взмыл ввысь и распался на звезды. А посланец принял свое обычное черное обличие и долго стоял, задумчиво глядя на высящуюся над городом гору Мория, где светилось Божественным светом здание Храма.

ГЛАВА 10. БУКВЫ

Буквы. Буквы, буквы, буквы, буквы, буквы... Вот она – «хэт». Похожа на свиток Торы, натянутый меж двух валиков, используемых как катушки. Но ведь «хэт» означает «грех»! А буква эта похожа на

Тору, и ничего в ней греховного нет. Чтобы не запутаться в собственных мыслях, чтобы не быть сокрушенным собственными раздумьями и противоречиями, Шимон достал из-за пазухи шерстяной мешочек и аккуратно вынул из него драгоценность – бронзовый египетский напильник. Вчера его, а также долото и резец, Шимон купил у одного бывшего богача, который некогда процветал в Хевроне благодаря трудам рук своих, а здесь, в Иерусалиме, его мастерская была никому не нужна, и ремесло его никому не нужно, и сам он никому не нужен.

– А резец-то зачем мне? – недоумевал Шимон.

– А вот когда начнешь чертить по бронзе, тогда поймешь, – хитро улыбался богач.

– Так у меня ж долото есть! Неужели недостаточно?

– Долотом, – наставительно говорил его собеседник, – ты большие черты высекать на бронзе можешь. А у нас в иврите буковки тонкие, изящные...

В чем-то он был прав. Шимона ждала кропотливая работа – выписывание тончайших черточек шрифта, который мы с вами называем древним. А вот случись эта история пятью десятилетиями позже, когда евреи освоили так называемое квадратное письмо, можно было бы обойтись и долотом...

В общем, половину того серебра, что юноша скопил ради освобождения возлюбленной, оставил он у бывшего богача. Хотя острая необходимость в этом серебре уже отпала, всё равно жалко было – ведь он собирался вскорости устраивать свадьбу с Мирьям, и лишним бы серебро никак не оказалось.

И теперь Шимон сидел в подвале и гонял бронзовый напильник по бронзовому копью, стирая букву «хэт». Туда-сюда, туда-сюда... Это напомнило ему привычное зрелище: старый левит Ицхак, растирающий смесь для воскурений – бальзам, гвоздика, гальбан, кассия, шафран и так далее. Он гонял эту смесь по терке и приговаривал: «Измельчайся тоньше, тоньше измельчайся, измельчайся тоньше, тоньше измельчайся». Руки его ходили взад-вперед, и в такт своим рукам и своим словам он кивал головой, а острая борода нависала над медной теркой и медным тазом, в который полученная смесь сыпалась, сыпалась, сыпалась... У напильника были две стороны, две плоскости. Одна очень скоро стала такой же гладкой, как и поверхность копья, а буква «хэт» еще виднелась. Когда он с ней, наконец, расправился, напильник годился лишь для того, чтобы чесать им спину. Для того, чтобы стереть букву «йуд», надо было бежать всё к тому же бывшему богачу и приобретать новый напильник, – иными словами, выкладывать всё оставшееся у него серебро до последней геры. Обидно! «Ладно, – подумал Шимон, – хотя бы ‘самех’ мы сей-

час набьем!» С этими словами, от волнения уже повторенными вслух, он придвинул копье к стене, привалил пару каменных глыб (и откуда только у тщедушного юного левита столько силы взялось?!) – так, что копье оказалось намертво закреплено, затем примерился, левой рукой приставил к копью долото, правой схватил молоток и нанес удар. Поглядел на результат. Бороздка на поверхности, только что отшлифованной напильником, появилась, но уж больно слабо была она видна, да и длинновата, явно куда длиннее черточек, образовывавших другие буквы. Но делать было нечего. Пусть будет чуть крупнее. Он уперся заостренным рабочим концом в эту самую бороздку и еще раз ударил. Вот так-то лучше! Бороздка стала поглубже, поотчетливее. Еще пара ударов и – отлично! Теперь резцом поперек получившейся линии оставалось нанести три горизонтальные: верхнюю – средней длины, нижнюю – самую длинную и среднюю – самую короткую. Так, дорогие мои евреи, чуть больше двух с половиной тысяч лет назад выглядела наша кругленькая буква «самех»!

ГЛАВА 11. БЫВШИЙ БОГАЧ

– Ну конечно же, конечно же! – бывший богач расплылся в улыбке. – Я ждал, я знал, что ты придешь!

– Откуда? – удивился Шимон.

– «Откуда, откуда»! Давай свое серебро, тогда скажу.

У халата, который носил юный левит, помимо внешнего пояса, был внутренний, к которому и было привязано самое ценное, чем обладал он, – сделанный из овечьей кожи мешочек с серебром. Засунув руку за пазуху, он долго шарил у себя по животу, словно копался в собственных кишках, и, наконец, вытащил заветный мешочек.

– Вот...

– Ого, сколько! – восхитился бывший богач, взвесив серебро. – И ради чего ты его берег?

– Какая разница! – в сердцах воскликнул Шимон. – Лучше скажи, откуда ты знал, что я еще приду.

– Ну-у-у.. – замялся бывший богач. – Напильники тонкие, а бронзу шлифовать тяжело...

– Откуда ты знал, что копье из бронзы? – изумился Шимон.

– Видишь, – словно не слыша его, продолжал бывший богач. – Как я предполагал, так и получились. Пока ты стирал букву «хэт», заодно и напильник стер. Да как стер! Будь он пошире, можно было бы в него смотреться, как в зеркало! Ну да ладно, нá тебе еще один напильник. На букву «йуд» хватит.

– Кто... кто тебе сказал? – задохнулся левит. – Я же ни одной живой душе не говорил об этом!

– Кто мне сказал? Гм... тот и сказал, кто заказал тебе заменить две буквы на копье. И он же сказал мне, что серебро это нужно тебе, чтобы жениться на Мирьям, ибо по нашим обычаям хупу без роскошной свадьбы не делают. Но, – богач поднял наставительно палец, – велел он передать, что надо пойти на нарушение обычаев.

– Почему?! – пролепетал Шимон, и «почему» это относилось не только к нарушению обычаев, но и вообще ко всей ситуации – почему странный незнакомец, ангел или «Самех-Мем», – Шимон не решался произнести его настоящее имя, – почему он вдруг решил поделиться с каким-то там ремесленником, беженцем из Хеврона, своими тайными планами, в которые вовлек бедного Шимона?! Но беженец это «почему» воспринял буквально.

– Почему, спрашиваешь? Да потому что все запасы и еды, и воды в городе на исходе. Царь Цидкиягу неизвестно на что надеялся и не велел беречь продукты. Вот и допрыгался! Амбары пусты! Склады пусты! Так что вот что я тебе скажу. Собери-ка ты несколько евреев, найди человека поправеднее, да хоть бы вашего пророка Яира, или даже большого Йосефа, пусть он благословит вас, да и макай свою драгоценную в микве!* А серебро тебе пригодится спустя месячишко-другой, когда цена одной сеа** муки взлетит до трех-четырех шекелей.

– Откуда ты всё знаешь? – удивился Шимон.

– Какая тебе разница?! Главное, серебро сбереги! Говорю же, пригодится оно тебе!

– Что значит пригодится? Я ведь тебе его сейчас отдам!

– Ты-то отдашь, да я не возьму! Да еще всё, что ты мне заплатил за тот, за первый напильник, да за долото, да за резец, – всё верну тебе в придачу! Вот!

И на стол, покрытый бычьей кожей, посыпались увесистые слитки. Круглые, длинненькие, бесформенные или же, наоборот, самых причудливых форм – всё богатство, которое скопил Шимон за эти годы, лежало перед ним на белесой скатерти из бычьей кожи. Шимон, как рыба, выброшенная на берег, глотал воздух, не в силах произнести ни слова.

– Ну же, бери! – воскликнул беженец.

– П-почему?! – выдавил, наконец, Шимон.

– Потому что так сказал он! – отрезал тот.

– К-кто?! – не понял Шимон.

– ОН, – повторил бывший богач. – Теперь ясно?

---

* Миква – бассейн для ритуальных омовений.

** Сеа – 13184,4 см^3

И Шимону стало ясно. Ему стало ясно, что таинственный покровитель второй раз спасает его – тогда, в пещере, – от меча, сейчас – от грядущего голода! Быстро-быстро, словно боясь, что его собеседник передумает или испарится, или вдруг появится коренастый и переменит свое решение, начал левит обеими руками сгребать со стола свое сокровище и запихивать в кожаный мешочек. Прицепил мешочек к внутреннему пояску, вскочил на ноги, бормоча слова благодарности и благословения, схватил напильник, который теперь как бы был ему подарен, и, пятясь, словно покидая Притвор Храма, начал отступать к дверному проему. На какой-то миг его тщедушная фигура умудрилась этот проем загородить так, что даже в маленьком зальце померк свет, а потом этот свет – солнечный свет – вновь вспыхнул над его головой, укутанной в платок из овечьей шерсти. Вспыхнул, словно испепеляя листья смоковницы, растущей у входа.

Шимон повернулся к дому спиной и припустил. Беженец из Хеврона, бывший богач, смотрел ему вслед. А когда юноша исчез из поля зрения, он тяжело вздохнул и мрачно произнес:

– Несправедливость! Ужасающая несправедливость! Что ж, посмотрим.

А Шимон меж тем бежал по улицам Иерусалима. Бежал мимо каменных домиков с плоскими крышами, бежал мимо виноградников, в которых были ободраны уже последние ягоды, бежал мимо глубоких водосборников, порою полупустых, порой и вовсе сухих, бежал мимо миртовых рощ, осыпанных большими белыми цветами, бежал мимо дворов, наполненных желтыми ромашками, бежал мимо ям для запасов продовольствия, покрытых шкурами, под которыми гнездилась пустота! Бежал, бежал, бежал, бежал, бежал!

ГЛАВА 12. ЕГИПЕТ

– ...Египет, – произнес пророк Яир и утер пот со лба.

Шимон подумал: «Откуда у него берется столько пота? Ведь вода в Иерусалиме на исходе! В день ее человеку хватает лишь на несколько глотков! Умерших от голода хоронят десятками, а умерших от жажды – сотнями. А в нем вон сколько ее скопилось – даже пóтом исходит!»

– Египет! – повторил пророк Яир. – Сегодня ночью здесь будет Египет.

И, как обычно, резко развернувшись, зашагал к Притвору. Но, остановившись напротив Яхина, вновь повернулся лицом к молодым левитам. Лучи заходящего солнца встретились с его зрачками, и на мгновение те вспыхнули алым огнем. А потом он вдруг закрыл лицо ладонями, и левиты увидели, как между тонкими, похожими на ветви

маслины, пальцами, стали сочиться слезы. Слезы струйками затекали в рукава белого балахона, который был на нем, слезы тяжелыми каплями падали на землю. Потом он отнял от лица руки, но юноши не увидели глаз его. Он опустил глаза, словно хотел взглядом пробуравить брусчатку у себя под ногами. И руки он тоже опустил. Повисли они рукавами рубахи, хозяин которой умер. И не стал пророк входить в Притвор, побрел пророк, поплелся прочь с Храмового двора. И только одно слово произнес: «Страшно».

Так закончилось пророчество Яира, и не стало больше пророка на горе Мория. А левиты, вооружившись мечами, щитами и дротиками, испещренными именами Всевышнего, стали готовиться к бою. И в час, когда взошла луна над горою Мория, бой этот начался. В кровь превратилась вода, наполнявшая медное «Море», – огромную бронзовую чашу, покоящуюся на трех медных быках и служившую для омовения коэнов. И вода в десяти медных умывальниках, украшенных изображениями херувимов, львов и быков, тоже превратилась в кровь. Не знали наши левиты, как быть, – растерянно сжимали они в руках дротики. Но тут появился Большой Йосеф. Да-да, сам Большой Йосеф возглавил сегодня оборону горы Мория! Приставив к Морю невесть откуда принесенную им лестницу, он, всегда такой грузный и даже несколько дряхлый, буквально взлетел по ней с легкостью, недоступной молодым, и жезлом, на котором было начертано двадцатидвухбуквенное имя Творца, коснулся бурлящей в нем крови. Кровь успокоилась.

– Нет, – сказал он, – этого мало! Он еще раз окунул жезл в гигантскую чашу и долго держал ее там, вглядываясь в темную влагу. Затем удовлетворенно поднял голову, повернулся к своим подопечным и крикнул Шимону: – Черпак!

Ноги сами понесли Шимона вниз, в подвал, в кладовую. Руки сами сорвали со стены факел прежде, чем он отворил тяжелую дверь в темное помещение. Глаза сами устремились на стену, где среди ножей, клещей разных размеров, ухватов и прочей утвари на стене в отсвете факела сверкнул начищенный до блеска медный черпак. Шимон не понимал, что за сила его ведет, что заставляет его как бы помимо собственной воли так точно выполнять указание Большого Йосефа. Да в нормальном состоянии он медленно, осторожно, долго примериваясь, словно щупая ногой среди зимы, насколько холодна водица в Иордане, взбирался бы по этой лестнице. А тут – раз! – и он уже стоял лишь на пару перекладин ниже Большого Йосефа, протягивая ему черпак. Большой Йосеф окунул черпак в «Море», поднес к губам и отхлебнул. «Кровь! – ужаснулся Шимон. – Евреям нельзя!»

Но Большой Йосеф широко улыбнулся и протянул черпак Шимону. В первый момент Шимон отшатнулся так, что чуть было не

свалился с лестницы. Но улыбка Большого Йосефа была столь проста и дружелюбна, да и к тому же никакой крови на губах Большого Йосефа видно не было, иначе Шимон сразу ее увидел бы – двор освещался факелами...

– Пей! – выкрикнул Большой Йосеф.

– Но...

– Пей, слышишь?

Юноша осторожно вобрал в себя несколько капель. Вода! Слава Всевышнему! Вода! Да сколько! В этом черпаке столько воды, сколько им выдавали на неделю! Не в силах оторваться от влаги, Шимон пил и пил и пил... И – чудо! Количество воды в черпаке не уменьшалось.

– Хватит! – объявил Большой Йосеф, и Шимон почувствовал, что больше не сможет выпить ни капли. – Другим!

Шимон глянул вниз. Ребята сгрудились у подножия лестницы и, задрав головы, взирали на это пиршество. Осторожно – ведь сила, которая гоняла его в кладовую, а затем на край Моря, иссякла, – он спустился и передал друзьям черпак. В тишине один за другим левиты пили из этого черпака, при этом вода в черпаке не убывала, словно в глубине его бил невидимый источник.

– Умывальники! – скомандовал Большой Йосеф.

Ах да, умывальники! И не только умывальники. Вся поверхность двора, кроме небольшой площадки вокруг Моря, на которой толпились левиты, была покрыта дымящимися в свете факелов лужами крови. Так что делать с умывальниками?

– Умывальники! – повторил Большой Йосеф, и всем всё стало ясно.

Рассредоточившись вдоль умывальников, они стали передавать из рук в руки черпак, щедро изливая из него воду в умывальники, до верхов наполненные кровью. И кровь в умывальниках стала водицей.

И тут послышалось кваканье. Сотни, тысячи невесть откуда взявшихся жаб посыпались со стен на крышу Притвора, на брусчатку Храмового двора, в гигантскую чашу Моря, которая совсем недавно была наполнена кровью, а теперь водой. Она стала наполняться покрытыми слизью квакающими жабами. Шимон, стоящий у входа в Притвор между Яхином и Боазом, стиснул зубы, сжал губы – и вовремя! Какая-то ретивая и не в меру прыгучая жаба явно вознамерилась попасть ему в рот. Больно (и для него, и для себя) ударившись о его сомкнутые губы, жаба шмякнулась наземь, обиженно квакнула и ускакала. Но ее пример оказался заразительным для других, которые тоже стали подскакивать, норовя попасть в вожделенный желудок левита. Вскоре его лицо и его рубаха были покрыты слизью, а губы превратились в сплошной синяк.

Голоса на площадке стихли. У парней не было никакой возможности хотя бы чуть-чуть приоткрыть рот – тотчас же туда влетела бы непрошеная гостья, и хорошо, если бы только одна! Некоторое время в полной тишине слышалось лишь шлепанье мерзких тварей о лица, а затем – оземь. Наконец одна из них поднатужилась, взлетела, как камень из пращи, и угодила коротышке Йахату прямо в правый глаз. Йахат заорал: «А-а-а-а!» – и тут же ловкий жабенок оказался у него в пищеводе. Впрочем, недолго он там наслаждался жизнью. Через мгновение Йахат уже корчился в приступе рвоты, и вскоре нахальный жабенок вновь скакал по брусчатке, еще более грязный и вонючий, чем прежде.

Так вот что имел в виду пророк Яир, когда сказал: «Сегодня ночью здесь будет Египет!» Когда Фараон отказался отпускать евреев из Египта, Всевышний обрушил на страну десять казней. Сначала вода в Ниле превратилась в кровь... Нечто подобное только что пережили левиты в Храме. А теперь – как там об этом говорится в Торе?

«Так сказал Бог: ‘Отпусти народ мой, чтобы они служили мне! А если откажешься ты отпустить, то вот, я поражу всю область твою жабами. И воскишит Нил жабами, и поднимутся они и придут в твой дворец, и в спальню твою, и на постель твою, и в дома слуг твоих, и к народу, и в печи твои, и в квашни твои. – И в тебе, и в твоем народе, и во всех слугах твоих окажутся жабы!’ ...И навел Аарон руку свою на воды Египта, и навел жаб, и покрыли они страну Египетскую.»

А что же Большой Йосеф? А Большой Йосеф в ужасе бросился к жертвеннику, справедливо полагая, что в Притвор жабы не попадут, ибо тяжелую дверь Притвора им нипочем не отодвинуть, а если и проникнут, то уж точно остановятся перед двустворчатой кипарисовой дверью в Хейхаль, он же Кодеш, то есть Святой, а ежели Всевышний и пропустит их в Святое место, то наверняка преградит им вход в Святая Святых, а ежели – не дай Бог! – зачем-то нужно Богу, чтобы они в Святая Святых оказались, то пусть Сам с ними и разбирается, но вот жертвенник поручен заботам человека, и, если огонь на нем хотя бы на миг погаснет, весь еврейский народ будет за это в ответе, и весь еврейский народ за это заплатит. А значит...

Большой медный Жертвенник всесожжения стоял в центре Храмового двора, напротив входа в Притвор и в двадцати двух локтях от него. Именно здесь, как известно, проходила граница между наделами колен Иегуды и Биньямина. Он представлял собой квадратную трехступенчатую конструкцию, имевшую двадцать локтей в длину, двадцать в ширину и двадцать в высоту. Коэны поднимались

на жертвенник по пандусам с южной стороны. Теперь по такому пандусу взбежал Большой Йосеф.

Первая ступень, площадью двадцать на двадцать локтей, погруженная в землю и окруженная неглубоким рвом, была высотой в два локтя. Жабы уже прыгали по ней вовсю. Поспешив на вторую ступень, размерами шестнадцать на шестнадцать локтей и высотой четыре метра, Большой Йосеф начал, давясь от отвращения, босыми ногами сбрасывать с нее жаб.

«Эх, – подумал он, – знал бы заранее, что нахлынет эта мерзость, приготовил бы метлу, которая так уютно прикорнула в углу в подвале! А с другой стороны – сказал же пророк Яир: «Египет! Египет будет!» Как же я не догадался, остолоп этакий. Ведь сейчас доберутся до третьей ступени, где горит огонь неугасимый, и начнут как те, египетские, жабы в этот огонь кидаться. Недаром говорит нам устное предание, что когда Бог повелевает, животные готовы делать то, что противно их натуре. Нормальная жаба никогда не полезет в печь, а в Египте жабы таки да лезли, и телами своими огонь гасили. Вот и сейчас, боюсь, доберутся! И будет так, словно у нас в Храме жаб приносят в жертву, а потом под их напором и вовсе огонь потухнет. Позорище-то какое!» Мысль сия привела Большого Йосефа в такой ужас, что он чуть ли не в один прыжок преодолел четырехлоктевую высоту третьей ступени и продолжил бы, наверное, свой путь вверх тормашками, если бы не схватился во время за рога жертвенника. Пламя дохнуло ему в лицо.

– Харэль! – восторженно произнес Большой Йосеф. – Харэль!

Но жабы вдруг остановились, вопросительно глядя на него. Ни одна из них не попыталась последовать за ним на Харэль – так именовали третью ступень Жертвенника, – даже с места не двинулась. Они словно ждали от него какого-то действия. И дождались. Большой Йосеф простер руки к Небесам и воскликнул:

– Господи!..

Почувствовав, что напор тварей ослаб, более того, увидав, что многие из них застыли на земле, почти не двигаясь, а некоторые явно подохли, левиты, перемазанные с ног до головы слизью, бросились к Жертвеннику, чтобы выручить оказавшегося в осаде Большого Йосефа. При этом они всё время оскальзывались на жабьих трупиках, а неуклюжий Эвьясаф – так тот просто растянулся на брусчатке, раздавив своим телом с десяток жаб, и когда он, наконец, с помощью Шимона и Йахата, поднялся на ноги, весь его хитон был вымазан. Каково же было всеобщее изумление, когда, подбежав к Жертвеннику, на вершине которого, воздевая руки к небу, стоял их учитель, они увидели, что на второй и третьей ступенях нет никаких жаб, что оттуда каскадом льется чистая родниковая вода.

Всё же они поспешили на Харэль – и вовремя! Большой Йосеф был бледен, он покачивался от напряжения! Губы его всё время шевелились, он ни на миг не прекращал беззвучно читать молитвы. Поднятые руки дрожали и стали клониться вниз. Левиты опомниться не успели, как обе этих руки повисли плетьми. И тут же со всех сторон возобновилось злорадное кваканье.

Памятуя соответствующий отрывок из Торы, Шимон и Йахат помогли своему учителю поднять руки и держать их, пока все жабы не превратились в водосток и не утекли ручейками прочь из внутреннего двора. Остальные левиты в это время безуспешно пытались помочь подняться Эвьясафу, который опять растянулся и всё никак не мог встать.

Что там дальше? Ах, да!

«И сказал Бог: '...Наведи посох свой и порази прах земли, и станет он вшами по всей Стране Египетской...'»

Вши поползли не только по голове, но и по всему телу, и очень скоро тело стало красным от укусов и расчесов...

Кто же обрушил на Храм эту пародию на египетские казни? Кто наслал на левитов вслед за вшами диких зверей, насекомых, змей, скорпионов... – ну с этими-то левиты справились быстро, мечи с начертанными на них тайными именами Всевышнего только и успевали сверкать в ночном воздухе; моровую язву – от которой мгновенно умерли овцы, ожидавшие в своем загоне завтрашнего приношения; пыль, нарывами обрушившуюся на истерзанные вшами тела левитов; град... – о, этот страшный град! Если бы не щиты с именами Творца, никого бы в живых не осталось! Саранчу... Территория Храма – не поле, где можно всё объесть и заставить людей умирать от голода, с другой стороны, когда на тебя с неба сыплются этакие копошащиеся, величиной с ладонь... бррр! А потом – страшная мысль: вдруг хоть одна из них попадет в неугасимое пламя? Правда, жабы не допрыгнули... Так то – жабы! А эти с неба! Быть может, Всевышний посылает очередное испытание: «Я их бросаю в огонь, а вы не дайте им туда попасть...»

Не раздумывая, зачем Всевышнему играть с евреями в такую странную игру, левиты кинулись к Жертвеннику. Саранча так омерзительно хрустела под босыми ступнями, что Йахата опять вырвало. Но тревоги оказались напрасными. Ни одно насекомое не попало в огонь – в чистый белый огонь, распространявший вокруг себя чистый белый свет и, казалось, очищавший воздух вокруг. А быть может, это и не казалось, а так оно и было на самом деле...

И взошел Большой Йосеф по пандусам на Жертвенник. И воздел он руки к небесам... И воззвал он к Всевышнему... И поднялся могучий ветер... И подхватил он тучи саранчи... И завихрились они и рас-

пластались по небу... И унеслись они прочь, так что ни одной не осталось... И возрадовались левиты... Только зря они возрадовались.

ГЛАВА 13. САМОЕ СТРАШНОЕ

Потому что приближалось самое страшное. Сначала небо потемнело. Ну, потемнело и потемнело. На то она и ночь. Правда, стало оно прямо-таки иссиня-черным, и немногочисленные звезды на нем так выделялись, что просто обжигали зрачки. Хорошо, что было новолуние, а то лунный серп оказался бы на фоне этой тьмы таким острым, что всем глаза бы повыкалывал в самом прямом смысле.

То, что произошло потом, казалось вообще чем-то нереальным. Звезды начали темнеть. Да-да, свет, исходящий от них, был не то что бы тусклым, а именно темным, дымным, дремучим. Затем они окончательно погасли и долго еще на фоне черного неба выделялись особой, жгучей чернотой. Но вот темнота стала как бы непроницаемой, каменной, и медленно опустилась на гору Мория. Огонь на Жертвеннике не погас, но вокруг него образовался какой-то кокон, почти не выпускавший отблесков пламени наружу. Почти – то есть по этому кокону побежали трещины, и сквозь них отсветы белого пламени всё же вырывались наружу – слишком слабые, чтобы что-то осветить, но достаточно сильные, чтобы все видели: огонь горит. Подобными же коконами был окован и свет Меноры, льющийся из окон. В испуге Шимон двинулся к своим друзьям. Сейчас главное – быть всем вместе! С ужасом и с каким- то отстраненным удивлением обнаружил он, что еле тащит свое тело, сгибаясь так, будто вся Вселенная навалилась на его плечи... «Властелин мира! – прошептал он. – Подобно тому, как Авраам, отец наш, преодолел в себе жалость к единственному сыну своему, чтобы исполнить волю Твою от всего сердца, – да преодолеет милосердие Твое гнев Твой, обращенный против нас..» И – словно какое-то окошко наверху открылось: повеяло теплом.

Но тотчас в мозгу послышался змеиный шепот. «А я ведь про тебя ничего не сказал! Про них сказал, а про тебя – нет. Не сказал... не сказа-а-ал...» – «Как будто Он и Сам не знает!» – мысленно ответил Шимон со злостью и рванулся к друзьям, но не тут-то было! Тьма материализовалась в нечто цепкое, вязкое, не пускающее двинуться с места. Слева и справа донеслись стоны его товарищей – очевидно, подобное же происходило и с ними. Нет, гораздо хуже. Стоны становились истошными. Тяжелый бас Эвьясафа срывался на фальцет, громкий голос Большого Йосефа превратился в хрипение. А со стороны входа в Притвор, где еще недавно Йахат грозно потрясал мечом чуть ли не в полтора раза большим, чем он сам, и вовсе сплошной визг слышался. Шимон пытался пробиться к собратьям, но темнота из вязкой стала

каменной, такой каменной, что он до крови обломал себе ногти, пытаясь раздвинуть незримую стену. Шимон закрыл глаза. Всё равно они больше не нужны. Ничего уже не нужно. Вот и дышать становится всё тяжелее. Но что это? Почему не слышно голосов, куда делись крики, только что метавшиеся над залитым тьмою внутренним двором?! Господи, спаси их! С высот повеяло холодом. Темнота вдруг схлынула. Тяжести на плечах больше не было. Спокойный, ровный свет Меноры, струящийся из окон Храма, осветил внутренний двор, скорчившийся труп Йахата у порога Притвора, Большого Йосефа, навсегда застывшего на пандусе в нескольких тефахах от Жертвенника, мертвых Эвьясафа и Элпаала у подножия. Эвьясаф лежал на спине. Живот его напоминал сугроб, который в одну из снежных зим несколько лет назад вырос за ночь у их ворот. Некрасиво и страшно.

– Почему?! – воскликнул Шимон.

– Левиты вместо первенцев, – прошипело в его мозгу.

– А я? – спросил он.

– Я про тебя не сказал... сказал... сказал...

– Господи! – закричал Шимон. И снова, как тогда у входа в Святая Святых, ощутил, что Бог обнимает его.

– Я знаю, что делать, – вслух сказал Шимон.

– Ты не сделаешь этого, – возразило шипение.

– Сделаю! – через несколько мгновений копье уже было у него в руках.

– Ну?!

Коренастый стоял посреди внутреннего двора и ждал, скрестив руки. Шимон занес руку с копьем.

– Погоди, – спокойно сказал коренастый. – Ты ведь один раз меня уже убивал.

Шимон молчал.

– Меня, спасшего тебе жизнь...

– Чего ты хочешь? – не выдержал Шимон.

– Как поживает маленькая Мирьям? – с неожиданно теплой улыбкой спросил коренастый.

– Я благодарен тебе за всё, что ты сделал для меня и Мирьям, ох как благодарен, – начал Шимон, – но...

– Но хочешь меня убить. Опять убить. Такая вот благодарность.

Шимон опустился на брусчатку двора и обхватил голову руками.

– Лучше было бы, если бы меня убили тогда, в пещере! – прошептал он. – Ох, лучше!

– Ну, прости, что вмешался, – усмехнулся коренастый. – А также лучше было бы, если бы Мирьям с голоду умерла. Или осталась бы рабыней до конца своих дней.

– Что я еще должен сделать? – слабым голосом произнес Шимон.

– Ты? Да ничего! Всё, что требовалось, ты уже сделал.

И с таким презрением это было произнесено, что кровь бросилась в голову левиту. В ярости он вскочил на ноги. Словно пытаясь напитаться добавочными силами для решающей схватки, кинул он взгляд на скорчившегося у входа в Притвор маленького Йахата, на неуклюжего Эвьясафа, на распластавшегося на пандусе Большого Йосефа – такого мудрого, такого доброго, такого родного, а теперь такого мертвого. «Левиты – замена первенцам.» «Я про тебя не сказал.» «Левиты – замена первенцам.» «Я про тебя не сказал.» «Левиты...»

Казалось, копье само вырвалось из сжатой до боли руки, со свистом вонзилось в воздух и... упало к ногам коренастого. Тот долго и радостно хохотал, утирая слезы, а потом наставительно сказал:

– Глупец ты, Шимон! Воистину глупец! Буковки-то, а?! Про буковки забыл, да? Самех-мем, понял, самех-мем.

Шимон стоял, потрясенный, хотя такой поворот событий можно было предвидеть еще в ту пору, когда он орудовал напильником и резцом. А коренастый, то бишь Самаэль, прыгал на одной ножке и весело, словно детскую считалку повторял: «Самех-мем! Самех-мем! Самех-мем!» И хохотал смачно и самозабвенно. После чего обратился в облако, но не простое облако, а в облако пыли из той пещеры, возле которой погиб Реувен и в которой чуть не погиб Шимон. Облако вознеслось и исчезло. Путь в Святая Святых был открыт.

ГЛАВА 14. КОСМАТЫЙ ПРОРОК

Косматый пророк Яир посмотрел на Шимона исподлобья.

– Ну, а от меня ты чего хочешь?

– Помоги мне разобраться. У самого не получается, ох, не получается!

– В чем разобраться?

– Что я сделал неправильно? Как вышло так, что из-за меня погибли мои друзья?

– Понятно. Слушай историю. Жил был один человек, назовем его Йоханан. И был он не просто хороший, не просто очень хороший, а... слишком хороший.

– Разве можно быть слишком хорошим?

– Вот у него получилось. Любую чужую боль он воспринимал, как свою собственную. Заболеет и умрет ребенок – он плачет. Разбойник зарежет и ограбит старика – он плачет. Ослик ногу сломает, кричит от боли, а у нашего Йоханана слезы. Думал он, думал: откуда столько зла в мире? – и однажды додумался: «Знаете, говорит,

братья, злой у нас Творец мира, злой у нас Бог, не надо ему служить! От кары Его не уйдет ни один двуногий, А сам нам поет, что ближнего, мол, не трогай! Будем лучше служить маленьким божкам – богине плодородия, богине любви, богу войны. Они, по крайней мере, не лицемерят! Им принесешь жертву и получишь, чего захочешь. Или не получишь». Обрадовались люди – ведь раньше как было: просишь у Господа здоровья или удачи или достатка, а сам думаешь: «Достоин ли я этого? Не натворил ли дел дурных? Простит ли мне Всевышний?» И начинаешь каяться, просить у Бога прощения, удерживаться от блуда да от воровства, а ведь хочется! Желанье так и гложет! А теперь – радость-то какая! Твори что хочешь, лишь вовремя идолам жертвы приноси! И земля переполнилась развратом, грабежом да убийством. Задумались люди: что же выходит? Вроде на Бога обиделись, а жизнь свою невыносимой сделали. Видно чему-то не тому научил их Йоханан. Прогнали они его и вернулись к единому Богу. Стали приносить Ему жертвы да о делах своих грешных задумываться.

– А причем здесь эта притча? – не понял Шимон.

– А ты дослушай до конца, – сказал пророк Яир и продолжил свое повествование: – Но не все люди вернулись к Богу. Был среди них некий Радзиэль, которому запали в душу слова Йоханана, и подумал он так: «Рабы они все, как есть рабы. Они без плети не могут, плеть им нужна, потому и потянулись обратно к Единому. А я не такой! Я свободный человек! Мне их законы не писаны! Я людей без всякого Бога осчастливлю. Раздобуду серебра побольше, всех рабов выкуплю, сделаю свободными людьми, а остальное серебро лекарям выдавать буду, чтобы они с людей за лечение платы не взимали. Будут все люди свободными, детишки умирать не будут... Да где серебра взять?» А жил в том городе богач один. Жадный и злой. Но сокровищами он обладал несметными. И дом себе построил из кедра, а не из камня, как нормальные люди. Всё в том доме из кедра было – и полы, и стены, и крыша! А кедры, между прочим, дорогущие, из Ливана их привезли. И вот наш Радзиэль ночью проникает к нему в дом и сразу туда, где ковчег с драгоценностями. Заранее выяснил, где этот ковчег стоит, заранее узнал, когда тот со всей семьей в отъезде будет. Вот залез ночью в темный дом, нашел ковчег, только хотел схватить его, как вдруг – прямо в глаза сполох света и крик: «Стой!» Хозяин невесть откуда взялся и бежит к нему с факелом. Ну, он хозяина кулаком по голове, тот падает и факел роняет, а наш Радзиэль хватает ковчег и бегом на улицу. Не пробежал и ста шагов, видит: дом-то объят пламенем – недаром из кедра весь! Он бежит дальше, а утром узнает – и хозяин, и жена его, и сын и дочка-кроха – все сгорели. Зато богатство всё у нашего Радзиэля в руках – золото, серебро, камни драго-

ценные, – на всех рабов и на всех больных хватит. И убийцу опять же никто не ищет, думают, пожар по случайности начался. Радзиэлю бы радоваться, а он ходит чернее тучи. А как стал рабов выкупать, так хозяева такую цену заломили, что и половины выкупить не смог.

При этих словах пророк Яир вдруг замолчал, задумался и начал сосредоточенно чесать всклокоченную бороду.

– Ну? Что было дальше?! – нетерпеливо воскликнул Шимон.

– Признался он тогда в убийстве, в том, что он сжег дом богача вместе с семьей его, да ему никто не верит. Сам против себя человек давать показания по нашим законам не может, а других свидетелей нет. Вот и выходит, что стал он причиной гибели четырех человек, а судить его невозможно. Ну, как бы то ни было, деньги ушли к родственникам богача, а спасением бедняков да больных пусть займется кто другой, у кого руки почище. Вздумал Радзиэль удавиться. Нашел дерево с толстым суком, надел петлю на шею, взглянул в последний раз на небо да на солнце, а там, над небом да над солнцем – сам Бог! Распластался наш Радзиэль по земле и возопил в слезах: «Прости меня, Господи, что против тебя пошел!»

Косматый пророк замолчал.

– Ну? – нетерпеливо воскликнул Шимон.

– А всё, – отвечал Яир.

– Так Бог простил его или нет?

– Бог-то простил, а вот богач, им убиенный, да жена богача, да дети малые, что сожжены были, – эти не простили.

– А зачем пророк мне всё это рассказал?

– А вот зачем. Сможем ли мы любить и жалеть людей, не любя Бога? Йоханан доказал, что сможем, хотя и неясно, куда эта любовь зайдет. Сможем ли мы мир лучше сделать, не опираясь на Бога? Радзиэль хотел было, и кто знает, может быть, у него бы и вышло. Но есть нечто, что без Бога вообще не могло бы существовать. Это совесть, твоя совесть. Зачем ты идешь к пророку? Чтобы голос Бога услышать? Так ведь он в тебе, этот голос! Это голос твоей совести, его и слушай, а я тут при чем? Ты сам себе пророк!

– И что же мне этот голос должен сказать?

– Сказать, кто ты в этой истории, – Йоханан? Или Радзиэль? А может, дочь богача?

Шимон с грустью опустил глаза и несколько мгновений разглядывал божью коровку, задумчиво огибающую босую ступню пророка в своем странствии по шершавой брусчатке Храмового двора.

– В том-то и дело, – произнес он наконец, – что запутался я, ох, запутался! На пророка понадеялся, и вот...

– Надеяться надо только на себя. А твоя беда в том, что ты слиш-

ком близко к истории своей подошел. Когда прислоняешься лбом, не видишь, к чему прислонился. Тебе бы слегка отстраниться... на время.

– Это как?

– Ну, забей себе голову чем-то другим... на время.

– Это чем же?

– Ты женат?

– Н-нет.

– Ну так женись.

– Прямо вот так и жениться?

– Прямо вот так.

– Но ведь у нас только месяц, как ирусин* был.

– Целый месяц? Вот и славно. Был ирусин – будет хупа!

– Но ведь это раньше так было заведено – сразу после эрусина, сватовства, девушку окунали в микву и мужчина мог с ней жить, а теперь...

– А что теперь?

– Теперь между ирусином и хупой должно пройти полгода...

– Кто сказал?

– Так принято...

– Принято, говоришь? А мы примем по-другому.

– Но разве можно изменять закон?

Сузив глаза, Яир внезапно посмотрел на Шимона.

– Скажи, кто я?

– Ты – Яир, пророк Господа.

– Пророк, да?

– Ну да... – Шимон под этим взглядом чувствовал: земля уплывает из-под ног.

– Говори, – вдруг вскричал нечесаный Яир, – пророк я или не пророк?!

– Пророк, пророк! – в глазах Шимона уже стояли слезы.

– Так вот как пророк приказываю тебе: иди и женись!

ГЛАВА 15. ЧЕРНОЕ НЕБО, БЕЛОЕ НЕБО

Небо было черным, а хупа белой. Но неба ни Шимон, ни Мирьям не видели. Они смотрели друг на друга и никого, кроме друг друга, не видели. Они поднимали взгляд и видели белое полотно хупы. И хупа казалась им небом. Белым небом.

Хупа была пологом большого шатра, куда Шимон привел невесту и куда вслед за ними вошли Хана и пророк Яир. Снаружи ждали братья и сестры. Вид у Яира был крайне необычен. Во-первых, он

---

* Ирусин – помолвка (*ивр.*)

был причесан. Даже борода оказалась причесана, а уж голова так просто была загляденье – можете себе представить: две гладких черных волны бегут по сторонам худого лица и теряются где-то возле ключиц. Пророк поднял золотой кубок и провозгласил: «Да оставит человек отца и мать, и да прилепится он к женщине, и да станут они одной плотью. Благословен ты, Господь, сотворивший плод винограда!» С этими словами он смачно отхлебнул вина и протянул кубок Шимону. Тот сделал глоток и передал кубок Мирьям. Она, в свою очередь, отпила из кубка и передала его Хане. Та, с кубком в руках, побежала к гостям. Услышав, как в четвертый раз из шатра доносится «сотворивший плод винограда», счастливые родственники дружно наполнили свои кубки и в течение нескольких секунд за полотняными стенами шатра звучало многоголосое «благословен... благословен...», «сотворивший... сотворивший... сотворивший...» – и бульканье.

Шимон и Мирьям улыбались – люди давно уже забыли вкус вина, и если бы не щедрость Шауля, широко раскрывшего для них свои подвалы... Но пророк Яир нахмурился, строго взглянул на них – мол, чего ухмыляетесь в сей торжественный момент, – и провозгласил:

– А теперь становитесь одной плотью!

С этими словами он схватил факел, благодаря которому купол шатра только что сиял белизной, и быстрыми шагами вышел, не забыв задернуть за собой полог. Шатер погрузился во тьму. Небо из белого стало бесконечно черным. Во тьме Шимон приблизился к Мирьям. Во тьме обнял он ее. Во тьме поднял ее на руки. И стали они одной плотью.

...А когда в обнимку вышли они из шатра, жмурясь от света факелов, которыми размахивали счастливые гости, то подняли глаза и застыли, потрясенные. Небо было белым. От звезд.

ГЛАВА 16. ГОЛОД

На Иерусалим обрушился голод. Голод накрыл Иерусалим. Первыми стали умирать дети. Почему? Ведь родители старались им отдавать побольше, себе оставлять поменьше... И всё равно, идешь по улице – и видишь: лежат трупики с заостренными чертами лиц, похожие на мертвых птичек. А потом началось самое страшное – родители стали привыкать к смерти своих детей, а у некоторых уже и проскальзывала подлая мысль: «а почему бы и не?..» И вот Иерусалим облетает леденящая кровь история о двух женщинах, заключивших договор – когда у них будут помирать дети, приглашать друг друга на пиршество. И настает день, когда одна из них предстает пред престолом царя и жалуется: «Когда мой сын помер, я пригласила ее, и мы скушали его на пару, а когда ее ублюдок сдох, она сожрала его в одиночку». Люди пересказывали историю друг другу,

выражали возмущение. Но некоторые, самые голодные, порой облизывались: «Не взять ли пример?» Кое-кто уже и подумывал: «А стоит ли ждать...» И это о собственных детях! Что уж говорить о чужих, да и не только детях. Люди перестали выпускать сыновей и дочерей на улицы, и сами старались выходить пореже. Вот что творилось в третьем месяце в городе, из которого должно было выйти слово Божье, в народе, которому предназначено было стать Светом миру. Самех-Мем мог торжествовать. Разложение достигло вершины. Или дна – вопрос, откуда смотреть. Последней крепостью по-прежнему оставалась гора Мория, но и она уже перестала быть неприступной.

Шимон никого не осуждал. Он сам мучительно страдал от голода. Ощущение было, будто он проглотил ножницы для стрижки овец и они там в животе раскрываются, пронзая стенки желудка. Спасение было в сне. Спать надо было как можно больше. Тогда и голод меньше чувствовался, и уходили мысли, терзавшие душу. Мыслей Шимон боялся куда сильнее, чем голода.

Жаркое лето давало себя знать, а в каменном доме было чуть попрохладнее. Днем. Зато вечером наваливалась духота, а выйти из дому было просто невозможно – камни возвращали тепло небесам. Да и не нужно. От службы в Храме Шимона «временно» отстранили, лишь иногда приглашали участвовать в песнопениях во время жертвоприношений, если кто-то из левитов был болен. Хотя таких в последнее время становилось всё больше и больше – и человеческие организмы были ослаблены болезнями, и сказывалась нехватка воды. Из Храма он всякий раз приносил ячменные лепешки и большой мех воды!

И вот через несколько дней после праздника Шавуот он выходил с одного из песнопений довольный, что сейчас принесет домой воды и еды – мать приболела, но ничего – поест, попьет, наберется сил, а вечером вновь придет лекарь Нахман, даст ей снадобье, и она начнет поправляться. Один раз после такого снадобья – это было на исходе прошлого шабата – ей стало намного лучше; правда, позавчера Нахман опять приходил, давал ей те же самые снадобья, но жар не спадал, рвота и головные боли не прекращались, зато сегодня утром, когда он уходил в Храм, ей уже было лучше.

Он вышел из Храма и двинулся в сторону Масличной горы, маячившей вдали, словно перевернутое блюдо. Низкорослые, но пышные деревья и кустарники мы с вами описали бы как застывшие зеленые взрывы, но Шимону они показались гигантскими заячьими хвостами, выкрашенными в зеленый цвет. Дорога в лучах начинающего краснеть солнца была пустынна. Большинство левитов уже покинули Храм, только Шимон, как временно замещающий, задержался, чтобы получить разовый паек. Теперь шел один. Сейчас он бы не удивился,

если бы вновь появился здесь Самаэль и сказал бы ему или сделал какую-нибудь гадость. Но Самаэль не появлялся. Вместо него левит увидел черную фигурку, спускающуюся ему навстречу с Масличной горы. Фигурка показалась знакомой, но не сразу. Было в ней что-то очень родное, но еще и что-то очень непривычное. Ой, да это же Мирьям! Надо же, родной жены не узнал!

Мирьям, которая всегда высоко и гордо несла свою рыжую голову, сейчас шла, словно скрючившись, с повисшими руками. Только теперь Шимон понял, что не зря ему ее фигурка показалась черной – это было не только потому, что издалека, не только потому, что на фоне заходящего солнца. Голова Мирьям была обмотана черным платком, а вся она была укутана в черный балахон.

– Мирьям, что случилось?

Заплаканная Мирьям произнесла лишь одно слово: «Мама!»

ГЛАВА 17. ДНИ ТРАУРА

Дни траура летели, обгоняя друг друга. Сами похороны... когда Шимон вспоминал их, тошнота подступала к горлу. Вроде бы совсем недавно хоронили они его друзей и всё прошло, как должно было пройти, – скорбно, торжественно, а тут... То ли несносная жара сделала свое дело, то ли тогда ветер дул в сторону ущелья, куда сбрасывали тела, а сейчас – в обратном направлении, но едва начался подъем в гору с телом Ханы, как в ноздри идущим ударила несущаяся из ущелья нестерпимая вонь. Вонь эта сопровождала их всю дорогу, пока они месили, кто босыми ногами, а кто подошвами драных сандалий, дорожную пыль, густо осевшую на ковыль и на белые камни. Носы зажимали даже те, кто нес тело. Подпирали плечом, поддерживали одной рукой, а другой зажимали ноздри. А когда подошли к краю ущелья, тут уж просто начался кошмар. У людей от этого миазма закружилась голова, кто-то упал в обморок. В общем, бедную Хану в прямом смысле швырнули в пропасть, и скорее – назад, по тропке. На этой тропке их застало эхо от падения тела Ханы. Эхо не стихало. Эхо металось между стенами ущелья. Эхо преследовало людей.

Люди застыли на месте, и Шимон, опомнившись, первым начал: «Властитель Многомилостивый, обитающий в высотах, дай обрести покой, уготованный на крыльях Шхины...» И все подхватили: «На ступенях святых и чистых, лучащихся сиянием небосвода Душе Ханы, дочери Леви, отошедшей в вечность...» Шимон произносил слова молитвы, а сам думал: «Окажись сейчас среди нас пророк Яир, неужели он тоже побежал бы прочь от пропасти так быстро, так безоглядно, так трусливо...» Но пророк Яир, похоже, тяжело болен, он уже месяц как не выходит из дому. Несколько раз Шимон порывался навестить

его, но что-то останавливало. Ему страшно и стыдно было представлять себе, как пророк Яир безуспешно пытается приподняться на локтях на ложе и тратит последние силы души, чтобы помочь Шимону разобраться в своих бедах, то есть сберечь силы своей собственной души.

«Да обретет она покой в Саду Эденском! Да укроет ее Властелин милосердия под сенью крыл Своих! Да почиет она на ложе своем в мире!» Молитва закончилась, а эхо падения матери в пропасть всё бушевало и бушевало. И слышался Шимону в этом эхе знакомый голос, знакомый хохот.

Потом было семь дней шивы*, когда все, кто мог, приходили утешать. Вид у них был такой, что их самих утешать надо было. Живые скелеты, раскачивающиеся под ветром! И при этом они умудрялись чисто в еврейской манере чуть что – размахивать руками.

Отсидев шиву, Шимон явился в Храм. Участвовать в пении он не мог: год после смерти близкого человека скорбящему запрещено петь. В храмовую стражу, как Тайную, так и открытую, его не взяли – в Тайную после той истории ему дорога была закрыта и, возможно, навсегда, а в обычную был такой наплыв безголосых левитов, негодных для исполнения псалмов, что и подойти было трудно. Где требовались люди, так это в обороне городских стен. Дело в том, что после того, как царь Цидкиягу, вняв призыву пророка Ирмиягу, освободил рабов, число защитников города резко возросло. Вчерашние рабы толпами устремились защищать Иерусалим. Не то чтобы они были хорошими вояками, но рвения у них было хоть отбавляй, а уж численность была такая, что они... ну, в общем, вопреки тому, что сказал некий стратег спустя почти два с половиной тысячелетия, иногда можно воевать не умением, а именно числом!

Эти самые «неумехи» – правда, возглавляемые профессионалами, – умудрились устроить крупную вылазку, перебить кучу вавилонян да еще сжечь все осадные башни и все тараны. Наступила блаженная тишина. Казалось, вот-вот Навуходоносор снимет осаду – то ли на его армию, как когда-то на войско Санхерива, обрушится мор, то ли он умчится, преследуемый воображаемым грохотом, как арамейцы. Но – увы! – как читателю уже известно, в этот момент богатеи стали возвращать себе рабов, вчерашние бойцы вынуждены были вернуть мечи изумленным военачальникам, и касдимы, узнавшие обо всем этом через своих лазутчиков, воспряли духом. В один из таких дней к военачальнику Шалтиэлю явился Шимон.

– Левит? – с подозрением спросил военачальник. – А почему в Храме не служишь?

---

* Шива – неделя траура по близкому родственнику, когда скорбящий не выходит из дома.

– Пою я плохо, – с грустью признался Шимон. – Играть ни на киноре, ни на кимвале не умею. На трубе – тоже.

– А что ж не научился? – с усмешкой спросил Шалтиэль.

Шимон молчал. Ну и что, что он не был великим певцом – как-никак пять лет обучался и для хора вполне годился. В прежние времена, правда, больше слушал, чем пел. И очень любил слушать – ведь музыка насквозь пронизывала все храмовое Богослужение. Всякий раз во время утреннего и дневного жертвоприношения у алтаря стоял хор левитов с кимвалами, кинорами, арфами, цитрами, цимбалами, превращая пространство Храма в царство Божественных звуков. По бокам высились коэны с трубами. Как только жертвенное животное, уснувшее под ножом, клали на дрова, хор левитов начинал пение псалма под аккомпанемент музыки. Огонь горел, струны звенели, голоса, слившись в единый поток, возносились к Небу.

Твой незыблем престол,
И предвечен Ты Сам,
Реки возносят, о Господь,
Голос возносят свой.
Реки вздымают валы,
Но сильней ревущей воды,
Сильнее морских валов
Господь в высотах Своих!

Музыка волной взмывала к небесам, пение волной взмывало к небесам, душа животного, коему посчастливилось не попасть в чей-то желудок, а быть принесенным в жертву самому Творцу вселенной, тоже волной взмывала к Небесам. К Нему! К Нему! Когда Шимон лично участвовал в Богослужении, казалось, не голос его тонкой струйкой вливается общий поток, устремляющийся ввысь, а сам он, превратившись в ручеек, впадает в могучую полноводную реку, что, бурля, возносится к Господу. А потом наступало главное. Стихал шум горных рек, успокаивался грохот морских валов, хор человеческих голосов превращался в воздух, и огромное незримое облако опускалось на белоснежное с золотой оторочкой здание храма, на Жертвенник, выдыхающий чистое ровное пламя, на головы, увенчанные тюрбанами. И все знали, что облако это – живое. И все знали, что это – Его дыхание, Шхина, присутствие Божье! Но то было в прошлом. Теперь в течение года он не имел права не только петь, но и слушать музыку. Разве что по праздникам, когда приносил сам жертву, хотя сейчас кого можно было приносить в жертву?

Ни коз, ни баранов в Иерусалиме давно не было, кроме тех, что предназначались для общественных жертвоприношений. Их прино-

сили крестьяне из окрестных деревень, из той же Криды, и тайком на скрученных из войлока веревках поднимали на стену.

Нет, не станет он этому пропахшему потом человеку в тяжелом чешуйчатом панцире рассказывать о смерти матери. Не нужно Шимону ни его сочувствие (Бедняга! Как же ты без матери-то?) ни его презрения (У меня на глазах каждый день людей убивают, отец погиб еще при обороне Азека, а этот уже слезы льет). Шимон молчал.

– Что ж, говорю, на цитре играть не научился? Или на киноре?

– Да вот, не научился, – потупив глаза, отвечал Шимон.

– А сражаться, думаешь, научишься?

– Сражаться научусь.

– А с чего ты взял, что научишься?

Эх, рассказать бы этому воину, как Тайная стража сражалась с волками, как гибла под градом с огнем внутри, как тонула в крови той, Египетской, ночью... да нельзя. Стража-то тайная!..

...Щиты были двух видов – малый круглый щит, его еще величали «ассирийским», поскольку именно увертливые стрелки из некогда могущественной Ниневии первыми стали применять такие, и с большим успехом, а также так называемые «египетские» щиты, в человеческий рост – сверху закругленные, а снизу угловатые. Шимон выбрал себе «египетский» щит, фактически – переносное укрепление, этакий бастиончик из дерева и кожи, покрытой краской. Привязал ремнями к плечам – нормально, – по земле, вернее, по стене, не скребет. Переносить его будет удобно. Затем надел на левую руку – это для боя. В ту же руку взял деревянный лук с тетивой из коленных сухожилий быков, пристегнул к поясу колчан с легкими стрелами из тростника с железными наконечниками (тоже, между прочим, ассирийское достижение).

– Осторожно, – хмуро предупредил начальник, следя за манипуляциями Шимона. – Они пропитаны ядом.

– Сильным ядом? – вкрадчиво спросил Шимон, с опаской глядя на мирно спящие в колчане стрелы.

– Действует медленно, но верно, – успокоил его начальник. – Придется бедненьким касдимам целую ночь провести у постели умирающего соратника, а утром, не спавши, снова в бой!

Интересно, он тоже говорит «касдимам».

– Вы родом из Лахиша? – спросил он начальника. Тот явно слышал вопрос, но ничего не ответил.

– У меня жена из Лахиша, – пояснил Шимон.

Начальник только пожал плечами.

– А почему вон у тех стрел концы обмотаны паклей? – не унимался Шимон.

– Должны осадные орудия привезти, – отвечал начальник. –

Примеримся, паклю в смолу обмакнем – подожжем и пошлем подарочки – пылайте на здоровье. Ты шлем-то, шлем не забудь! И панцирь.

– Зачем, у меня же щит вон какой!

– Щит щитом, а без панциря и шлема – никуда! Жизнь у тебя одна, а бойцов у нас мало. И нечего в бой идти с мыслью – «а вдруг выживу»! Нам воины нужны, а не трупы! Понял?!

Шлем был из кожи, и панцирь тоже кожаный, но с бронзовыми застежками.

– Еще бы наколенник напялить заставили! – проворчал Шимон.

– Наколенник на тебя никто напяливать не станет, – спокойно парировал начальник. – Ты не Голиаф, а еврейский воин. А жизнь свою еврейскую я заставлю тебя сберечь, хочешь или нет.

ГЛАВА 18. ЛИЛИТ

Опять она! На тридцать пять лет Серайя забыл о ней, и вот – за эту неделю – каждую ночь! Каждую ночь она является ему во сне, эта девушка, эта Лилит, царица демонов!.. С обнаженными плечами, в белом одеянии, едва прикрывающем грудь, большим костяным гребнем расчесывающая бесконечные темные волосы, с алыми губами, с алой шелковой повязкой на левом запястье, с медным сверкающим зеркалом и с утомленно-презрительным взором. Почему он мысленно назвал ее Лилит? Ведь на самом деле ее звали... как же ее звали? Кажется, Шуламит. А может, и не Шуламит. Давно это было – лет тридцать пять назад. Или сорок. Серайя был тогда еще совсем маленьким мальчиком. Она с мужем гостила у них в доме. Приехали то ли из Элама, то ли из Арама, но конечно же были евреями – иначе в доме Первосвященника вряд ли им предложили бы постой и ночлег – для иноверцев есть постоялые дворы, а для самых знатных – покои в Царском дворце.

А он – ребенок – еще играл с братьями, и занесло его на гостевую половину. Барух, его младший, но физически более сильный брат, гнался за ним – вот он, Серайя, и вбежал в комнату, где она прихорашивалась. Стрелой вылетел он из этой комнаты – прямо в объятия Баруха, который схватил его за кушак и отвел в «киммерийский сад», так в их семье называлась дальняя часть их собственного парка. Туда отводили проигравших. В ожидании следующей игры Серайя, сидя под красивым ливанским кедром, высящимся над розовыми тамарисками, вспоминал эти нежные плечи, этот надменный взгляд, эти губы. Часто впоследствии, когда он начал чувствовать себя мужчиной, она снилась ему, эта Лилит, что прикрывалась именем «Шуламит». Лишь молитвами и постами он кое-как смирял свою плоть.

Слава Всевышнему, всё прервалось с женитьбой; он действи-

тельно напрочь забыл и о Шуламит, и обо всех соблазнах... Забыл до прежней недели. А вот опять началось нечто странное: Шуламит-Лилит вновь стала являться ему, но теперь уже она опускала плечико платья куда ниже левой груди, и обвивала его своими тонкими руками, и прижималась к нему алыми губками. И происходило это не где-нибудь, а в Храме!

Дело в том, что за неделю до Йом Кипура, Дня Искупления, Серайя, который три года назад сменил усопшего отца на должности Первосвященника, переселялся в специальное помещение на территории Храма. Впереди предстояла важнейшая миссия – молиться за весь еврейский народ, и для этого необходимо было вообще очиститься от всего земного, от всего плотского, а уж на совести и подавно не должно было остаться ни пятнышка, как и в голове – ни одной греховной мыслишки. Если говорить серьезно, вся жизнь Первосвященника и состояла из борьбы со всякого рода искушениями, с дурными мыслями и прорехами в совести, но эти семь дней были особенными: их следовало провести на территории Храма, куда не было доступа Сатану, он же Дурное начало, он же Ангел Смерти, Самех-Мем. Нет, попытаться пролезть туда он мог, но, как читатель уже знает, начеку была Тайная стража. Впрочем, как читатель тоже знает – не всегда. Итак, семь дней перед Йом Кипуром провел первосвященник Серайя в уединении, совершая окропления, воскурения, поправляя светильники, готовя себя к предстоящему Служению, и все эти дни старейшины зачитывали перед ним порядок службы, указанный в Торе. А ночами – ночами терзала его Шуламит, она же Лилит, с алыми губами, с черным гребнем, с темными волосами. На рассвете девятого дня отвели его к восточным вратам Храмового двора и провели перед ним лучших из тех животных, что были предназначены в жертву Дня Искупления. Приготовления достигали своего апогея в канун Дня Искупления. В эту ночь старейшины Иерусалима и первосвященник бодрствовали. В канун Дня Искупления, перед заходом солнца, ему не давали есть, ибо известно, что обильная пища наводит сон. А сон мог привести к семяизвержению, и тогда он бы стал непригоден к Служению. Не раз в течение ночи первосвященник начинал задремывать, но неотступно при нем находившиеся молодые коэны будили его и говорили: «Господин наш, Первосвященник, встань на холодный мраморный пол и отгони от себя сон». Также они занимали его беседой, размышлениями о Торе и вообще всячески отвлекали от сна.

Как только страж возгласил: «Начался восход!», – над Серайей простерли льняную завесу, чтобы укрыть его. Он поднялся, измотанный бессонной ночью, и направился к микве. Там он разделся, окунулся в воду, которая слегка освежила его, облекся в одеяния из золотой

парчи – штаны, рубаху, нижний пояс, шапку, эфод – покрывавший грудь и спину и верхнюю одежду, поверх эфода надел хошен – четырехугольный нагрудник с двенадцатью разными драгоценными камнями, образующими четыре ряда по три камня в каждом, на которых были выгравированы названия двенадцати колен Израиля. Ко лбу он прикрепил циц – пластину из чистого золота, на которой было выгравировано «Святой для Бога».

Затем он омыл руки и ноги и принес обычную утреннюю жертву – годовалого ягненка. Кровь ягненка была собрана в специальный сосуд, имеющий форму рога, чтобы невозможно было его поставить на землю и чтобы кровь в нем никогда не загустевала, оставаясь алой, как... как губы Шуламит. То есть Лилит! Утирая слезы, Серайя совершил воскурение, хлебное приношение и винное возлияние, окунулся в микву и облачился в белоснежные одежды из тончайшего льна, сотканного в одну одинарную нить, не сложенную вшестеро, как делаются обычные коэнские одежды. Подошел к жертвенному тельцу, тяжело вздохнул и начал исповедоваться.

– О Боже! – говорил он. – Я грешил, совершал беззакония, преступал Тору Твою... Прости грехи, беззакония и преступления, какими грешил я и дом мой.

В это мгновение двадцатидвухбуквенное имя Всевышнего, которое никто, включая его самого, не знал, как произносить, неведомым для него образом сорвалось с уст его, понеслось над Храмовым двором, над Храмом, над коэнами, над простыми людьми, явившимися сюда в этот час, и те пали ниц со словами: «Благословенно имя славы царства Его во веки веков!» Вслед за тем он направился к восточной стороне Храмового двора, и на этом пути его сопровождали справа и слева два коэна. У восточных ворот уже была приготовлена пара козлов. Они стояли оба бурые, одинакового роста, предназначенные искупить беззакония народа Израиля. После этого Первосвященник встряхнул золотые жребии в урне, вынул их и определил участь козлов: одного – Всевышнему, другого – в пустыню.

– Очистительная жертва Богу! – провозгласил он.

В ответ со всех сторон посыпались благословения. Серайя привязал к голове одного из козлов ленту – алую, как губы Шуламит, – застыл на миг, сражаясь с наваждением, а потом повелел поставить козла пред Храмовыми вратами. Вновь возложил руки на голову жертвенного тельца и произнес, с болью выдыхая каждое слово:

– О Боже! Я грешил, совершал беззакония, преступал Тору Твою... Прости грехи, беззакония и преступления, какими грешили сыны Аарона...

И вновь взмыло, слетев с его уст, непроизносимое имя Творца,

теперь уже сорокадвухбуквенное, и сам он в который раз был изумлен тому, с какой легкостью произносит незнакомые звуки. И вновь на плитах Храмового двора и на холодном полу Притвора распластались сотни людей. Затем, взяв острый нож, принес в жертву тельца и одного из козлов.

– Боже! – воскликнул он. – Грешил, совершал беззакония пред Тобою народ Твой, дом Израиля. Боже! Прости грехи, беззакония и преступления народа Твоего, дома Израиля...

Наступила тишина. Весь народ замер в ожидании, что сейчас прогремит самое главное, самое полное, семидесятидвухбуквенное имя Всевышнего, Шем Амефораш, но... Первосвященник молчал. Имя не произносилось.

Спустя несколько минут ожидания, а затем разочарования, Серайя повелел отправить козла в пустыню, при этом голос его дрогнул.

Козлу предстояло пройти примерно три парсы*. По дороге были расставлены высокие башни, на которых стояли наблюдатели и махали друг другу платками. Но о том, что грехи еврейского народа прощены, жители Иерусалима узнавали не от них. К Храмовым воротам привязывалась алая лента, которая должна была побелеть, во исполнение сказанного: «Если будут грехи ваши, как алый шелк, – как снег отбелю».

Настало время Первосвященнику отправляться в Святая Святых. Он вдруг почувствовал страшную слабость в руках и в ногах. То ли сказывалась бессонная ночь, то ли пост, который у него начался фактически на несколько часов раньше, чем у всех остальных, то ли, что он за весь день ни разу не присел. В День Искупления у него нет права садиться. Еле передвигая ступни, Серайя подошел к тяжелой двери Притвора, попытался потянуть ее на себя и ощутил, что не в силах это сделать. Обернулся и беспомощно пожал плечами. От толпы коэнов отделился один, самый шустрый, и под удивленными взглядами остальных подбежал к двери и отворил ее. Серайя кивнул в знак благодарности и вошел в Притвор. Мысленным взором увидел он алую ленту на воротах, алую, как... губы...

Он с силой зажмурился. Только не сейчас! Губы исчезли. Вместо них возникла бестелесная синь небосвода. Он почувствовал, как вокруг его левой щиколотки смыкается и застегивается браслет, к которому прикрепили золотую цепочку. Если Первосвященник из-за грехов своих умрет в Святая Святых, его за эту цепочку должны были вытянуть наружу. Входить в Святилище кому-либо, кроме него самого, категорически запрещалось.

И тут левиты грянули:

---

* Парса – 6,3 км

К высотам гор глаза поднимаю,
Откуда помощи ждать?
От Господа мне явится помощь,
От сотворившего небо и землю!
Ноге твоей он не даст пошатнуться,
Дремать не станет Хранитель твой!
Не спит и не дремлет Израиля Страж!..

Песнь могучим потоком вливалась в окна, захлестывая Притвор, проникала в глаза, в уши, в уста, смывала Шуламит с ее горячей плотью, Лилит с ее похотливым взором.

Твердыми шагами двинулся Серайя через длинный Притвор в Святилище. Ему поднесли совок из листового золота с легкой рукояткой. Хотя в обычные дни года пользовались серебряными совками, в Йом Кипур брали золотой. Потрясая совком в правой и чашей в левой руке, быстрым шагом устремился он к золотой двери, ведущей в Святая Святых. Сган – второй по старшинству коэн, и рош бейт ав – глава той семьи коэнов, которая служила в Храме в этот день, – вручили ему золотую ложку и сосуд, полный благовоний, перемолотых в мельчайшую пыль. Он взял из этого сосуда полную пригоршню благовоний, положил на ложку и понес в Святая Святых. Там поставил совок между шестами, укрепленными с обеих сторон Ковчега. Захватил край ложки кончиками пальцев и пересыпал из нее благовония обратно в пригоршню, а оттуда – на горящие угли в совке. Он должен был оставаться в Святая Святых, пока всё помещение не наполнится дымом, затем надо было выйти, пятясь лицом к Ковчегу, спиной ко входу.

Серайя на миг остановился. Вот золотой ковчег, вот крышка... Из нее вырастали два золотых керува, два ангела, у одного – личико мальчика, а у другого – девочки. Когда еврейский народ тянется к Всевышнему, ангелы простирают крылья друг к другу, когда еврейский народ отворачивается от Всевышнего, то и ангелы друг от друга отворачиваются. Сейчас он подойдет к этой крышке и услышит голос Всевышнего из пространства между ангелами. Он знал, что никакая Лилит, никакая Шуламит больше ему не явятся. Он победил их волей своей. Он – истинный Первосвященник! Он... Последнее, что увидел Серайя, падая, последнее, что он увидел в своей жизни, были отвернувшиеся друг от друга лица ангелов. Последнее, что он услышал, – хохот Самаэля.

...Когда умершего из-за приступа гордыни Первосвященника вытягивали из Святая Святых, тело зацепилось за край Ковчега Завета, и льняной рукав слегка порвался. К счастью, умелым коэнам удалось вытащить его так, что ни один лоскут не остался в

Святилище. На лице и в глазах покойного отпечаталась некая помесь важности, которую человек внезапно ощущает, осознав собственную значимость, и безмерного изумления. Смерть явно застала Серайю врасплох. Ужаса в глазах его не было. А нить над Храмовыми вратами так алой и осталась. Приговор Иерусалиму был подписан.

ГЛАВА 19. ТАРАН

И Шимон увидел осадную машину – таран! Это была чудовищных размеров балка, похожая на корабельную мачту и снабженная крепким железным наконечником наподобие руки с кулаком и вытянутым пальцем; посередине она на толстых канатах была подвешена к другой балке, поперечной, которая обоими концами покоилась на крепких столбах. Потянутая многочисленными воинами назад и брошенная с силой вперед, она своим железным кулаком неминуемо должна была пробить стену. Этот таран, который вавилоняне притащили под стену, был покрыт сплошной кровлей, сплетенной из ив и обтянутой сверху кожами для защиты рабочих и машин. То, что стенобитное орудие имело форму руки, придавало ему какой-то особо устрашающий смысл. Сходство с рукой, с дланью, делало эту махину живой, превращало ее в чудище, с которым муравьишки, дежурившие на стенах, тщетно пытались бороться.

– Ну что застыл? – крикнул Шимону Шалтиэль, занявший позицию на бастионе справа от него. – Стреляй давай!

И сам, «окунув» пучок просмоленной пакли, которой был обмотан конец одной из стрел, в костерок, разложенный тут же, на стене, быстро приладил эту стрелу к луку, натянул тетиву и выстрелил. Стрела нарисовала огненную нить в воздухе и, похоже, упала на голову кому-то из осаждавших, в любом случае там, внизу, вспыхнуло. Это было как бы сигналом. Тотчас же со стены, покрыв ночной воздух огненной сетью, сорвались десятки горящих стрел, и вскоре кровля, покрывавшая таран, запылала.

Шимон тоже начал выпускать стрелу за стрелой. Сперва осторожно, медленно, чтобы не обжечься, поднося паклю к огню, затем всё быстрее, не обращая внимания на ожоги, утирая пот и размазывая по лицу сажу...

Вытянутый палец тарана загорелся, и Шимону на мгновение стало жутко при виде огненного перста, указующего прямо на него. Но тут раздался дикий грохот, осадное орудие накренилось вправо и, словно огромное раненое животное, стало оседать, подминая под себя тысячи суетящихся касдимов. Пылающий перст уплыл куда-то в сторону, словно чудище, теперь уже не столь страшное, в недоумении пыталось развести руками. А потом гигантская рука бессильно опу-

стилась и полетела вниз, тыча огненным пальцем в землю, в сухую иудейскую землю. Ударившись об эту землю, огонь разлетелся на мириады искр и погас, сверкнув напоследок, словно молния. И точно гром, накативший по следам этой молнии, стены Иерусалима сотряс рушащий барабанные перепонки грохот от падения тарана. А следом – хоровой вопль десятков раздавленных и рев счастья, издаваемый вновь на мгновение почувствовавших силу защитников стен. И среди них – Шимона.

ГЛАВА 20. НОЧЬ

В ночь новомесячия выпало Шимону дежурить на башне. Хотели было освободить от дежурства, ведь недавно мать похоронил, но он сам настоял – полтора месяца со дня ухода Ханы уже прошли, траур трауром, а сражаться надо. Он усмехнулся, вспомнив, как коренастый укорял его за неумение обращаться с дротиками. О, сейчас он научился и дротики метать, и копья, и из лука стрелять, и пусть ни на дротиках, ни на копьях, ни на стрелах не значится имя Всевышнего – но в цель они всё равно попадают. Правда, в обычную, земную, но всё равно – коренастый остался бы доволен.

Что за бред! Коренастый – главнейший и первейший враг! Коренастый самый ярый ненавистник. Спасибо Всевышнему, похоже, больше это чудище не трогает ни Шимона, ни его семью. Голова кружилась. Нагретые за день стены отдавали тепло. Казалось, дыхание их горячим туманом поднимается к небесам, чтобы там рассыпаться на серебринки звезд. Внизу копошилась смерть. Она приняла облик деловитых вавилонян, что тучами сновали туда-сюда почти под самыми стенами, нисколько не боясь еврейских стрел и камней. Они подкатывали всё новые и новые стенобитные орудия, разводили костры, разматывали осадные лестницы...

Шимон прикрыл глаза. Собственно говоря, всем было ясно, что конец близок, непонятно только, какие в точности очертания примет эта последняя мистерия. Начиная с семнадцатого дня седьмого месяца, когда, за отсутствием овец, прекратились ежедневные жертвоприношения, всеобщая гибель стала лишь вопросом времени. Первоначальный ужас от осознания этого теперь, когда пошла вторая неделя без жертвоприношений, сменился тупым равнодушием. Шимон, как и другие, уже вполне рассудочно говорил себе: «Храм – сердце народа. Если сердце не бьется, значит, народ мертв. А что некоторые его представители – я, например, – еще живы, так ведь и у трупа растут волосы и ногти. Какое-то время».

Если бы мы с вами встретили в ту ночь Шимона или кого-то из его земляков и задали бы вопрос: а что будет со Вселенной после

того, как евреи ее покинут, – они бы пожали плечами: либо уничтожение, как это было с предыдущими вселенными, либо народ до конца не исчезнет. Как бы то ни было, принесение ежедневных жертв, горючего для движения нашего мира, прекратилось, и будущее выглядело весьма мрачным. Кончились овцы – кончался Храм – кончались евреи – кончался мир...

Во Вселенной не было ничего, что оставалось бы важным. И охрана стены была уже делом бессмысленным. И с усталостью, как и с вавилонянами, бороться было бессмысленно. Сам того не заметив, Шимон задремал...

...По улицам Иерусалима шагали вавилонские воины. В правой руке у каждого из них было копье, слева у пояса – длинный узкий меч в ножнах, на головах – железные шлемы с шишаками, на телах – чешуйчатые доспехи. Дома стояли темны и тихи. Вот вавилоняне подошли к кособокому дому недотепы Меира. Кулаками и древком – в дверь. Дверь распахнулась, и из нее вышел... баран. Вслед за ним – пара овец: одна – старая, бурая, со свалявшейся шерстью, другая – молодая, белая, с большим курдюком. Кого-то она Шимону смутно напоминала. А следом за ними с нежным весенним блеяньем выскочил маленький-маленький пятнистый ягненок. Он доверчиво подскочил к вавилонскому солдату и жалобно поглядел на него. Касдимы рассыпались по проулку, и вскоре воздух наполнился блеяньем. По всему Иерусалиму из домов выгоняли овец. Людей не было. Были овцы. Барана, который первым вышел из дома Меира, погнали мимо Шимона, и тот, взглянув на животное в упор, обомлел – перед ним был Меир. Да-да, сосед Меир – такой же неуклюжий, с тяжелыми бровями. Баран Меир. Теперь уже и в овечке с большим курдюком Шимон узнал большеглазую толстогубую Хоглу, жену Меира. А что это там за рыжая овца? Вообще, откуда у нас рыжие овцы? Помнится, сидонские купцы рассказывали – в северных странах встречаются. Вот овца ближе... И опять что-то знакомое почудилось Шимону... Господи, только не это! Он протянул к Мирьям руки... нет, не руки – передние ноги, покрытые жесткой серой шерстью и заканчивающиеся копытами. Вложив всю свою любовь в горькое блеянье, он бросился к Мирьям. Несколько минут они стояли посреди движущегося стада и глядели друг на друга, терлись друг о друга, вылизывали друг друга. Потом к Шимону подошел вавилонский солдат и погладил по холке. Это значило: «Пора!» К Мирьям подошел другой солдат и пощекотал за ушами. Это тоже значило: «Пора!» И, как когда-то под хупу, бок о бок, подгоняемые солдатами, двинулись они туда, где белый, прекрасный, словно выточенный из облака, на фоне синего неба прорисовывался Храм. И такой же белый, словно выточенный из облака, дым,

вознесшийся над алтарем, соединял этот Храм с небом. И Шимону, и Мирьям суждено было стать этим дымом...

Грохот, в тысячи раз сильнее, чем тогда, во время обрушения первого тарана, потряс стену. Шимон вскочил. В одном полете стрелы от него в стене зияла гигантская брешь, уходящая в никуда. Люди сыпались со стены, как маслины, когда их палками сбивают с ветвей в дни сбора урожая. А на их место по осадным лестницам уже карабкались касдимы в шлемах с острыми шишаками. Шимон пошарил рукой по выступу, к которому прислонился, задремав. Копья не было. Очевидно, при сотрясении тараном он упало. Впрочем, это уже не имело значения. В любом случае, всё было кончено.

ГЛАВА 21. ПРОРОК

Пророк Яир обнял сыновей – тринадцатилетнего Сосу и шестилетнего Тивути, – больше у него никого в этом мире не оставалось – младшие дети умерли с голоду, старшие погибли, защищая город. Дочь, спасая свою жизнь, пыталась убежать из города. Ее поймали касдимы, надругались над ней, а затем продали в рабство. Порой пророк Яир ощущал летящее к нему за тысячи рисов ее дыхание, чувствовал, как она страдает, и сам страдал, не в силах ей помочь. Жена сгорела одной из первых, когда начался мор. Яир в те дни кричал на каждом углу, чтобы не пользовались этими общественными поильнями, чтобы воду раздавали равномерно, наливали в меха, а не в чаны, откуда собственными черпаками берут воду все кому не лень. «Отсюда и мор!» – уверял он. «Откуда ты знаешь?» – насмешливо спрашивали его – ладно бы простые горожане, а то ведь и представители городских властей.

Действительно, откуда бы ему знать – ему, пророку, которого Всевышний наградил даром проникать в самые глубинные тайны вещей и явлений?! Но что делать – оставалось лишь скрежетать зубами при виде длиннющих очередей, терпеливо ожидающих, когда вынесут очередной чан. И – о мрачная ирония Всевышнего! – одной из первых заразилась и погибла его собственная жена, его драгоценнейшая Длайя!

Воспоминания, пусть самые горькие, на мгновение приподняли его над действительностью, еще более горькой. Но крики вавилонян, вопли и стоны убиваемых евреев вернули его в мир, который вскоре и ему, и его деткам предстояло покинуть. Это он знал точно. На нем лишь лежал выбор – как. В отличие от прижавшихся к нему сыновей, Яир видел сквозь стены. Он видел девочку, которую под гогот столпившегося вокруг вооруженного до зубов сброда, согнули в три погибели, слышал, как вавилонский офицер командным тоном объ-

являл, кому из его воинов подступать к ней первым, кому – следующим, видел, как на пригорок, под которым стоял его дом, сгоняют людей, в основном детей, а также старух и стариков. Молодых женщин растаскивали по окрестным домам, а то и раскладывали прямо на обочинах. Над ними, словно насекомые над добычей, копошились группки по пять-шесть солдат. Некоторых на месте потом закалывали короткими прямыми вавилонскими клинками, других, в разорванном платье, с окровавленными бедрами, загоняли обратно в толпу на пригорке, что всё росла и росла. А главное, получил он последнее пророчество в своей жизни: «Умрешь от дыма без огня!» Что это означало, он не понял, лишь крепче обнял детей.

– Папа, мы умрем? – спросил, задирая голову, Тивути. Яир ничего не ответил, только провел ладонью по мокрым щекам ребенка.

– Отец, мы умрем? – вслед за младшим братом повторил вопрос Соса.

– Нет, – твердо ответил пророк. – Мы не умрем. Мы никогда не умрем. Мы всегда будем с нашим Богом.

В дверь застучали. Ни отец, ни дети не двинулись с места. Еще два часа назад в ожидании страшных гостей они втроем, поднатужившись, подперли дверь большим валуном, так что зверям предстояло хорошо попотеть, прежде чем забрать их жизни. Понятно, что валун, который они загодя с таким трудом вкатили в дом, не был спасением, он был лишь продлением земного пути, но ведь любое лишнее прожитое мгновение было для чего-то нужно Тому, кто послал их в наш мир, не так ли? Да и что есть вся наша земная жизнь, как не цепочка вот таких мгновений, в каждое из которых призваны мы служить Творцу?

Касдимы навалились на дверь, но она, подпираемая валуном, выдержала их напор. За дверью наступила тишина, беременная надеждой. Впрочем, надежде этой не суждено было не только сбыться, но и родиться. Потому что не успели они оглянуться, как по крыше захлопали чьи-то сапоги, и сквозь расположенное в ней окошко в комнату полетели горящие головни. Циновка, охапки сена на топчанах, служившие ложем, и шкафы для кухонной утвари мгновенно задымились и, почувствовав, как маленький Тивути оседает в его руках, а лицо Сосу приобретает синеватый оттенок, пророк понял, что пророчество сбывается. Но почему дым без огня?! Почему дым без огня?!

«Слушай, Израиль! Господь наш Бог! Господь един!» – прохрипел пророк.

«Слушай, Израиль! Господь...» – зашептал Сосу, из последних сил пытаясь вытолкнуть наружу застревающие в горле слова.

А Тивути лишь беззвучно шевелил губами, и никто никогда так и не узнает, удалось ли ему произнести прощальное речение или нет.

Что же до того, почему дым без огня – огонь, конечно же, был. Немного, недолго, но был. Язычки пламени разъедали циновку, рождались и умирали на сухом дереве кухонных стоек. Да и сено на топчанах в секунду было сожрано алым чудищем, которое, впрочем, тут же превратилось в тучу удушливого муторного белого дыма. Но судьба последнего пророчества Яира решалась не здесь, не в доме, где дым обволакивал три трупа, а поблизости, на пригорке, где вавилонский офицер, ознакомившись с клинописной табличкой, присланной одним из адъютантов Набузардана*, пожал плечами и мрачно произнес: «Последний караван с рабами уже отправлен. Следующий – завтра днем. Бараки переполнены. Этих отпускать – двинутся в город. А тут – слава Мардуку и Иштар! – окраина. Давайте, ребятки. А я пока пошлю за Табией и Либлутом. Пускай пригонят с десяток скотинок, чтобы этих отвезти потом и закопать».

– Они нас убивать будут! – в ужасе крикнула старая Мейтавель. В юности у ее семьи был постоялый двор, они принимали чужеземных гостей, и она понимала по-касдимски.

Вавилонский солдат вошел в толпу, как в воды озера. Быстрым движением выхватил меч из ножен и разрубил женщину чуть ли не пополам. Все охнули. Хлынула кровь. А солдат, как ни в чем не бывало, стал наносить удары налево, направо, вперед, назад, словно очерчивая круг, центром которого был он сам. К его ногам рухнула черноволосая девушка, за ней веснушчатый подросток, старик. Люди пытались кинуться врассыпную, но всюду их ждали вавилонские мечи. Крики убиваемых, рев солдат, детский плач – всё перемешалось в предвечернем воздухе, а затем начало стихать. На смену воплям пришли хрипы из перерезанных глоток.

А потом по камням мостовой, уходящим круто под горку, побежал первый ручеек крови... второй... третий... И вот уже целый поток несется вниз с пригорка, словно зимний ручей, прокладывающий себе дорогу по суглинку вади. Только в отличие от зимнего ручья поток этот был алым. И несся он вниз, туда, где стоял дом пророка Яира, дом, из окон которого и из всех щелей в стенной кладке вырывался дым. Поток покрутился-покрутился по кочкам да по камням и, окрепнув, ополноводев, хлынул в эти самые щели. Из дома послышалось шипение. Огонь, вступивший было в свои права, начал отступать под натиском бурлящей алой жидкости, постепенно затопившей комнату. Какое-то время над этим всем еще горела кухонная полка, но затем она рухнула в кровавую лужу, пылающие угольки рассыпались с шипеньем и

* Набузардан – начальник телохранителей Навуходоносора, сыгравший главную роль при разрушении Иерусалима.

почернели. Когда наступила окончательно ночь, ни одного язычка пламени в доме не осталось. Пророчество сбылось.

ГЛАВА 22. КОЭНЫ И ЛЕВИТЫ

Коэны и левиты вперемешку стояли на стене Храмового двора. У коэнов в руках были жертвенные ножи, которые они спасли для того, чтобы, когда касдимы уйдут, снова начать приносить жертвы в отстроенном Храме. Левиты сжимали в руках цитры, киноры, трубы, которые надо было сберечь, чтобы потом снова здесь служить и касаться перстами струн. Поодаль стояла небольшая группа иерусалимских девушек, которые до вчерашнего дня ткали занавесь для Храма – знак веры, что всё еще обойдется и их труд пригодится. Эта занавесь была тут же, при них, и трепетала на ветру, как знамя. А внизу...

Казалось, не огонь обвевает и обвивает белые стены Храма, а Храм погружается в оранжевую реку, чьи воды струятся ввысь, обтекая белые стены. Казалось, не Яхин и Боаз с грохотом валятся на брусчатку Храмового двора, а гром рокочущей волной прокатывается по небу, возвещая начало очистительной бури...

Казалось, не медный жертвенник оплавляется в пламени, растекаясь горючей лавой, а свежее солнце выплывает на раскрашенный рассветом небосклон. Но что удивительно – вавилоняне среди этого огня чувствовали себя как дома. Они весело, не обращая внимания на жар и грохот, подтащили к большому жертвеннику Первосвященника (не того, что скончался в Святая Святых, а нового, которого тоже, кстати, звали Серайя). Туго связав его, они взгромоздили несчастного на алтарь и, гогоча: «Наша мирная жертва вашему Богу!», закололи. И тут невесть откуда появилась дочь Серайи. В первое мгновение показалось, что это ангел, сошедший с Небес – бледное лицо, пронзительная голубизна глаз. Но уж больно по-земному закричала она: «О горе! Горе! Отец! Свет моих глаз!» Сразу стало ясно, что бледность эта – следствие долгих месяцев голода, сразу резко проступила мечущаяся под платьем худоба. И все увидели, что голубизна глаз вызвана отчаянием и слезами, слезами, слезами... Первым опомнился толстый касдим. Он подскочил к девушке, сгреб ее в охапку. Все подумали, что сейчас будет насиловать. Но нет – с проворством, странным для столь тучного существа, он взлетел, не выпуская жертву из рук, по пандусу и швырнул рыдающую дочь на труп отца. Торжественно объявил: «А это Всесожжение!», – выхватил нож и прикончил ее. Кровь из груди девушки и кровь из живота отца смешались и ручьем помчались по пандусу, словно пытаясь догнать сбегающего вниз вавилонянина, столь сведущего в тонкостях еврейских жертвоприношений.

А коэны, левиты и девушки с ужасом смотрели, как тот мир, в котором они прожили всю жизнь, в котором их отцы, деды и прадеды прожили всю жизнь, погружается на дно уже не огненной реки, нет! – огненного океана! Рушился мир, рушилась вера в Руку, которая всегда прикроет и спасет в нужный момент, рушились стены самого Храма. И тут те, кто стоял на стенах Храмового двора, вдруг отчетливо поняли: того, на что они надеялись долгие годы осады, не произойдет, спасения не будет. Ни-ког-да! И тогда коэны взяли свои жертвенные ножи и бросились со стены в огонь. И левиты взяли цитры, киноры и трубы и бросились со стены в огонь. И девушки взяли занавесь, которую они так и не успели допрясть, и бросились со стены в огонь. Но среди левитов не было Шимона. А среди девушек не было Мирьям.

ГЛАВА 23. ПО ЧЕРНОЙ ТРОПЕ

А потом появился совершенно седой взлохмаченный старик со спутанной белой бородой. Он шел по черной тропе, спотыкаясь о камни, и, казалось, сама черная тропа спотыкается о камни. Он шел и бормотал: «По какой дороге пошли грешники? По какой дороге пошли осужденные на гибель? Я пойду туда же и погибну с ними». И вдруг тропа стала менять свой цвет. Сначала в окраске ее кушитской кожи появился какой-то медно-красный оттенок. Потом с каждым шагом красного становилось всё больше, а черного всё меньше. Конечно, можно было утешить себя, что черную глину сменил краснозем, но почему он вдруг стал таким густо-красным – и всё краснее, и всё влажнее... И вот уже босые ноги старика – ибо сандалии он давно разодрал о камни – месят буро-красную грязь, и вот уже под пальцами ног хлюпает кровавая жижица, которая становится еще алее от капель крови с израненных подошв старика. И тут старик остановился как вкопанный. Что он увидел? Что заставило его броситься ничком на эту залитую кровью землю и начать покрывать поцелуями след крошечной босой детской ножки? «Маленькие мои! – шептал он вымазанными кровью губами. – Маленькие мои! Маленькие мои!» Кряхтя, приподнялся и заковылял к стайке подростков, закованных в цепи. И тотчас поспешил к нему вавилонский воин в остроконечном шлеме, увенчанном медным шишаком.

– Недьзя, господин... э-э-э... – он вынул из-за пояса глиняную табличку, покрытую клинописью, – э-э-э... господин Ирмиягу! Нельзя! Пойдемте со мной!

Пророк Ирмиягу, освобожденный по приказу Навузардана недавно из тюрьмы, где сидел при царе Цидкиягу, покорно побрел за касдимом. Причем, сколько тот ни ускорял шаги – порой даже нарочно, чтобы загнать старика, – последний, только что едва передвигав-

ший ноги, не отставал ни на шаг. Вот впереди показалась группа пожилых мужчин в цепях, и пророк бросился к ней.

– Не-е-ет! – заорал охранник, поспешая за ним. – Назад!

– Но почему?! – в слезах взмолился Ирмиягу. – Они – старики, и я старик! Дайте же мне разделить мучения с моим народом!

– Господин Ирмиягу! – назидательным тоном заговорил вавилонский офицер. – Вы всеми силами пытались помешать мятежу против царя царей, великого Набухаденецара, чем оказали нам значительную услугу, но теперь...

– Никаких услуг я вам не оказывал! – возмущенно взвизгнул Ирмиягу и, обернувшись к старикам, закричал, словно прощаясь: – Братья мои! Братья мои! Народ мой! Ну почему?! Почему вы ни разу не вняли моим пророчествам?! Сейчас вы плачете, – продолжал он, глядя на собратьев, простирающих к нему руки, – но если бы вы хотя бы раз... если бы вы заплакали один только раз, пока жили в Ционе, то не были бы изгнаны оттуда!

Он двинулся дальше и вскоре, присоединившись к группе пленников, стал свидетелем следующей сцены.

– Мама, я устала! – причитала пятилетняя девочка. – Возьми меня на руки!

Мать, шатаясь от слабости, нагнулась, гремя цепью, попыталась поднять дочку, но вместо этого ее словно снесло сильным ветром, швырнуло в сторону и бросило наземь.

– Вставай! Вставай! – заплакала малышка.

Появившийся вавилонский солдат заорал что-то на своем языке, на ходу вытаскивая меч из ножен.

Это было страшно. Ключи от замков на запястьях были только у офицера, и всякий раз бежать искать его солдатам было лень. Так что все знали, что когда у пленника не хватало сил идти, солдаты отрубали ему запястья, забирали цепь и, если он до сих пор не умер от болевого шока, оставляли его умирать от потери крови.

Вавилонянин подходил всё ближе и ближе, и уже девочка в испуге замолчала, словно поняв, что если этого зверя не остановить, то жить и ей, и ее матери осталось считаные мгновения. Все застыли. Застыли старики, чьи ветхие мускулы повисли коричневыми клочьями, как сушащееся белье на брусьях. Застыли подростки, сжимая кулаки, стиснув зубы, но при этом не делая ни шагу. Застыли женщины, согнувшись под тяжестью цепей. В полной тишине угрожающе жужжали невесть откуда налетевшие большие страшные шершни, но люди настолько были поглощены ожиданием ужасной расправы с матерью и ребенком, что даже не обращали на них внимание.

– Не-е-т! Шимон, не смей! Я умоляю, не надо!

Молодая рыжеволосая женщина, оскользнувшись на окровавленной глине и упав наземь, пыталась ухватить за босую ногу молодого левита, который, гремя цепями, решительно зашагал к вавилонянину. Мирьям ползла за ним причитая:

– Шимон, ты их всё равно не спасешь! Шимон, остановись!

И тем самым она-то их и спасла, правда, подвергнув своим воплем опасности самого Шимона, потому что вавилонянин, услышав этот вопль, оставил в покое девочку и мать и, резко развернувшись, двинулся навстречу направляющемуся к нему Шимону. У него за спиною осмелевшие евреи бросились к женщине, подняли ее на ноги и вместе с девочкой вволокли в толпу, тотчас сомкнувшуюся за ними обеими.

Но вавилонянина они уже не интересовали. С обнаженным мечом он пошел на Шимона, единственным оружием которого была – от запястья до запястья – цепь, волочащаяся по земле, и прищурился, прикидывая, как половчее разрубить строптивого иудея пополам. Наконец прикинул, но не спешил. Ждал. И дождался. Шимон, неумело вытянув руки, отягощенные цепями, рванулся к нему, и тут касдим сделал очень красивый выпад мечом, на который Шимон, увлекаемый вперед тяжестью цепей, напоролся бы, если бы раздавшийся за спиной истошный крик Мирьям не заставил его вздрогнуть и отшатнуться. В результате грудь его, обмотанная грязно-белой рваниной остановилась буквально в полутефахе от острия меча. В такой позе оба и застыли.

– Шимон! – орала Мирьям.

Ее подошвы были вымазаны замешанной на крови глиной. Она, всё время оскальзываясь, вначале пыталась подняться, а потом ползком добралась до стоящих друг против друга Шимона и вавилонянина – и с криком: «Пощади его!» – обняла ступни чужеземцу. Тот опустил глаза, провел по спине, по всему содрогающемуся телу Мирьям безумным взглядом, и столпившиеся иудеи увидели, как из пасти его текут густые слюни. Шимон стиснул изо всех сил кулаки и подался вперед.

– Адад! – окликнул офицера его товарищ, стоящий поодаль на холмике, обрывающемся скалой, и наблюдавший за шествием пленных иудеев. В руках у касдима был лук с туго натянутой тетивой и стрелою. В случае, если кто-то из подопечных его соратника выказал бы малейший признак неповиновения, свист стрелы, посланной этим стражем, немедленно разрешил бы конфликт. Странно было, что до сих пор он не вмешался, – видно, не хотел лишать собрата удовольствия собственноручно зарубить хилого левита. С другой стороны, вряд ли вавилонский офицер получил бы от начальства поощрение, если бы наблюдатель, следящий за порядком движения, доложил наверх о том, что тот застопорил всё, дабы на месте удовлетворить похоть с прелестной иудейкой. Очевидно те же мысли посетили и

Адада, потому что глаза его сузились, рука, сжимавшая меч, поднялась, и стало ясно, что проблему, которую еще мгновение назад представляла лежащая у его ног женщина, он сейчас решит радикально. Поняла это и сама Мирьям. Она обхватила руками голову и зажмурилась. Шимон весь собрался для прыжка, чтобы закрыть своим телом любимую, убийца занес руку с мечом...

Два вихря пыли, два пылевых смерча закружились там, где только что находились Шимон и Мирьям, разметая всех, кто стоял вокруг. Адад, падая, ударился головой о корень дуба и какое-то время лежал неподвижно. Зато соратник его напрягся и с силой натянул тетиву лука, готовый выпустить ее в любого из оказавшихся без надсмотрщика евреев. Некоторое время никто из закованных в цепи не шевелился, а затем те, что были подальше от эпицентра события, стали понемногу приходить в себя, но вместо того, чтобы, вскочив на ноги, броситься наутек, они хаотично ползали по тропе, взрыхляя сухую землю. Поэтому готовая к полету стрела, предназначенная наказать любого строптивца, так и не потребовалась.

ГЛАВА 24. ПЕПЕЛ И САЖА

Храмовый двор был черен от пепла и сажи. Сажей были покрыты превращенные в развалины три ряда обтесанных камней. Пеплом стали кедровые брусья. Медные ворота, отделявшие внутренний двор от внешнего, оплавились и превратились в бесформенную массу. Верхней галереи под названием «Алия» больше не существовало. Амуд – трибуна, с которой цари обращались с речами к народу, – лежала на покрытой трещинами и черной грязью брусчатке, словно выкорчеванный пень. Жертвенник всесожжения какой-то неведомой силой своротило с места и перекосило. А «Море» вавилоняне, приложив неимоверные старания, раскололи на куски. Быки, правда, остались стоять, но рога их были отрублены. Умывальники смяты и брошены в кучу. Взгляд Шимона упал на обугленные бревна, которые когда-то были крышей Храма. Стоящая рядом Мирьям тихо плакала.

– Ну как, нравится? – усмехнулся Повелитель тьмы.

Шимон в ужасе посмотрел на него.

– Ну что ты молчишь, – продолжал тот, принимая обличие коренастого. – Мог бы и поблагодарить – ведь я и тебя, и твою красавицу от верной смерти спас там, на тропе!

Шимон ничего не ответил, а Мирьям зарыдала в голос.

– До чего омерзительны эти люди, – задумчиво произнес коренастый. – Даже благодарят они, точно ветры пускают!

– Лучше бы нас убили на этой тропе!

– Это уж позволь мне решать, что лучше! – возмутился корена-

стый. – «Лучше бы... лучше бы!..» Лучше бы ты не метал копье в меня, спасшего тебя в пещере! Лучше бы ты потом не срезал с копья имя Всевышнего! Лучше бы не становился причиной всего вот этого...

И он обвел рукой черные развалины.

– Я – причина? – в ужасе спросил Шимон.

– Ну, не то чтобы совсем уж «причина», – честно признался коренастый, – но помог мне, не скрою, помог! Даже не знаю, что бы я без тебя делал!

– Убей меня! – попросил Шимон.

– Ну конечно! Для того я тебя и спасал от вавилонян – и не в первый раз, отмечу, – чтобы потом убивать. И потом, ты еще нам должен сослужить главную службу.

– Кому – «нам»? – спросил Шимон.

– Нет бы спросить – «какую службу, о повелитель?», а ты: «кому – нам?» Нам – это...

Он провел рукой по воздуху, и Шимон с Мирьям увидели. Их были миллионы. И тех, чье тело целиком состояло из глаз, и крылатых, чье тело целиком состояло из черных крыльев... И тех, что с птичьими лицами!

– Малахей хабала, – прошептал левит. – Малахей хабала, ангелы-губители!

Коренастого больше не было. Над черным воинством вознесся он – черный, прекрасный, внешне совсем на них не похожий, закутанный в черную оболочку, – черный, в черном облачении, и очень высокий.

– Смотри! – произнес он.

Мирьям затрепетала. До тех пор Шимон никогда не видел, как люди трепещут. Дрожат – да. Дрожат так, что зубы стучат от ужаса, – это пожалуйста. Но трепетать? Как может человек трепетать, точно полотно на ветру? И вот теперь он увидел – как. Всё худенькое тело некогда крепко сбитой рыжеволосой женщины выгибалось и ходило ходуном. Казалось, ветер ужаса вот-вот подхватит ее и завертит в небесах, унесет в неведомое. Шимон шагнул к жене. Одной рукой обнял за талию, другой прикрыл ей глаза. Трепет утих.

– Слушай, Израиль, – горячо начал он. – Господь наш Бог! Господь един!

– Поздно взывать к Израилю, – донеслось из высей. – Израиль не слушал вовремя, а теперь – поздно. Господь больше не его Бог! Господь – мой Бог! И Храм теперь мой. Смотри!

И Шимон увидел. Черная сажа улетучилась, пепел улетучился. Там, где только что лежали пыльные уродливые развалины, вновь – сначала легким наброском, а потом всё ярче и ярче, – стали прорисовываться белые стены. Всё выше и выше вставали они над грудой раз-

валин, всё прекраснее возносились над обломками. Засверкали медные ворота, замаячил Амуд, заиграла солнечными бликами «Алия». Боаз и Яхин устремили острия свои в бездонное светлое небо. Лилии на них были не латунные, как прежде, а живые. «Море», сверкающее начищенной медью, вновь покоилось на спинах быков. Вода в нем плескалась. Быки мычали. Менора вспыхнула всеми своими семью огнями, а херувимы – мальчик и девочка – протянули друг к другу золотые крылья.

– Оно всё прозрачное, призрак оно...

Шепот Мирьям вывел его из оцепенения. Действительно, чудом воскресший, восставший из руин Храм был каким-то нематериальным, бестелесным, точно мираж в Синайской пустыне, рассказы о котором из поколения в поколение передавались еще со времен исхода из Египта.

– Да, прозрачное! – загремело с небес. – Да, призрак! Но стоит нам захотеть, и всё станет материальным... Ты, скажи, ты, именно ты, ты сам, – хочешь восстановления Храма?

– Хочу... – одними губами прошептал Шимон.

Мирьям как-то странно посмотрела на него.

– Хочу! – упрямо повторил Шимон.

– Хочешь – значит, будет! У меня остались один коэн и один левит. И левит этот – ты. Смотри!

Над жертвенником возникла скрюченная фигура коэна, в котором Шимон узнал Яакова, сына Шломо, известного в Иерусалиме неудачника, которого, несмотря на высокое происхождение, никак не хотели включить в высшую коллегию священников. Теперь настал его звездный час. Вокруг него выплясывал ягненок, никак не желая подставить шею под нож. Это контрастировало с обычной покорностью жертвенных животных в Храме, буквально застывавших, едва лезвие бывало занесено над ними..

– Ничего, – задумчиво произнес Черный, вновь оказавшись рядом с Шимоном и Мирьям, но не обратившись в коренастого, а вернув себе свой величественный облик. – Ничего. Зверек утихнет, когда услышит твою песнь. Ну, начинай, последний левит! Какой сегодня день после субботы? Шестой? Давай! Как там у вас?

Твой незыблем престол,
И предвечен Ты Сам,
Реки возносят, о Господь,
Голос возносят свой...

Давай, пой, Шимон! Пой, левит! Смотри – видишь облако над нами? Это – Шхина, присутствие Божье! Пой гимн, написанный вели-

ким царем Давидом, одним из тех людей, пред кем даже я, в виде исключения, простираюсь в почтительном поклоне, хотя и у него были... гм... гм... известные грешки... С каждым словом этой песни облако будет опускаться всё ниже и ниже, пока не коснется обугленных камней, пыльных развалин и поваленных наземь Боаза и Яхина. И тогда ягненок уснет под ножом, и коэн вознесет его в обновленном Храме! И мираж, что сейчас качается, дрожит и мерцает пред твоими глазами, станет явью! А Храм... Вновь будет Храм. Да, это будет не людской Храм, это будет мой Храм. И что из того? Когда вы, люди, на земле верховодили, я вам верно служил. А теперь вы послужите мне. Ничего страшного! Зато раздолье-то какое! Можно кланяться любым богам, убивать, воровать, блудить! Спрос с рода человеческого не больше, чем с червей. Впрочем, вы и есть черви – кто же еще! Вы и раньше, когда Храм был ваш, и вся земля была ваша, мало чем отличались от червей – и убивали, и блудили, и поклонялись идолам, и, в конце концов, своими же руками разрушили этот Храм – вавилоняне разрушили его тело, но прежде евреи – его душу! А теперь некоторые из вас мне нужны, чтобы этот новый Храм стал явью! Пой же, левит!

– «Воцарился Господь... – хрипло начал Шимон, – могуществом облечен, препоясан Господь...»

Он поднял глаза. Облако, переливаясь неземными цветами, такими цветами, которых мы в этом мире не видим, а только во снах, опускалось всё ниже. Еще немного, и оно коснется пока еще призрачной плоской крыши и стен Храма, и херувимы вновь расправят крылья, и пальмы вновь расправят листья, и распустятся цветы в квадратных клетках решетки, и всё это перестанет быть хмарью и станет реальностью, и вот уже ягненок больше не блеет там, на Жертвеннике, он застыл, в ужасе глядя на приближающееся к нему лезвие коэнского ножа...

– Шимон, молчи! – в ужасе закричала Мирьям. – Шимон, не надо! Он – Повелитель тьмы.

Словно пелена спала с глаз левита.

– Шма Исраэль, – забормотал он. – Услышь Израиль, Господь един, Господь наш Б-г!

– Да хватит вам уже! – с раздражением сказал коренастый, вырастая на месте Черного. – Никакой он не ваш Бог. Он – мой Бог! Да и нет больше никакого Израиля.

– Есть, – упрямо повторил Шимон. – И Всевышний был и остается нашим Богом и ничьим больше!

Он вдруг запнулся.

– Благословенно имя славы царства Его во веки веков! – словно подсказку, прошептала Мирьям

– Благословенно, – воскликнул Шимон и вся благодарность народа Израиля своему Царю и Творцу зазвучала в его возгласе, – имя славы царства Его!

О, царство Его еще впереди, еще глухая ночь, и даже слава грядущего царства, то есть отблеск будущего, отблеск рассветного зарева еще не посылает нам ни одного лучика, ни одного блика. Но мы знаем, что оно, это будущее царство, настанет, обязательно настанет – ибо у нас есть бесценное сокровище – Его имя, имя этого царства, и это имя мы благословляем... во веки веков!

– Вы это прекратите! – зашипел коренастый. – Ну-ка, еще раз: «Воцарился Господь, Величием облечен...»

– Возлюби Господа, – неожиданно окрепшим голосом продолжал Шимон, – всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми душевными силами твоими. Да будут повеления эти...

– Замолчи! – коренастый, Черный, одновременно откуда-то из высей, и при этом сбоку, заскрежетал зубами и сорвался на визг.

Миллионы Малахей Хабала, ангелов-губителей, ощетинились. Те, чье тело целиком состояло из глаз, стали жутко вращать глазами, и из глаз этих вырывались молнии и сполохи пламени. Крылатые расправили черные крылья и, не в силах взлететь, угрожающе захлопали ими. Птичьи лица начали злобно, с клекотом, разевать клювы.

– Да будут повеления эти, которые я завещал тебе, ныне на сердце твоем! Да обратишься ты с ними к сынам своим...

– Не смей! – грохотали силы тьмы во главе с их Повелителем.

– Да произнесешь ты их, пребывая в доме своем и шагая по дороге и ложась и вставая.

Шимон срывал голос, стараясь перекричать царящий вокруг шум и грохот. И вдруг послышался новый, странный звук – словно какой-то треск донесся сверху. Он поднял глаза. Переливающееся всеми цветами, на тот миг приобретшее перламутровый оттенок, облако, уже почти покоящееся на крыше Храма, с хрустом оторвалось от нее и начало резко взмывать ввысь. Тотчас со стороны Жертвенника донеслось блеянье ягненка, вновь вырвавшегося из рук внезапно ослабевшего коэна.

– И навяжи их, как знак, на руку твою, и да будут они знамением меж глаз твоих...

Ягненок поскакал прочь от коэна – меж призрачных стен Улама, затем Притвора, поскакал по дымящимся обломкам этих стен, по обугленным развалинам, по покрытым пылью руинам, по трупам Боаза и Яхина. И тотчас же мираж стал разваливаться, уходить в каменное, деревянное, пепельное небытие. Лишь оскаленные пасти ангелов-губителей распахнулись перед левитом и его женой, да когти Повелителя тьмы потянулись к ним.

– «И напиши их на косяках дверей и ворот!»

Когти становились всё длиннее и длиннее. Они были уже в нескольких тефахах от них. Мирьям прижалась к Шимону. Он обнял ее, ни на миг не прерывая чтение древней и вечной клятвы.

– Да будет – если услышишь мои заветы, которые я завещаю вам сегодня: возлюбить Господа, Бога вашего, и трудиться ради него от всего сердца и от всей души и тратя все душевные силы...

Шимон читал и читал «Услышь Израиль!». Слова оседали витиеватыми буквами иврита, из которых выстраивалась тонкая, но прочная стенка. Когти Повелителя тьмы не могли проткнуть эту стенку, но и убирать он их не собирался. Ждал. «Я уже приближаюсь к третьему отрывку, – с ужасом думал Шимон, произнося: «...Чтобы продлились дни твои и дни сыновей твоих на земле, о которой я клялся тебе навеки». – Сейчас я закончу читать ‘Услышь!’, и он нас достанет!»

И действительно, стоило ему произнести заключительное «Эмет», «истина!», как стенка из букв зашаталась и рухнула. Непроницаемая тень нависла над Шимоном и Мирьям.

И вдруг зазвенел голос Мирьям:

– Песнь восхождений...

– Что-что?! – хором спросили Шимон, Повелитель тьмы и миллионы ангелов-губителей.

А Мирьям пела:

Песнь восхождений! Когда вернет Всевышний
Пленников Сиона, мы будем, как во сне!

Шимон неуверенно подхватил:

Будут полны уста наши смехом
Будут песни у нас на устах!

И, забыв о разрушении, забыв о Повелителе тьмы, с какой-то радостной силой запели вместе:

И тогда скажут в народах мира:
«Бог совершил великое с ними!»
Бог совершил великое с нами!
И да возрадуемся мы!

Небеса распахнулись, могучий смерч начал утягивать всё воинство Повелителя тьмы. Когти его, бывшие уже в тефахе от наших героев, стали отдаляться... отдаляться; его черное тело закружилось, завихрилось, утонуло в небесах, и крышка небес с громом захлопнулась.

ГЛАВА 25. ШЕЛ И ПЛАКАЛ

Ирмиягу шел, плакал и говорил: «Как жаль тебя, прекраснейшая из стран!» Он подбирал отрубленные руки, ласкал их, прижимал к груди и целовал, а затем заворачивал в свою одежду и, плача, твердил: «Дети мои, разве я не предостерегал вас, говоря: ‘Воздайте славу Господу Богу вашему, пока еще не наступила тьма и пока еще ноги ваши не споткнулись на горах мрака’. Об этом грозном часе сказано: ‘Подниму я плач и стон о горах и рыдания – о пастбищах пустыни’. Об этих прекрасных горах я буду плакать, и плач мой о Яакове станет рыданием». И вдруг он услышал:

Господи, возврати наших пленных,
Как в пустыню – потоки воды!
Те, что сеяли со слезами,
В радости соберут урожай!..

Ирмиягу пошел на звук песни. На поляне собралась толпа изможденных, окровавленных, избитых, измученных. Они с радостью и надеждой смотрели на молодого левита с абсолютно седой головой и рыжеволосую молодую женщину, очевидно, его жену. А те самозабвенно пели:

Тот, кто шел и горько плакал
И с семенами нес мешок,
С ликованием он вернется,
С песнею принесет снопы!

– Нельзя, чтобы женщина пела перед чужими мужчинами! – выкрикнул кто-то из толпы.

Застыла тишина.

– Можно! – неожиданно сам для себя произнес пророк Ирмиягу. – Можно. Сегодня можно! Как пророк Элиягу приносил жертвы на высотах, хотя разрешено приносить их только в Храме, так и я своей властью пророка сегодня разрешаю этой женщине петь.

И тут он и все остальные увидели: облако, переливаясь неземными цветами, такими цветами, которых мы в этом мире не видим, а только во снах, опускалось всё ниже. Были в нем бордовость заката и серебро звезд, чернота ночи и голубизна утра, синева моря и белизна снега, зелень травы и золото солнца, и всё это усиленное в десятки, в сотни, в тысячи раз...

– Шхина... шхина с нами! – прошептал Ирмиягу, не отрывая глаз от облака. – Храм с нами! Какой сегодня день? Пой, левит!

Шимон вдруг почувствовал, что не может выдавить ни звука – то ли от слез, то ли от счастья, то ли от хрипоты.

– Нынче... – начала Мирьям, – шестой день после субботы святой, день, когда левиты в Храме поют... то есть пели...

Она, сдерживая рыдание, посмотрела на Шимона. И видя, что он молчит, запела сама:

Воцарился Господь,
Могуществом облечен.
Препоясан Господь...
Воцарился Господь.

Шимон по-прежнему молчал. Перед глазами вставала злополучная пещера, где он в первый раз увидел коренастого, жабы, прыгающие по брусчатке Храмового двора, похороны матери, ангелы-губители... И вдруг он увидел, как из пепелища вырастает новый Храм, белый Храм в золотом венце, прекрасный Храм! Как поднимаются обрамленные белыми колоннами ажурные галереи, где снуют левиты в белых шапочках и коэны в золотистых тюрбанах, как расстилаются плиты Храмового двора и как распахиваются золотые створки дверей в его гладкой белой стене... Как, словно свежие весенние побеги, тянутся к его стенам изящные белые лестницы и пандусы и как по ним вереницей движутся тысячи людей в праздничных одеяниях, как вспыхивает огонь на Жертвеннике и дым белым кружевом уходит в небеса! Да, пока еще этот Храм призрачен, ох, призрачен, но настанет день, и он обретет плоть, и небо над ним станет алым, и сквозь окна его в мир польется свет!

И тогда Шимон запел. Как мог. С облака Шхины на него падали перламутровые слезы, а он шел и пел, и пел...

Твой незыблем престол,
И предвечен Ты Сам,
Реки возносят, о Господь,
Голос возносят свой.
Реки вздымают валы,
Но сильней ревущей воды,
Сильнее морских валов
Господь в высотах Своих!
Предсказанья пророков Твоих
Все подтвердятся, Господь!
Явится Храм Твой, прекрасен и свят, –
И до скончанья времен!

Вячеслав Шаповалов

«Мы миру не должны!..»

* * *

Ослепший лес
Облит бессмертным светом.
Христос воскрес –
И пожалел об этом.
Темна юдоль –
Горнило чуждой воли,
Воскреснуть – боль
Мрачнее смертной боли.
Но как же – жить,
Куда от муки деться?! –
Лишь сердцем длить
Счастливый плач младенца.
Вернуться – ввысь,
Всеобщим горем мучась.
И это – Жизнь.
И это – Божья участь.

КАЛЕМ

> Сама арабская вязь поизысканнее любого орнамента; хорошо, что я ее не умею читать: смысл расплющил бы и чудо, и тайну.
>
> *А. Мелихов*

чернь с золотом калем араба слова рождает тишина
на камне вздрагивает слабо строки спиральная струна
на вздохе выдохнется флейта непостижима и легка
покуда купола кувейта горят над маревом песка
и по веленью демиурга или по правилам игры
дробятся смыслы петербурга мумбая мерва бухары

где птица счастья уронила сомненья легкое перо
одни деянья азраила зло трансформируют в добро
косноязычный сей архангел в архивы высшего суда

сдает по описи охранник всё что сгорело без следа
что сказано давно на свете записано занесено
в анналы и уже бессмертью по сей причине суждено

пророк смолчал про эти стены где временны все времена
и безымянны перемены и неизменны имена
не зря серебряная птица перечеркнула небосвод
дорога караванам снится и водам снится мореход
далёко отступило море мы вслед вздохнем спеша в делах
барханов желтые нагорья откликнутся: велик Аллах

возьми перо умерь дрожанье для мира слово запиши
коль так устал от воздержанья всегда несдержанной души

ВЕЧЕРНЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ О ВСЕНАРОДНОМ ДИКТАНТЕ

Года шалунью-рифму гонят…
Sic transit gloria mundi…

Транзитом прёт мирская слава.
Года ж, выстраиваясь в ряд,
«А не пошла бы ты, шалава!» –
шалунье-рифме говорят.

Аналогично и от прозы
создатель слышит в некий час:
«Отец, оставь свои угрозы!» –
и это всё не в бровь, а в глаз.

Но – ждет. Его момент настанет:
он выпьет гордо свой кефир,
и челюсть вставит, и воспрянет,
и выведет: «Война и міръ».

Но жизнь с ухмылкой диверсанта
судьбе командует: «Мотор!» –
и тон тотального диктанта
неумолим: «Вина и Мор».

СНАЙПЕРША

1

стерва скрипачка крыжовник ягодка в колкой листве
кончился век твой прожорлив лампочка гаснет во сне
жизней консервные банки время вскрывало шутя
ясно свежа после пьянки шлюха убийца дитя
что сквозь прицел карабина в чьи-то смотрела глаза
чтобы судьбу окропила пули немая слеза
думала всё позабыла как закрываясь плечом
смертную мглу проходила с лёту скрипичным ключом
и не меня полюбила неоднократно причем
и притвориться спешила смертью и тут же врачом
вот сорвалась ты на трассе можно сказать ни за грош
на очумелом пегасе нового века гаврош
помнится только стена мне в доме бездомном твоем
выкрики смех и стенанье с жизнью и смертью вдвоем
тянемся к телеэкрану плоть от бессонниц отвлечь
где совращает саванну разноязыкая речь
черный огонь никотина кислые годы страны
всё что на нас накатило наша вина без вины
только заложница только красный террора зрачок
на пол хрустальный так тонко падает твой башмачок

2

Когда тюрчанку из Шираза
Своим кумиром изберу,
За родинку ее отдам я
И Самарканд, и Бухару.
Хафиз (*Пер. С. Липкина*)

Соленый хлопок. Марево луны.
Щит сонного генсека с *Миру – мир*'ом.
Ты тешишь цель ее последним мигом.
Вот я – стреляй под тихий плач муллы!
Мы на краю времен и на краю
пространств – душеспасительная фраза.
Пустой кабак с фасадом от лабаза
в безлюдном героиновом раю.

Ты, спящая, в мои стучишься сны,
единственная в подлинном и мнимом,

я твой лунатик, я тащусь по минам –
там твое тело в запахах весны.
Арык бормочет отповедь ворью.
Горчит вина глумливая проказа.
Я жду с террасы пыльного «Шираза»
твой голос, юной суки айлавью.

Не умолкай – мы миру не должны,
какой уже бенладен лег костьми нам
в угоду, невиновным и невинным,
не уходи – мы миру не нужны.
Не умирай! – когда я кровь пролью,
впотьмах сложи ладони для намаза.
За родинку твою, за бланш вполглаза –
отдам дурную родину свою.

* * *

Dahin! dahin!..
И. В. фон Гёте

Как в анекдоте, в мареве седин
оставшийся негаданно один,
лицо в ладони погрузив, – о-омин,
туда, мой друг! – зовешь, – dahin, dahin! –
я знаю край, – твердишь, – там всё в цвету,
там мотыльки сгорают на лету,
там сняли скальп у альп с умолкших рощ,
там серых скал истаявшая мощь,
там шире горизонт, чем круг земной,
очерченный китайскою стеной,
там дочери и сын твой навсегда,
там в чуждых родниках звенит вода,
там годы не оставили следа,
туда! – хрипишь, – я вас молю, туда,
dahin, dahin! – и на фига ж им плыть,
очей бездомных сдерживая прыть,
кого вести, когда, глаза закрыв,
тропа стремглав бросается в обрыв,
зачем же звать – из лжи в другую ложь? –
но ты – зовешь,
зовешь, зовешь, зовешь...

БОГ ЕСТЬ ЯЗЫК

В память о М. Л. Гаспарове

…Удалился философ,
Чтоб лопухам преподать геометрию неба.
Н. Заболоцкий

1

Он умер, как сам и предвидел: удел мудреца,
так скажут сироты-филологи. Это, однако,
неправда. Но что это всё же, судьба иль отвага? –
от смерти, от жизни, от ветра не прятать лица,
предвидеть финал этой подлой прекрасной игры
и, с прежней улыбкой являя свою крутолобость,
сквозь муть опечаток искать лишь единственный логос!
А впрочем, и эта стезя – до поры, до поры...

2

...Как в юности рвемся в тот фокус, из коего нет
возврата, – в его, с кривизной иль сеченьем, пространства,
анналы, о нас повествующие беспристрастно,
в сады, катакомбы и прерии дней или лет,
воссозданные паранойей из тех, что до нас
уже не дошли, бесконечных, бескрайних вселенных,
но до расширенья совсем беззащитных, мгновенных,
нечитанных текстов, эскизов не выросших рас...
Язык.
Минотавр виртуальной подкормки!
Язык,
пустая вселенная, без середины и края,
колода реальностей, до воплощенья – немая,
цепочка значков, узелков, ненаписанных книг,
неистовый форум, метафор стоглавый дракон,
алголов глаголица и лицедей лексиконов,
двусмысленных истин творец, сопрягатель законов
и сам в этом смысле обретший себя как закон:
о, вспомните, дьяволу взнос за бессмертье – душа,
но есть у души и вторая цена роковая –
за знанье речений земли душу злу отдавая,
за дудочкой шли мы, тропой любомудров спеша.
Гигантская бездна, где всё поместиться смогло –

история вечности и сотворение твари,
свеченье фаворское, мгла одуренья в угаре,
и числа, и смыслы, и благо, и прочее зло:
вглядеться в тебя, отшатнуться –
но поздно,
и Ты
воззрился в ответ в протоплазму, что мучит фонемы,
за шаг до сознанья, что все мы – конечно же, все мы! –
Твои порожденья с тех пор, как отпали хвосты,
мы блудное чудо, но Божье творенье при том –
и тешимся вечно, от гордости тварной зверея,
то речью ручья и вполне тростниковой свирелью,
ухмылкой сатира, то вдруг бессловесным огнем!

3

А Ты чего ждешь, предлагающий сделку всем тем,
чьи души во мгле Языка не приемлют покоя,
что с нами, Отец, сотворил Ты однажды такое:
всяк, мучимый словом, вовеки не понят и нем.
Откуда, откуда печаль эта, привкус беды:
в мгновенья, когда мы пронизаны блещущим миром,
от жажды легко умираем над плотью воды –
за что же нам это даровано, глупым и сирым?
Вначале («*в Начале*»!) вещает пророчеств дневник –
лишь Слово, баллон с кислородом для нищего духа,
а позже всё сущее в мире для зренья и слуха –
слова, вдруг обретшие силу? – нет, дело не в них.
Часть Речи, что каждый как Божию силу обрел, –
праматери-матрицы разум, дарован игрою,
в руках геростратов воняющий нефтью сырою,
не имя, не имя, не имя – но некий глагол! –
на сердце пометка, рулетка всех наших надежд,
плевок озаренья, что змием приткнулся на древе,
геном преступленья, до времени спящий во чреве,
дитяти в зеленом побеге крылатый мятеж!..
Как истинный (кто сомневается здесь?) демиург,
Ты ярок и щедр – и всегда откровенно стервозен
и мелочен. В целом же, над микроскопом, Ты грозен
и неотвратимо системен, ведь мы – дело рук...
Ты счастлив: адептов своих наказал немотой,
коротким дыханьем и горьким похмельем – поэтов,
за то, что тревожат вопросы, где нету ответов,

за эту подглядку в Твой внутренний тягостный строй.
Понятно, что жизнь наша так нам порой дорога, –
ведь тварей своих Ты повадкам учил монетарным:
несчастным слепцам подарил лабиринт с минотавром,
и сверху глядишь – сколь милы тараканьи бега!

4

...Филолог он был и творец, чернокнижник и раб,
свободен, бездомен, он – помнишь? – стоял у порога,
толмач безъязычья, таинственно чующий Бога,
тангейзер, не чтущий итога. Как худ был, как слаб!
Аскет и мудрец, он себя посвятил до конца
Тебе – в человечьей купели и в доме из камня,
Тобою с рожденья наказан – тоской заиканья,
громадой безмолвья – и мыслью, восшедшей в сердца.
Эпоха прошла. И другие за ней. Потому,
от яств отвратясь и постигнув игру человечью,
он голос обрел – и к Тебе повернулся навстречу:
узрел пустоту, но о том не шепнул никому.

...Я мальчиком Слово услышал, когда он разъял
и вновь возродил беззащитный и радостный атом.
В году это было, припомню, 69-м,
о странствиях вечных, о строфах цепных он сказал.
Что ж, жизнь опустела. Пришел понимания миг.
Вот призрачный храм Твой, сиречь Вавилонская башня,
я Слово услышал, теперь помереть мне не страшно –
что «Бог есть любовь» не уверовал:

Бог есть Язык!

Бишкек

Вера Зубарева

Памяти дома

* * *

Вот пал еще один... Как будто бы сапер
На минном поле жизни подорвался.
Сорвавшись с тонкой ветки, через двор
Лист похоронкой кружит в ритме вальса.
Клубится пыль, где дом успел осесть,
Еще не понимая, что случилось,
И дерево оплакивает весть,
Оно навек с балконом разлучилось.
Трещат ступени, рушится карниз,
И херувим остался без опеки.
Пал занавес стены, и мир кулис
Открыл всё то, чем живы человеки.
А чем душа жива – не на виду.
Дождавшись в уголке укромном,
Придет во сне, чтоб мучить наяву,
И, жизнь спустя, всё так же зваться домом.

* * *

Уходит город с волнореза.
Вдоль обезлюдевшей косы
Плывут качели и навесы
И не имеющие веса
Его фонтаны и дворцы.
Конец каникул, воздух замер,
Струится память по воде,
Бормочут волны свой гекзаметр,
Баклан с печальными глазами
Нудит весь день по ерунде.
Ну что еще? – Остатки света,
Письмо, застрявшее в уме,
И вариации ответа
Тому, кто снится на корме...

* * *

В серых двориках днем безлюдно,
И внутри домов неуютно –
Пусто, холодно, и снаружи
Мерзнут голуби, мерзнут лужи,
В море судно дрейфует льдиной...
Всё дрейфует судьбой единой –
От морей до земель, что раньше
Были ваши, а стали наши,
От надежды до почтальона.
В театре пьеса времени оно.
Ходят люди, читают афишу
И как будто бы стали ближе.
Мир плывет по дуге небосводной.
Вход свободный в стране несвободной.

* * *

Опять пришел ноябрь из прошлого.
Мы вечно прошлому должны,
Пусть даже в нем лишь горсть хорошего,
А так – всё слякоть и дожди.
А так – всё бегло, хоть и значимо,
Всё то, что в памяти храним,
Как день рожденья, что оплачем мы,
Коль некого поздравить с ним.
Стоит расстроенное дерево,
Раздето с головы до пят,
Но в ветках очертанья терема
Вдруг открывает листопад.

* * *

Хлещет по стеклам ноябрь.
Город к штормам готов.
Дом поставлен на якорь.
Якорь отлит из снов.
Крепче стали их сплав.
Дерево-дирижер

Машет, листвой всё устлав.
Берег его бережет.
Время осенних сюит.
В городе листопад.
Звон над морем стоит.
Плачет море-Синбад.
Это колокола
Ожили на ветру.
Это поет холода
Кто-то там, наверху.

* * *

Памяти отца

Еще так много не случилось,
А всем хотелось поскорей.
Октябрь стоял, окно лучилось,
Но всё случилось в ноябре.
И листопад кружил нарядно,
С ним весть, и проблеск высоты,
И листьев солнечные пятна
По ряби стынущей воды.
Качались бликов акварели,
В них – будущего зыбкий сказ.
И ты качался в колыбели
И видел сны про всех про нас.

* * *

Ждали снега, а выпала белая грусть,
Бегло веток коснулась и крыш окаёмки.
Ну а память читала себе наизусть
Про заснежье дворов и парадных потемки.
Лихо ветер закручивал челку волны,
Город к ночи шагал тяжелей и зеркальней,
Спали люди с обратной его стороны,
Отливало трюмо заоконностью в спальне.
И катились под горку салазки ли, жизнь,
Представленья о будущем или о прошлом.
И подбадривал ветер их вслед: «Не тужи!»,
Будто это и впрямь еще было возможно...

* * *

Проснешься – а в окне зима
Смела приметы века.
Стоят деревья-терема
В кокошниках из снега,
Ведет калитка в глубину
Приснившейся аллеи.
Глядишь, всё больше веря сну,
Как будто он навеял
И льдинку тающей луны
С утра в просветах сизых,
И дух старинной тишины,
И лепку на карнизах.

* * *

Скоро, скоро закончится этот февраль.
Снег не выпал, а выпала жизнь на распутье,
Словно кто-то небесный там с ней поиграл
И оставил взамен только облачко грусти.
Сколько жизни-воды утекло с тех времен!
Возвратилась бы снегом, подумаешь ночью
И представишь себе, как несет почтальон
Ворох писем, разорванных в снежные клочья...

Филадельфия

Вадим Ярмолинец

Мотоциклистка

Н.Б.

– Здравствуйте, – сказала она. – Это – редакция?

– Редакция, – ответил я.

– Я бы хотела отправить вам свой рассказ.

– Отправляйте. Адрес электронной почты есть на нашем вебсайте.

– Отправила, – сказала она. – Проверьте, пожалуйста, получили ли.

«Насточивая какая», – подумал я и проверил почту.

– Наталья Веретельникова, это – вы?

– Я. Рассказ называется «Мотоциклистка». Когда я смогу получить ответ?

– Если ваш текст нам понравится, мы с вами свяжемся, хорошо?

– Вам понравится, – сказала она.

Не знаю, какая сила заставила меня прочесть ее рассказ сразу. Его героиня – юная мотоциклистка – носилась по Нью-Йорку на своей красной «хонде», как свихнувшаяся фурия. В некоторых местах ее уже узнавали. Когда она останавливалась на светофоре на 18-й авеню и Оушен-парквей, тандырщик Бахала, широко улыбаясь ей в окно своего заведения и утирая руки о фартук, говорил: «Ай, хар-рошия стерва!» Из-за рокота двигателя она, конечно, не слышала его и только махала рукой, мол «привет», и газовала так, что слышно было на Стилвелл-авеню, до которой было кварталов десять. На Кони-Айленде мексиканец Марио из автомастерской у «Тоттоно», бросив покрышку у приподнятого на домкрате «кадиллака», и, утирая пот со лба, кричал ей: «Эй, чикита, резину не надо поменять?!»

И ему она махала рукой в короткой черной перчатке, уносясь в сторону Брайтона.

Скорость была ее наркотиком. Как чайка Джонатан Ливингстон, она научилась перемещаться в то пространство, где время замедлялось по сравнению с временем мира, через который она летела. Она двигалась с молниеносной точностью. Однажды, когда заболтавшийся по телефону лимузинщик прижал ее своим стрэчем к бетонному разделителю полос, она смогла расстегнуть шлем, снять его, разнести им стекло в его двери и, когда лакированный борт шарахнулся с диким визгом вправо, проскочить в спасительный зазор между ним и

бетоном. И всё это в *долю* секунды. Когда, облившийся ледяным потом бедолага, приходил в себя на обочине, она уже неслась по Нэссо-экспрессвею, оставляя справа за плечом аэропорт Кеннеди и идущий на взлет «боинг» – черный на фоне розово-золотого заката. Она не слышала его сиплого рева, в наушниках ее шлема гремел Deep Purple. Она наращивала обороты в унисон органу Джона Лорда, и движок ее мотоцикла, слышалось ей, стучал мощно и точно, как бас-гитара Роджера Гловера.

«Никто не побьет мою машину, но я побью скорость звука, я влюблена в нее, я не могу без нее, я истеку кровью за нее! Она – как дикий ураган, да! Держись крепче, я – звезда автострады!»

У безостановочного мотания этой звезды по бетонному кружеву нью-йоркских дорог была своя цель. Она мечтала, как в один прекрасный день, когда она притормозит на светофоре, ну, пусть на той же Оушен-парквей и Беверли, погромыхивая двигателем, выкатит к ней на своем черном «харлее» парень в кайзеровской каске с пикой и кожаном жилете, открывающем его мускулистые руки. Встав рядом, он посмотрит на нее и улыбнется из-под пшеничных усов подковой. Ее мотоциклист.

Я написал ей, что рассказ выйдет в ближайшем пятничном номере, на нашей еженедельной литературной странице, и она может зайти в редакцию и взять несколько экземпляров газеты, если не купит ее в киоске. Признаюсь, мне хотелось с ней познакомиться покороче. Хороших авторов у нас тут, как говорится, раз-два и обчелся.

Наш художник Миша сделал к ее рассказу отличную иллюстрацию. Это был коллаж. Он был мастером коллажа. На бровке тротуара сидела Клаудия Шиффер из журнала «Вог», если вы еще такую помните, в узких джинсах, в клепанной-переклепанной кожаной куртке, рядом стоял мотоцикл, а за спиной, как трассирующие пули, летели в ночное небо окна небоскребов.

Ясное дело, я ждал появления в редакции девицы с коллажа. Я представлял даже, как она войдет, снимет шлем и, мотнув головой, выпустит на плечи шелковую волну волос. Но я ошибся.

Роста среднего, худощавая, русоволосая, сероглазая, лет тридцати. Голубые джинсы, туфли-лодочки, серая кофта, расстегнутый воротник простой белой сорочки открывает ключицы. В руке несколько связанных шнуром холстов и папка бумаги. Художница, наверное.

– Здравствуйте, я Наташа Веретельникова, – сказала она. – Это я вам рассказ присылала.

– Садитесь, – я поднялся и указал на свободное кресло. – Хотите кофе?

Раскрыв газету на странице с рассказом, она рассматривала ее с явным удовольствием.

– Вы очень хорошо пишете, – сказал я. – Этот рассказ вполне мог быть опубликован в каком-нибудь московском журнале.

– Да? – она как будто удивилась. – Но ведь я не знаю там никого, и они меня не знают. А их там, наверное, заваливают этой писаниной.

– Но ведь вы и здесь никого не знали.

– Не совсем. Я вас читала, и мне казалось, что вам мой рассказ понравится.

– Да?!

Я расстаял. Еще бы – она читала меня! Она знала мой вкус!

Короче. Это был ее первый рассказ, а вообще она хотела написать книгу – остросюжетный детектив, по которому потом можно было бы еще снять кино. Ну, в общем, обычные писательские грезы. Она спрашивала меня, почему я еще сам не написал детектив. Газетная работа, объяснял я, не оставляет времени на большие тексты, хотя и подбрасывает массу отличных сюжетов. Многие статьи вполне могут служить заготовками для рассказов и даже романов. Помните, как Бунин с Чеховым выискивали за завтраком сюжеты в утренних газетах? Помните? Да, что-то такое помню, отвечала она.

Я, что называется, распустил перья. Я поучал ее. Раскрывал тайны ремесла на примере собственных произведений. В том же номере, где была опубликована ее «Мотоциклистка», шел мой очерк об одном типе из Чебоксар, который похитил семилетнюю дочь у бывшей жены и сбежал с ней в Штаты. На что он надеялся – непонятно. Наверное, наслушался сказок про нашу систему соцобеспечения. Но уже в Нью-Йорке оказалось, что его не может принять ни один приют – в общежитие для одиноких мужчин его не брали из-за девочки, а так называемые «семейные», по сути, были женскими, куда не брали его. Расстаться с дочерью он не хотел, опасаясь, что у него отберут ее. Получая отказ в одном месте, он отправлялся в другое, где снова слышал отказ. Всё это время за ним шла полиция, которой сообщили о беглеце через посольство. Я узнал эту историю от появившейся в редакции обезумевшей мамаши, которая бросилась в погоню за своим ребенком, но не знала, с чего начинать поиски. Короче говоря, гостя из Чебоксар поселили в каком-то католическом хостэле, а когда полиция постучала в его дверь, он выпрыгнул с дочерью из окна. Она упала на него, покалечилась, но уцелела. Он разбился, конечно.

Гостья слушала с явным интересом, повторяя: «Да, это я обязательно прочту».

Провожая ее, я вышел за ней на улицу.

– Вы не на мотоцикле? – спросил я.

– Нет, что вы, я подходить к нему боюсь.

Мы дошли до автобусной остановки, где еще поговорили минут пять-десять. Когда я вернулся в офис, наша секретарша Лена, убирая чашки со стола, сказала:

– Ну, вы тут и ворковали, просто как голуби! Телефончик оставила?

– Лена, ну что ты такое говоришь? – ответил я. – Она меня заинтересовала как отличный автор.

– Ага, – сказала Лена. – Знаем мы ваши интересы.

– Ничего ты не знаешь.

Настроение у меня было превосходным. Был очень яркий солнечный день, небо – глубокое-голубое, без единого облачка, воздух еще острый, свежий, как это бывает только в самом начале нашей стремительной нью-йоркской весны. Помню всё это, как сейчас. Есть такие дни, дни такой поразительной гармонии мира, такого радостного ощущения полноты жизни, которые остаются с тобой навсегда. И тут еще эта встреча.

Больше я Наташу не видел. В смысле, видел еще один раз, но об этом чуть позже.

Короче, прошел, может быть, год, может полтора, и я получил бандероль, в которой оказалась ее книга. Довольно-таки увесистая. На титульном листе под фамилией автора и названием – «Побег» – была дарственная надпись: «Вдохновителю этого романа с благодарностью от автора». Это было занятно. Читать его я, понятное дело, не стал. Откуда время на 500-страничные фолианты начинающих письменниц?

Прошло еще лет десять. А может быть, и больше. Один раз, просматривая свежий номер нашей газеты, я натолкнулся на предпоследней странице на некролог. Умерла Наталья Веретельникова. Из дат следовало, что ей было 43. Ком встал у меня в горле, хотя – посудите сами: кем она была мне? Никем. Но горло перехватило. И жгучая такая слеза навернулась на глаза, признаюсь.

Я отправился в похоронный дом, проводы были в «Яблокове», нашел нужный зал. Вошел. Дюжина опечаленных родных и близких сидели перед стоявшим на небольшом возвышении гробом. В нем лежала очень худая женщина в ярко-красном платье. Это была другая женщина, неузнаваемая, – всё же нас разделяли годы, за которые с ней много чего могло произойти. И произошло.

Я присел на свободный стул и негромко спросил соседку, что было причиной смерти. Она удивленно посмотрела на меня, словно

спрашивая – откуда я здесь взялся, если задаю такие вопросы, тяжко вздохнув, обронила: «рак» – и отвернулась.

Потом к гробу вышел немного помятый и бесконечно растерянный мужчина с седеющей бородой и предложил выступить тем, кто хотел бы что-то сказать о покойной. На меня он смотрел с тем же растерянным удивлением, но подойти не решился.

Я посидел еще минут пять, мучительно осознавая, насколько я здесь лишний. Никто не выступал. Женщины утирали глаза, кто-то сморкался. Все испытывали неловкость в пустоте, не занятой ритуалом церковных проводов, бормотанием молитв, дымом кадила, общей мобилизацией духовных сил, обращенных к нашему Творцу с тем, чтобы Тот позаботился о новопреставленной. Вот в таких-то ситуациях и обнаруживается, как плохо, все-таки, без религии.

Спускаясь по лестнице, я подумал, что поступил нехорошо. Понятно, что мне не обязательно было рассказывать чужим людям о своей единственной встрече с покойной, о том, как крепко засел в моем сознании образ ее мотоциклистки, но хотя бы мужу я должен был это объяснить. В самой краткой форме. Иначе, что он мог подумать? Что бы вы подумали на его месте в тех обстоятельствах?

В редакции у меня было мелькнула мысль найти в старой подшивке ее рассказ, но я побоялся. Как вы знаете, память всё сохраняет в улучшенном виде и проверять реальностью годами выношенные иллюзии лучше не надо. Но ее книга по-прежнему стояла на полке, куда я ее когда-то поставил.

Читаю я быстро, и часам к девяти вечера, когда в редакции уже никого не было, я добрался до середины тома. Я остановился на том месте, где герой приходил в редакцию русской газеты в Бруклине. Она была описана с удручающей точностью – от темноватой железной лестницы на второй этаж офиса над универмагом «Мэнди» до встретившего его редактора – «автора с самомнением, которому, однако, не достались лавры Довлатова, быстро исчерпавшего тему обиды на оставленную родину и занявшегося сатирическим описанием своих товарищей-иммигрантов».

Оспаривать верность этого психологического портрета было бессмысленно. Как говорится – что написано пером, не вырубишь топором. Я закрыл книгу. Нет, тут, конечно, обижайся не обижайся, а журналистская профессия, я думаю, – единственная, которая намертво привязывает иммигранта к этой так называемой буферной зоне между прошлым на родине и американским будущим. Это будущее для него никогда не наступает. Отсюда довлатовская тоска, ущербная жизнь, ущербные типы, едкая ирония, слезы с водкой. Медикам, юристам, программистам в этом плане легче. Их профессиональная среда

всё же способствует трансформации в «гомо американус», журналистика – никогда.

И тогда на автобусной остановке мы это обсудили тоже, посмеявшись заодно над лубочными красавицами из Пасси, потчующих борщом бывших белых генералов, и заключив, что самым органичным и оптимистичным иммигрантским романом является, конечно же, набоковский «Подвиг».

Ах, какая это была минута абсолютно прекрасного единомыслия! Минута счастья, если хотите. И тогда же я поймал брошенный ею взгляд на мою руку и то, как она поправила на пальце свое колечко – тонкий обруч с миниатюрным ирландским трилистником, зеленовато-голубыми опаловыми сердечками в золотой окантовке. Она словно просигналила мне: я свободна. Хотя, может быть, всё это моя фантазия.

– Проблема в том, – говорила она, – что уехав оттуда, мы перестаем интересовать их и, по большому счету, они перестают интересовать нас. Я хорошо помню, от чего уехала: чтобы скучать по оставленному. Но я чувствую в этом разрыве что-то... противоестественное, что-ли... Ведь я не перестала быть русской, верно? И поэтому я бы хотела написать такой роман, который как-то связал бы ту нашу старую жизнь и эту. Чтобы он был актуален и тут, и там.

– А вы возьмите для своего романа мою историю про самоубийцу с ребенком, – сказал я. – Чем вам не актуальный сюжет на две страны? Всё, что вам нужно, это, как герою «Театрального романа», сделать свою коробочку со сценой и стать кукловодом всех этих типов. Главное – начните, и, как только ваши герои оживут, они сами доведут дело до конца.

– Да, надо прочесть вашу статью, – повторила она.

Подкатил автобус, с шипением открыл двери, присел к бровке. Мы пожали друг другу руки. Я видел, как она расплатилась за проезд, потом села у окна и махнула мне на прощание. Вот и всё.

Она действительно взяла мой очерк и, как говорят портные, перелицевала его: сюжет стартовал в Бруклине и двинулся в обратном направлении – на родину героя. В ее сюжете нашлось место и для меня. Конечно, портрет вышел отнюдь не комплиментарным, но, слушайте, искусство требует жертв, в смысле – правдивости. Кто-то скажет, что можно было бы обойтись и без этого, но я ее понимаю, как никто, – таким образом она дала понять, откуда взяла начало ее история. Порядочный автор делает так всегда, и тут неважно – расшифрует это кто-нибудь или нет. Это признание предназначается для того единственного, кто обладает копирайтом.

Я не стал дочитывать ее роман. Я аккуратно положил его в ведро

для бумаг у стола, даже удивившись тому, насколько безболезненно это у меня получилось. Как раз вовремя – в комнате появился ночной уборщик и, толкая перед собой серый пластиковый контейнер на колесах, стал опорожнять в него содержимое стоявших у столов ведер. Дошла очередь и до моего.

В этом романе были хорошие, живые страницы и яркие детали, но очевидная для меня авторская задача, к которой, признаюсь, я давно уже потерял всякий интерес, убила в нем то, за что мы ценим настоящую литературу, – возможность таких открытий, каким была для меня ее мотоциклистка. Свихнувшаяся фурия на красной «хонде», летящая по Нэссо-экспрессвею наперегонки со взлетающим «боингом». Машущая рукой в короткой черной перчатке тандырщику Бахале на 18-й авеню. Поджидающая своего мотоциклиста у светофора на Оушен и Беверли, – мускулистого парня с пшеничными усами в кайзеровской каске. Поправляющая изящное колечко с ирландским трилистником на тонком пальце. Улыбающаяся мне в окно уходящего автобуса.

В этих мгновениях было столько абсолютно совершенного в своей нереализованности счастья, что – умри, но хотеть чего-то большего – от литературы ли, от самой ли жизни, – было просто глупо.

Нью-Йорк, 2020

Борис Фабрикант

* * *

Подмастерьем весь день отработал,
по порядку расставил слова,
всё и складно и ладно, да что-то
задевает мне сердце. Едва
перечту, будто снова услышу,
как стояли слова в том дому,
где рожден под разбитою крышей,
и осеннюю львовскую тьму,
перешитую из одеяла,
и отца хрипотца там стояла,
вкус томившейся каши под пледом,
там за светом слова сходят следом.
Только в сумрачной мастерской
не такой позабытый покой,
нет компота из ревеня,
нет печёного*, «Красной Москвы».
Но услышу к исходу дня
часовые отсчеты совы
непроснувшемуся ночничку.
И сплетаются запах и звук,
возвращаются в замкнутый круг
и к младенческому родничку

---

*печёное – выпечка

* * *

Хорошо бы стихи написать ни о чем.
Как неверный диагноз поставлен врачом.
И, цепляясь за рифмы, придумать слова
Из таких словарей, что запомнишь едва,

Чтобы петь за столом, будто жизнь коротка,
В непонятных словах, иностранных слегка.
Днем и утром, хоть дождь и ночная роса,
Будут нам подпевать, подпевать голоса.

Но про жизнь и про смерть не забыть нипочем,
И тревожно дрожит этот стих ни о чем.

Если петь жизнерадостно песню в окно,
Жизнь была б на земле веселее давно.

Хорошо бы стихи написать не о том,
Что диагноз «здоровы» поставлен потом,
Чтоб рождественской сказкой закончился год.
Как споете про жизнь, так она и пойдет

* * *

В разбитом трамвае
задев куртизанку в халате
и не обернувшись
на тихое
слышишь касатик
в немытые окна
не глядя и звуков не слыша
средь криков и скрипа
и стонов и вони и гула
спит римский солдатик
сменивший три дня караула
почетного там
наверху у распятий
с просохшим копьем сладким сном
про недавнюю Ривку
домой на побывку
где к небу пологий подъем
и долго живешь на закате

* * *

Утро свет наливает, как лампочка в доме глухих.
Где незрячие, ветер в стекло лупит веткою в било.
Все поймут, что в страну снова утро пришло для своих
и костяшкой на счетах скользит из что будет в что было.

С каждым разом наводит оно белый день на плетень,
где под паром полжизни лежало, не зная посева.
Утро справа всегда, и поэтому знаем, где тень,
от нее до утра продолжается ночь, это слева.

Нам скостили срока с сорока, эх, была не была!
Нам бы тоже пройти позабыть, чтобы прошлое сплыло.
Сколько лет до свободы – по дну и песку, и могилам?
Столько времени нет. Всё хозяйство, семья и дела

* * *

У нас второго нет состава,
С листа свою играя роль,
Ты примешь свист и крики «браво»,
И смех, и слезы, плач и боль.

Блуждая в закоулках странных,
Меж декораций и потерь,
В них, нарисованных, туманных,
Всегда найдешь глухую дверь.

Трагедия – котурны, шпаги
И шутовской колпак раба,
Любовь и кровь, пиры и флаги.
И бутафорская судьба.

Но в ярком свете настоящем,
Дневном, ломая ход картин,
Ты под конец сыграешь в ящик.
Цветы, овации, один.

И в скудном поднебесье низком,
С трудом снимая мокрый грим,
С чужим лицом столкнешься близко
И не вернешься за своим

* * *

Камушек, скатившийся с обрыва,
На лету разбивший пустоту.
Темно-фиолетовая слива
Плавно вырастает в темноту.

Ссыпанные столяром опилки,
Звездный неиспорченный наждак,
На сушилке сложенные вилки
Подают, отсвечивая, знак.

Пиджаки с пустыми рукавами
Помнят форму, запахи и швы.
Всё, что было, повторится с нами.
Над землею фитильки травы,

Падают иголки мятой елки,
Высохшей за праздники в тепле.
Всё как будто сложено на полке,
Смутно отражается в стекле.

И дома, и люди, паровозы,
Птицы, глина, детские следы,
Облака, дороги и занозы,
И цветок, лежавший у воды.

Для всего еще хранится слово
Как скрипичный правильный настрой.
Мы, прощаясь, возвратимся снова
И срастимся, изменяя крой

* * *

Неизбежный конец признавая,
Счастлив я, что сегодня живу,
На закаты друзей зазывая,
В октябре провожая траву.
До земли, с окончанием лета,
Ветви гнутся под весом плодов.
Эти строчки дождя – часть куплета,
Часть припева для песни без слов.
По насечкам на том циферблате,
Где минутные стрелки ветвей,
Приближаются красные даты
Повторяемой жизни твоей.

Я участник великих открытий
Клювов, почек, бутонов, ручьев.
И моя вереница событий
Утекает в твою до краев
Частью круговорота природы,
Совершаемого искони,
Где круги превращаются в годы,
А потом в календарные дни

Ольга Иванова

Между томом и Эдемом

И. Т.

* * *

между телом и душой
перерывчик небольшой
Наталья Лясковская

между домом и тюрьмой
между светочем и тьмой
между «незачем и нечем»
и «я вымою, не мой»

между телом и душой
между делом и лапшой
между томом и эдемом –
неверморчик небольшой

* * *

навроде некого знамéнья –
та незабвенная зима
и тьма его недоуменья
и онеменья колыма

в моем объятии безруком
(по теме «колокол по ком»)
и те хождения по мукам
за теми кофе с коньяком

кафе на улице Незримой
и те прохаживанья те –
от правоты неоспоримой
к неоспоримой правоте...

да визави (недецкой цацкой) –
его приподнятая бровь…
да несудьбы подгон босяцкий –
не-ис-тре-бимая любовь.

СТОП-КАДР

махнув рукой, как рукавом,
всему на свете
(в полупокеда роковом –
полупривете) –

уже изжалившей меже,
телесной ризне,
ужа изжарившей уже
железной жизни,

ее пути (а отойти –
так паутине),
шепнув последнее «пусти»
ее пустыне,

смекнуть – как дорог каждый миг,
как люб-и-дорог
слепящий ник
(а там – и лик),
спугнувший морок...

* * *

аки соседская дрель –
лиры недетская трель
в целом – апрель как апрель

адовы круги ворда́
буквиц тупая орда
в целом – вода как вода

рыбья прозрачная кровь
вздёрнута встречная бровь
в целом – любовь как любовь

смысла (помимо лексем)
нет в обмирании сем
в целом – от слова совсем

и почему всёодно
в целом – *как дома* оно –
сроду догнать не дано

СТРОФЫ

1

подпольно
не своя – у афродит:
уж больно
безбоязненно глядит

природа
(как ее ни стереги) –
ни брода
ни фарватера, ни зги –

треплу, да
(стыдоба на стыдобе) –
приблуда
при тебе и при себе

дерзни-ка
(как беды ни избегай)
турни-ка
и поди-ка испугай

2

таранька –
а поди-ка притарань
ты рань-ка
а потом уже тирань

стреножь-ка
(остальная раздвоя́)
не ножка –
то стальная чешуя

до друга
(ежли вдариться в бега)
дорога
и долга́, да недолга́

как... эта...
как до берега – воде
(как эдда
об ундине да наде...)

* * *

этот голос русалий из детства,
чья мольба – всё нежней и небесней...
и куда ей прикажете деться?
(вся атлантика – Песнею Песней!)

эта заповедь – быти как дети
(пусть и лезвия – вместо сандалий)...
да глаза светозарные эти...
и – куда ей отсюда, куда ей?

и где тонко – ни разу не рвется,
и канва – всё нежней и небесней…
(а аукнется, а отзовется –
вся вселенная – Песнею Песней!)

БЕРЕСТА

Веронике Долиной

ни ночей, ни дней не различая
(всятака – как с чистого листа),
нехотя края обозначая,
вся моя свобода – *береста*...

и нема пробела в репортаже
(пусть сама – как статуя, нема),
ибо и судьба моя – всё та же
береста, и выхода – нема...

береста – и мы с моей любовью:
как фартило сроду – так и впредь...
(пусть незримой писанное кровью –
с этой бересты не потереть).

и нехай еще без останова –
музычка (мол, весь я не умру), –
и она – давно не bossa nova,
а незримый танец на ветру.

Полина Брейтер

Бирюзовый дождь*

Часть 2. Нежданные небеса

> Надо полюбить землю до конца, до последнего края земли – до неба, надо полюбить небо до конца, до последнего края неба – до земли, и тогда мы поймем, что это не две, а одна любовь, что небо сходит на землю, обнимает землю, как любящий обнимает любимую (две половины, два пола мира), и земля отдается небу, открывается небу...
>
> *Дмитрий Мережковский*

ШКОЛА ЛЮБВИ

...Если человеку только и нужно, что рано утром выйти на улицу, или к морю, или в лес, или просто выглянуть в окошко, поглядеть на небо и на дерево, чтобы молитва вошла в него, если Божья тишина так легко, так благодатно входит в человека, и вхождение это так желанно, так сладостно, так блаженно, то почему люди не делают этого, почему?

Проснуться поутру раненько, выйти затемно в предрассветную тишину, окунуться в нее и выдохнуть первые слова дня: «Господи, спасибо Тебе!» И пойти, аккуратно ступая. Ноги сами ведут: шаг-шаг, шаг-шаг. Мимо синей и розовой медуницы, мимо желтых одуванчиков и горицвета, мимо деревьев с уже зеленой или зеленеющей кроной, мимо деревьев, еще не проснувшихся от зимних снов, мимо деревьев, не знающих времен года.

Ноги ведут и ведут тихонько: шаг-шаг, шаг-шаг. Мимо беличьей квартирки. Белки не проснулись еще, и их почти не видно, так только, одна или две застыли в стойке своей. Скоро они засуетятся, замелькают в игре или в заботе, будет казаться, что их много-много, хотя на самом деле не больше десятка. Но их суета почему-то не нарушает тишины, а становится ее частью.

Шаг-шаг, шаг-шаг. Мимо черной длиннохвостой птицы «из птичьей школы». Она уже «отработала» утренние занятия и теперь свободна, может и на дереве посидеть, и по травке походить, и попеть,

---

* Окончание. Начало см. НЖ, № 303, 2021.

как умеет. Умеет она по-разному. И слушая разговор двух таких птиц, слышишь две совсем разные песни, спетые разными голосами.

Шаг-шаг. Шаг-шаг. Мимо кустарника за забором. Он недостижим, но в нем живут олени. Олени, которые гуляют иногда по опушке леса – и это всегда праздник для тех, кто видит их из окна. А они и не знают об этом…

Ноги ведут к скамейке. Посидеть без движения, без мыслей, без суеты. Слова потихоньку играют и перекатываются, как ноты на нотном стане: нежность, плавность, тишина. Плавность, тишина, нежность... Сосредоточенная расслабленность. Сконцентрированная расслабленность. Пустота. Полнота. Безмолвие. Высота тишины, прозрачность молитвы. Растворенность... Тишина струится в воздухе. Тишина наполняется нежностью. Слово возвращается в музыку, музыка – в безмолвие. Мир умолк. Мир молчит. Мир вслушивается в тишину... Я тоже молчу на своей скамейке. Еще не рассвело, но вот-вот... А пока воздух синий, даже фиолетовый, и из этого темного, но уже полупрозрачного синего воздуха на меня наплывает знакомый голос:

«Милосердия прошу, милосердия. Мы живем в исправительной школе. Мы изо дня в день воспитуемы. Вина. Грех. Человек. Ответственность. Если ответственность, значит, повсюду грешен. Еще страшнее – ошибка. Кара не замедлит. Быть наказанному. И вот уже сам изощряешься в подборе себе вериг, покаяний и искуплений. Отшвырнув злобных идолов своего несостоявшегося детства, ощущаем себя в отданности невидимому, всеведущему и мстительно-угрюмому Богу. Пора просить милосердия. У всех. Ненавистно это слово, уничтожить бы его по буковке: ми-ло-сер-ди-е. Но нельзя же вечно жить в страхе Божьем, а в милосердие трудно поверить атеисту. Этот мир плох уже потому, что возмездие неминуемо. И каждый из нас, зол он или добр, абсолютно безразлично, настороженно и неусыпно блюдет другого. Горе споткнувшемуся! Мы живем в исправительной школе. Мы изо дня в день воспитываемы. И мы боимся. И уже нет сил бояться. Осталось воззвать к милосердию.»

Я слышу этот голос, будто не много лет назад, не в прошлом столетии и даже тысячелетии звучал он. Будто не тогда, а сейчас прозвучал ее вопрос: «Ты в Бога веришь?» – и мой ответ: «Я в Бога не верю. Я Бога люблю». Тогда, раненная жизнью, изверившаяся, она швырнула свой вопль о милосердии на страницу газеты, швырнула всем, каждому, кто захочет прочесть и услышать, захочет как-то ответить, что-то сказать или просто подхватить ее мысль, разделить отчаянье. И так же безудержно и порывисто, как выкрикнула она свое «милосердия прошу, милосердия!», даже не успев дочитать до конца, бросилась я к столу и на одном дыхании выплеснула ответ:

«Нет, мы живем не в исправительной школе, мы живем в Школе любви.». Мы все в этой Школе, потому что те, кто уже прошел ее классы, уходят от нас. Им незачем быть здесь, и они возвращаются туда, где жили когда-то их души, – в Царствие любви, то есть к Богу.

Мы все в этой Школе – братья и сестры по Отцу нашему.

В Школе этой много классов-ступенек. Одни из нас – в самом низу. Другим осталось еще чуть-чуть, и они поймут нечто такое большое и важное, что, поняв это, перестанут быть людьми и превратятся в Свет. Но между этими первыми ступеньками и высшей ступенью – классов так много! И все мы рассыпаны по этим классам.

Первыми учениками Школы любви были Адам и Ева. Когда они оказались на земле – маленькие, беспомощные, окруженные враждебным или равнодушным миром, – им больше ничего не оставалось, кроме как прижаться друг к другу и спасать себя. Спасать себя, спасая друг друга. И это был их первый урок. Когда мы вступаем в эту Школу, мы еще не умеем думать и анализировать. И любить мы не умеем тоже. Мы только учимся принимать любовь. И она приходит к нам маминой лаской, заботой о нас, которую мы не замечаем и принимаем естественно. И мир кажется нам гармоничным, потому что он – для нас.

Потом – страшное открытие: я не центр мира. Мир существует не только для меня. Более того, он не для меня создан. Значит, я никому не нужен? Зачем же тогда я живу? Гармония рушится. Приходят одиночество и страх. Мир становится равнодушным и враждебным, как когда-то он был враждебным к Еве и Адаму после изгнания их из Рая.

Но не сдавайся и не печалься! Ты прошел подготовительный период и только теперь по-настоящему начинаешь обучение в Школе любви. Конечно, теперь ты уже не сможешь только принимать дары. Тебе предстоит многое узнать, продвигаясь из класса в класс. Тебе придется учиться самому сотворять любовь и одаривать ею людей, животных, природу и Бога. Тебе часто будет трудно, но без этого не бывает. Тебе предстоит ужаснуться от мрака и боли, живущих в мире. И пропустить их через себя. И изогнуться от ужаса, и закричать, и отчаяться до безнадежности и обиды, и признать себя пораженным. И сказать, что в этом мире не может быть ничего хорошего, потому что весь он состоит из липкой похоти и корысти, а люди – ничтожны, грубы и безобразны.

И ты будешь прав. Но рано или поздно ты увидишь, что мир светел и прекрасен, что на самом смрадном болоте растут нежные и чистые цветы, что люди не только ничтожны, но и велики, не только безобразны, но и прекрасны. И что они не только творят

мелкие и подлые поступки, но и совершают высокие и самоотверженные подвиги.

И ты полюбишь и пожалеешь людей.

Я многое знаю об этой Школе, потому что много лет учусь в ней. И я расскажу вам то, что знаю, если вы захотите и спросите меня. Я расскажу вам о тех открытиях, которые мне довелось совершить, когда вслед за другими пришла и моя очередь. 'Вина. Грех. Человек. Ответственность.' Знаете ли вы, что чувство вины, греха, ответственности тоже дарует счастье и снимает страх наказания? Что мне чья-то плеть, если я – свободный человек, свободно выбираю свой образ жизни, свои поступки? Что мне угроза наказания, когда в свободном стремлении к полету и Свету я сам мучительно ощущаю тяжесть собственного несовершенства, мешающего взлететь?

Этот мир прекрасен уже потому, что в нем есть любовь. И каждый из нас, зол он или добр, обязательно, хоть один раз в жизни, хоть на одно самое маленькое мгновение возвышался любовью до Бога. И, значит, надежда есть. А воздаяние? Разве в нем дело? Воздаяние, наказание, страх – это для рабов! Переходите из вашей исправительной школы в нашу Школу любви со свободным полетом и отсутствием страха – по крайней мере, страха перед наказанием. И слово милосердие перестанет казаться вам ненавистным, а станет милым вашему сердцу. И вы забудете думать о страхе и наказании, потому что станете думать совсем о другом…»

Услышала ли она меня тогда, поверила ли, согласилась, приняла? Ведь я с рождения была счастливой, готовой принять Чудо. А она? Верила ли она в Чудо, верила ли в счастье? Этого я не знала тогда, как не знала и того, что, несмотря на разделенность наших мыслей в двух этих газетных заметках, мы с ней окажемся связанными невидимой нитью на всю последующую жизнь.

Моя Школа любви... Я видела ее во всем. В пении птиц и в стихах поэтов, в размышлениях мудрецов и моих собственных. Разному учила она меня. Всякой любви учила. И тому главному, что все наши любови – одна любовь.

Школа эта – длинная лестница. Ее начало – падение Адама и Евы. Ее завершение – воссоединение с Богом.

Я думаю, когда Бог создал людей, они были сначала просто как куклы. Не хорошие, но и не плохие, не холодные, но и не горячие, – никакие. Потому что не умели любить. И тогда Он дал им любовь. И она всё изменила. От прикосновения хотелось петь и летать, от объятия – защищать весь мир и сотворять новый, от поцелуя – длить бесконечность и растворяться в ней. И соитие было не для деторождения.

Никто тогда о деторождении не думал. Соитие было для воссоединения Космоса, для создания того цельного единого существа, которое могло разговаривать с Богом и, может быть, становиться Им на какое-то время. В соитии люди слышали Творца, и были слышны Ему их речи.

Первые ученики этой школы, Адам и Ева… подумать только, что с ними приключилось! Вот только что гуляли они по райскому саду. И у них было всё – любовь и забота Отца, защита, безопасность, благополучие. И вдруг… Огромный лес – и они. Огромная земля – и они. Огромный мир – и они. Огромный космос – и они. Они были одни. Маленькие, слабые, ничего не умеющие. Как же они должны были прилепиться друг к другу, как стремиться к воссоединению, к слиянию, к возвращению к тому единому целому, которым были когда-то. Ведь только в этом была их защита от чужого враждебного мира, только в этом было спасение! Насколько же это больше того, что люди зовут любовью!

Раньше, когда они были рядом с Отцом своим, они могли привычно не замечать Его. Теперь... Как они искали Его теперь! Как искали Его вокруг и друг в друге! Вот тогда-то и начали они учиться любви. Тому, что любить – это искать Бога. Тому, что любить друг друга – это любить Его... За одно мгновение пали они с неба на землю. А теперь все мы должны сами пройти этот путь наверх, сами поднятья, сами найти Бога и припасть к Нему. Только путь этот очень долгий. Душа найдет Бога и сольется с Ним, но сначала она должна найти свое тело и слиться с ним в единство. Без вражды должно быть это единство. И для того, чтобы мы учились такому воссоединению, нам дана физическая любовь.

Люди усвоили, что эта физическая любовь дана им от природы. Они залюбили свои тела, залюбили свою любовь к своим телам. И стали оправдывать свое сластолюбие тем, что оно естественно. А что эта любовь послана им для воссоединения конечного с бесконечным, они не знают или забыли. И началась путаница.

И все-таки это тоже, вероятно, входило в Божий замысел. Не в том смысле, что Бог хотел, чтобы люди запутались и попали под власть своего тела. А в том смысле, что Он не мог не знать, что так случится и, значит, допустил это. Может быть, так и должно быть? Может быть, путь души к Богу требует именно этого?

Некоторые смутно помнят о том, что физическая любовь может быть безгрешной. И тоскуют по этой безгрешности. И мучаются от невозможности такой безгрешности. И, может быть, поэтому все-таки так много целомудренных людей – монахов, безбрачных.

Я давно знала, что соитие может быть не только безгрешным, но и ведущим не вниз, а вверх. Не умом знала, а чем-то иным. Я совершила тогда очередное «открытие» и рассказывала о нем в письме:

«Я догадалась, что давно-давно, когда Бог давал человеку то, что Он ему дал, всё было совсем не так, как мы привыкли думать. А как? А вот так, может быть…

Сначала соитие было дано людям для воссоединения их душ с их телами. И только потом, когда нужно было сделать что-то для воспроизведения человеков человеками, понадобилось зачатие и деторождение. И тогда Бог дал соитию еще и эту роль и задачу: зачинать нового человека. В любви зачинать. Чтобы новый человечек там начинался, где слышен Бог и где он слышен Богу.

Вот и всё открытие. Вся догадка. И, если тебе кажется, что всё это ерунда, то я спорить не стану. Только знаешь, почему это так кажется? Потому что нетерпелив человек. Не дожидаясь любви – а вдруг совсем не придет? – соглашается он на наслаждение, удовольствие. Вместо бесконечного и большого довольствуется предельным и малым. Но и оно работает. И дети рождаются. И человек постепенно забывает о главном назначении ласк и соития – уводить к Богу, уводить туда, где можно с Ним беседовать, воссоединять разъединенный Космос. А стал помнить лишь о второй – зачинать человечков.

Есть такая восточная притча. Гуру велел своему ученику, чтобы избавить его от соблазна любви к женщине, отправиться на кладбище и раскопать могилу, в которой похоронена красавица. И, показывая ему на смердящее разлагающееся тело, объяснял: «Вот это ты хочешь любить и ласкать?» Но ведь гуру доказал как раз противоположное! Потому что если ученик говорил о любви, то любить и ласкать он хотел не это, не малое, не предельное, не тленное, а то, что рождается телами и их касаниями, но ни начала, ни конца во времени и в пространстве не имеет. Что нельзя потрогать руками. Что нельзя услышать, нельзя увидеть. Можно только почувствовать. И сотворить внутри себя маленький шар, который растет и становится больше, больше и, наконец, раскрывается, как фейерверк, бесконечным сверкающим ликованием.

Понимаешь, что я хочу сказать? Ты додумай, дочувствуй, потому что лучше, чем сказано, я сказать не сумею. Между тем, это из самого Главного, самого-самого. Потому что это о человеке, о любви и о Боге».

Понемногу начало светать. Это всё еще не рассвет, но воздух уже не такой фиолетовый, и я купаюсь в нем, купаюсь в тишине и безмолвии этого раннего утра, купаюсь в полупрозрачности воздуха, чистого, еще не рожденного, воздуха, непорочного воздуха... Непорочный воздух, непорочная жизнь, непорочное зачатие...

Возможно ли непорочное зачатие? Думаю, что да. Даже не так – я верю в непорочное рождение, необыкновенное, чудесное, совсем не свя-

занное с зачатием, которое происходит у женщин от мужчин. Мне легко представить, что люди, как греческие боги, могут в любви оборачиваться воробьем и верблюдом, и золотым дождем, и ласковым невидимым лучом, и белым пушистым снегом, и розовым кустом. Как? Не знаю. Как в сказке. Как в доброй волшебной сказке, то есть очень просто: взять и обернуться. И если так просто, так само собой, так безусильно это превращение в зверя, в птицу, в цветок или нежную снежинку, то почему бы и не родиться так же легко, естественно и безусильно?

Теплый луч ласкал и ласкал розу – нежно, неприкосновенно, невидимо. А роза и не знала, что ее ласкают, она думала... да нет, она совсем не думала, она дышала этой лаской, молилась ею и даже не знала, что это называется каким-то словом. Из молитвы розы потянулся к небу росток. Ребенок? Сын? Пусть так, как угодно, только он потянулся к небу – зеленый, молодой, радостный. И луч теперь ласкал и его. Сына? Да нет, не потому. А потому, что как же лучу не ласкать его, он ведь луч...

Ну, конечно, я дурачусь, но и не только. Уверена, что Моцарт, Пушкин, Бах, Леонардо, не говоря уже о том, о ком никто и не думает, что он был зачат «обычным путем», – все они были рождены непорочно. А «порочно», т. е. обычно, родились только плохие…

Мне кажется, что я сделана из любви. Может быть, и другие люди тоже, но про них я точно не знаю, а о себе уверена и убеждена. Всё во мне, всё, что есть у людей, – душа, сердце, тело, нервы, кровь – всё это сделано у меня только из любви. Может быть, Бог сотворил меня из любви, потому что, когда я родилась, была война. И многие отказывались тогда от любви, боялись ее, меняли на ненависть, отчаянье, горе, мстительность. Было много «излишков» в запасах любви, и меня слепили из нее полностью. Вот поэтому так и получилось, что всё во мне – любовь, всё во имя любви, ради нее и от нее… И потому я знаю, что значит любить. Это, когда душа делается большая, безмерная, бесконечная, а в ней – Бог, Божья вечная молитва – вот что это значит.

У меня – с моим культом любви – всегда в жизни есть «что-то еще», конечно, только оно входит в понятие «любовь», пропитано и окрашено ею. Разве в наших любовях ничего нет, кроме любви как таковой? То есть, конечно, ничего, потому что всё в нее входит, всё – ее часть. Разве в любви бывает поглощенность одной лишь любовью? Конечно да, поскольку она вбирает в себя всё, весь мир, все миры. И сколько же в ней всего! Неужели можно представить, что жизнь без любви была бы богаче, а не наоборот? Когда жизнь сосредоточена на одном человеке, она не становится беднее, просто всё входит в нее, в любовь и сосредоточенность, разве нет? Весь мир, все миры, вся скорбь мировая со всеми мировыми вопросами и всё вселенское счастье.

Конечно, когда к человеку приходит любовь, когда он любит и любим, он становится счастливым, но разве он перестает ощущать ужасы нашего мира? Любовь делает его защищенным, но не закрытым. Я знаю это по себе, помню свое письмо об этом: «…Не знаю, хорошо это или плохо, что мне открылись Свет и Божья воля. Не знаю, хорошо это или плохо, что невозможность жить превратилась в возможность. Не знаю, хорошо или плохо, что мне показалось возможным блаженство и счастье. Ничего этого не знаю. Вообще ничего не знаю. Знаю, что не могу не быть блаженной и счастливой, когда ты любишь меня, не могу не быть блаженной и счастливой, когда думаю о тебе. Не могу не быть блаженной и счастливой, когда тополь за окном, кошка ходит по снегу, грачи сушат свои перья на солнышке. И знаю, что в тополе, в кошке, в грачах, – То или Тот, о котором говорить невозможно, потому что слов не найти, но еще и ты, и мы, и всё, и все, и – может быть, с этого и надо было начинать, да ведь с этого я и начала – любовь.

Ну хорошо, ну ладно. Всё это так. А где же при этом гитлеры, сталины, а как же бездуховность, суетная пошлость и пошлая суета, гнусность и преступления, и грязь, и торжество злого над добрым, неправедного над праведным, недостойного над достойным? Их торжествующие победные пляски? Как же мои – после прочтения «Архипелага» – бесконечные вопросы «как жить после этого» и «как совместить»?

Выходит, ничего я не совместила? Выходит, мои опасения – «а не стали ли мы глухими и слепыми ко всему, кроме самих себя», «а не ушла ли открытость миру», «боль за всех людей» – оправданы? И это не над унижением, болью, скорбями я поднялась, не вместила их в свое блаженство и благость, а просто отвернулась на время? Не потому, что ближе к Нему поднялась, а потому что дальше ушла?

Ну хорошо, ну пусть. Пусть это верно. Но если так, жить действительно невозможно ни дня, ни минуты, ни секунды. По крайней мере, *так* жить. Тем более невозможно, что я не знаю (и никто не знает, я никогда не слышала и не читала о таком), что и как сделать, чтобы стало лучше. Почему надо жить?

Но чем тогда была наша Встреча? Ведь если она состоялась, может ли она исчезнуть, перестать быть? И можно ли быть от этого не блаженным, не светлым? Но если тогда мы были блаженными и светлыми и могли жить, то, значит, мы и сейчас должны мочь жить, потому что Встреча не исчезает, а расширяется, растет. И, значит, мы можем жить, потому что Любовь, потому что Небо, потому что Бог... Но в то же время мы же и не можем жить, потому что мы – строители и узники лагерей, мы соглашаемся играть в лицемерные и лживые игры, мы хороним близких и проходим через опыт скверной, суетной,

тоскливой и бессмысленной жизни. И мы всё это делаем и не знаем, почему это нужно, почему так должно быть. И как же это совместить? Где было оно всё, когда мы стояли, глядя в глаза друг друга? И если оно где-то было тогда, то оно там и сейчас, потому что мы всё еще стоим, глядя в глаза друг друга. И опять я не понимаю, как же оно происходит, я совсем ничего не понимаю. Как совместить это с ужасом и тоской всей жизни? Какое же мы имеем право укрываться в собственном счастье, как в монастыре или в скиту? Мы можем, конечно, унести туда с собой наши боль, и тоску, и ужас, и стыд. Но будет ли от этого кому-нибудь лучше, не окажется ли это бегством, падением, грехом? Будет ли это вообще монастырь, если мы перенесем туда не любовь и жалость, а злость, напряжение, суд над ближними, в то время как судить надо в первую очередь самих себя. Потому что если наше доброе небо «не над нами, а в нас», то и весь этот ужас, стыд, мрак, всё страшное и плохое – всё оно тоже не только с нами, но в нас…

...Господи, помоги нам. Научи нас видеть и слышать. Научи искать. Дай нам силы и умение *быть,* Господи…»

«Мне кажется, что я сделана из любви», – говорила. Но если это действительно так, мне должно быть легко любить людей, как заповедуют все религии мира... А это вон как непросто...

...Уже почти рассвело. Воздух слегка голубоватый, еще чуть-чуть – и станет утренним, светлым. А пока хранит в себе остатки сна или дремоты, а может быть, того оцепенения, что сродни медитации. В нем дышится и думается легко, плавно, будто мысли и дыхание – одно, и это одно плывет себе потихоньку куда хочет и как хочет. Плывет само и ведет тебя за собой. Как когда-то Нарцисса.

Нарцисс. Мы привыкли думать о нем как о самовлюбленном гордеце, который был так очарован своим собственным отражением в воде, что не мог оторваться, вглядываясь в него и любуясь собою. И утонул. Ну а вдруг всё было иначе? А вдруг это было... ну хотя бы вот так.

Жил-был юноша Нарцисс. Он жил в Греции в те времена, когда люди еще не знали о едином Боге и поклонялись многим богам. Нарцисс тоже разделял эти верования. Но случилось так, что в какой-то момент он почувствовал, нет, ощутил, что все эти боги – одно, более того, что это Одно, то есть, Один Бог, Единый, а не только один для всей Греции, что Он обнимает собой Вселенную, Космос. Почувствовав так, он не мог не восхититься, не мог не возлюбить этого Единого Бога, как не мог и остановить собственных размышлений – и потому не мог не додуматься до того, что весь этот макрокосм повторен в микрокосме, в душе человека, а значит, и в его, Нарцисса, душе. И вот так, возлюбив

божественное в себе, всматриваясь в него – а значит, в себя – всё глубже и глубже, он не вынес это бесконечной глубины и утонул в ней.

Человек никогда не сможет любить людей, пока он не научится любить себя. Любовь к другим людям похожа на любовь к себе. Ведь мы *как* себя любим, *что* в себе любим? Мы вглядываемся в свою божественность, мы радуемся (шутка ли – вместить в себе Вселенную!) и ищем в себе Бога. И хотя мы порой ненавидим себя, сердимся на себя, ругаем себя – за ограниченность, малость, мелкость, слабость, грехов-ность; хотя мы разочаровываемся в себе, отчаиваемся найти то, что привиделось Нарциссу, – мы все-таки продолжаем любить себя – до тех пор, пока чувствуем в себе то божественное... И других людей мы любим так же. Мы ищем и предчувствуем в них божественное, но отталкиваемся и мучаемся их мелкостью, ограниченностью, слабостью, греховностью. Но если я люблю себя, вглядываясь в свою божественную сущность, то не могу же я предполагать, что она только во мне, а в других людях ее нет. Если она в каждом человеке, значит, и вглядываться нужно в каждого, и в каждом искать ее... а ведь это и значит *любить*!

Ну вот теперь по-настоящему рассвело. Воздух прозрачный и какой-то веселый, праздничный. В нем уже предчувствуется солнышко, которого пока нет, но восход не за горами. И потому хочется улыбаться, а может быть, даже и петь, и радоваться. Как это здорово, как это здорово! Мы ведь о Боге читали всё время, в том числе и псалмы, то есть песни любви Ему, и вот так вдруг понять, что каждый день, всю жизнь, любя то одного, то другого, то многих, я люблю Его одного, что эти любови воссоединены не где-то когда-то, а вот сейчас, вот здесь, вот всегда, всю жизнь...

Нет, не в наказание отправил Господь Адама и Еву на землю, а в школу – учиться любви. И мы учимся. Хотим того или нет, знаем об этом или нет, но мы учимся.

Когда Мария полюбила Христа, она непременно полюбила всех людей, потому что полюбила одного – и потому что этот один был Христос.

И со всеми другими ей стало одновременно очень легко и очень тяжело. Легко было любить и жалеть их, потому что в каждом был Он. И одновременно тяжело, потому что ни один из людей не был Он.

Всякий любящий – немножко Мария...

БОГОРОЖДЕНИЕ

Мир заполнился Вами. Весь Божий мир заполнился Вами. Я иду

по улице и вижу куст, дерево, цветок. И это – Вы. Подношу к губам нежность ландыша, буйство сирени, праздничную радость тюльпанов. И это – Вы. Слышу нашу лютневую музыку, щебет птиц по утрам, шелест деревьев – и это Вы. Я узнаю Вас в своем тополе и в стихах Мандельштама. Вы разлились по миру. И я не могу сдержать волнения и любви к Вам, что означает – к Нему.

Но, может быть, Вы знаете и о том, что, вдыхая Вас всегда, каждую минуту, видя Вас во всем и во всех, в то же самое время я всей собой знаю, что Вы и во мне, я чувствую Вас в себе, ощущаю Вас. И даже еще больше: не будь Вы во мне, не знай я этого, не знай этого каждая клеточка моя, я не смогла, не сумела бы видеть Вас разлитым по Божьему миру.

Я знаю, кто Вы мне. Вы – нить моя к Богу. Потому что Вы – немножко я, немножко не я.

Вы – то мое я, которое не есть я, но только потому оно может быть, что я существую. И только потому может быть, что есть Бог. Мир разделился на «все» и «мы». На «всё» и «наше». Все кажутся странными. Они же не знают. Они говорят о таких странных вещах. И то, что им кажется важным, – такое странное. Зачем оно? Какое оно имеет значение? Я вся ушла в любовь, но от этого меня не стало меньше.

Мне кажется, готовности «ответить звездам» стало больше. Зато всё остальное – внешнее, мелкое, суетное, – всё отошло совсем-совсем далеко, так далеко, что я могу даже разговаривать с теми «не знающими» людьми, не обижая их, но находясь где-то на очень большом от них расстоянии. Потому что не осталось ничего. Всё ушло в суть.

Знаешь? Знаешь, как ты наполнил меня Светом? И как *стало возможно жить*? И как мир оказался Божьим? И как я узнала сначала о Боге, потом о любви и, наконец, о том, что это – одно?

Оно вмещает в себя так много, в том числе и то, что зовется мыслью. Вот я говорила о том, что наше «мы» невыразимо. Хотя ты же, наверное, понимаешь, знаешь это и сам. Выразить можно попытаться что-то одно, каждое – отдельно: что брат и сестра, что божьи, что любим религиозно, что возлюбленные, что... Но я прервусь. Потому что вдруг поняла одну вещь. Помнишь наше «мы обняли друг в друге Бога», помнишь? И мы думали, знали, верили, что выше этого никогда ничего не будет, не бывает, не может быть. Так вот, любимый, родной, дорогой, это правда. И нет ничего выше, чем обнять друг в друге Бога. Когда я обнимала в тебе Бога, это было и в самом деле вершиной. Но знаешь, оказывается, над этой вершиной есть следующая – новая ступень, что ли, где всё сначала, но уже *на другом уровне*? И вот на этом другом уровне есть новое: я обнимаю в тебе тебя, но уже после того, как обняла Бога; мы обнимаем друг в друге друг друга, но не

потому, что не обнимаем друг в друге Бога, а потому что иначе, без Него, уже невозможно, потому что Он – в нас и в нашем «мы» – и друг в друге, всегда друг в друге.

Обнимая друг друга, мы уже не можем не обнимать Бога, который есть любовь. И потому мне иначе, как через тебя, не прийти к Нему. И потому любовь наша не может быть не религиозной. И потому, оставаясь религиозными, мы не можем усилием воли или по желанию, или намеренно прервать, прекратить нашу любовь. И потому я так часто ошибаюсь, когда пишу тебе письма, и вместо того, чтобы обратиться к тебе, обращаюсь «нечаянно» к Нему, и вместо письма идет молитва. И хоть я тысячу раз знаю, что ты человек с грехами и слабостями, что это может показаться кощунством, но всё равно вижу в тебе Бога и, любя тебя, люблю Его. А любя Его, люблю тебя. Что я не могу не любить тебя, пока люблю и хочу любить Его, но и не могу и уже никогда не смогу любить тебя без Него, вне Его. Это так, когда я/мы молимся, и когда обнимаем друг друга, и когда губы к губам. Ты увидь – ведь и в этом святость! Понимаешь, почему так? Понимаешь, почему нет перехода? Потому что его действительно нет! Потому что не от духовного к телесному или наоборот, а от Божьего к Божьему, то есть, всё время в Божьем. Потому что ни в нежности, ни в сладости, ни в тоске, ни в страхе, ни глаза, ни сердце, ни руки, ни тела не умеют забыть о Нем, слышишь, любимый, слышишь? Я же не умею словами, нежный мой, Божий попутчик, проводник, – слышишь ли ты меня? Услышь, пожалуйста, потому что во мне всё так сразу, и оно так обволакивает меня, что я не могу, не могу словами. Не выпускай меня из себя, Бога из нас. Всей собою – душой, духом, губами, руками – всей собою, всей-всей – с тобой, в тебе, с тобой – люблю, люблю, люблю!

...Когда я хожу по земле (по земле ли?) и что-то во мне улыбается тихой блаженной светлой улыбкой, когда от желтого листика, или белого снега, или теплого воздуха, или синего моря, или просто неизвестно почему весь мир – разлитый Бог, а вся я – любовь к Нему, когда со мной делается это счастье, такое невыразимое блаженное религиозное счастье не от чего-то, а потому что Бог, – тогда я знаю, что никому кроме тебя не могу рассказать об этом. Но тебе не надо рассказывать. Ты-то со мной. Ты-то разделяешь. И только с тобой я начала бывать *там*, и без тебя это невозможно.

И вот тут начинается моя тайна. Я не могу и не пытаюсь рассказать людям о самом главном и самом великом счастье. Я скрываю это от них. Но если это называется *благодатью Божьей* (а я думаю, что это так и называется), то как мне не желать, чтобы она была подарена всем людям. Как не молиться об этом?! Именно молиться. Молиться в

тишине и уединении. А пытаться объяснить, рассказать людям нельзя, невозможно. Получается стыдно. Ты услышал меня, родной мой?

И вот это счастье, это блаженное счастье, которое спокойным светом разливается в душе, а порой доходит до такой высоты и силы, что душа не выдерживает, это счастье благодати в последнее время приходит ко мне всё чаще и бывает всё более длительным. Я называю его разными словами. Хутор. Праздник. Экстаз. Тихость. Тишь. Покой. Мир. И это всё об одном, ты знаешь, да? Когда эта благодать уходит, покидает меня, я всё равно помню о ней, томлюсь по ней и знаю, как бывает, когда она есть. И потому даже в самые земные серые периоды я всё равно ношу в себе эту тайну. Всю жизнь мою я ношу в себе величайшее открытие моей души и величайшую ее тайну – Бога. Ты скажешь, Он доступен всем одинаково. Это так. Но не все знают о Нем. И не все познали благодать в душе своей. И невозможно рассказать об этом тем, кто не познал. И стыдно пытаться говорить об этом словами с теми, кто познал, правда?

Это Бог пожалел нас – воплощенных, земных человеков – и послал нам Себя представимого, осязаемого, чтобы мы могли увидеть, почувствовать, догадаться, прозреть на мгновение…

Я хочу рассказать тебе что-то, что случилось со мной незадолго до нашей Встречи. Может быть, это было предвестие, благая весть… Слушай!

Вот не помню когда – то ли прошлой весной, то ли позапрошлой осенью. Происходило со мной что-то странное и необычное, чему не знаю названия. Я почувствовала, что во мне что-то зачалось и вызревает. И что мне предстоит родить это «что-то». Я назвала бы это беременностью, только не чрева, а души. Но ведь беременность – это буквально «бремя», а во мне было не бремя. Были радость, блаженство, удивление и восхищение этим чудом, которое происходило со мной.

Я попробую иначе, только ты не прими это как кощунство, ладно? Потому что во мне нет его.

Я думаю, именно так или очень похоже чувствовала Мария, когда узнала, что в ней зародилось дитя. Не сердись на меня за дерзость. Потому что это не гордыня, услышь меня! – я всё равно тоже немножко Мария. И мне тоже нужно зачать, выносить и родить своего Бога. Я не знаю, что Его ждет, но должна быть готова к кресту и для Него, и для себя. И это не кощунство хотя бы потому, что если я не смогу быть хоть немного Марией, то и Бога у меня не будет никогда. А рождение Бога и воскресение (если Он был распят – а Он был распят, многажды был распят, – и это я не о Христе, а вообще о Боге) у каждого человека свое, как у каждого своими бывают рождение и смерть.

Так вот. Со мной случилось это – зачатие. Снизошла Божественная благодать. И я ходила блаженная, потому что не знала, когда и что именно, но знала, что предстоит мне родить что-то необыкновенное. И всё мне хотелось сберечь его, выносить и родить, когда срок придет, понимаешь?

А потом забыла об этом. И была моя обычная жизнь, и были кирилловское и ферапонтовское откровения. Думаю, что там, в Кириллове и в Ферапонтове, было мне первое предвестие. Думаю, что там на секундочку, на мгновение Бог зримо показал мне себя. Чтобы увидела и уверовала. И что сделал Он это потому, что тогда впервые по-настоящему проснулось во мне религиозное чувство, и была я готова отказаться от того привычного, к чему приучали с рождения, что я называю атеизмом, а лучше бы просто безбожием. Да ведь трудно это самому! Без помощи, без единоверцев, без книг, даже без какого-нибудь видимого повода от всего явного и всеми признаваемого ко всеми отрицаемому перейти. А почему? Зачем? Непонятно. По внутренней, по космической тяге. И так я жила. И всё это время о будущем своем «материнстве» знала, но не думала об этом постоянно.

Вспомнила, что мне предстоит стать матерью, в очень грустное для себя время, в период спада. И даже сказала своему Володе: «Видишь, все сроки уже прошли. Видно, плод не вызрел, рассосался, превратился в ничто. И мне теперь уже не родить». И услышала в ответ: «Но ведь это не обычная беременность. Откуда вы знаете, может быть, здесь нужно вынашивать год или годы. И может быть, роды еще не скоро, а может быть, завтра». Я тогда не поверила, потому что в тот момент ничего не ощущала внутри себя.

И вот теперь самое главное, самое чудесное, самое неожиданное и самое естественное. Рождение-то началось! Оно еще не завершилось, по-моему, но оно уже происходит. Ты знаешь, о чем я, знаешь?

О рождении Бога, о рождении любви, о рождении любви для Бога и Бога для любви. И о самом-самом главном рождении – о едином Боге-любви или любви-Боге. Понимаешь, не Бог есть любовь, не любовь есть Бог (хотя и это тоже), а Бог и любовь как одно, как единое, как суть всего – и меня самой в том числе.

Слышишь меня, понимаешь?

Вот что я родила!

Вот что мы с тобой родили!

Наша любовь – рождение Бога. Опять и опять рождение Бога. Наша встреча была Встречей Воскресения. Я воскресила Бога в себе – и сама воскресла для Бога... Когда это случилось? Как? В тот момент, когда твоя рука легла под мою щеку? Или когда ты понял, что хочешь и будешь ласкать меня? Или когда мы стояли на коленях? Или в спле-

тении рук? Или когда губы прикоснулись к губам? Но что-то во мне уже знало об этом. Оно забывалось, потом возвращалось снова. И чем дальше, тем больше во мне этого Воскресения – Божьего, светлого, умытого, чистого, праздничного. И Встреча не удаляется во времени, а длится и длится... Как луч расходящийся. Она становится всё шире, пока не превращается во всё сразу. От котеночка до Бога. Жить, причастившись всему – от котеночка до Бога, – разве это не счастье, не милость, не благодать?

...Я одна дома, на своем диванчике. Я ощущаю твое тело, прильнувшее к моему, но почему при этом начинают звучать тихая музыка и молитва, любовная молитва, почему мы сразу оказываемся *там*, в музыке Баха, в заоблачных далях, в вечности... Почему от этого душа моя становится такой большой, так много в ней вмещается жизни? Почему весь мир становится понятней, ближе, любимей? И больней, и страшней, и отчаянней. Но и счастливей, надежней, светлей. Почему становится так много меня, почему?..

Больше всего на свете, больше самого света люблю тебя! И это такая сладость, но совсем не та сладость, что была даже у нас с тобой, но еще на земле; это – небесная сладость, блаженная небесная сладость, в ней нет ничего земного и ничего телесного; она не телесная, а небесная сладость, нежнейшая сладость, тонкая-тонкая, нежней самого тонкого, тоньше самого нежного…

...Я продолжаю говорить тебе «ты», как тогда, когда мы еще были двое, когда просили друг друга: «Войди в меня, войди и не выходи». Мы молились друг другу: «Возьми мою жизнь». Мы молились вдвоем или отдельно друг о друге. О, как мы любили тогда, как любили! И как не знали тогда, что та бесконечная, та казавшаяся нам запредельной любовь была только началом. И что она казалась нам такой большой – и была такой большой для нас! – потому что мы сами маленькие. Что впереди – мы ведь всегда догадывались, что впереди бесконечность! – совсем-совсем новый мир, где наша любовь – ребенок, где ей еще расти и расти, и нам с нею вместе.

Помнишь наше томление по Божьему, по Монастырю, по единой оболочке? Как мы не знали, будет ли это возможно для нас, как даже не смели заглянуть *за* эту оболочку, помнишь?.. А сейчас я не могу не лететь в этом потоке Света и любви, не могу не отдаваться этому потоку, где нет ни ласкающих рук, ни сладостных объятий, ни нежнейших губ, – здесь нет всего этого отдельно, но есть то, во что всё это, все они, глаза, руки, губы, перешли, перелились, пересветились – льющаяся без конца и начала любовь, светящаяся без конца и начала любовь. И в ней есть всё. И губы, и пальцы, и тела. Только всё это как-то иначе, как-то так, что без губ, без рук, без глаз – а только с той

любовью, с той нежностью, которую они дарили, понимаешь, родной мой, – конечно, ты понимаешь, ведь ты тоже летишь в этом луче, в этом светлом луче, который несет и несет нас… И значит то, что сейчас, этот полет, это паренье – тоже только начало?...

…Я знаю, знаю, я совершила открытие! Я знаю, почему можно сказать «Господи, я люблю Тебя!» и тебе, и Ему. Почему это не грех, не кощунство. Почему это можно говорить, думать и чувствовать. *Это не потому, что ты – Бог. Это потому, что Бог – ты.*

Понимаешь, родной, понимаешь? Понимаешь, что это можно? Потому что Он для меня в тебе, как ты во всем Божьем мире, как весь Божий мир – ты. Как путь мой к Нему – любовь к тебе. Любовь к тебе как воплощение любви к Богу, как человеческий облик той любви…

И я поняла еще две вещи. Вот послушай.

Помнишь, что я сказала тебе, когда ты чудом дозвонился в тот день? «Я умерла бы, если бы ты не позвонил сегодня.» Ты понимаешь, я тогда с утра до вечера смотрела по сторонам – и всё время видела Бога. Его было так много – всюду-всюду. И это наполняло и переполняло мою душу Ты же знаешь: чем больше Бога, тем больше любви и благодарности. А тогда всего этого было о-о-о-очень много. И оно всё прибывало и прибывало. И я чувствовала, что еще немножко – и душа моя не вынесет, не выдержит, просто не вместит в себя больше любви…

И тогда ты позвонил. Я ничего не сумела тебе сказать, но лепетала в трубку свое «люблю тебя, люблю тебя, люблю, люблю, слышишь?» И этот лепет, эта телефонная ласка будто раскрыла в моей душе какие-то воротца, какие-то шлюзы; любовь стала истекать через эти шлюзы, и мне стало легче, стало свободней. Первая фраза, которую я произнесла, когда положила трубку, была: «Ну, не стану сегодня умирать». Ты понимаешь почему, понимаешь, да? Я могла захлебнуться собственной любовью, а тут излила ее тебе, ты испил ее и спас меня от смерти, – блаженной, но смерти. Ведь меня захлестывала не только любовь к тебе, но и любовь к Богу. Я Его любила, я от той любви изнемогала. А ты пришел, я тебя своею любовью залила, и оказалось, что это один клапан, один поток. И тогда я подумала: так вот для чего Бог научил людей любить друг друга. Это потому, что человек не может не изливать свою любовь. Просто не вынесет и умрет. Любить вот так, как я в тот день любила, и не слышать, не видеть, не осязать – ведь это блаженная мука, и долго выносить ее человеку нельзя.

И Бог сжалился над людьми. Он научил нас любить Его не только в небе, в дереве, в камне и в траве, но и в человеке. Когда я Бога люблю, и молюсь, и плачу от любви и благодарности, что-то большое накапливается во мне, всё растет и растет, и мне нужно его отдать. А как?

Как? И Бог послал мне тебя. Когда я люблю Бога в тебе, то, что накапливается во мне, находит выход – вот зачем нам глаза, и пальцы, и телефонная трубка, и тела, ласкающие друг друга. Вот что такое любовь, вот зачем Бог послал ее людям. Это Он сжалился над нами. Это Он позволил нам так любить Его, как мы, люди, вынести сможем. Это Он позволил нам, маленьким, Его уже здесь, на земле и видеть, и нежить, и ласкать. Он дал мне прикоснуться к Нему. Потому что, касаясь тебя, я Бога касаюсь, лаская тебя – ласкаю Его... Только услышь правильно, только не увидь здесь кощунства. Я понимаю, что это может прозвучать ужасно, но ты услышь, ты услышь, пожалуйста!

А второе, о чем я подумала сегодня, оказывается, то же самое. Я думала о благодати. И о своей любви к тебе. Я спросила себя: что же это во мне ликует и радуется? Благодать? Или любовь? И тут же засмеялась и ответила: да ведь это одно и то же! Одно и то же – моя любовь к тебе и благодать, которую раньше мы называли Светом, полетом, праздником, экстазом... Есть, есть полет, не волнуйся, родной. Мы не станем меньше летать. Мы теперь живем в полете – безусильном, прозрачном, легком и светлом полете. Мы теперь живем высоко-высоко, где хрустальный разреженный воздух, где Свет, Тишина и Покой, где Бесконечность ощущается всегда. Может быть, это рай? Может быть, мы живем в раю? Я очень-очень чувствую наш Дом, наш монастырь, наше небо. Как здесь хорошо! Как светло, как свято... Дом. Как хорошо здесь жить и любить Бога. Здесь нет Времени. Здесь нет границ и пределов. Здесь – Благодать Божья, Свет и радость, и любовь – благодарная, молитвенная, ликующая. Господи, как я люблю тебя, как я хочу всегда жить с тобой в нашем небесном, воздушном Доме…

И теперь я знаю, что такое праздник рождения. Это не я родилась, это не ты родился. Это снова – опять и опять – *мы Бога в себе родили.*

Сегодня, в воскресенье утром, это случилось с нами. Бог родился во мне. Бог родился! Господи, чудо какое, счастье какое, радость какая, какой праздник! Сколько Света, любимый мой, сколько Бога!

А как это было у нас? Как мы приходили к Богу? О себе я знаю, что по-настоящему и всерьез это началось у меня года за три до нашей встречи – с книг об Индии и индуизме. Первые осознанные откровения шли через Вивекананду. Я тогда не знала, как это называется, не думала о том, как оно называется, но моя душа раскрылась навстречу космическому и впустила его в себя. А потом всё это продолжалось и развивалось. Когда мы встретились с тобой, я уже шла по своей дорожке, хотя была еще в самом ее начале. Какой я была тогда, ты помнишь сам. Но это было уже после моих ферапонтовских открытий и откровений. Недолгое увлечение вайшнавами тоже очень обогатило меня в то время. Хотя мантра не играла в моей жизни сколь-

ко-нибудь важной роли, но эта невозможность обидеть человека или травку и самому обидеться, эта причастность к бесконечному и ощущение себя крупинкой космоса, это... да стоит ли повторять. Потом оказалось, что для них самих всё это в большой степени оставалось пустой теорией. И любви они не знали, хотя считали, что идут путем бхакти, путем любви. Но для меня тогда это было неважно. Часто случается, что люди могут научить других тому, чего сами не умеют.

А потом всё было при тебе, с тобою и тобою. Дальше меня вел ты, всему остальному научил меня ты.

У меня никогда не росла вера в Бога, у меня росла любовь к Нему. Не знаю, правильно ли ты сказал, что Бог – это свобода от всех идей. Я вообще не знаю, что такое Бог. Даже нам с тобой не могла бы объяснить это. Могла бы только лепетать, что Бог – Любовь, Бесконечность, Чистота и Высота, разлитые в мире, что Бог – это и цветочек ландыша у меня в руках, и белый снег на Арарате, и голубое небо, и... И ты, может быть, радовался бы и говорил: «Да-да, я понимаю». Но ведь ты знаешь это и сам. Или я могла бы сказать: «Бог – это то, к чему ведет нас наша любовь». Это уж точно только тебе было бы понятно, но ведь и это не объяснение, просто мы с тобой понимаем это – ощущаем, видим, слышим. Как знал и ощущал Адам еще в самом начале, еще до Змия, до яблока, даже до Евы...

Нет, конечно, не умом, не сознанием, а как-то иначе. Как? Очень просто. Раскрыв себя и впустив в себя Бога. Когда маленький Вовочка спрашивал меня о том мире, в который его звала, я не могла рассказать о нем, потому что мир этот менялся вместе со мною. И тогда – в его четырнадцать, мои двадцать шесть лет – он виделся мне совсем не таким, как сегодня. Но и о том мире, который виделся мне тогда, я не могла рассказать мальчишке. Я говорила о жизни в царстве не от мира сего. Но тогда я не знала этих слов, тогда во мне были другие слова, которым учили меня учителя тех времен. Я говорила ему о том, что в этом мире прекрасно и светло... и что-то пересказывала из Грина. И еще говорила, что, войдя в этот мир, он умножит радость и счастье, потому что они в нем огромны, но и боли и печали умножатся тоже, потому что и радости, и печали здесь не только за себя. Я не помню сейчас, что я ему говорила. Но четырнадцатилетний Вовка услышал тогда не слова, а то, откуда они шли. Это я и до сих пор помню. Потому что это тоже называется Бог. Я звала его идти к Богу, хотя тогда сама не догадывалась об этом. Ни умом, ни сознанием, а всем существом я стремилась к Нему. Всем существом. Может быть, осознание Бога – это через край души льющаяся любовь к Нему?..

Дождь хлещет не переставая. Будто на дворе не июль, а октябрь.

И небо тяжелое, как мои сны этой ночью. Небо обложное, тяжелое. Но нам с тобой хорошо. Потому что пасмурное утро – не менее живое, чем солнечное. Потому что деревья так же полно, насыщенно молчат, как всегда ранним утром, а птицы так же радостно щебечут. Потому что пахнет дождем, скошенной травой, уже подсохшим сеном и парным молоком. И мы вместе, мы, может быть, и вправду совсем одно любящее целостное единство, когда молимся утренней тихой молитвой. Как светло и спокойно мне любить тебя ранним утром. Коровы замычали. Прибежала собака. Ветер зашевелил листья, и они что-то нам зашептали. Это называется словом «счастье»? Или это покой? Но тогда покой и счастье – это одно и то же.

Всё есть. И беды есть, и печали, а сколько праздника, сколько Божьего, религиозного, святого в воздухе! И мы летим с тобой, и молимся душой нашей, Моцартом нашим, нашим полетом, светлой нежностью, не ищущей сладости. Тишиной, поющей под солнышком.

И всё это означает, что я живая, что я люблю тебя. Я люблю тебя той любовью, которой ты хотел. Я в Моцарте люблю тебя – мы там, где Моцарт, где мы сейчас летаем с тобою, где рождается в нас Бог. И, слушая Моцарта, я плачу, как плакала когда-то, слушая Баха. Я плакала тогда, потому что хотела всегда жить в музыке Баха. Я плачу сегодня, потому что хочу всегда жить в музыке Моцарта.

Когда я плакала от тоски по жизни в музыке Баха, я не знала еще, что это сбудется, свершится, уже начинало свершаться. Я плакала, думая, что сижу на диване, а была уже немножечко в ней, в той музыке, по которой тосковала моя душа. Я плакала, думая, что музыка Баха где-то далеко, недостижимо, неосуществимо далеко. И всю жизнь душа будет лишь томиться по ней, стремиться к ней и тосковать, зная о ее недостижимости…

А потом всё сбылось. Был рай. И наш Дом в раю. И мы жили в музыке Баха. И обнимали Бога. И слышали Его. И ощущали. И вдыхали в себя. И это случилось с нами само («даром, даром» – повторяли мы, помнишь? И радовались, и верили, что так будет всегда). Это было подарено нам без всяких наших заслуг и усилий.

Может быть, оно не было бы подарено нам, если бы мы не любили друг друга. Но ведь и сама любовь была подарена нам тоже. Ведь и ее мы не заслужили, не заработали, не «выстрадали», а получили вдруг и сразу – в дар. И она сотворила всё остальное. Мы не ждали этого, потому что не могли представить, что такое бывает даже в сказке, даже в мечте. Но не зря же тополь живет за моим окном. И воробей на ветке. И молитва в сумерках, ведь не зря…

...Не отходи, от меня! Когда ты ласкаешь меня вот так, я знаю, что это ты не меня, не женщину ласкаешь, ты Бога ласкаешь, Богу ласка-

ми молишься и ласкаешь Его. А я – только сосуд, касаясь меня, ты Его касаешься. И пусть не прозвучит хвастовством, что вот, мол, я сосуд, в который вселяется, воплощается Бог, чтобы позволить тебе, смертному, любить Его и ласкать Его. Пусть не прозвучит это хвастовством, потому что ведь в то же самое время я, смертная, маленькая, слабая, молюсь Ему и ласкаю Его, и касаюсь Его, лаская и касаясь тебя. И руки мои обнимают тебя, маленького, родного, любимого. И ласкает тебя, и отдается тебе мое существо, просящее: «Господи, возьми меня, Господи», и я не знаю уже, где молитва, а где сам Господь, где моление Ему, а где невозможная нежнейшая, сладчайшая милость Его, где ты – мой маленький, а где Он в тебе, – Он, великий и бесконечный. И я не хочу ничего знать, потому что в это время всё, что здесь, – и мы, сплетенные, обнявшиеся, и Он в нас, и весь воздух вокруг, вся комната, или лес, или небо, – всё, что в нас, на нас, вокруг нас, из нас, всё – Бог и всё – молитва Богу. Но и Его любовь к нам, Его щедрое, явное, ощутимое присутствие. И можно умереть от этого счастья. Только смерть тогда называется как-то иначе. Перестать быть здесь на земле человеком, вознестись, превратиться в Любовь…

Звучат хоральные прелюдии Баха. За окном – мягкое сентябрьское солнце. В душе – протяжная, тянущаяся тишина, светлая печаль, нашептанная Бахом, молитва и любовь. Любовь к тебе? Нет, наша совместная, общая, единая любовь к тому, что слышит сейчас наша душа моими ушами, видит твоими глазами. Может быть, это и есть то, что мы смутно ощущаем, когда говорим друг другу: «Нет, это не ‘я люблю тебя’, это что-то другое»? Может быть, это и есть то, для чего слова «люблю» так мало?

Разве жить в музыке Баха и жить в нашем Доме, в нашей любви, нашей любовью – это не одно и то же? О любимый! Как я не умею сказать – совсем не умею, родной мой, бедненький мой, блаженный мой! Как хорошо научились слышать наши души, как хорошо они научились слышать друг друга и говорить друг другу, и как плохо умеют говорить мои уста… Ты колышешь меня в своем серебряном сердце, в Божьих садах, в горних просторах. Мне спокойно с тобой, надежно.

Так странно, что можно бояться космоса. Так странно, что можно ощущать одиночество. А ведь это было со мной. Я еще не знала тогда, что ты найдешь меня, и обнимешь, и заколышешь, и поведешь-понесешь-полетишь со мною... Я не знала тогда ни тебя, ни Отца нашего и ходила одна сиротой по земле, одна – по огромной земле. Так естественно было тогда бояться огромного космоса…

Как же так получилось, братик? Как получилось, что Отец наш открылся нам, а мне одной и тебе одному так не открывался... или мы

не знали, что Он – Отец? Или Он открывался, да мы не могли постичь, пока не воссоединились, не обрели себя друг в друге? И тогда лишь увидели, узнали, что Он – Отец, что мы – дети Его, а не сироты в бесконечности…

Люблю тебя маленького, люблю тебя великого, люблю тебя, возлюбленный мой, брат мой, сын Отца моего. Я знаю, что любовь наша – *оттуда, где нет начала и конца,* и, раз открывшись, она не может закрыться. Только это – опять слова, в которых я путаюсь, о которые трется моя плоть. Уйдем от них, милый, уйдем в бессловесность, в горнюю молитву, в молитву нежности, ласки, любви, в молитву Моцарта, Баха, молитву нашего Дома, молитву деревьев и моря, молитву наших глаз, губ, пальцев, душ, тел, того, что суть наша, молитву любви нашей друг к другу и нашей совместной единой любви к Отцу нашему, к Богу и Божьему. Пойдем, полетим туда, любимый!..

Помнишь, Снежная королева поцеловала мальчика? Я не метафорами сейчас жонглирую, а «открытие» совершаю. Тогда, в Церкви, а может быть, еще и раньше, Бог поцеловал нас. Всё, что свершается сейчас и завтра, – всё это потому, что Он поцеловал нас. Наша любовь, подобной которой не могли мы сыскать в жизни, в книгах, в сказках, такая потому, что Бог поцеловал нас. Она не могла быть иной. Мы радуемся, мы говорим: Господи, спасибо, какое счастье, что у нас так. А у нас не может быть иначе, потому что Божьи уста коснулись нас... Платон знал об этом. Платон, говоривший:

> Душу свою на губах я почувствовал, друга целуя:
> Бедная, видно, пришла, чтоб перелиться в него.

Платон знал об этом. Но целовал ли Бог уста Платона?

И вот Он поцеловал наши губы. И наша любовь сделалась такой. И все чудеса безусильно, сами собой, естественно свершились после Божьего поцелуя... Мне страшно, я не умею говорить об этом. Мне страшно думать о том, почему из всех людей на земле Он выбрал нас – и наши губы для Своего поцелуя. Но ведь это уже свершилось. По случайности, по милости или по таинственному для нас выбору, но к нашим устам уже прикоснулись Божьи уста. И теперь невозможно обернуть это вспять, всё уже свершилось. Понимаем ли мы, что это значит? Понимаем ли мы, *что* мы несем теперь в себе, на устах своих, в душах своих? Всё, что делается с нами, весь Свет, и Сияние, и святость того, что так мрачно, так смрадно и грешно бывает у людей, роковая обреченность земных страстей, обернувшаяся блаженной и молитвенной Бесконечностью, разобщенность, превратившаяся в Единство, противоречия, ставшие правдой и истиной, страх, переродившийся в доверие, в веру любви...

...Слышишь, любимый, как снова стало тихо и торжественно? Видишь наше Небо?

Бог по всему миру. Бог во всем мире. Или весь мир в Боге. Весь мир в Боге и в любви.

Господи, прости меня! Прости меня: я – счастливая. Я помню про всё зло; раньше от одной мысли о нем я не могла жить, а не только чему-нибудь радоваться. И вот сейчас, когда я узнала о зле еще больше, я всё равно чувствую себя счастливой. Я счастливая потому, что Ты, Господи, соединился во мне с любовью. И эта Бого-любовь делает меня такой счастливой, что всё остальное не может этого изменить.

Господи! Я надеюсь, что не стану глухой и слепой. И когда нужно будет, окажусь готовой. Но ведь это всегда нужно, Господи, – а значит, и сейчас. Готова ли я?..

Прости меня, прости меня, прости меня, Господи: несмотря ни на что, я чувствую себя счастливой!

Я не знаю, можно ли нам, можно ли кому-то другому просить Тебя. Но если можно, если можно, Господи, – помоги нам не утратить Света и мира, помоги не утратить Неба.

Я верю и верую, что наше «мы» – от Тебя и путь к Тебе. Я знаю и верю (прости, если это гордыня), что наша Встреча – это Встреча с Тобой, что, идя друг к другу, мы идем к Тебе, что наше «мы» настолько же ближе к Тебе, насколько каждый из нас сегодня ближе к Тебе, чем тогда, когда не знал еще Света, Неба, Тебя. Видна ли Тебе наша любовь, Господи?

Но если это так (о, прости неуместность слов моих, прости, ведь Ты слышишь *без* слов!), если, любя друг друга, мы любим Тебя, как же не испугаться той высоты, которой мы можем оказаться недостойными!

Прости нас. Помоги нам. Помоги одним – будь с нами всегда. Позволь любить Тебя. Научи любить Тебя. Позволь любить Тебя в Тебе, в мире и друг в друге. Помоги нам этим, Господи. И тогда всё темное, грешное, низкое и недостойное не помешает любви вести нас к Тебе...

Благодарю Тебя, Господи! Благодарю Тебя...

За раннее утро, за чистое небо, за пение птиц и неподвижность тополя – спасибо, спасибо Тебе!

Спасибо Тебе, Господи, за Тишину и Бесконечность. За то, что Ты есть, и за то, что я знаю об этом.

Спасибо Тебе за то, что Ты – во всем и за то, что я могу разговаривать с Тобой простыми словами, никакими словами, потому что не уста мои говорят с Тобой, и не слова мои Ты услышишь. Верю, Господи, верю, знаю: Ты слышишь то, что рождает слова, что рождает молитву – мою любовь к Тебе, Господи, мой тихий восторг пред Тобою.

Спасибо Тебе, Господи, спасибо.

За все те близкие и родные души, которым я нужна и которые нужны мне. За все те малые доступные человеку крупицы добра, которые дарила я и которыми меня одаривали. За то, что я живу на земле и могу любить Тебя и мир Твой, Господи.

И более всего спасибо Тебе за самый щедрый из твоих даров. Спасибо Тебе за то, что Ты дал земное воплощение моей любви к Тебе. Невыносимо было бы для человека бремя невоплощенной любви. Ты послал мне Себя и позволил любить Себя в траве и деревьях, в мелодии и в других людях. И любовь эта всё росла во мне, она стала уже больше меня, больше человека. Как было мне вынести ее? И тогда Ты послал человека. Одного. И этот единственный человек был не Ты и не я. Он был не Ты, и потому любовь к нему могла иметь воплощение – его можно видеть, коснуться. Он – воплощен. Он – не я, и потому его можно любить как другого, отдельного. Но в то же время он – Ты, и он – я. Он Ты – потому что он для меня – земное воплощение невоплощаемого, часть Твоя, посланная в помощь мне, не умеющей объять необъятное. Потому любя его – Тебя люблю, Господи. Тебя люблю, но доступной мне формой любви, суть которой едина. И он – я. Потому что в любви нашей мы становимся друг другом, а главное, потому, что это не я и не он, а я-он, или он-я, или мы, или наше единство, наше совместное двойство любит Тебя, Господи.

Давно-давно я сказала тебе, любимый: «Ты вошел в мою молитву». Ты вошел в мою молитву, и от этого стало делаться всё то, что делалось с нами потом. Ты вошел в мою молитву. И от этого родилась новая молитва – не моя и не твоя, даже не наша, а молитва нашего единого *мы*, нашей единой души. Родилась новая молитва. И из этой новой молитвы протянулся наш луч туда, где «больше счастья», «лучше праздника», светлей, радостней, тише... Понимаешь ли ты, что сделалось с нами? То несказанное, что делалось с нами, родилось и выросло из нашей молитвы. Мне не нужно больше мечтать о полетах и ощущать во сне ту чудесную силу, которая держит в воздухе и не дает упасть нашему телу. Я знаю, что это за сила. Это то свободное, напряженное и безусильное, что живет в нас сейчас и всегда. Это оно поднимает нас вверх и держит *там*, и не дает нам упасть или опуститься, и делает нас счастливыми, светлыми, бессмертными. Любовь? Да. Только не всякая любовь способна на это. Любовь? Да. Только что-то еще большее, чем любовь... А мы – маленькие. И слова у нас маленькие. Даже в стихах, даже в музыке, даже в молитве, если она словесная. И мы обходимся тем, что у нас есть. Нам просто ничего не остается. Мы не знаем *тех* слов. Мы говорим: люблю тебя, воробышек, елочка, солнышко, лучик, котенок. Мы говорим. И губы дрожат от

нежности. И белые розы распускаются в нас. И молитва наша растет и летит, вольная, светлая наша молитва небу, Богу, любви...

Хорошо ли тебе быть любимым? Хорошо ли тебе быть любимым мною?.. Не знаю, где я сейчас. Куда-то улетела моя душа, где-то она летает. Не знаю, где, но знаю, что там она с твоею душою и там хорошо – светло, молитвенно, тихо.

Я так люблю тебя, во мне живет и растет что-то необыкновенно нежное, тонкое, протяжно уносящее меня в такую даль, о которой мы только иногда узнаем в самые высокие, самые Божьи наши мгновения, когда души целуют друг друга и приникают друг к другу, и рождается Бог, всё время рождается Бог... Но разве можно словами? Разве словами можно об этом?

«Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога…»* Это про нас, про нас?

Про нас, а все-таки и здесь слова. Мне не найти лучших, ни у себя, ни в Книге. Может быть, там, где ласкают друг друженьку наши души, найдутся слова достаточно нежные, достаточно небесные?.. Возлюбленный, не слушай слов моих, слушай голос, слушай любовь, слушай молитву мою бессловесную. Я касаюсь губами кончиков твоих пальцев. Я слушаю то, что протянулось между нами и трепещет, и живет, и уносит нас туда, откуда оно пришло. Я вижу тебя, возлюбленный. О, как много торжественного покоя в этом молчании, в этом созерцании, в этом проникновении, в сопричастности Богу-Любви, Богу-Космосу, Богу-Бесконечности… Прости меня, я мала, а говорю о причастности к великому. Я грешна, а говорю о причастности к святому. Прости, Господи. Твори надо мною Суд Свой, верши надо мною Суд Свой, карай, казни, но не отнимай величайшего Дара, бесценного Дара Твоего, равного которому не могу представить себе, Боже: любви. Вот той нежной и сладкой муки, блаженного счастья творить в душе своей молитву любви, счастья слияния с возлюбленной душою, вознесения и полета, обитания там, где Покой, Свет и Молчание, расцвета души растущей, ширящейся, становящейся бесконечной, и вот этого, вот этого самого главного – когда внутри тебя начинает твориться величайшее чудо из всех даже самых Божьих чудес – когда в тебе, в твоей душе, в твоей ставшей двойной-единой-общей с душою любимого душе рождается Бог. И ты слушаешь, как рождается Бог. И слышишь, как рождается Бог, – и растет, и ширится, и превращается во всю вселенскую Бесконечность. И в то же время Он остается в тебе. И ты физически ощущаешь Его, прикладывая руку к сердцу своему или губы к губам любимого...

---

* Библия. 1-е послание Иоанна 4 стих 7.

ДУША И ТЕЛО

Дождь ночью прошел. Видишь, какие тихие, какие молящиеся стоят деревья, видишь? Милый мой, родимый мой, тихий мой, нежный, дзенский... Давай молчать, давай всегда – бессловесно. И сейчас бессловесно, и в письме бессловесно. Что из того, что это невозможно? Разве мало с нами происходило невозможного, такого, чего не бывает и не может быть, а у нас – есть. Почему бы нам и не помолчать в письме? Не будем говорить, не будем, родной. Лучше побудем молча вместе. И пусть видят и смотрят глаза. Пусть ласкают пальцы. Они ведь могут быть совсем-совсем бестелесными – только нежность в них, только тихость, только молитва и тишина. Видишь, родной, видишь? Слышишь Тишину, любимый, бесценный, ласковый?..

«Я люблю Вас», – сказал ты сегодня. Ты шел с работы, потом ехал ко мне в трамвае и думал, представлял, слышал, как скажешь эту фразу, как торжественно, значительно и светло прозвучат эти слова, впервые произнесенные четыре года назад. Ты знал, что скажешь их сегодня, и заклинал судьбу, чтобы ничто не помешало, чтобы ты успел на бегу остановить время и хоть на несколько секунд войти со мной в вечность. Ты знал это, знал, ведь правда, ведь так это было? И всё получилось, как ты хотел. Ты сказал: «Я люблю Вас». И внутри меня что-то екнуло и упало. И Время остановилось и замерло. А вместо него воцарилась Вечность. И не было в этой Вечности ничего из обычной жизни. Были мы. И было нечто – Дом наш? Космос? Волшебный лес? Сказочное небо? А мы – что мы делали? Парили в той бесконечности, в блаженной, нескончаемой, бессловесной молитве?..

В смущении от невозможности длить молчание – и от того, что приходится говорить о *здесь* (ведь о *там* говорить нельзя), я растерянно пролепетала что-то о сказке, которую читала, когда ты пришел. И всё испортилось. Всё нарушилось и исчезло, потому что ты сразу вспомнил о Времени – и тоже смутился от того, что «оторвал меня от сказки» (как будто не в сказку, не в волшебную чудесную сказку ты ввел меня своими торжественными и трепетными словами), но все-таки оно не ушло насовсем. И потом, когда я вернулась к Шварцу, всё снова сделалось с нами. И Вечность, Тишина, Молитва живут и сейчас, ненарушимые, не прекращающиеся ни от сказки о детях и времени, ни от корявых и грубых моих слов. Господи, как я люблю тебя и как благодарна за то, что ты сказал мне сегодня о своей любви!

...А как это было тогда? Ты позвонил мне впервые на новую квартиру. Мы не знали еще, что она станет нашим Домом. Наверное, мы разговаривали хуже, чем обычно. Не помню почему. Может быть, я была напряженной, потому что в доме была гостья. Не помню. Но

очень помню, слышу и сейчас и голос, и интонации, и все боли и болинки твоего голоса, произнесшего тогда: «Я люблю Вас, я очень люблю Вас. Я не представляю, как буду без Вас жить».

Ты не можешь вспомнить себя той минуты? Не помнишь? Может быть, попробовать показать тебе себя, услышавшую?

Это очень трудно. Как передать свои чувства в ту минуту? Всё, что я могла бы многословно и очень приблизительно рассказать о них, существовало во мне одновременно, но не на уровне слов.

Как рассказать о том, что мир мгновенно изменился, словно от прикосновения волшебной палочки? Знаешь ли ты, что я тогда услышала эти слова впервые? Что никто никогда не говорил мне их *так*? Что я жила с сознанием того, что мне никогда не придется их услышать? При этом я уже тогда знала, чувствовала, как много стоит за ними.

Тогда, как и сегодня, что-то екнуло во мне и упало. Когда ты произнес их в тот день, я не была к ним готова. За секунду до того, как они прозвучали, я ничего еще не знала. Не знала, *что* это, *какая* это любовь. Но когда услышала, поверила сразу. И сразу отдалась этому потоку. В тот момент не я, но что-то во мне уже знало и про Встречу, и про молитвы, и про Бога-любовь. Про всё, что и сейчас не могу передать словами, что мы называем «наша любовь». Как будто меня перевели из земной комнаты в Божий Дом, в Божьи Сады. И там – всё небесное, Божье, понимаешь?..

Обними меня тихонечко. Положи себе на плечо мою голову, и мы покачаемся молча и неподвижно, как тополь покачивается, – не ветвями, не руками, а тишиной и любовью. Обними меня, чтобы нежность и тишина переливались, струились от одного к другому. Не будет тебя, не будет меня, а будет только льющаяся тишина, только струящаяся нежность, только молитва. Не совместная молитва двоих, а единая наша молитва.

Помню, было во мне то, что называют умилением, когда весь мир умиляет тебя, только я этого слова стыдилась очень. И еще: всё было недостаточно тонким, недостаточно небесным и нежным, даже стихи, даже мелодия, но ведь и тело мое тоже было, конечно, предельно, а потому мешало мне. И чудилось мне, что вот еще чуть-чуть, еще мгновенье, и тело мое, всё материальное тихо и незаметно растворится, перестанет быть, перейдет во что-то иное, когда совсем нет тела, а только любовь – дух.

Если бы так со мной и случилось тогда, я бы не удивилась, не испугалась. Внешне это, наверное, было бы похоже на смерть. А на самом деле это был бы переход в Наджизнь... Может быть, так случается с самыми лучшими, с самыми достойными, с теми, кого зовут святыми... Может быть, когда-нибудь сподобимся и мы и, обнявшись

руками и душами, обнявшись и слушая, как льется в нас любовь, светло, незаметно, радостно, умиленно перестанем быть в телах наших и перейдем во что-то – в Сверхлюбовь, в Наджизнь – не за святость нашу, а за совместность любви к Нему и друг к другу...

Я не ищу слов. Зачем искать слова, они больше не нужны нам. Словами не скажешь, но голосом... А голос – те же пальцы, те же глаза, тот же чистый лист письма, те же благодарность и служение, служение и благодарность.

Как всё растворилось, как мы растворились друг в друге и вместе – в Нем... Прости меня, возлюбленный, прости меня, дыхание мое, наше дыхание, прости, если были грубыми слова или жесты; прости за всё, что слишком материально, телесно, вещественно. Прости, что руки, ноги, голова, дыхание – всё это не превратилось в ту нежность, что в нас и во мне, то есть превратилось, но осталось при этом руками, ногами, головой, а не исчезло, не растворилось. Прости грубость моей нежности, громкость тихости. Земное остается и не поспевает за нами, прости ему, братик. Прости еще и потому, что это хорошо и правильно, что оно остается, что в нем – стремление, и тяга, и зов, но что оно остается. Это и для нас хорошо в наших небесах, правда? А что стыдно и мучительно от его грубости, так ведь это и понятно. Ему всегда трудно и, будучи на самом деле тонким, оно все-таки всегда будет грубее того Молчания, Высоты, Тишины, Неба. Оно – не Небо, но и оно – к Небу. Спасибо ему тоже, да, любимый? Люблю тебя нежно-нежно... Люблю тихо... еще ти-и-ше... совсем-совсем тихо... Слышишь?..

Я сделала «открытие». Знаешь какое? Я полюбила тебя. Вот какое открытие.

Сначала я полюбила тебя как многих. Потом – как одного. И это было началом нашей любви. И я любила тебя всё время по-новому, всё больше и больше. Но только тогда, когда тело мое узнало молитву, я подготовилась к тому, чтобы полюбить *тебя*.

Мы так привыкли к чудесам, но устанем ли удивляться им и благодарить за них? И вот свершилось еще одно чудо. Наши тела научились слышать Бога. Они научились слышать Бога, как души. И тогда мы стали совсем почти готовы полюбить друг друга. А чудо всё росло и росло. И теперь они, наши тела, не только умеют слышать Бога, но научились рассказывать нам об этом своею Песнью. И если всё это правда, если то, что я не могу сказать, но, может быть, сможешь услышать ты, – если всё это правда, то нам выпало величайшее счастье, нам послан великий дар: нет у нас тогда физического и духовного – всё духовное.

И с легкостью можем мы теперь ответить на вопрос материали-

стов о душе, из чего она, где помещается: это же мы и есть, мы, воплощенные. И нет никакого противоречия между материальным и духовным, и никакой не надо искать первичности, потому что есть Единство. Единство – это две смертные половинки. Мы с тобой, например...

Мне кажется, я смогла объяснить то, что так долго пыталась, но не получалось. Это о наших телах. Прикосновение наших тел вызывает не желание наслаждаться, а желание молиться. Вот и всё. Хотя и это неверно, потому что прикосновение и само есть молитва, да?..

Шесть часов утра. За окном тишина и неподвижность тополя, деревьев, воздуха. Отчего ранним утром всё так тихо и неподвижно? Будто все молятся. Дома. Деревья. Небо. Тополь за моим окном. Все застыли в молчаливой молитве. А птицы наоборот – птицы щебечут безудержно. И еще звук дворницкой метелки...

Я проснулась по привычке без четверти шесть. И всё это утро постепенно вошло в меня и наполнило собою. Скоро мы встанем.

Как ты думаешь, летает ли тополь? Летает ли? Слышна ли ему звучащая в моей комнате Месса си-минор? Видны ли ему восходы и закаты, как они видны мне? Чувствует ли он, умеет ли молиться? Я думаю, что душа тополя летает так же, как моя душа. Я думаю, что душа его – ближе к Богу, чем моя, потому что он свободнее, смиренней и чище. Я думаю, что молитвы его спокойней, молчаливей, величественней моих. В них нет моей чувственности, а есть покой, молчание, вечность. Я думаю, что тополь – старше и лучше нас.

Но слышна ли ему месса? Этого я не знаю. Да это и не очень важно. Наверное, у него есть что-то другое, неслышное нам, своя тополиная месса, свой тополиный Бах, своя тополиная молитва. Но Бог у нас един...

А помнишь, как ты пришел ко мне рано утром в ту квартиру, где я ночевала у родственников? Я стояла у раскрытого окна, а ты подбежал к нему и хотел влезть ко мне в комнату через окно. И лицо у тебя было такое счастливое, такое дурное, блаженное, такое до невозможности родное лицо, с улыбкой от уха до уха, даже шире, потому что она изнутри шла, эта улыбка, и была больше тебя, буквально распирала, разрывала тебя, не умещалась на лице... Ты помнишь? И потом ты вошел в комнату. И было всё. И Бог был с нами, в нас, и из нас исходил, помнишь? Ведь это было, было...

...Давай побудем вместе-вместе. И пусть тела наши будут вместе. И пусть они любят друг друга и ласкают по-детски нежно, младенчески нежно. И пусть озорничают, если им хочется. Не будем одергивать их, братик. Они лучше нас справляются со многими невозможностями, потому что невозможностями их делает наше сознание, а тела, если

они Божьи (верю, что наши – Божьи, потому что любовь наша Божья), минуют сознание и как-то напрямик и моментально запускают нас туда, куда знания и сознание ведут долго, уныло, тяжко и не всегда надежно. Наверное, я болтаю ерунду несусветную, но милый, родной мой, прости меня, только я думаю и *вся* знаю, что прикосновение моих губ к твоим, прикосновение моих пальцев к младенческой белизне и шелковистости от всех сокрытого и открывшегося мне твоего тела, прикосновение чего-то нематериального, лучащегося из твоих глаз, глядящих в мои, – эти малые нежные прикосновения приближают меня, душу мою, суть мою к Богу в миллион миллионов раз быстрее, чем сотни прочитанных книг и годы раздумий...

Ну давай попробуем с самого начала.

Давно-давно, до греков, до Индии и Китая, когда люди были еще совсем дикие, они делали *это* кто с кем хотел. Один мужчина делал *это* со многими разными женщинами. И никому не было ни стыдно, ни страшно. Но ведь они, дикие, действительно не путали *это* с любовью. И *это* было для них – как утолить голод или жажду. Вкусно поесть – приятно. Согреться – приятно. Быть с женщиной – приятно. Так, что ли? Может быть и тогда любили. Те, кто любил, делали это не так, как мы, но все-таки они любили. Как же было *это* для них? Ведь если любили, то женщина становилась единственной, исключительной. Тогда начиналась ревность? Но и от желания владеть единолично тоже начиналась ревность. Значит, уже тогда были две ревности. Одна от жадности, агрессивная ревность владельца, а другая от любви, болящая, мучающаяся ревность любящего. И, может быть, именно в ней проявлялась тоска человека от того, что «каждый может делать это с каждой и каждая с каждым»...

Когда Адам и Ева были в раю, они любили друг друга и Бога. Может быть, они ласкали там друг друга. Может быть, и *это* было у них в раю. Это неважно, не имеет значения. Почему? Потому что там, в раю, не было разделения на душу и тело. Душа и тело были едины, были безгрешны и божественны. Когда Адам и Ева отведали запретный плод и оказались на земле, душа и тело перестали быть единым. Началось то, что мы зовем соотношением души и тела или борьбой духовного и телесного, беспредельного и конечного.

Помнишь Гарри в «Степном волке»? Он сталкивает волка и человека лбами. Они у него враги. Они борются друг с другом. И потому всё так страшно и безнадежно для него. Я знаю, что это так и бывает очень часто, почти всегда. И у нас с тобой так было до Встречи. А порой и сейчас, когда мы ненавидим в себе волка, т. е. плоть, инстинкт, когда пытаемся задавить их и растим в себе челове-

ка, т. е. дух – не естественно, а нетерпеливо, пытаясь ускорить естественный ход развития своего.

Но и здесь нам неслыханно повезло. Нам было подарено то, о чем Гарри, а может быть, и сам Гессе, мечтать не могли, не представляли, что так бывает.

Я думаю, что Бог хочет, чтобы каждая душа сама избрала Его, сама выбрала между сладостью телесного и блаженством духовного. Душа должна выбирать. Это бывает и мучительно, и трудно. Но иначе выбор не был бы так важен и дорог. Если душа изберет духовное, она не утратит сладости телесного. Но, выбирая, она этого не знает. Может быть, поэтому какой-нибудь блудник, откровенно отдаваясь греху, в чем-то равен перед Богом монаху, вроде отца Сергия, который исступленно борется с собой.

Наша любовь сотворила чудо. Двойственность, о которой говорил Гессе, больше не мучает нас. Плоть и дух не только перестали быть враждебными друг другу, но и превратились в единое целое. Конечно, с нами это случается только в самые лучшие, в самые высокие моменты, но таких моментов много. Это не секунды, они длятся во времени, хотя и конечны. Может быть, если когда-нибудь это сделается с нами навсегда, мы перестанем быть людьми, а станем чем-то иным. И все-таки мы знаем, что это бывает, потому что оно бывало с нами. Когда плоть и дух сливаются и превращаются в совсем иное, что не есть одухотворенная плоть и не есть воплощенный дух, а есть нечто совсем-совсем новое, чему мы не знаем имени и потому не можем назвать.

И в этом новом наша плоть не только не тяжела, не темна, не алчна, а легка, светла, безгрешна. В этом новом плоть не только утрачивает свою подчиненность духу, но и перестает быть ведомой. В этом новом плоть не только не тянет дух к земле и земному, но и происходит какое-то таинственное чудо. Когда плоть – или то, что раньше мы звали плотью, – становится языком, на котором дух говорит с Богом, т. е. она сама становится духом. И в то же время остается чем-то иным – воплощением духа, проявлением духа. И в эти минуты, в эти счастливейшие небесные минуты, мы спасены. Нет ни греха, нет ни хорошего, ни плохого. Есть Свет. Есть Бог. И мы – дети Неба и Бога-любви. И нет никакой проблемы Волка-Человека. Если бы Гарри знал об этом! Если бы мы умели продлить это в себе навсегда... Но пытаться удержать это в себе невозможно, бессмысленно и бесполезно. Гессе говорит: «Тело каждого человека цельно. Душа нет». Но тело еще и предельно, а душа – нет. Впрочем, я, кажется, потеряла нить.

Да и как не потерять, когда твои руки держат меня. И мои руки держат твою голову и шею. И глаза мои видят тебя близко-близко. И губы мои уже ощущают твои щеки. И голова кружится. И всё стре-

мительно вертится и падает куда-то, куда-то уносится, оттого что сейчас встретятся наши губы. Господи! Неужели это грех? Этот полет, этот уход в бесконечность и вечность, это воссоединение мира... Божественность, Бог... Неужели это грех, да быть этого не может! Разве это не раскрытие врат в иной мир? Разве это не Божий язык, не Божья речь, не Божья милость?..

...Когда ты раздеваешь меня, помогаешь мне раздеться, раздеваешься передо мною сам, и мы смотрим друг на друженьку обнаженные, всё замирает во мне от стыда; это стыдно и жутко, только не мрачно, не темно, а светло и блаженно-жутко, светло и блаженно-стыдно. Греха в этом нет. Это так сокровенно, так глубинно и светло, это так высоко, что, конечно, в каждое мгновение меня можно выгнать оттуда, и я не стану роптать. Потому что знаю: допустили меня не по заслугам, а даром или по ошибке. Но, пока не выгнали, пока мне можно быть там, пока дар не отнят у нас, греха нет, это не грех, это что-то иное. Стыд не от греховности происходящего, а, скорее, наоборот – от высоты и чистоты, слишком высоко сияющих над нами. Это наша расплата за то, что нас таких – не святых, не безгрешных – *туда* пускают. Но то, что с нами происходит, не грех, а Дар, благость, благодать, приближение к Богу, очищение наше...

И вот зазвенели серебряные колокольчики. Стены вокруг меня вдруг оказались хрустальными, в хрустальный свод превратился потолок. Тело мое стало легким-легким. Ему захотелось взлететь, но так, чтобы не делать никаких движений, легко, безусильно. Я протянула руки вверх, взглянула на хрустальный свод и увидела, что посредине отворяются прозрачные серебристые воротца. Тогда я снова потянулась руками к этим воротцам и полетела. Я летела тихо и незаметно, просто тело плыло по воздуху вверх, возносилось светло и торжественно, но в то же время как-то очень по-детски. Как в молитве и в сказке одновременно. Так я летела-летела, пролетела воротца и влетела в Праздник. С этого момента всё будет хорошо, потому что начался наш Праздник, наш светлый, святой, Божий, Божественный, нежный, молящийся Праздник.

Прикосновенье тел творит молитву.
Прикосновенье тел…

Помнишь, как это было? Ты лег. И руки мои обвили тебя. И тело мое прильнуло к тебе. И я сказала: «Ну вот и всё». Помнишь? Ты спросил: «Что – всё?», а я повторила снова: «Ну вот и всё. Теперь пусть приходят». И это значило: свершилось, состоялось, осуществилось... И был покой, помнишь, какой был покой?

Мы дремали и мы парили, но не по отдельности, а вот именно так, соприкасаясь телами, переливаясь телами, душами. Не буду больше говорить об этом, потому что об этом нельзя говорить. Только об одном скажу, о тайне, которая тогда плыла с нами в нашем паренье. Может быть, именно тогда Божья тайна коснулась нас – и что-то сделалось с нами... Тело мое перестало быть предельным. Так бывает с облаком, когда, теряя свои очертания, оно расплывается по небу и воссоединяется с ним. Теперь оно – везде. И так же *везде* было мое тело. Его оболочка лежала в постели, ее можно было увидеть со стороны. Но я тогда об этом не думала, потому что была *везде*. Наверное, это было не на Земле. Наверное, это было вне Пространства и Времени. Я была *везде*. Я была *всё*. Я не помнила ни дел, ни бед, ни радостей житейских. Это было возможно только потому, что я была в тебе, а ты был мною… Ты скажешь, что это сделал не ты. Конечно, такое чудо не мог бы сотворить никто из нас двоих. Но ведь не волшебная палочка сотворяет чудо, а тот, кому она принадлежит. Ты был моей волшебной палочкой. *Тобою* стало возможным это чудо... Услышь, любимый, я не умею сказать, мне самой мучительно от немоты, услышь, возлюбленный...

И вот когда я смотрю на воробышка, как он скачет, маленький, легонький Божий комочек, я *знаю*, что это ты. Когда желтые-желтые листочки дрожат на белой-белой березе, я *знаю*, что это ты. Когда я люблю свою ученицу, девочку Жанну, она становится тобой. Когда люблю маленького Сашеньку, он становится тобой. Всё-всё-всё любимое – ты. Я *знаю* это. А откуда?

И знаю еще одну вещь. Все эти волшебства и с тополем, и с воробышком, и с березовыми листочками, и с людьми возможны потому только, что есть ты и есть наше *мы*. Это как тогда, когда я сделалась *всем и была везде*, и тело мое разлилось до бесконечности от соприкосновения с твоим, от переливания одного в другое, от слияния их воедино. А без этого, без тебя ничего никогда бы не было. Потому что не я, а мы – *всё и везде*. Только ты-да-я – *всё и везде*…

Когда я люблю тебя-воробья, и тебя-тополя, и тебя-березу – это потому возможно, что ты – *всё и везде*. Вот как той ночью… Конечно, так было и раньше. Но только – так да не так. Раньше я потому воробья любила, что – Бог, что – мы, что – любовь. Но ведь воробья любила, именно воробья. Ну конечно, это я тебя при этом любила, но все-таки вы были отдельно: ты и воробей. А теперь ты воплотился во всё любимое… Ну помнишь, как у греков боги воплощались для любимых то в зверя, то в дождь золотой, помнишь?

Мне кажется, что с нами случилось что-то очень хорошее. Мне кажется, что наша любовь выросла и сделалась новая, другая... Мне

кажется, мы перешли в следующий класс той Школы любви, в которой учатся все люди. Мы оба почувствовали, что это сделалось с нами, когда соприкоснулись наши тела – соприкоснулись и соединились. И замерли. И больше ничего не было – ни движения, ни звука, ни жеста, ни напряженности, ни даже сладости, хоть и самой небесной, а только мир, покой, тишина, пустота, бесконечность...

Не могу говорить. Даже молчать трудно, потому что даже молчать – слишком громко. Если бы глаза твои... Если бы губами души коснуться, если бы...

Давай летать в нашем Доме, в нашем Храме, который растет и растет – и сам летит, приближаясь постепенно к Господу Богу. Давай жить в музыке Баха и в музыке Моцарта, давай жить в сиянии слившихся, воссоединившихся тел... нет, не тел, а единого тела нашего, к Богу летящего...

Я знаю, знаю, что нам открылся рай, что мы живем в раю. Не всегда, но часто, но подолгу. Это не мне, а нам он открылся. Так не бывает, чтобы одному, да и как это может быть, если для Бога мы – две половинки одного целого. Мы живем в раю. Но ведь наш рай – рай именно потому, что у нас воссоединяются души и тела, и нет телесного, нет и не было, а есть любящая душа, говорящая с Небом. Почему у нас так? Может быть, потому что мы очень этого хотели, очень ждали всю жизнь, очень верили, что так может быть и будет – если не в этой жизни, так в следующей. И вот нас впустили в рай. Ты думаешь, что ради меня, а я думаю, что ради тебя. Но какая разница, если каждая клеточка тела нашего молится нашей любви, молится нашей любовью, молится Господу о воссоединении с Ним.

И потому не страшно физическое – оно не плотское! Оно только по видимости, по форме – проявление плотского, а по сути нет. И потому не страшно то, что так пугает людей: «разлюбит», «полюбит другую (другого)» и прочее, прочее. Это возможно, но и что из этого? Встретившиеся разве могут забыть друг друга или быть друг без друга?

Не зря я всегда знала: бывает так, что нет греха. Так же, как знала, что летать возможно, что волшебные палочки существуют, что плетеная корзина может зацвести... У меня так не случалось без тебя. Ни в жизни, ни в книгах я такого не видала. Говорила, что боюсь физической любви, а все-таки знала и про полеты, и про волшебные палочки, и... И у тебя так не бывало без меня. Так оно могло быть только у нас, не у тебя с кем-то и не у меня с кем-то, а только у нас, друг с дружинькой. Разве ж это не понятно? Мне и раньше хотелось такого. И тебе тоже хотелось. Только это было невозможно нам друг без друга, не вместе... И мы оба мучились от враждебности телесного и бестелесного.

После того, что случилось с нами, после наших полетов, венчания, обретения нашего Дома, всё, конечно, переменилось. Никакого стыда и чувства вины, никакого ощущения греховности у нас с тобой не было, а были радость, ликование, молитва, Моцарт. И эта безгрешность, эта чистота нашей любви стала для меня естественной, заполнила меня. Теперь мне стало казаться, что так было всегда, а если кто-то думает иначе, то просто не понимает, может быть, сам нечист…

Мы познали, что плоть и дух не только не враждебны, но и нераздельны, что они воссоединяются. Что нет греховности там, где она чудилась нам. Уже нет. Сейчас нет. И, надеюсь, что уже никогда не будет.

Нам говорили о полетах и о Свете, о возможности попасть в иную сферу, но мы думали, что это фантазия, или мистика, или метафора. Но вот оно происходит с нами. И мы принимаем это с трепетом, но как естественное Божье чудо. То, что происходит с нами, многое из того, что происходит с нами, в чем мы живем, дышим, любим и молимся, было когда-то узнано из книг. Оно было описано там, но нам казалось волшебным сном, возможным в мечтаниях, но не в жизни. А оно свершается. Не всё. Но многое. Свершается и становится каждодневным, каждый день свершается оно с нами...

И теперь нам хочется, чтобы все знали, как это бывает, когда тело и дух не враждебны, когда тело и дух – одно. И нет высоты и невысоты, потому что всё – высота.

Какие мы были глупые. Какие мы были несправедливые. Как мы обижали тела наши. И как они терпели, молчали и продолжали любить. Они ведь могли устыдиться тех слов, той роли, которую мы навязывали им, пока не прозрели. Устыдиться, поверить, стать низкими и предельными и начать жить на земле, как вроде бы и было им предназначено. Но нет, они не смогли. Они уже любили. И уже не могли верить нам – глупым, трусливым, недоверчивым. Потому что они уже подчинялись любви, и верили ей, и уносились ею, и ей служили. Как хорошо, что они оказались умнее нас и лучше нас, что вера их была надежней нашей. Как хорошо, что не мы их стянули вниз, а они нас запустили вверх, как хорошо это, хотя слова мои об этом так плохи, так несовершенны… Как хорошо, что они дождались, пока мы узнали, пока нам открылось про них то главное, светлое, после чего мы уже ничего не боялись и не обижали их, и не стыдились их. Как хорошо, что всё слилось воедино, что нет тела и духа, а есть то светлое, единое, чему я не знаю названия, что само молится и воспаряет, что блаженно, и сладостно, и упоительно, и светло, и молитвенно, и бесконечно. Как это хорошо, как хорошо, любимый!

Как хорошо, что мы и любим одинаково, как это хорошо!.. Да, мы

боялись: а вдруг окажется, что несбываемое не сбудется? А вдруг будет *не так*? Когда мы летали и даже когда ласкали друг друга, это были все-таки не тела наши – или не воплощенные тела. А вдруг, думала я, сейчас начнется страшное, телесное. А вдруг мы упадем вниз – и тогда всё кончится... А этого не случилось. И несбываемое сбылось. И всё разрозненное воссоединилось. И тогда в нашей первой ночи, неуверенной, неуютной и стыдящейся, впервые ягненок прильнул ко льву, и лев ласково лизал его шершавым своим языком. Потом бывало всякое. Но тогда они впервые прильнули друг к другу. Их слияние в нечто единое, невраждебное, в единое творение Божье началось тогда, правда?

И я не солгала тебе, когда говорила о полетах, что лучше этого ничего никогда не будет. Но разве не полетами были все наши встречи? Разве не в полете звучала лютневая музыка, когда мы лежали на полу нашей комнатки? Разве не в полете были наши губы и Божьи молнии? Не в полете мы пили друг друженьку? Не полетом была молитва нежных и сладостных наших губ?..

Любимый, любимый, любимый! Посиди у меня на крылышке! Посиди у меня на крылышке, отдохни, утешься, успокойся, перестань болеть сердечком и душою. Посиди у меня на крылышке, любимый. Так давно не было этого. Но сейчас, когда я в Свете, который заливает собой наши горечи и обиды и, хотя и приобретает оттенок грусти, когда ты в печали и болезни, когда ты грустишь и я тоже грущу и печалюсь с тобой, он всё равно остается Светом и всё растворяет в себе. Посиди у меня на крылышке маленьким-маленьким воробышком, прислони головку, погрейся, поспи. Ты – маленький, я – мама. Ты у меня на ручках, я глажу твои волосики, лобик, головку. Тебе должно быть хорошо и спокойно у меня на руках. Они любящие и нежные, они ласкают тебя без жара, утишают твою боль. Послушай мое сердце. Сейчас, когда я пишу эти строчки, оно слышит музыку Баха, спокойную, тихую, Божью. Оно слышит эту музыку и чувствует твое крохотное тельце, прижавшееся к нему, тельце мальчика или воробышка, тельце, которое можно и нужно защитить, уберечь, согреть, вылечить… Непрерывно, без начала и без конца льются и льются звуки прелюдии. Непрерывно, без конца, без начала, без мыслей, без перерывов…

Всё освящено небом, омыто морем, наполнено прозрачностью и тишиной. Хорошо. Хорошо лежать в траве или в воздухе, глядя в облака вверху и вокруг, хорошо слушать тишину, хорошо отдаваться ей и морю – и, значит, вечности. И тихонько мечтать при этом о «маленьких бесконечностях» – о том, как мы будем лежать рядом в траве или в воздухе и глядеть ввысь. И будет так же тихо, и так же

нежно, и небо будет такое же высокое. И так же медленно будут плыть в нем облака. Где-то среди них и наше облачко – мягкое, прозрачное. Спасибо, любимый. И облачку спасибо. И тополю. И гусенице. И траве у моря. И всем и всему. Тихо здесь. Тихо и полно. Всё истончаются и истончаются наши ниточки, но не меньше становятся, а тоньше. Люблю ли? О Господи! Люблю ли я Тебя, Господи! Тебя – беспредельного, безграничного, бесконечного! Тебя – в небе, в море, в воздухе, в возлюбленном моем! Люблю ли я Тебя, Господи!..

Я люблю тебя, люблю тебя «всяко», но сейчас, сейчас я люблю тебя так… как будто мы прошли с тобой через Зону*. Не знаю, зачем мы шли туда, во всяком случае, не ради той комнаты, где исполняются сокровенные желания. А может быть, и ради нее, толком мы этого не знали. Но дело не в этом. Главное, что мы шли по ней вместе. И всё это случалось и было с нами вместе. И вот теперь я сижу усталая, печальная, а может быть, это и не печаль, а торжественность тишины и пустоты. И люблю тебя так, как будто мы сто тысяч раз вместе умирали, вместе проходили через все страхи, печали, опасности, но и радости, и открытия, и молитвы. И сто тысяч раз ты «вытаскивал» меня, как Сталкер тех, кого он вел, – спасал меня, уносил от гибели и смерти. А может быть, это я сто тысяч раз «вытаскивала» тебя, это неважно, это не имеет значения, кто из нас кого вытаскивал и спасал, а важно, что мы *вместе* прошли этот переход.

А может быть, так и было? Может быть, мы уже рождались вместе от единой матери единым существом? И жили. И умирали вместе. А потом, когда разделились надвое, шли – то держась за руку, то в отдалении. Но вели друг друга, не давали друг другу погибнуть?

Поняла очень важную вещь: люди не умеют хотеть. Люди не знают, чего они хотят, чего им хотеть, чтобы быть счастливыми. Все хотят быть счастливыми, никто не желает себе зла. Но это людям только кажется, что они желают того, что сделает их счастливыми. На самом деле то, чего они так страстно желают, к чему так стремятся, не приведет их к счастью, не может привести и, наоборот, уводит их от него. Это как в «Сталкере». В комнате, в этой заветной комнате, осуществляется не просто твое желание, осуществляется *подлинное* твое желание. Ты думаешь, что жертвуешь и рискуешь собой ради здоровья отца или брата, а комната выплевывает тебе кучу золота. И ты становишься богатым, но кончаешь жизнь самоубийством… В жизни – как в этой комнате. Я вспомнила многих девочек, с которыми мне прихо-

* Тарковский, Андрей. Кинофильм «Сталкер» (1979).

дилось общаться. Они говорили мне о своих заветных мечтах. Говорили искренне и горячо верили, что это правда. А я слушала их и знала, что им на самом деле хочется совсем не того, о чем они так красиво говорят. Им хочется выйти замуж. Одной – просто замуж. Другой – замуж и чтоб иметь ребенка. Третьей – замуж или чтоб мужчина был. И они получили от судьбы не то, о чем просили вслух, а то, чего на самом деле хотели. Мечтавшая о детях стала матерью, мечтавшая о семье отдалась быту и воспитанию, мечтавшая о мужчине завела любовников. Они все получили то, чего хотели на самом деле. Другое дело, что ни одна из них не счастлива. Ни одна! Все неудовлетворены. Но не заветная комната их обманула. Они сами себя обманули.

Я знаю, что встретила тебя потому, что *хотела* встретить. Всегда хотела. И если бы до смерти не встретила, то встретила бы в другой жизни. Когда я страдала от сиротства и одиночества, когда дружила с хорошими и любимыми людьми, – всегда хотела встретить тебя. Не легко и не быстро дошла до заветной комнаты. И погибнуть могла – ведь многие же гибнут, редко кто доходит. Но что бы я там ни просила вслух, мне всё равно послали бы тебя и нашу любовь, только это...

...Люблю, опять люблю тебя. Обнимаю тебя, и тянусь к тебе губами, руками, всем, что есть «я», тянусь к тебе, вечный возлюбленный мой. И вот мои губы касаются тебя. И молятся, и ласкают, и дрожат от нежности, почти нестерпимой, до желания умереть, раствориться, погибнуть за тебя, за нее, за нашу любовь, во имя любви. И всё существо мое льнет к тебе, и всё оно – нежность, благодарная молящаяся нежность, и ничем нельзя ни высказать, ни передать ее, только молчанием, только касанием пальцев, и тел, и губ. И опять мы летим. Это нежность вознесла нас, это нежность несет нас в пространстве, где нет ничего, где всё – любовь, всё – любовь.

У нас бессловесность. У нас – тишина и молитва. С нами в комнате – музыка Баха и чистый листок бумаги. Перед нами – наш тополь на фоне зимнего неба. Я хотела молиться с тобою. И боялась, что не подберу слов. Я хотела молиться Деве-Матери, ее любви и ее скорби. И молиться Отцу. И благодарить Его за твое-наше рождение. Но я не могу. Всё во мне – молитва, то есть благодарение, благоговение, любовь. А слов нет. Будто мы воссоединились с тобою и парим *там*. И неподвижно Время. И не я люблю тебя, а мы исходим сладостной и скорбной любовью к Нему. И мы не в комнате, а в нашем Доме. И не стены вокруг нас, а то, что мы зовем космосом, не враждебным, а дружественным космосом, частью которого мы ощущаем себя. Давай полетаем, любимый, поплаваем в воздухе, поиграем с облаками...

Помнишь наши первые полеты? Ты можешь летать, сидя на

моем крылышке. Тебе не будет ни холодно, ни страшно. Только пусть звучит Бах, пусть всегда звучит в нас Моцарт или Бах.

И вот мы летим в ночи, в темной синеве, в протяжной бесконечности. Мы парим неподвижно, держась за руки, раскинув руки как крылья, и тела наши на расстоянии, но это совсем неважно и не чувствуется расстояние, не ощущается, будто впрямь срослись, слились, сжились, сроднились. Тише, маленький, тише, дитя мое дорогое, небесное. Ты молчишь, я знаю, но тише, тише, пожалуйста. Подлети ко мне, обними меня, пусть переплетутся наши тела. И вот оно летит, наше общее тело, наше единое тело-душа, суть наша. Чувствуешь, как струится что-то в телах наших, чувствуешь, как оно льется, журчит, переливается свободно от одного к другому и обратно, чувствуешь? Будто общими стали сосуды, по которым струится жизнь.

А теперь совсем тихо, родной, совсем-совсем тихо. Слушай, слушай, как зацветает, распускается в нас молитва. О Господи! Какое молчание эта молитва, эта бесконечная молитва, цветущая в нас в синеве ночного неба, перед лицом этого неба, перед ликом беспредельности в едином полете любви нашей, Господи!

...Закрой глаза, милый, закрой глаза. Закрой глаза и смотри. Слушай. Что ты слышишь? Музыку Баха? Слушай ее, мой родной. Слушай, не открывай глаз, пожалуйста. Вот я подошла к тебе обнаженная. Разденься и ты. Обними меня. Чувствуешь, какое прохладное у меня тело? Это потому, что оно только недавно из моря. Обними его, мой хороший. Обними мое прохладное тело своим горячим и любящим. Не надо ласкать его, не надо, только обними – всем своим телом слейся с моим и слушай, не открывая глаз, слушай, пожалуйста. Бах всё еще звучит. Он будет звучать *всегда*. Слушай, возлюбленный, слушай. Сейчас уже не день, но еще и не вечер. Солнышка не видно, а воздух – серебристый и полон тишиной. Слышишь его? Слышишь воздух? Слышишь его тишину? Ну вот, а теперь легонько-легонько оторвемся от земли. Ничего не надо делать, никаких усилий, руками махать не надо. Я сама чуть-чуть оттолкнусь от земли, а дальше нас понесет воздух, наполненный тишиной. Ты только не отпускай меня, ведь это мы потому можем летать, что вот так обнялись, сплелись, объединились. Когда человек летает один, он летает совсем иначе, тогда можно лежать или плыть по воздуху, как по воде. Я думаю, если когда-нибудь заслужу, то смогу так летать еще в этой жизни. Когда я плыву в море, всегда думаю, что вот так же поплыву когда-нибудь и по воздуху. Мы очень дружим с морем. И может быть, если я заслужу, небо подружится со мной так же, как море. Но это потом, потом, вчера или завтра. А сейчас наше общее тело тихонько и плавно поплыло-подлетело к тополю. Вот теперь нам нужно расплестись ненадолго. Потому

что иначе мы не сможем обнять его, нашего брата. Раскрой объятия, не бойся, только одной рукой все-таки держи меня. Теперь давай обнимем его, вместе обнимем – два тела рядом, распростершие руки: слева твоя, длинная и худая, справа моя, маленькая и загорелая. Прижмись к нему лицом, заройся в его листву, прошепчи ему слова любви и благодарности или, если можешь и хочешь, слова печали своей. А Бах звучит сейчас быстро-быстро, звуки струятся, словно трепещут тополиные листочки на ветру. И всё не кончается, всё не кончается эта музыка…

А полетим теперь к морю? Вот и хорошо. Только возвращайся ко мне весь, обними меня снова. Нам надо подняться повыше. Мы полетим к морю, и не нужно, чтоб люди видели нас по дороге и смущались. Ты закрой покрепче глаза, обними меня нежней. Всё, теперь нас несет, как пушинку, как облако. Мы ничего не можем больше сами сделать. Только отдаться потоку, только плыть и плыть, ощущая под пальцами любимое тело. А теперь смотри, мой родимый, оглянись, какая синь, какая теплая, дружеская, радостная, солнечная синь. Мы плывем в этой сини. Мы – часть ее. Мы – люди. Но ведь она приняла нас. Она приняла, как приняло нас море, которое не только дружит с нами, но еще иногда играет, шалит, забавляется… а потом замолкает и впускает в свою Тишину. Как приняла музыка Баха, как принял тополь, молящийся в нашем дворе, как принял серебристый воздух, наполненный Тишиною...

Мы вернемся на землю. И будем ходить, как все. И будем жить. И будем верить и не верить, спотыкаться и каяться, отчаиваться и надеяться. Но ведь это было, было! Этот маленький полет-прогулка над домом, двором и городом к морю. И другие, которые были и еще будут – и в темно-синем космосе, и в светлом, солнечном, радостном космосе, и в Бахе, и в Моцарте, – шутливые, с играми и озорством, и тихие, с молчанием и молитвой, парящие, неподвижные, ликующие, искристые, – всякие. Забудем ли мы это? Сможем ли перестать всегда хотеть этого? А если нет, то чего же нам бояться, счастливым и любящим? Бог не оставляет нас. Бог никогда не оставляет нас. Только бы мы не оставили Бога...

ДОМ И ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

У меня есть одна догадка. Она появилась очень давно, еще в детстве и юности. Потом, после нашей Встречи, я начала забывать о ней. А догадка вот какая. Я думала, верней, подозревала, что мое рождение в этом мире, на этой земле, в это время, в образе человека женского пола – ошибка, случайность. А на самом деле я должна была родиться где-то в другом месте и времени, в другом мире и в другом облике. Но ошибка уже произошла. И поэтому я вынуждена отжить

свой срок. Но так как всё во мне, все «детали», все «составные части» предназначались для чего-то другого, они совсем не годятся для этого мира, для этой жизни. Может быть поэтому я всегда, начиная с самого раннего детства, чувствовала себя такой чужой, такой бесконечно одинокой, неизбежно одинокой среди людей, детей и взрослых, даже тех, кого пыталась любить и любила, кто любил меня. Мы были слишком разными, слишком инородными, хотя я этого и не понимала тогда. Я никогда не могла приспособиться к этой жизни, никогда не могла найти себе занятие, ничему не могла научиться. Мне всё было тоскливо, скучно, не нужно. В детском саду, в школе, в институте, на работе я всегда ждала, когда же это кончится – и начнется настоящее. Я ничего не умела делать: ни кашу варить, ни детей учить, ни шить, ни плясать – ничего. Я была в этой жизни ненужная, чужая, лишняя. И от этого мне вовсе не было хорошо или легко жить. Всё вокруг меня как-то к чему-то приспособились. А я не могла.

Когда мы с тобой встретились, и ты узнал меня, я сначала не поняла, что произошло со мной и с нами, потом не поверила, а поверив, просто перестала жить на этой земле, а вся ушла в нас, в тебя. Я к тебе ушла потому, что впервые не было инородности, впервые оказались похожими, впервые – родными. К *нам* ушла. Потому что впервые – то настоящее, которого всё время ждала. И не оставалось вопроса, который мучил меня раньше: «А зачем это?». Всё так хорошо уложилось на предназначенные для него места. Я *домой* пришла. Я туда пришла, где мне предназначено было родиться и жить. И вошла в тот облик, который мне был предначертан. Его, кроме тебя, никто никогда не увидит. О Господи Боже мой! Попасть по ошибке на другую планету, заблудиться во времени и пространстве, воплотиться в чужое тело... И знать, что обречен на это до самой смерти. Не надеяться на то, что хоть один брат, один соотечественник встретится тебе в твоей пустыне. И вдруг найти его! Вернуться домой, домой, в родную душу, лоно родного Бога, о Господи Боже мой!

Мы говорим друг другу «родной», «родная», а как же родные, когда *одно*? Ты хорошо и правильно вспомнил о том нашем, когда мы были еще не двое, а единое, ты прав, ты прав. И потому мы так не хотим всего разъединяющего. И потому так стремятся, так тянутся наши души к тому состоянию ли, времени ли, когда нам уже не надо будет никаких «сцепок», чтобы приложилось, совпало, стало совсем одним – и где нет ничего, только Бог и Свет.

Как хочется дожить до этого. Чтобы мы снова не знали, забыли знать о разделении. Забыли бы, что было время, когда нас еще было двое, а не одно, единое. Чтобы мы не поверили тем, кто стал бы рассказывать нам о временах, когда у нас было два сердца, две пары рук

и ног, что наши две пары глаз смотрели друг на друга (а что это значит?), что губы наши тянулись друг к другу (а как это?). Но если может случиться, что и сегодняшние мы когда-нибудь «распадемся», что в нас и сегодня таится двойственность, что из каждой нашей сегодняшней «единицы» снова появится пара (наши дети? внуки? пра-пра-правнуки?) И они будут тосковать и стремиться друг к другу. Ведь если существует деление, то оно не должно иметь предела.

Верно и обратное. Когда мы, наконец, воссоединимся, станем единым существом, не окажется ли, что это единое существо тоскует и тянется к своей половинке, что оно (то есть мы вместе) – тоже, в свою очередь, половинка, и так до бесконечности, до воссоединения в единое вселенское существо? Ведь и процесс деления, и противоположный ему процесс воссоединения беспредельны в обе стороны и, значит, так и должно быть. И тогда мы с тобой – воистину частица Вселенной, частица безграничной Вселенной, держащейся на любви, на центростремительной силе любви. И всё в соответствии, всё держится любовью, то есть Богом. Бог собирает Вселенную, в которой где-то на какой-то точке времени и пространства две наши души, воплощенные в два разных тела, стремятся воссоединиться, слиться любовью в единое целое...

Да, да, да. Непрерывное деление и непрерывное воссоединение. Одно невозможно без другого. И каждая точка одновременно половинка, стремящаяся воссоединиться и стать целым, и целое для двух половинок, стремящихся воссоединиться в нее. Центробежное и центростремительное направления. Они обеспечивают равновесие, надежно поставляют «материал» для Вселенной, которая поэтому никогда не иссякнет. Но тогда и Вселенная – чья-то половинка? И так без конца?..

Вселенная – чья-то половинка, как мы с тобой. Вселенная так же любит, и тоскует, и стремится к воссоединению, как мы с тобой. О Господи! К чему же мы причастны! Мы – крохотные песчинки, невидимые не только из Вселенной, но даже и с малой высоты, мы любовью своею держим эту любящую, тоскующую, одинокую Вселенную, как атланты держат небо. И если мы предадим себя, свое единство, свою любовь, мы сотворим зло не только себе, но и Вселенной. Мы затрудним ей возможность воссоединиться с другими Вселенными. Затрудним возможность воссоединения всем тем, кто находится между ними. Предадим Вселенную, Любовь, Бога...

Слышно ли тебе, как велико то, о чем я сейчас говорю, сколько бесконечного блаженного, воистину вселенского счастья вытекает отсюда, но и сколько ответственности, обязанностей, вины и воистину вселенского долга? Слышно ли это нам обоим? Ведь это мы с тобой, ты и я, слабые, грешные, малые, глупые, осмелились выйти в

открытый космос, во Вселенную, без скафандров, без защитных устройств, без брони и одежды, и в этом космосе, в этой Вселенной искать друг друга, и звать, и тянуть друг другу руки. И мы летим навстречу друг другу, и ждем, когда Встреча состоится, и просим о ней Бога. Встреча – это воссоединение. Любовью движимы мы, в космосе наш Храм, где мы просим Господа благословить нас.

...И знаешь, я еще одно «открытие» сделала. Я написала тебе: «Какое нам выпало счастье. Ведь мы узнали друг друга. Встретились в космосе и узнали. А могли бы тосковать в одиночку и не встретиться до самой смерти». Вот так я написала – и тут же поняла, что это неверно. Ведь мы – вечные. Мы есть всегда. И то единое, что распалось на две части, и каждая тоскующая, ждущая, ищущая половинка, и мы сегодняшние, встретившиеся, и завтрашние, воссоединенные... И то, что наши тела умирали миллион раз, и что сегодняшние наши тела тоже умрут, это ничего не меняет. Мы уже есть бесчисленное число лет, жизней. Мы уже тосковали о встрече, а теперь тоскуем о воссоединении. И память выхватывает какие-то куски и жизни, но многого, очень многого мы не помним и никогда не вспомним, а те, что будут потом, не вспомнят о нас, но это не будет страшно, как нам сейчас не страшно не помнить о тех, прошлых...

А память громко звучит в нас. Это память душ о былой их бездомности. Ты вспомни, как раньше было. Души наши – тогда еще каждая отдельно! – бродили по миру одинокие, неприкаянные. Они искали, пытались найти себе приют, а приюта не было. Они встречались с другими бездомными душами, иногда любили их, жалели, ласкали и грели, и сами ласкались и грелись возле таких же неприкаянных душ. Но эти ласки и тепло всегда были временными, всегда конечными, потому что холодно и одиноко на ветру, потому что надо возвращаться к себе, на свою дорогу, на свою тропинку, а значит, каждой душе – к себе. И вот они расходятся, и плохо им, и холодно, и одиноко. И так до тех пор, пока душа не найдет себе домик. Домик – это то место, где всегда можно укрыться от ветра, холода и дождя. Домик – это норка, приют души. Только там и может душа успокоиться, утешиться, перестать тосковать от одиночества и неприкаянности. Вот мы и есть домики друг для друга. Ты – домик моей души. С тобой, в тебе она дома. Ей хорошо, ей удобно, ей приютно, а потому уходят все страхи бездомных. Здесь моя душа отдыхает, здесь она дышит естественно и привольно. А я – домик твоей души. Нам потому стало так «по-родному», что оба мы оказались в домиках. Как малыш на маминых руках. Тепло, нестрашно, надежно.

Домиков у человека может быть несколько. Несколько норок. Но

иногда, может быть, очень редко, из домиков рождается и растет Дом. И вот из наших с тобой домиков родился и вырос Дом. Если бы не было домиков, то не смогли бы, не поняли бы, не узнали бы мы и о том нашем Доме. А «родной», «родная» потому и говорим, что помнят еще души, как страшно, как одиноко, как бесприютно было им в мире без Дома. И как любо, как уютно, как естественно и тепло, как по-родному, по-домашнему стало, когда нашлись, встретились, обрели свой Дом наши половинки...

Какое счастье, какая благодать, что у нас есть Дом!

И какое счастье, что наш домик оказался частью Дома. Это редко бывает. И потому мы такие счастливые.

Мы всё размышляли, как будем строить наш Монастырь, Дом наш родной. А ведь мы давно живем в нем. И пусть он не достроен, пусть долго еще не будет достроен, а все-таки живем-то мы в нем. И каким странным кажется теперь наше старое жилище… Потому что МЫ ЖИВЕМ НА ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ.

Сколько людей ждет и жаждет любви? А сколько и не ждут, потому что перестали верить, что она есть на свете. Как же так? Люди мечтают, мучаются, ошибаются, но любовь им не дарят, даже не показывают. А мы разве лучше? Разве мы лучше всех ждали? Или больше всех верили, что дождемся? Я, например, верила, но только как в алые паруса: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Потому что такое могло бы случиться с какой-нибудь необыкновенной, прекрасной, сказочной, неземной девушкой, но не со мной же! А оно со мной случилось! Как же так? Не с теми, кто в сто раз достойней, а со мной… И вот я перед всеми в долгу. Ведь оттого, что я дождалась, мы дождались, кто-нибудь другой не дождется, может быть.

Как я не умею сказать, совсем не умею. Как хорошо научились слышать наши души, как хорошо они научились слышать друг друга, разговаривать друг с другом, и как плохо умеют говорить мои уста…

Не удивлюсь, если с нами начнут случаться чудеса. Я готова к ним, готова принять их, встретить, увидеть. Не удивлюсь, если взлечу в какой-нибудь даже и очень неподходящий момент, например, во время урока в школе. Не удивлюсь, если сейчас подниму глаза от блокнота и увижу, что ты читаешь со мной эти строчки. Не удивлюсь, если начнут прыгать или плясать кусты, разговаривать на понятном мне языке птицы или кошки… И знаешь, любимый, знаешь, я, может быть, не удивлюсь, даже если, заснув ночью, перенесусь в иной мир, да там и останусь жить. И если Бог, наш Отец, захочет стать зримым для нас, я не удивлюсь тоже.

Скорее, наоборот. Скорее, удивительным и странным мне кажется то, что считается обычным. Странно, что не летаю вместо того,

чтобы ходить. Странно, что не всегда понимаю животных и растения. Странно, что ты не сразу прочитаешь эти строчки, странно...

А если бы вдруг случилось чудо, и мы с тобой оказались под одной крышей, то мы бы тоже стали, как все? Ссорились и мирились, обижали друг друга, а потом «зацеловывали» бы обиду, да? И нам бы говорили, что это не страшно, что это естественно, что это «притирка»? Этого не может быть… Но если так бывает у других, то верно одно из двух: либо они не любят, либо так было бы и у нас.

А может быть, я и не права. Может быть, дело не в том, что они не любят, а в том, что они так живут? А как бы жили мы? Не знаю. Но думаю, что мы не были бы «на людях», а уединились бы. И думаю, что мы не ушли бы с нашей Обетованной. А вдруг ушли бы? Вдруг нам как раз потому и выпала судьба встретить друг друга, полюбить и соединиться в единое, но не здесь, не в миру, а только *там*, только *не от мира сего*. Потому что никто из людей не умеет объединять мирское и то, что не от сего мира. И мы бы тоже не смогли. И потому – либо на Земле Обетованной, либо – мирское под одной крышей. Может так быть?..

Наш Дом, как и всё наше, не имеет материальной оболочки. И слава Богу. Но зато как хорошо очутиться Дома в любой самый трудный момент, в любом самом чужом месте! Как хорошо во время урока в школе, беседы с подругой или с глупым полугением Илюшкой, во время хлопот по хозяйственным делам или обсуждая с кем-то его планы на жизнь, вдруг почувствовать себя Дома и знать, что никто не обидится, потому что никто не увидит!

Господи! Я живу в царстве, где воздух – любовь, вода – любовь, пища насущная – любовь. Просветление, умиление – разве это не Твой дар, Господи? Как же можно не принимать его? Как можно? Можно ли отказаться от любви, от Бога?

Господи! Я хочу жить с возлюбленным в нашем Доме. Хочу, чтобы продолжались чудеса. Хочу, чтобы наш Дом парил всё дальше и выше, где горный воздух, где легко летается...

Понимаешь, то, где мы, где мы с тобой, наше *мы*, я-ты и ты-я живем, обитаем там, где тополь, – книжка и детские вопросы приобретают важность и значение. Где размышления о мучениях Каина не кажутся пустой болтовней и переливанием из пустого в порожнее, где солнце светит совсем не так, как повсюду на земле, где слова звучат иначе и обозначают другое, где всё – Любовь, а Любовь – Божий мир, где наше Несказанное трепещет, как в хрустальном замке, где нежность рождает Молитву, Молитва – Венчание, Венчание – Бога, Бог – Любовь, Любовь – Нежность, и всё это вместе рождает нас, тебя и меня, то место, где мы с тобой одно, где видим, любим и обнимаем

друг в друге Бога, – это ведь и есть Земля Обетованная. Наша Земля Обетованная.

И можно ли сердиться, обижаться, раздражаться на других людей за то, что они не там или не знают об этой Земле. Стоит ли удивляться, что они живут иначе? Можно, наверное, только молиться, только благодарственно молиться Богу за то, что нам выпало это удивительное, это редкое счастье – побывать и пожить на Земле Обетованной. Да если бы мы всю жизнь прожили во тьме, но на одно крохотное мгновение нашу Землю Обетованную увидели... даже не увидели, а только бы узнали, что она есть где-то, – ведь даже и этого хватило бы всю жизнь осветить – любовью и молитвой. За что же нам это, ведь мы не лучше других, почему – нам такое, почему? Понимаешь, какое нам счастье выпало! Ведь не по заслугам нашим! Ведь не всем даруется, а нам даровали. Как же мы теперь перед всеми в долгу за то, что у нас есть, а они, может быть, даже и не знают, чего у них нет. Понимаешь, как мы перед всеми в долгу?! Как мы их всех должны жалеть и служить им. Потому что мы богатые. И богатство свое не заработали, а получили в подарок. И теперь от нашего богатства непременно надо всем раздавать без счету. А если не будем, значит, богатство нам по ошибке досталось, значит, мы недостойны и его у нас отнимут. И это будет правильно и справедливо.

Но ведь мы же и не будем «скупиться», правда, Солнышко, правда? К тому же мы и «хитренькие»: мы давно уже знаем – чем больше отдадим, тем больше нам же и останется.

Если бы вся моя жизнь была сплошными страданиями и мучениями, и если бы за всю мою жизнь не было бы ни единой радостной минуты, и если бы за всю мою жизнь я не узнала бы то, о чем смутно догадывалась уже раньше и что открылось мне впервые в Ферапонтовском храме, – но было бы только одно малое мгновенье, показавшееся мне вечностью, сегодняшнее малое мгновение, когда *мы* оказались *там*, я считала бы себя счастливейшей из всех земных... да нет, зачем сравнения, я же не знаю, как это у других, как они бывают счастливы. Просто знаю, что все страдания, разочарования, мучения, всё страшное, злое, плохое, стыдное – всё растворяется и превращается в небытие перед одним самым малым мгновением-вечностью *там*, а здесь на земле – прошло пять или десять минут, или ни одной не прошло. И женщина рядом со мной в учительской не успела даже дописать свой стенд «Родители первоклассника».

Вот я сказала *мы. Наше* пребывание *там*. И больше я ничего не могу сказать, не могу рассказать даже приблизительно, даже грубо. Я перебираю все слова, какие когда-нибудь слышала, все сравнения,

какие приходят мне в голову. Но всё это совсем не похоже, совсем. Я вспоминаю, как мы говорили друг другу о друге, о себе, о нас. Мы говорили: полет, летать, парить, плыть, нет, не плыть – парить неподвижно в небе. Мы говорили: любовь, нет – то, что *над* любовью, то, что *больше* любви. Да-да-да. Всё это так. Но и не так. Потому что совсем, совсем другое. *Там* – не небо и даже не Небо. *Там* видно небо так, как с неба видна Земля. *Там* нельзя ни летать, ни плыть, ни даже парить, а что же можно, что?.. *Быть*, вот что можно. *Быть*. Не делать, не говорить, не чувствовать, не воспринимать, не быть воплощенным, а *быть*. Не могу этого объяснить. Только знаю, что это *быть* вбирает в себя всё, что есть в нас лучшего, но и что-то иное, совсем иное, чему нет на земле слов – и в небе нет тоже. И еще знаю, что это *быть* – полнее самого полного, что мы могли себе представить, оно включает в себя всё – Тишину, Покой, Страсти, Молитву. Это и есть то, о чем я говорила – *не любовь, уже не любовь*…

Нет, не могу рассказать. Вот мы говорим – Свет. А ведь *там* даже и не Свет, *там* что-то другое: не свет – не тьма, не светлое и не темное... Но что же, как же? Да совсем, совсем по-другому. Там не подходят слова и понятия... Где же мы? Что это? Иное пространство? Другая планета? Космос? Галактика? Что делается с нами, когда мы сидим неподвижно в одесском дворе, не думая, не размышляя, а только существуя? Что-то очень хорошее, большое, сущее, что-то из сути Бытия, правда? Летаем ли мы? Да, летаем. Плывем в Бесконечности и в Тишине. Но при этом что-то летает в нас. Что-то парит, плывет, летает внутри нас в нашем внутреннем небе. Мы – Бесконечность, Небо, Тишина для того, что летает внутри нас? Или это та Тишина, Бесконечность, в которой мы парим? Значит, что наше Небо, наш Космос одновременно летает в нас?

...А может быть, и мы здесь, в свой черед,
кому-то служим небом. Тот народ
глядит на нас в ночи и нам поет
свою хвалу. Иль шлют его поэты
проклятья нам. Иль плачут одиноко
и к нам взывают, ибо ищут Бога,
что где-то рядом с нами, и с порога
подъемлют лампы и молитв слова
возносят – и тогда на наши лица,
как бы от этих ламп, на миг ложится
невыразимый отсвет божества...*

---

* *Рильке, Райнер Мария*. О фонтанах (пер. А. Карельского)

Эх, как хорошо, как емко умеет говорить Рильке. А мне что делать? Говорю-говорю-говорю-говорю, а выразить ничего не могу…

Ничего не знаю, не знаю, где это и что это. Знаю, что это самое прекрасное из всего, что открывалось нашим душам, что случалось с ними. Знаю, что это в тех сферах, где наша Церковь, наш Свет, наше Наше, но дальше, еще дальше – где-то в горних высях…

А вот и «открытие»! Я не сумею о нем рассказать, а это жаль, потому что уйдет радостное чувство озарения, которое и есть самое главное в открытиях. И открытие-то – не мое, оно *наше*.

Просто я знаю теперь, почему это так. Это память наша о том мире, где мы были, откуда пришли сюда и куда вернемся. Тот мир – он наш, а здесь мы временно. Мы еще не успели привыкнуть к здешним обычаям. Не знаю, за что, зачем, почему и надолго ли мы посланы сюда, но знаю, что это «командировка», а потом мы вернемся туда, где естественно быть – летать, переноситься на расстояния мыслью или желанием… и прочие так называемые «чудеса». Нам странно, что мы тяжелые, ходим и ползаем, не умеем понимать животных и плохо слышим Небо, потому что мы еще смутно помним, что всё это было естественно и нормально *там*. Куда вернемся навечно…

Давай полетаем, милый. Видишь, как заходящее солнце вдруг осветило наш двор? Видишь, какое всё стало волшебное? Давай протянем друг другу руки, давай так тянуться друг к другу, чтобы наши руки дотянулись, и пальцы сплелись, а тогда уже совсем немножко останется, чтобы обняться и взлететь – или взлететь, взявшись за руки. Пусть будет полет-паренье, пусть плывет под нами воздух, пусть проплывают облака, давай, любимый, давай полетим *туда*. *Там* – волшебный Свет, *там* – небесная музыка, нет, не музыка – Тишина, *там* – Радость, экстатическая радость без ликования и бурного восторга, радость без плясок и прыжков, а только с улыбкой, на всё небо улыбкой, только с любовью – на всё небо любовью.

...Мы лежим с тобой на облаке рядышком, на спине, взявшись за руки. Неподвижно лежим, глядя вверх в бесконечное небо... Только нет, не на облаке мы лежим. Облака – это что-то густое, материально ощутимое. Мы лежим ни на чем. Мы просто лежим в этом тонком прозрачном воздухе. Потому что *здесь* мы ведь уже не имеем веса, ничто не давит на нас, и земля не притягивает нас к себе. Мы лежим и молчим, и не шевелимся, и ни о чем не думаем, даже не чувствуем ничего. Мы лежим где-то *вне* Времени. Времени нет. В нас – такая полнота и такая сверхжизнь... И эта полнота, эта сверхжизнь – она в то же время

такая пустота, такое отсутствие всего. Отсутствие, которое не есть отсутствие, а есть его противоположность. Вернее, тут смыкаются противоположности. Ведь Пустота, равная Полноте, она тождественна ей, она и есть Полнота, ты понимаешь, ты слышишь мое косноязычие?

Мы находимся, может быть, в ином измерении. Я думаю, что мы попадаем туда по какому-то счастливому дару Господнему. Думаю, попадая туда, мы выпадаем из Времени, выпадаем из Пространства. Вот я сижу в трамвае. Рядом со мной сидит моя спутница и что-то говорит мне. И вдруг я оказываюсь *там*. Мы лежим с тобой – и прозрачное небо над нами. И я знаю, что Времени нет, оно не течет, не движется. Но спутница моя, которая положила голову на мое плечо, ничего не успевает заметить. Ни секунды не прошло на земле. Нет времени для нашего бытия *там*. И пространства тоже нет для него. И вот вне времени и пространства мы плывем *там*, но одновременно я *здесь*, во времени и в пространстве, еду в трамвае, и никто ничего не замечает. Господи, как же это понять и вместить?

Бах и Моцарт знают о нашей любви. Но мы не рассказывали им о ней. Они сами узнали. И рассказали нам. Даже не так. Они говорили не об этом. Но когда они это говорили, мы поняли, что они знают о нас. Потому что, помнишь, как это было у Миркиной в сказке про тайну?* Тайна – несказанная, ее нельзя рассказать, раскрыть. Но если у тебя есть тайна и у меня есть тайна, то мы узнаем это друг о друге. Как? Почувствуем...

Но я отвлеклась. Моцарт и Бах знают о нашей тайне. А кто еще? О ней отдаленно, очень смутно, очень приблизительно, очень непохоже догадываются некоторые из самых близких моих друзей. Но эти люди знают совсем не то, что знают Моцарт и Бах.

То, что с нами случилось, то, что было подарено нам, недостойным, случайным счастливцам, кажется мне таким бесконечным, таким бесконечно важным для всех людей. Мне кажется, что это важней всех самых серьезных и взрослых проблем человечества: голода, войн, революций. Потому что оно – *над* всем этим. И еще потому, что будь оно – то, что досталось нам в подарок, – у каждого человека, не было бы ни голода, ни войн, ни революций. Мне ведь не нужно объяснять это тебе, правда?..

А вот и еще «открытие». Жить в нашем Доме – это и значит летать. Доротея** говорила, что нет иного счастья, кроме счастья ле-

---

* Зинаида Александровна Миркина (1926–2018), русская поэтесса, переводчица, литературовед, эссеист. Жена философа Григория Померанца.

** *Вежинов, Павел*. Барьер. 1976. На русском языке впервые опубликовано в журнале «Иностранная литература» (1978, № 1).

тать, а мы могли бы сказать то же самое иначе: нет иного счастья, кроме счастья быть в нашем Доме.

Ты можешь сказать: а как же наши полеты? Да ведь это уже другое, это полеты в полете, полеты следующего уровня, в следующее небо. Тогда, когда мы и не думали, что летали, а просто были в нашем Доме, ведь мы и тогда летали, мы всегда летали, мы всегда были в полете, даже забыли, что бывает иначе.

Я люблю нашу судьбу. Всегда знаю это. И знаю, что всё нам от Бога – и Встреча, и всё, что происходит с нами, до последней мелочи. Я знаю все твои сомнения и надежды. Я могу повторить их за тобой, а могу возражать тебе. Я тоже боюсь, что вдруг, окажись мы под одной крышей, исчезло бы самое лучшее, самое главное – и стало бы, как у всех... или похоже на то, что у всех. И тоже надеюсь и верю, что у нас так не было бы. Тут вот в чем вопрос: дано ли это вообще человеку? Дано ли человеку сохранить вот такое, если каждый день, если всегда, если у него не только Дом, но и квартира, которую надо убирать, в которой едят и стирают. Возможно ли это?

Не знаешь? И я не знаю. Думаю, что нет, невозможно. Но ведь у нас всё – Чудо, у нас даже невозможное могло бы стать возможным. И я вместе с тобой не знаю наверняка, вместе с тобой боюсь и надеюсь, верю и не верю, хочу проверить и боюсь проверять. И вместе с тобой знаю, что всё будет по Божьей воле. Иногда мне очень-очень хочется попробовать, очень-очень верится, что у нас получилось бы, всё сохранилось бы. Но иногда я думаю, как и ты, что Бог хранит нас от нас. Помнишь, давным-давно, в самом начале я говорила тебе, что не хочу под одну крышу, что мы всё равно не стали бы жить в одной квартире. Тогда у нас еще не было нашего Дома. Он еще только строился. И тогда мы еще так не истосковались друг по другу.

У меня даже «открытие» есть об этом. Когда я выходила на балкон в темную тишину, мы сидели там с тобой долго, отдаваясь этой тишине и неподвижности, слушая ее. И были мы с тобой вместе. И не было тоски. И разлуки не было. И я понимала, что *чем выше, тем ближе* – тем ближе друг к другу. Что когда мы здесь, в тишине и молчании ночи, расстояний и разлуки нет. Что они бывают только там, внизу, где я была, скажем, днем, когда томилась и тосковала. Чем выше, тем меньше расстояние, разделяющее нас, чем выше, тем ближе… Отчего же мы не можем всегда оставаться на той высоте, где нет разлук? Отчего не можем оставаться там, в нашем Доме?..

Люди часто не замечают, когда и как исполняются их молитва-просьба. Они продолжают молиться и просить, а то, о чем они просят, уже есть у них, и они не узнают его, как не узнали когда-то

Мессию, как не узнают своих пророков, не узнают тех, кем когда-нибудь будут гордиться, а пока мучают, обижают, убивают... Мы получили по молитве своей. Мы вместе – и как раз таким образом, чтобы как можно меньше было от этого горя и зла. Сможем ли мы всегда быть там, где мы вместе, где наш Дом, где нет ни разлуки, ни смерти, ни расстояний?..

...Мы были очень-очень вместе. Мы и разговаривали, и молчали, и молились, и любили друг дружку светло и нежно, радостно и тихо. Какие-то мысли рождались сами собой и проплывали вдаль. Мне так хотелось, чтобы эти мысли были слышны тебе. Я смотрела на небо и облака – и думала о нашем Доме. На земле, говоря о Доме, мы непроизвольно думаем о небе, о высоте. Кажется, что именно там, наверху находится наш Дом. Но когда мы поднимаемся в небо, и я смотрю на него, я понимаю, что Дом наш не здесь, что это не высота, *не это* высота.

А где он, наш Дом? Нигде. Его нет в пространстве. Представила себе, как мы рассказали бы кому-нибудь примерно такое: «Есть у нас Дом. Он – высоко-высоко, выше самого высокого, он так высоко, что ни птицы, ни самолет, ни космический корабль не могут добраться до этой высоты. И в то же время он – нигде. И он – везде. Он может быть то в городе, то в деревне, то в небе, то на земле, то на улице, то в квартире. И даже сразу в двух местах…» А человек слушал бы и не понимал. Как это – в небе и на земле, нигде и везде, сразу в двух местах? Как такое может быть? Он представлял бы себе что-то сверхъестественное, что-то необъяснимое. А мы бы еще сказали ему, что живем в этом Доме. И он подумал бы, что мы фантазеры или обманщики. А мы в самом деле живем в этом Доме, и ничего в нем сверхъестественного нет, как ничего сверхъестественного не было в превращении лягушки в прекрасную девушку или чудовища в прекрасного юношу. А звучит как сказка… но ведь сказки появились на земле очень давно, в раннем детстве человечества. Значит, уже тогда были люди, которые понимали, ощущали, чувствовали несказáнное...

Вот прочитала я в «умной» книжке, что Будда ничего не делает, а только позволяет Бытию случаться. И когда у человека наступает такое, он достигает природы Будды.

О том ли это, что произошло с нами, любимый?

Не помню уже, когда это случилось впервые, когда мы не делали, а *оно делалось само*?

Думаю о нашем Монастыре. Думаю, что вот мы давно и незаметно «переселились» в наш Монастырь, наш Скит, наш Дом – и живем *там*, хотя не всегда, не каждую минуту помним об этом. А между тем мы находимся в нем *всегда*. И тогда, когда мы «хорошие»,

когда молимся, и слушаем Бога, и пытаемся служить Ему. И тогда, когда мы «плохие», когда «забываем» о своем счастье и плачем, капризничаем, болеем, обижаемся или обижаем. И даже тогда, когда мы никакие – утомленные, серые и пустые. Всё равно, даже и тогда мы, оказывается, находимся в Монастыре. Потому что мы уже *не можем не быть в нем.* Как улитка не может уйти от своего домика, так и мы уже не можем уйти из нашего Монастыря. Он есть. И что бы ни случилось, он уже есть. С этим ничего нельзя поделать. Потому что, хоть мы и говорим, что мы в Монастыре, и это правда, но в то же время мы можем сказать, что наш Монастырь находится внутри нас, и это тоже правда. И уйти нам можно только одним-единственным образом – уйдя из Царствия Божьего, уйдя от Бога, забыв о Нем.

Но Монастырь наш не всегда одинаков, не всегда однозначен. Он нам – и дар, и долг. Мы можем много говорить о том, что он внес в нашу жизнь. Мы живем легче, чем все другие люди, нам дана поблажка, облегчение. Условия нашей жизни не равны условиям жизни других людей. Ты скажешь, что в этом нет нашей вины. Ты скажешь, что мы всех зовем в наш Монастырь (не в наш, в их собственный!), и что они сами не хотят, что они хотят другого и по хотению своему и получают. Ты возразишь, что Монастырь наш никаких поблажек нам не дает. Что никто не согласился бы поменяться с нами судьбами. Я знаю, я всё это знаю и со всем согласна. И все-таки от одного и того же удара судьбы нам меньше больно, чем другим людям. Наши слезы – не такие горючие, нам легче утешиться. Мы меньше страдаем. Нам легче, чем другим. И значит, у нас все-таки есть какая-то защитная оболочка, смягчающая тяжесть и боль, оболочка, которой нет у других людей.

Мы живем во времени, но принадлежим вечности. «Ты вечности заложник у времени в плену»... так, кажется? Впрочем, неважно. Тела наши смертны. Они окончатся во времени. Станут чем-то другим. Душа наша вечная. Она воплощается всякий раз во временное тело и, значит, она, душа живет одновременно и во времени, и в вечности, т. е. вне времени. Это звучит как парадокс, но парадоксом не является. Мне, по крайней мере, очень понятно, что можно быть одновременно и во времени, и вне его.

Ну а теперь давай пофантазируем. В вечности нет и не может быть времени. В вечности нет пятого века или века двадцатого, правда? Они есть для нас, временных существ. А там, в вечности, они если и существуют, то совсем не обязательно так строго по порядку, как у нас. У нас идет первый век, потом второй и т. д. У нас четыре часа дня, потом пять и т. д. Ну а там все эти века, все эти часы, все мгновения, все времена, лишенные законов времени, пребывают вечно, все-

гда. Это можно представить, как если бы они все одновременно расположились в пространстве. В вечности всегда существует и первый век, и Средние века, и древние, и будущие – для нас будущие. Они там есть всегда. И значит, можно рассматривать их в любом порядке, так? Там всегда есть первобытный человек, и всегда есть Иисус, Авраам, Будда, и всегда есть все злодеи и все святые, так, правильно? Вот мы с тобой любим Иисуса. Он тоже, как все, пребывает одновременно и в вечности, и во времени, его душа есть всегда, и всегда – существуют все ее воплощения. Мы не знаем, сколько их. Между тем, может быть, бесконечное множество воплощений этой великой души всегда пребывает в вечности... А наши рождения. Мы не помним наших прошлых жизней, не знаем наших будущих. А *там* все наши жизни есть всегда. Всегда есть та первая наша воплощенная на земле жизнь, когда мы были еще одно целое, не разделенное на половинки. А на земле ли? Не знаю. Все наши жизни, томления и поиски... И нынешняя наша жизнь-Встреча. И будущие наши жизни, где мы, может быть, воссоединимся. И, может быть, мы тогда вспомним себя, вспомним ту первую – и все-все наши жизни. Но там, в вечности, всё это уже существует.

Может быть, Дом наш переместился, поднялся, вознесся? Может быть, мы попали в следующее царство, в следующий класс Школы любви, на следующую ступеньку? И в этом классе, на этой ступеньке, в этом царстве всё так же, как было только что, но всё по-другому. Тише Тишина. Светлей, спокойней и радостней Свет. Господи, какой он светлый, какой радостный и какой спокойный! Всё стало тоньше – совсем тоненьким, нежным, тоньше серебряных нитей, но всё по-другому.

Помнишь, я спросила тебя: «Это тишина и молитва – или просто тишина?» И сама ответила: «Это просто тишина». Знаю, что я хотела сказать. Молитва – это все-таки усилие, в молитву входят и выходят из нее. А это – естественно и безусильно, совсем-совсем без грамма усилия. И потому это – вечно. От этого нельзя устать, потому что оно «само», оно не «делается», не «производится», не создается движением, действием, усилием, напряжением... А как? Не знаю. Но то, что не имеет телесной оболочки, не может упасть и не должно прилагать усилий, чтобы не падать. Для него нет притяжения... нет, не могу, не умею...

Я люблю молитву. Я знаю, как это высоко и хорошо. Но и молитва предельна. А сейчас... Что-то сделалось со мною чудесное. Что-то вошло в меня. Я его ощущаю. Светлое-светлое, нежное-нежное, тоненькое и совсем-совсем спокойное. Оно бестелесное. Нет, не так: само оно, может быть, и не совсем бестелесное, оно воздушное, свет-

лое и очень радостное. Но оттого, что оно вошло в меня – Божье облачко, светлое облачко радости, тишины и покоя, – оттого, что оно вошло в меня, всё вокруг стало бестелесным. А может быть, это потому, что я попала в иную сферу? Может быть, оттого что оно вошло в меня, меня унесло в иные края, где иначе живут... может быть такое? Не знаю. Только теперь вокруг меня всё стало тихим и воздушным, нежным и светлым, радостным и спокойным. Как бедны слова, как они ничего не умеют передать!

Теперь мы будет так жить. Это знаешь на что похоже? Помнишь, что я видела из окна самолета, когда летела к тебе? Я видела много лиц, помнишь? Люди лежали, глядя вверх. И они были спокойны. Я еще не знала тогда, чем станет для нас Встреча, но я говорила тебе о них. Как они плывут в небе. И сами – часть неба. И они счастливы и спокойны. И может быть, они в Нирване. И вот теперь у нас тоже так. Покой и Свет. Покой просветленный. Покой, и Свет, и радость, и бестелесность. Естественность такого бытия, которое, кажется мне, может длиться бесконечно...

Как хорошо. Будто нас впустили туда, ближе к Богу, где начинается Вечность, где всё не имеет ни конца, ни начала, где люди лежат в небе, глядя вверх в бесконечность. И *там* теперь будет наш Дом. И это будет для нас не праздником, не молитвой, не экстазом, а естественным состоянием, повседневной жизнью. Так, любимый? Так, нежный мой, родной мой, Божий брат мой, вечный мой брат?

Господи, знаешь ли ты, как я тебя люблю!..

И, тихонечко отделившись от земли, я полетела по светлому небу к тебе. Я летела и шептала тебе о любви и о нежности. И это были не слова, потому что я как раз перед этим говорила тебе, как плохо и трудно со словами, какие они грубые, твердые, маленькие, как нельзя рассказать ими того, что поет внутри нас. Ты отвечал мне: «Да ведь этого никто не может, никто не может сказать несказанное». А я говорила: «Знаю, что никто не может, но мне-то от этого не легче, родной мой. Я хочу говорить тебе о любви. Я хочу говорить с тобой тишиной и любовью. А вместо этого говорю трескучими словами, которые скачут, как звонкие сухие горошины».

Мне было тягостно с этими словами. Но вот я полетела. И слова мои полетели тоже. А может быть, они просто перестали быть словами, а стали Тишиной. Я летела и шептала тебе о нежности и любви. Впрочем, не знаю, что именно я шептала. Но ведь это уже не имело значения. Я говорила тебе: «Милый мой, вот утро. Солнце встает, воробей скачет. Видишь, какие разные перышки у него на спинке, кроме серых и серебристо-серых, там все оттенки коричневого – от

темного до бежевого. Какой прыгучий, какой легонький воробей». Или не это? Или совсем по-другому: «Люди спят еще. И деревья спят. И ты еще спишь, наверное. Я летаю над тобой спящим. Я влетаю в твой сон. Там, во сне, я глажу твои глаза и целую щеки твои. Мне хорошо смотреть на тебя спящего...» Или еще по-другому. Я не помню. Только знаю, что это было о нежности и любви. И шепча так, я летела к тебе, полулежа, наклонившись вперед, раскинув руки. Я редко летаю так. Чаще плыву по воздуху и гребу перед собою руками, как в воде. Тогда руки гребут очень энергично. От них зависят скорость и высота полета. Иногда бывает страшно, что не подгребу достаточно воздуха и упаду. И тогда я гребу частыми рывками. Но сегодня я летела расслабленно, без всяких усилий. Тело само летело, и руки раскинулись не для дела, а для объятия: они обнимали, ласкали воздух. Вот так я летела к тебе утром. И вот мы вместе сидим с тобой в нашей комнате, в нашем Доме. Молча смотрю я в твои глаза. Молча глядишь ты в мои. Мы неподвижны. Ничего не произносят наши уста. Не двигаются тела, не шевелятся пальцы. Ни ласк, ни слов нам не надо. Мы смотрим в глаза друг другу. Времени нет. Так всегда было. Так всегда есть. Всегда сидели мы в нашем Доме, молча глядя в глаза друг другу...

Мы в Нашем Доме. Бог становится видимым и осязаемым. Зримой и осязаемой становится Бесконечность. Отлетает шелуха слов, событий, желаний. Остается то, что мы называли Главным... Как передать, как выразить это? Как передать и выразить молчание, суть событий и слов, зримого Бога? Это просто, очень просто. Нужно только смотреть в твои глаза и любить... Мы узнали, мы увидели, мы поняли, что значит быть вместе. Поняли, что, прося об этом, принимаем на себя и Долг, и Вину, и Ответственность. Мы поняли это.

Мы поняли, что, прося о благословении, мы просим о причастности к сотворению и поддержанию Вселенной. Не будет в мире вины, которой мы не были бы виноваты. Не будет в мире горя, несчастья, трудности и беды, которые не стали бы нашим горем, несчастьем, трудностью и бедою. Не будет ошибки, предательства, преступления, за которые мы не были бы в ответе. Мы узнали, мы увидели, мы поняли это.

Господи, Ты, пославший нам любовь, Ты, вселивший в нас эту тягу, это непрерывное стремление к воссоединению, прости нас за то, что осмеливаемся просить о великом, не зная за собой ни заслуг, ни достоинств. Прости, что не отступаем перед этим Великим, зная свою греховность и слабость. Прости нас, мы не можем сами решать, чего мы достойны, а чего нет. И потому мы снова просим Тебя: Благослови нас. Благослови любовь нашу. Сделай так, чтобы без зла и боли другим мы могли быть вместе и здесь, и там, в Вечности. Воссоедини нас.

Сотвори из нас Единое существо. Дай нам испытать все муки и боль, какие мы в состоянии вынести и какие должны познать, причащаясь к Вселенскому. Дай всё, через что нам следует пройти и что нам следует познать. И как величайшую милость, Господи, сделай так, чтобы мы могли быть вместе. Воссоедини нас, Господи!..

ОТСЮДА ТУДА

– Зачем ты пытаешься рассказать о том, о чем рассказать нельзя?

– Нельзя, потому что не можно?

– Нельзя, потому что невозможно.

Это был крохотный хвостик кометы, неуловимого сна, улетающей иной жизни. Или нет, там было что-то еще. Что-то вроде...

– Можно, потому что возможно?

– Можно, потому что можно…

А что – можно? Не помню. С тобой осталось... В тех краях, где ты сейчас.

Это было почти совсем, как бывает *там, где я могу быть только одна*. Открытия мелькали одно за другим и тут же забывались, а вместо них вспыхивали новые, накатывали друг на друга...

В какой-то момент я поняла, что в воздухе, окружающем нас, есть всё – и еда, и питье, и рука друга, и нежность любимого, и все наши книжки, прочитанные и непрочитанные, и все наши думы, и улыбка Бога, и, разумеется, сам Бог.

Тогда-то я и совершила открытие о том, что вся мудрость, все мысли, все подсказки, всё-всё-всё – есть всегда, хотя видим мы только то, что готовы увидеть сейчас. Остальное мы просто не замечаем, но оно тоже рядом и ждет терпеливо, когда же мы созреем, чтобы принять его и возрадоваться. Время от времени начинает искриться яркий золотистый луч. И это значит, что здесь, на земле, кто-то что-то увидел, осознал, о чем-то догадался – и понял, и озарился, и совершил открытие. Господи, как это хорошо, как хорошо!

В какое-то счастливое мгновение я спросила себя: «А где начинается небо?» И тут же ответила самой себе: «Если присесть на корточки и положить ладонь на траву, то одной стороной ладонь будет касаться травы, а другой стороной – неба».

Понимает ли человек, что это – счастье? Понимает ли, как много неба, как его бесконечно много? И что этот воздух, который вокруг нас и в котором есть всё, – он ведь тоже небо. И что мы в нем живем. И что *другое* небо, в котором сейчас обитают наши умершие родите-

ли, любимые и друзья, то пока недоступное нам небо – недоступное из-за разности вибраций, как утверждают умные люди, – оно ведь тоже вокруг нас. Ну и пусть разные вибрации, а все-таки мы с ними рядышком, совсем вместе, а вибрации когда-нибудь уравняются.

Так вот где я, оказывается, бываю, когда бываю только одна! И вот почему это тайна от всех – и даже от меня самой тайна. И вот почему невозможно мне всё это помнить. Лишь мгновенные пересверки, неуловимые обрывки… то ли догадки, то ли воспоминания.

– Невозможно, потому что нельзя?
– Невозможно, потому что невозможно.

Почему нужно проходить через утраты и боль? А ведь нужно и неизбежно...

Почему так долго не леталось мне после твоего ухода? Не свершались открытия? Или я просто забыла об этом, как забываются сны? Но что-то ведь остается в памяти! Твои письма, написанные *оттуда* и мною прочитанные *здесь.* Мои письма, написанные *туда* и, наконец-то, отправленные. Вернее, не так: не отправленные, я же не отправляла их по почте, я сама тебе их вручала *там,* потому что *там-то* мы и встретились с тобою снова – впервые после твоего ухода...

«Когда меня спрашивают, зачем мы молимся или постимся, или делаем добрые дела, зачем мы крещены и – самое главное и самое трудное – зачем Бог стал человеком, я отвечаю: Затем, чтобы Бог родился в душе, а душа в Боге». Это сказал Мейстер Экхарт*. Но он не сказал, сколько раз Бог рождается в душе, а душа в Боге. Один? Несколько? Ежедневно? Может быть, единожды и навсегда – до самой смерти? Может быть, в отдельные счастливые минуты, когда всем своим существом ощущаешь единение с Богом – то, что называется благодать? Или всякий раз, когда приходит радость неизвестно отчего, просто «потому что Бог»?

А иначе чем объяснить эти неожиданные всплески радости – после всех потерь, несчастий, страданий...

Я впускаю в себя музыку Моцарта, погружаюсь, окунаюсь в нее. И ровно настолько, насколько мне удается впустить ее в себя, ровно настолько живу я на свете. Слышишь меня, понимаешь?

Я впускаю тебя в себя, погружаюсь, окунаюсь в тебя. И ровно настолько, насколько я могу впустить тебя в себя, ровно настолько живу я на свете.

---

* *Мейстер Экхарт*. Духовные проповеди и рассуждения

Слышишь меня? Понимаешь?

Ты стал музыкой Моцарта, как только появился на свет. Ты плакал и тосковал, придумывал сказки и удивлялся взрослой жизни, но ты уже был музыкой Моцарта. Ты болел и выздоравливал, ходил в школу и делал уроки, но ты уже был музыкой Моцарта. Ты слушал мелодии книг и стихов, неба и деревьев, цветов и птиц, бабушкиных сказок и маминых рук. И ты не знал, что звучавшая в тебе музыка – это музыка Моцарта. Что эта музыка и была тобой настоящим. Ты никогда не узнал бы этого, хотя уже были и поэзия, и природа, и искусство, и Бог. Ты всё равно не узнал бы этого, если бы мы не встретились, не прильнули друг к другу, не обвенчались в Церкви. Но мы встретились, прильнули, обвенчались. И тогда только мы родились по-настоящему. И тогда только начали свой путь, о котором ведают те, кто рассказывал нам свои Заветы. И было на этом пути много прекрасного и несказанного. Мы были Марией. И была нам Благая Весть. И радовались мы, что суждено нам зачать в себе и родить Бога. И был Рай. И мы жили в Раю, ощущая Бога в себе так явственно, как друг друга, слыша Его так явственно, как музыку Моцарта. И были мы Адамом и Евой, покинувшими Отца своего. И долгим и трудным был путь, по которому мы пытались к Нему возвратиться. И то, что сейчас происходит с нами, это тоже из Заветов, и оно еще не окончено, но сегодня, сейчас я не хочу говорить об этом. Сегодня я говорю, пою, шепчу тебе только: ты воплотил в себе музыку Моцарта, ты и есть она. Она зазвучала в тебе в полный голос, когда ты впустил в себя любовь. И сегодня, сидя в своей бруклинской комнатке, я слушаю тебя, звучащего во мне, впускаю тебя, звучащего во мне, сливаюсь с тобой воедино…

«Никогда мне не дорасти до тебя. Мы прожили долгую и счастливую жизнь, и что из того, что она пришлась на страшное время и гнилое пространство. Мы жили в этом времени и в этом пространстве, и мучились, и хотели исправить их или бороться с ними, но мы жили прекрасно, потому что искали и нашли Бога – и жили с Ним и в Нем… или, по крайней мере, верили, что это так. Мы построили свой Монастырь в миру, помнишь, как много мы размышляли о том, каким же он будет, этот Монастырь, как его строить, а потом вдруг поняли, что он – не от мира сего, что он – на Земле Обетованной, что мы давно уже живем в нем.»

Глаза крохотной Юльки на третий день после рождения смотрели на меня из *иного* мира. Тогда она лучше помнила *то*, чем *это*. И то, что она помнила, было бесконечно важнее и значительнее всего, что ее окружало *здесь*. Как много она знала о *другом*, как много хотелось спросить у этой гостьи из космоса! Но она еще не понимала языка нашего земного мира и не говорила на нем, а вместо этого

постепенно забывала о мире, из которого пришла, и становилась обычным младенцем. Но я-то помню ее глаза! Как помню и другие, такие же иномирные, бесконечно мудрые и что-то знающие об *иной* жизни глаза новорожденной Аси. Зачем же мы забываем о *том* мире и позволяем *этому* поглотить нас? Или это и есть последствия первородного греха, который мы все должны искупать? И потому так бесконечна и трудна дорога Домой?..

Бесконфликтность жизни в согласии с Богом, покорность дочерней любви к Нему. Ощущение Его присутствия в каждом будничном дне, осознание себя малым Его ребенком, спокойно качающимся в люльке над пропастью и бессознательно убежденным в своей безопасности, даже не думающим об этом, как не думаем мы об опасности каждого своего шага на совсем не идеальной, но такой родимой земле, – всё это мгновенно раскалывается о страх и нежелание терять то, без чего жизнь кажется невозможной... Но чего же тогда стоили и эта вера, и дочерняя любовь?

Любит ли меня белое дерево, цветущее за углом? А чужие американские улицы, которые так старались помочь мне в минуты слабости, отчаянья и остро ощущаемого сиротства? А те тюльпаны, которые торжественно вручил мне когда-то двенадцатилетний Володя, или комнатная пальма в вазоне, доставшаяся в наследство от квартирной хозяйки и ласкающая подаренные тете Лизе в день рождения цветы? Кому я нужна больше? Моим новым друзьям в Америке или городу, оставленному мной? Что важнее – вечность или накормить голодного? Когда-то меня мучил этот вопрос. Потом стало смешно: что же я так мучилась, ведь и вопроса-то нет никакого! Нет противоречия! Поди попробуй не накорми голодного – и где она будет тогда, твоя вечность? Но противоречия рождаются внутри нас, как только мы забываем, что счастливы и ведомы. Или помним об этом не по-настоящему, не всей душой.

Господи, как хорошо и легко с Тобой, как без Тебя тяжело и тоскливо. Почему же мы всё время оставляем Тебя?..

«Здравствуй, родной мой, здравствуй!

Как тебе? Было ли тебе страшно? Было ли больно? Успел ли ты подготовиться? Знаю, ты был готов, но не испугался ли в самый последний момент?..

Как болит моя оторванная половинка. Как одиноко без тебя, как невыносимо тягостно жить эти дни. А ты? А ты как, братик? Как тебе, родная душа моя, любимый, любимый, любимый мой мальчик? Как я хочу облегчить тебе твою боль, солнышко мое дорогое. Как это сделать, как? Когда-то мне достаточно было коснуться тебя любым прутиком, который превращался в волшебную палочку. Мне доста-

точно было и без всякой палочки коснуться твоей любящей нежной души. А теперь как? Теперь я не могу ничего сделать? Ничего не могу, чтоб не так больно тебе было? Совсем ничего? Нет больше волшебных палочек? И прутики в палочки не превращаются больше?..»

«Когда ты ушел, ощущение ласкающего меня Света ушло вместе с тобой, но вернулось очень скоро. Вернулось и вытеснило собой горе и безнадежность. Я понимала, что это был твой Свет, тот, в котором привыкла видеть тебя и до твоего ухода, так что переход в 'еще больший' воспринимался как нечто естественное и прекрасное.

Да, твой уход был и естественным, и прекрасным. И наше ***мы*** *просто развоплотилось, но не перестало существовать.*

Мне трудно, мне невозможно представить себе твое ***сегодня****. Понимаю, что сейчас у тебя всё иначе, что нет там у вас ни времени, ни пространства, что ты отныне – везде и всегда. И потому, оставаясь сама во времени и пространстве, я знаю, что ты всегда и со мной, и во мне, и вокруг меня.*

Я представляю тебя невидимым и неосязаемым облачком, потому нам легко быть вместе, быть одним целым – даже легче, чем раньше.

Я жду знака от тебя, жду послания, переданного в форме, доступной мне. Что открылось тебе? Что предстоит? Что кажется важным?

А можешь ты поместиться в моей слезинке? А спеть мне песенку, как когда-то давно? А есть ли у тебя сейчас молитва и нежность? Видно ли тебе нас ***оттуда****? Тебе теперь не нужно гладить мои волосы или целовать мои губы, но любви ведь от этого не меньше! И хочешь, я признаюсь тебе, только шепотом, только в самое ушко, хочешь? Я знаю, что ты любишь меня светлей и нежней, чем раньше. Вот ты 'пришел' ко мне (мы ведь и раньше брали в кавычки этот глагол, помнишь?) Я не вижу тебя глазами и не слышу ушами, но весь воздух вокруг меня – ты. И ты обнимаешь меня – не руками, а воздухом – так нежно, как даже ты не умел, когда был еще в теле, и столько льется на меня утешения. Не от горя, не от грусти утешения, а просто… Утешения. Покоя. Нежного покоя. Любви… И я люблю тебя, люблю тебя так, будто тоже развоплотилась уже... Тихо люблю. Воздух люблю. Воздух люблю воздухом...»*

Помнишь эти мои письма, помнишь? Они были первыми – *отсюда туда*. Потом полетели другие.

Мои письма к тебе рождаются в полуяви-полудреме. Я знаю, что ты получаешь их, потому что и я получаю твои весточки. Они приходят осязаемо – дуновением теплого ветерка, или зримо – бабочкой или птахой, или звучанием – мелодии, шелеста, тишины. И когда ты недавно сам пришел ко мне – всего один раз, но ведь и это много, –

какое счастливое у тебя было лицо, как радостно ты смеялся! Я знаю, почему ты так радовался. Это потому, что мы, наконец, воссоединились. И теперь уже всегда будем вместе, всегда...

Конечно, не могу сказать, что совсем не было горя и боли, когда ты покинул нас, особенно в первые дни. Но всем своим существом я *знала*, как знаю и сейчас, что жизнь твоя не прекратилась. «Индивидуальное бессмертие»* существует. Для меня это совершенно очевидно. Ощутимо, осязаемо очевидно. Ты продолжаешь жить. Твоя душа, твой дух, то, что было твоей сутью, пока ты ходил по земле, продолжают жить, облекаясь в иные формы, но не прекращаясь ни на миг. Это не фантазия, не бегство от реальности. Это так же естественно и безусловно для меня, как воздух, которым дышу.

Можно подарить что-то целому миру, а можно одному человеку. Можно уравнять единицу и бесконечность. Можно согревать Вселенную или котеночка. Можно, согревая Вселенную, никого не согреть, а согревая котеночка, согреть Вселенную. Всё это банально, но продолжает оставаться удивительным. Кого любил Шопен, создавая свои ноктюрны и полонезы? А если бы он не был композитором? И сотворял не музыкальные, а просто волны? И волны эти расходились бы любовными кругами, пока не попадали бы в мировой Океан Любви, пополняя его собой. А Океан этот излучает свои волны, которые расходятся кругами, пока не касаются кого-нибудь, например, вот этого мальчика или той женщины...

Где сейчас моя любовь к Учителю, о котором вспоминаю не иначе, как с благодарностью? А к буфетчице тете Леле, в которую была влюблена в раннем детстве? А к Ленке, о которой думаю с неизменной нежностью? А к Мире, которую почитаю святой? Не говоря уже о родителях, тете Лизе, Володе... Где сейчас эти любови? Всё в том же мировом Океане?

Круговорот любви в природе...

Всё это я уже знала – и говорила себе об этом – в первые горькие дни, когда утрата была еще совсем свежей и острой. Знала, но в какой-то момент *вышла из Времени.*

Помню, как это получилось.

---

* Николай Бердяев пишет о Платоне: «Платон постиг с гениальной, божественной мощью различие между Афродитой небесной и Афродитой простонародной, любовью божественной, личной, ведущей к индивидуальному бессмертию, и любовью вульгарной, безлично-родовой, природной». («Новое религиозное сознание и общественность», глава «Метафизика пола и любви»), – и там же о Вл. Соловьеве и его учении о любви как о пути к «индивидуальному бессмертию». Все цитаты приводятся из этой работы.

Было Время. И я была в нем. Порой мне было в нем уютно. Чаще – нет. Может быть, оно было чужое, но все-таки я жила в нем. Потом произошел сбой. И с тех пор всё постоянно сбивалось и путалось, замирало и исчезало, и я не могла уследить за всем этим, а сама исчезала и замирала тоже…

Первым ушел Свет. И я всё время надеялась, что он вернется. Потом ушла бессловесная молитва. Потом молитва словами. Потом ушли слова. Не все, конечно. Только главные и о Главном. Осталось много глаголов: ходить, работать, покупать. И существительных: тетя, болезнь, учеба. И прилагательных: далекий, близкий, чужой. И много предлогов и междометий. Время тогда еще было. Оно было сложным, состояло сразу из двух частей: прошлого – *там* и настоящего – *здесь*. Время всё еще было. Я тихонько говорила с тобою по-русски. Приходил Володя. Приносил подарки – всякие нужные предметы, облегчающие жизнь. Ты не пришел ни разу. Хотя я уверена, что не забыл, не разлюбил, не ушел из нашего Времени несмотря ни на что... Значит, ушла я?

А потом я потеряла и Время. И мне не было жаль его. Мне не было горько от этого. Может быть, только самую малость... И тогда я стала писать тебе письма.

И сейчас, когда Свет возвратился, заполняю листы бумаги словами, единственная цель которых – поддерживать ниточку между нами. Словами-молчанием, словами-тишиной. Нам хорошо и легко сейчас молчать словами. Почти так же, как смотреть в глаза друг дружке. Почти так же, как стоять, взявшись за руки, в нашей Церкви. И снова и снова я пишу тебе ни о чем. Потому что письма мои – попытка не рассказать тебе что-то, а только помолчать вдвоем, подышать одним воздухом.

«Вот что мне открылось сегодня. Открылось уже не в первый раз: это «открытие» я совершала и раньше, но как радостно было опять его совершить!

А открытие вот какое. Сегодня я снова, как впервые, догадалась, узнала, почувствовала, что большой космос, в который я заглядывала, поднимая голову к небу, и мой внутренний космос – это одно.

Когда-то, лет этак двести назад, гуляя по одесским склонам, я бормотала родившиеся во мне строчки, в которых было обращение к Космосу: ‘Я часть твоя, и я тебя вмещаю’. В этих стихах были и макрокосм, и микрокосм, и вопросы, и прозрения. И вот сейчас во мне снова и снова, как в первый раз, озарением: смотреть в себя и смотреть в Космос – это смотреть в одну точку. Мое глубинное ‘я’ и Космос – это одно. И какая это радость, какая радость! И какая надежда, и какие открываются дороги!

Мою маму звали Эстер. Эстер означает ‘звезда’. Я – дочь звез-

ды. Может быть, потому так тянет, так завораживает меня Космос?

Уже совершив в очередной раз это 'открытие', уже усевшись за стол, чтобы написать тебе о нем, я взяла наугад книжечку Ошо Раджниша (помнишь, мы вместе читали его?) И что же, ты думаешь, мне выпало? 'И с углублением твоего сознания вся Вселенная начинает ликовать вместе с тобой, ибо твой центр – это в то же время центр всего Космоса'. И дальше: '**Внутренний мир** – почти то же самое, что небо, **это внутреннее небо**'.*

Ах, как давно никто не разговаривал здесь со мной на нашем языке. Как давно мне не дышалось воздухом нашего Дома. Как давно я не чувствовала себя свободной и легкой, когда всё можно и ничего не стыдно…

Мы живем с тобой в полувоплощенном-полуразвоплощенном мире. Мы живем не в Монастыре, даже не в скиту.

Мы никогда еще не были так явно и безусловно вместе.

Мы никогда еще не жили так свободно, как сейчас.

*Мне кажется, что я вновь рождаюсь для нас с тобой, для нашего воссоединения, для любви, для Бога. И я люблю тебя, родного, родного, родного моего брата по Богу, по Молитве, по Церкви, по жизни, по Пути, по Монастырю, по воздуху, которым дышу, по хлебу и воде, по земле родного, по небу родного, по Баху, по Пушкину, по Мандельштаму. Я люблю тебя. Я наконец люблю тебя так, как мы хотели, но не могли любить когда-то: мне не нужно **никаких** проявлений моей любви, мне не нужно **никаких** проявлений твоей любви. Мне не нужны ни ласки, ни даже молитвы. И только по необходимости какой-то материальной связи я продолжаю время от времени говорить с тобой словами. Может быть, скоро перестану и это. Может быть, слова станут слишком грубо материальными, и я перейду к музыке – 'слово в музыку вернись', – а потом и к абсолютному молчанию. А пока я люблю тебя так, как могу и умею сегодня. И воплощение нашей любви – это просто нежный струящийся поток воздуха…»*

...Не знаю, любят ли меня деревья, видят ли они меня, отличают ли от других, или я для них просто существо иной породы – человек. Как и они для меня существа иной породы – деревья. Может быть, белки им «социально ближе», хотя и беспокоят их – или причиняют им боль. Я не знаю ничего этого, но сама всей душой люблю их и льну к ним почти материально, и почти материально ласкаю их. Я не слышу, что говорят они мне, но душа моя вбирает их «речи», которые превращаются в Свет. А Свет, который струится внутри тебя, он так похож на счастье!

---

* *Ошо Багван Шри Раджниш.* В синем небе следов не остается: Беседы о сущности дзэн

Что это? Эманация твоей любви? Эманация Света? Эманация Бога? Рождение первой молитвы без слов, сотворенной впервые за долгое время?

Помнишь студента Луиса, в котором сокрыт был до времени Дон Кихот? Помнишь крестьянку Альдонсу, в которой сокрыта была Дульсинея? Так и у нас получилось. Лучше, чем мечтали когда-то. Воплощение мечты – опять лучше и больше самой мечты. Наше чудо продолжается.

«Тысячу лет могу я ждать нашей новой Встречи. И буду, ведь буду, ты же знаешь. Но как я хочу, как мне нужно, каким религиозным видится мне это 'нужно' – воплотить эту молитву, ничего не утратившую».

«Я хочу сидеть и молчать, и слушать хочу, что говорит во мне Бог...» Это тоже сказал когда-то Мейстер Экхарт. И я повторяю сейчас вслед за ним: «Я хочу сидеть и молчать, и слушать хочу, что говорит во мне Бог...» И больше я ничего не хочу делать. Больше ничего и не надо. Потому что в этом – всё.

Бирюзовым дождем рассыпался ты. Брызгами бирюзового дождя рассыпал свою любовь ко мне. И я улыбаюсь им и люблю их – каждую дождинку в отдельности и всех вместе, потому что все они – ты, любимый, ты, возлюбленный. Они разлетались вокруг и попадали на отдельных людей. И тогда этим людям казалось, что это их я так люблю, и это была правда, потому что каждая золотая искринка, каждая бирюзовая дождинка – это частица нашего *Нашего*. И снова расцветала любовь. Наша любовь? Новая? Другая? Нет, не другая. Наша к *другим*. Наша к *другому*. Так получилось с N.

Когда-то мы разговорились с ним, как я со своими детьми разговаривала. Он был из тех, кому нужна была помощь. Из недолюбленных. Ты скажешь, что он сам виноват, но мое ли, наше ли право судить? У меня было право только любить и жалеть. И я любила его и жалела. Он принимал это. И тоже любил меня. Когда мне было одиноко, и никто не хотел слушать мои бесконечные «откровения», он слушал их часами. Я звонила ему и выкладывала всё, о чем размышляла, просто как в большое ухо. Всю свою жизнь рассказывала ему, день за днем. А он слушал жадно, слушал так, будто это не мне, а ему было нужно. И всё принимал в себя, ничего никогда не забывал. Он помнил то время, когда я чувствовала себя самой несчастной из всех людей – и всё равно была счастливая. Помнил, что мне всегда, непременно нужно было найти «смысл жизни». И то, как я дышать не могла отто-

го, что была уже сброшена бомба в Хиросиме и что «в это время где-то во Вьетнаме убивают детей». И то, как по ступенькам ко мне приходил Бог. Он и про Индию в моей жизни помнил. И о тебе, и о нашем *Нашем* рассказывала я ему. В разговорах с ним я называла тебя Другом, Возлюбленным, моей Божьей половинкой и говорила о том, что так, как мы с тобой, сегодня уже не любят, не умеют любить. Рассказывала ему о том, о чем позже писала тебе в письмах – о *предисловии* и о *главном тексте*. О том, что большинство людей живет как бы в предисловии своей жизни, заботясь о каждодневном только, да так и не добираются до Главного, то есть до жизни самой, – того, для чего и были они рождены. Всё это перетекало и перетекало в него по телефонным проводам. Долгое время он был в каком-то смысле моим устным дневником. А жизни у нас были разные. Он не хотел и не мог, как он это называл, «следовать за мной». А потом я уехала, и мы постепенно потеряли друг друга из виду.

Когда он снова появился в моей жизни – а было это во время моего приезда из Америки в Одессу, уже не домой, уже в гости... когда спустя столько лет я снова увидела его, то сразу поняла, что он – от тебя. Странно и славно у нас с ним складывалось. С одной стороны, он и вправду был еще очень молод и многое не успел узнать, прочесть, услышать, прочувствовать... С другой стороны, он пришел оттуда, где наш с тобой Дом. И Свет Нашего Дома, сиял на нем так явственно. Он заговорил со мной на языке, похожем на наш с тобой. И, конечно, это отозвалось во мне радостью и благодарностью. Он искал во мне то, что и мне казалось Главным – и ни разу не потянулся к предисловному. Он говорил со мной о тебе, и я увидела, что он ищет тебя, потому что ты нужен ему. Он тоже называл тебя Другом. И я понимала, что он стал мне братом по тебе, любимый. Это было удивительно, ведь я знала его и раньше, но никогда до этой новой встречи не было между нами той тайны, которая возникла в одночасье. Которая захватила нас и унесла в небеса...

И тогда я полюбила его. Нет, это не я полюбила его, это наше с тобой мы его полюбило.

Мне захотелось повести его в наш Дом. Но он не хотел в наш, у него был свой. Мне захотелось помолиться с ним, потому что мне казалось, что у нас один или похожий Бог. Но он не хотел молиться нашему Богу, у него был свой.

Мы виделись с ним всего два раза, когда я приезжала в Одессу, а дальше всё ушло в воздух, в письма, в полеты. Он почти на столько же лет моложе меня, на сколько ты старше. Он вошел в наши полеты так легко, будто летал с нами всю жизнь. И всё перепуталось. Мои губы, которые никогда не знали его губ, но помнили вкус твоих, мои

губы шептали: «люблю, люблю, люблю», и я сама не понимала, кому предназначалось это «люблю»: ему? тебе?

Что это было? Продолжение нашей с тобой любви? Попытка воплотить то, что воплотить невозможно? Попытка превратить в Дон Кихота студента Луиса и самой стать Дульсинеей Тобосской из крестьянки Альдонсы? Я не знаю, но знаю, что оба вы одновременно были рядом со мной, оба держали меня за руки, и разделить вас, отделить одного от другого я уже не могла. С ним нас разделяли годы, океан и тысячи километров, а с тобой – миры... Но какой же тонкой была грань между нашими мирами!

Времени нет. И Пространства нет тоже. Их нет, но они есть. И эти обе правды не лгут и не противоречат друг другу. Мы живем вне Времени, хотя, конечно, я подвластна ему и по привычке считаю секунды, минуты, часы, годы. Мы живем вне Пространства. Хотя, разумеется, подвластны и ему. И это так же непротиворечиво, как скит в миру, как звон тишины или песнь молчания, как то, что мы с тобой – Одно, Единое, плывущее, парящее, радостно любящее, благодарно славящее Отца своего – держимся сейчас за руки.

И летят, и летят наши души над храмом, над небом, над тишиной, над песнью молчания. И что-то растет во мне, в груди моей, что-то ширится и ширится, и становится всё больше – больше меня, больше тебя, больше нас обоих, больше нас троих. И оттого, что оно такое большое и неостановимое, оно возносится – и мы вслед за ним, вместе с ним. И вот мы уже парим все вместе, плывем в золотистой бесконечности, держась за руки. Мы ли это? Мы ли – эти легкокрылые, беспечальные существа, не знающие ни земной тоски, ни земной тяжести.

Часть 3. Бирюзовый дождь

> Любя Бога, можно любить весь мир, всю природу, всякую травку и былинку, видеть во всем отблеск Божества и высший смысл. Совершенный мир, каким он должен быть по мысли Божьей, весь достоин любви... мистическая тайна любви в том и заключается, что любовь есть сила, проникающая в этот мир, что она всегда направлена на Божественно-прекрасный мир.
>
> *Николай Бердяев*

Посылаю Вам... что бы Вам такое послать, чтобы Вы улыбнулись? Ах, вот что, я и забыла: передайте Вашему одесскому платану привет от моего, тоже одесского, стоявшего на углу улицы

Пушкинской и Розы Люксембург (как она называется сейчас?). Это мой друг детства, с ним я дружила, когда мне было лет пять-шесть, а Вам... вот с ладошки сдуваю крохотное облачко нежности.

...То, что связывает двух людей, – не земное, его природа неземная. И я даже могу это доказать «математически». Но сейчас пока не хочу. А мы этому *неземному* дали *земное* имя. Мы самое лучшее имя выбрали – любовь. Ну пусть, пусть. Лучшего нам не найти, не подобрать. Пусть будет любовь. Но слово это уже из земного словаря. Может быть, самое пограничное, может быть, чуточку уже и оттуда, может быть, и сильно оттуда, может быть, оно вообще универсальное для всей Вселенной. Может быть, может быть. Но только одно оно (с производными: любить, люблю, любимая, возлюбленный). А дальше начинается несоответствие – когда мы земными словами пытаемся передать неземное, выразить неземное, неземное обозначить. Это ведь невозможно! Даже музыка Баха и Моцарта не очень-то может, а наши бедные, наши неточные, наши приблизительные, наши грубые нежные слова...

Потому и катятся слезки, а Ваш палец их утирает. И маленький этот пальчик, и глаза Ваши в сто миллионов раз больше, точнее, выразительнее говорят со мной, потому что это *другой язык*. Тоже, может быть, еще не *оттуда*, но ближе, ближе...

И всё время мне хочется замолчать и взять Вас за руку. Когда Вам было тяжело, страшно и плохо, когда Вы были маленький, растерянный и беспомощный, а я была еще такой счастливой и сильной, я брала Вас за руку и держала, переливая в Вас свои силы, надежды, энергию. А когда настали мои трудные дни, и я не знала, что меня ожидает, Вы держали мою руку и не отпускали ее, чтобы мне было легче выстоять. Держали крепко и нежно, хотя Вам и самому было тогда нелегко. А сейчас я не знаю, кто кого держит, кто кому помогает, кто протягивает руку, а кто ее принимает. Может быть, это процесс обоюдный?

Я к Вам льну. Я Вас обнимаю и щекой прикасаюсь к Вашей руке. И вот оно сотворяется нами и сотворяет нас. Оно в нас и вокруг – вне земных слов, но и вне страсти, – это больше, чем страсть, бесконечнее. И в нем мы, рожденные на земле, но уже не вполне земные, и не надо нам земных слов и законов. Например, закона земного притяжения: ведь небесное притяжение сильней, победительней!

Мне всё время хочется просить у Вас прощения за то, что это я, а не кто-то другой. Что это я Вас так люблю, а не прекраснейшая из женщин. Но моей вины в этом нет, разве что в неумолчании, в том, что не смолчала. И всё равно очень хочется просить прощения. И еще – задарить Вас такими подарками, чтобы Вы обрадовались и засмеялись. Но никто не может подарить другому ничего больше самого себя и своей Галактики. Хотите?..

Мы всё летим и летим – или всё плывем и плывем – в воздушном океане, в небесном доме нашем без стен, потолков и пола. И я слушаю, как то, что течет и струится во мне, чему мы дали земное имя «любовь», перетекает в Вас, но я не знаю: то, что во мне струится, – оно только мною сотворенное, или нами двумя?

Уже не пытаюсь найти слова, а только стараюсь не потерять прикосновения, не оборвать этого лучика из глаз Ваших.

Я хочу, чтобы это плавание, этот полет никогда не оканчивался. Что из того, что я иду сейчас по бруклинской улице, а Вы спите сладким сном в своей одесской постели, а мой Друг витает где-то так далеко, в таких мирах, что и не вообразить, не представить?.. Что из того, что не увидеться нам бесконечно долго, может быть, никогда? Это всё на земле, земное. Пусть будет так. Но пусть не кончается наш полет, никогда не кончается, никогда...

...Продолговатое желтое пятно появилось и стало расти, а потом исчезло, как будто растворилось в темном пространстве. И я увидела губы. Ты только не обманывайся словом «увидела». Это – не как в материальной жизни, это – как в полетах «увидела», как нечто не совсем материальное, полупрозрачное… что-то вроде ранних лемурийцев, а может быть, и еще более древних наших предков…

Я увидела губы. Они шевелились, но ни одного слова не помню – и тогда не слышала. Впрочем, нет. Одну фразу услышала: «Звездочка ты моя бирюзовая…» Я слышала голос. Твой голос? Я слышала интонацию. Твою интонацию? Я слышала любовь. Твою любовь? Или?..

Мои губы искали тебя. И нашли. Не знаю, что они нашли – руку, щеку или что-то еще другое. Наверное, не имело значения. Они нашли тебя. И стали разговаривать с тобой – нет, с твоим телом. Это был новый язык для меня.

И тут начался бирюзовый дождь. Или бирюзовый снег. Никогда не видела этого раньше. Это… как если в темноте горит бирюзовый фонарь, а перед ним – снег. И он бирюзовый. Только лилась не вода, и сыпал не снег, а звездочки, длинные бирюзовые палочки – как сосульки. Это было несказанно красиво. В темном-темном, но ярком фиолетовом пространстве – бирюзовый дождь, серебристо-бирюзовый…

И опять я забыла сказать, как всё начиналось. Мы летели вдвоем, в обнимку. Летели медленно-медленно, протяжно, как при замедленной съемке, как в невесомости. Летели строго вверх. В темноте, в фиолетовой темноте, но всё было видно, всё можно было разглядеть, как если бы оно, это всё, было бы материальным.

И потом мы то ли продолжали так же плавно и медленно лететь в этой фиолетовой бесконечности, то ли зависли в неподвижности, завороженные бирюзовым дождем… который в какой-

то момент стал золотистым, потом снова бирюзовым, но «дождинки» поменяли форму. Какая-то космическая пляска непонятных субстанций. Я почувствовала, что растворяюсь. Не в тебе, не с тобой, а от тебя, из-за тебя… Ты слышишь меня? Понимаешь? Растворяюсь, как Снегурочка, которая была счастлива, произнося свое «люблю… и таю…». И растаяла же! В ком? В чем? В любви! Так и я растворялась и таяла. Мне хотелось растворяться, это было сладостно и блаженно. (Может быть, так засыпают на морозе?) Но в какой-то момент я вздрогнула, почувствовав «стоп, нельзя». И действительно было нельзя. Ведь если бы я растворилась, мы бы упали?..

Видимо, на какое-то время я унеслась неизвестно куда. Хотя ***там*** *у меня время не прерывалось, только замирало, таяло, но не исчезало,* ***здесь*** *какой-то перерыв был, и я вздрогнула, как будто просыпаясь. После этого ничего больше и не было. Я вернулась сюда, в комнату, в день...*

Думаю, что это какое-то новое место, где никто из нас не бывал раньше. И что дожди там бывают разные. Вот и у нас было два разных. Только это была не вода, а маленькие звезды, и было их очень много. Звездный дождь. Бирюзовый звездный дождик. Золотистый тоже был, но главное – все-таки бирюзовый. Не знаю, почему так чувствую. И еще эта фраза: «Звездочка ты моя бирюзовая…» Чей голос произносил ее?

А еще – язык, на котором разговаривали губы с телом. Потому что они могли на нем сказать, выразить, передать в миллион миллионов раз больше разных чувств, оттенков, маленьких незаметных переходов… Даже назвать не умею то, что они так легко могли передать и выразить. И насколько это больше, чем произносить слова или целовать!

...И знаешь, о чем я подумала? Может быть, этот бирюзовый дождь был рожден разговором губ с телом? Может быть там, где мы были, именно так говорят о любви. Или наоборот: от любви и рождается бирюзовый дождь? А может быть, эти дождинки были Светом – световыми звездами, искринками, – и тогда этот дождь не лил, не падал, а искрился, светился? Что же еще и рождает любовь, если не Свет, ведь правда, правда?

«Звездочка ты моя бирюзовая…» Кто-то роняет их, бирюзовые дождинки, бирюзовые капельки, бирюзовые брызги любви, рассыпает, разбрызгивает… Эманация любви?

«Звездочка ты моя бирюзовая...» Я слышу эти слова. Я помню их. Помню не памятью разума или сердца, а какой-то иной глубинной памятью. Почему этот голос так волнует меня?

* * *

Сегодня было еще какое-то «открытие». Я ходила в парке по тропинке и думала о Друге, и радовалась ему, и радовалась тому, что ты тоже будешь ему радоваться и говорить мне о том, как быстро я возрождаюсь и восстанавливаюсь: вот только что были боль и слезы – а уже открытие!

Очень часто я ощущаю Бога в себе и вокруг так же явственно, как запах дождя или прикосновение тишины. И если вдруг окажется, что я не на земле, что глаза мои видят Бога, я даже не удивлюсь.

Бродила летним солнечным днем по парку. Видно, совсем недавно покосили траву, и запах сена пьянил и возбуждал меня, но не тяжелым, не мрачным, не жарким хмелем, а летучим и светлым. Летучим и светлым, но хмелем. И я сделала это, наконец. Я взяла твои руки в свои и погрузила в них лицо. И мои губы касались твоих ладоней. Я дышала ими, тобой и запахом сена. Мир замедлил свое движение и утих... Мир остановился. Тишина стала густой и утратила цвет. Кажется, губы слегка подрагивали: то, что входило в них из ладоней, проходило в меня через них, было больше толчка к полету, но взлетать было нельзя, неможно, как неможно было говорить или шевелиться.

Я открыла глаза и подняла голову. Я хотела видеть тебя. Хотела войти в твои глаза, в запах сена и тишину. Я не увидела тебя. Хотя знала, что ты здесь, любовью своею знала это, всем во мне, что умело видеть невидимое.

Но глаза мои увидели другое. Мне трудно будет рассказать, что они увидели: такого опыта не было в моей прежней жизни. Это было что-то очень похожее на пустыню, но не песчаную, не каменную, не твердую, не жидкую… Это была пустыня чего-то пушистого, прозрачного – призрачного? – невидимого, залитого таким сияющим, таким праздничным (но не ярким, не искрящимся) светом, будто тысяча солнц освещала его, этот мир, эту пушистую и призрачную пустыню. Но ни одного солнца, ни одного источника света не было. Источника света не было, а свет был – победительный, всепроникающий, ликующий… Это была добрая, даже ласковая пустыня, очень похожая на тот мир, в котором я бывала только одна, только более… южная, что ли. В той тоже было и южное, и северное, только тот мир был более северным, чем южным (более серебряным, чем золотым), а этот – более южным, чем северным (более золотым, золотистым, чем серебряным, серебристым)…

И снова я окунулась лицом в Ваши ладони. И они не остались безучастными, хотя Вы не двигались и не шевелились. Я целовала их, и они отвечали мне. Я не знаю, как они это делали, но что-то они отвечали такое, от чего невозможное становилось возможным,

несбывшееся сбывалось прямо сейчас, и сладостно хотелось умереть – или подарить Вам всё небо, все миры…

Я опять открыла глаза и подняла голову. И опять не увидела Вас, но знала: Вы здесь.

А мир вокруг нас был другой. Он был менее радостным, но более величественным и космичным. Он был похож на дорогу в Эйлат – с безмолвной тишиной, с неземными, инопланетными, космическими скалистыми вершинами гор, с неизвестно кем или чем проложенными тропками, по которым могли бы прохаживаться неземные существа. Менее всего он был земным, этот мир. Более всего – инопланетным. И он был дружественным… да, он был дружественным.

Будучи более космичным в смысле инопланетности, он был менее космичным, чем пушистая пустыня, в смысле религиозном, но и здесь этого было так много, так много. Хотелось раствориться в этом нездешнем воздухе, хотелось перестать быть.

И на какое-то время я перестала. Я перестала быть и потому ничего не знаю, не помню, не могу сказать об этом отрезке времени. Меня не было. А где были при этом Вы? Растворились во мне, несуществующей? Мы вместе растворились в этой нездешней долине? А где был при этом Друг?

Ничего не знаю об этом. Потому что, когда я вернулась в бытие, обнаружила себя шагающей по тропинке стремительно и ритмично.

Я огляделась по сторонам. Всё было, как прежде. Тот же парк, та же трава, те же тропинки, те же люди, те же деревья. Ни трава, ни люди не знали, что только что происходило со мной. Они были такими же, как и раньше. Те же шутки и разговоры людей, те же белки и птицы на всё той же траве. Они ничего не знали.

Но деревья! Деревья стали другими. Я смотрела на них, не останавливаясь, не замедляя шага. Они знали, Боже мой, они знали!

* * *

Приходил Друг. И комната стала храмом, будто ожили строки прекрасных стихов или зазвучала прекрасная музыка. Но в стихах и в музыке – другое. Там только церковь, Бах и двое летают… Нет, сейчас это было не так. Сейчас было, как когда-то, как вчера, как три жизни назад или пятнадцать вперед, я не знаю. Что было с нами? Что было со мной? Я точно не спала. Я была в каком-то промежуточном состоянии. Я видела свое тело, лежащее на кровати, и одновременно видела нас двоих с Другом, летающих, парящих, обитающих там, вверху. Там был не свет, но не тьма, там был не воздух, но и не вода, а какая-то полусветлая-полутемная облачность

или туманность. И в ней, как при невесомости – без усилий, без движения – плыли два тела, которые трудно было разглядеть отчетливо, потому что хоть они и тела, и даже какие-то очертания угадываются телесные, но полупрозрачны, будто сделаны из облака или тумана. И очертания расплывчаты. Я вижу их – и одновременно вижу себя на кровати, – и знаю, что одна из этих фигур там, вверху – я. У меня нет вопросов, нет ответов, нет мыслей, нет слов. Я вся – любовь. И то, в чем мы плывем-летаем-обитаем, – тоже любовь. Поток-не поток, потому что не видно и не ощущается движение. Атмосфера? Ну, пусть будет атмосфера. Но не воздушная, не газообразная, а только любовная… Был ли там эрос? Конечно. Но совсем, совсем не похожий на знаемый мною раньше. Даже на знаемый нами двумя раньше. Потому что эрос – это, как ни говори, что ни говори, а о теле. А здесь он был совсем бестелесным. И не направленным. Даже друг на друга не направленным. Он был атмосферой света, любви, неподвижности (или той скорости, которая с нею смыкается) – в то же время он был и мной, и нами… И так мы летали какое-то время вдвоем. А потом я увидела, что у меня в руках ребенок.

И этот ребенок – Вы. Не знаю Вашего ощущения, Ваших чувств, но просто лечу-плыву-парю с Вами на руках. И так мы летаем какое-то время (время?), а потом я вижу, что мы летим уже взявшись за руки, все трое, каждое тело отдельно. Со стороны это было похоже на картины Шагала. Был ли при этом эрос? Конечно. А куда бы он мог удалиться? Но каким же тихим, безгрешным, детским и бестелесным он был! Ничего в нем не было красного, жадного, хватающего. Вот как в «Солярисе» в минуту невесомости. Более похожего сравнения не найду, хотя и та их минута по сравнению с нашим тройным парением была слишком тяжелой, материальной, воплощенной, плотной…

Потом долго молча стояли мы. И мне захотелось поцеловать пальчики ребеночка – Ваши пальчики. Но я не решилась. Побоялась, что получится грубо.

А потом оно постепенно растаяло. И осталась я, лежащая в постели, и всё это осталось во мне. И было утро…

Всё не подберу слова, чтобы рассказать, чтобы сделать зримыми, чтобы позволить Вам увидеть наши тела там. Я могла бы сказать, что они были как будто из прозрачной пленки. Но нет, слово «пленка» никак не подходит. Они были живые, эластичные, подвижные, но не плотные, не телесные, не материальные. Так призраков иногда представляют. Но они были не призраки, они были *мы* – живые, чувствующие. Ну вот опять. Чувствующие, но не так, как здесь. В миллион раз

сильнее (ах, слово неподходящее, никакой «силы» не было, но как сказать, как?..) и в то же время... органичнее? естественней? незаметней? спокойнее? Не знаю... Бесконечный свет и любовь, не переходящая в страсть. Лиц я не видела, они же были прозрачными. Только тела летящие, только тела, соединенные держащимися друг за дружку руками...

Кто кого держал? Кто какого возраста? Откуда я знаю. Об этом я там и не думала. А слово «эрос», потому что... опять я не знаю, как сказать. Мы с Другом когда-то пытались убедить Философа, что любовь с влюбленностью больше и выше любви без влюбленности. Не сумели. «Я не о влюбленности говорю, я о на-всю-жизнь любви», – настаивал он. Так ведь и мы о ней же. Хотя, может быть, это был спор о словах. Об истинной любви мудрец Философ знал много.

Конечно, мы могли бы взять в союзники Бердяева, который говорил, что высшая форма любви не есть любовь бесполая, бесплотная, что «в основе ее лежит мистическая чувственность, непосредственная радость касания и соединения». Философ тогда не согласился с нами, он решил, что мы не доросли. Потому что считал: влюбленность – ступенька на пути к любви. А мы, хоть и не читали тогда еще этой книги Бердяева, были уверены, что всё наоборот. Любовь без влюбленности – менее живая, не полная, не завершенная. Бердяев чувствовал это, когда писал об экстазе слияния в высшую индивидуальность, о мистическом проникновение в «ты», о том, что «всякое подлинное *мистическое* мирочувствие связано с эросом», – только у Бердяева это суховато, по-научному звучит, а там... Это же больше любви, если только может быть что-то больше любви! Это глубже тела, глубже души, глубже духа. Я же *сущность* Вашу тогда держала в руках. А Вы – мою. И я любила ее, эту Вашу сущность. Я Вас не видела, но была уже в тех сферах, где можно поцеловать и естественно хотеть выразить нежность, благодарность поцелуем, но еще и там, где поцелуй слишком груб, каким бы он ни был детским, нежным и светлым. А возраста у сущности нет, наверное. И были мы втроем, потому что я была с Вами, но без Друга быть не умею, и знаю, что не сумею ни в этой жизни, ни в следующих – никогда. И я теперь уже не смогу жить с Вами, как до этого полета, как будто его не было. Потому что он из меня не уходит. И это тоже навсегда...

...Не могу я, не имею права говорить с Вами о любви. Вы знаете о себе, что «такой любви, чтоб от макушки до пяток – чтобы и любили, и понимали, и принимали целиком... и главное, чтобы тебя это грело» – такой любви Вам недостает. А я избалована многими такими любовями, каждой из которых хватило бы, чтобы сказать: жизнь меня любовью не обделила. У меня за всю долгую жизнь и сотни дней без любви не наберется. И наконец, даже если бы всего этого не было, а

была бы только одна главная Встреча и Богорождение... Что я могу сказать человеку, которому недостает? Могу только молчать и протягивать ладонь – и делайте с ней, что хотите.

Когда та Встреча была прервана в одночасье, когда Друг ушел, унеся, как я думала, и меня с собою, душа моя казалась мертвой. Так я ощущала – и говорила всем тогда, что умерла, что это уже послежизние...

Было тяжко, было томительно и больно.

Началось с неритмичности. Вдруг пропала ритмичность. Неритмичные вибрации беспокоили, хотелось их упорядочить, а они не поддавались, напротив, сбивались с ритма всё чаще. Сбой, сбой, сбой. Опять неритмичность. Хаотичность. Паника.

Потом стала пропадать мелодичность. Исчезла гармония. Звуки, музыкальные прежде, певучие прежде звуки превращались в скрежет. Какая там музыка, какие мелодии! Диссонансы, режущие ухо. Диссонансы. Какофония.

Хотелось спрятаться от этого, хотелось крикнуть: «Да тише вы, прекратите!»

Кому кричать? Откуда всё это берется? Как избавиться от него?..

И когда всё завертелось в этом нескончаемом вихре, когда казалось, что хаос воцарился повсюду и навсегда, душа испугалась по-настоящему. Ей казалось, Света больше не будет. И Неба больше не будет. И Музыки больше не будет. И не будет больше любви.

А будут отчаянье, одиночество, подозрительность, зависть, враждебность и пустота. Черная, густая, мертвая пустота. Безнадежная пустота.

Вот когда было действительно страшно и действительно больно.

И вот когда было действительно опасно. Потому что в такое время может душа умереть.

– Как – умереть? Ведь души бессмертны.

– Да, бессмертны. Не знаю – как. Знаю, что могла умереть.

– Но так не бывает. Бог не рождается, чтобы умереть. Свет может погаснуть, но только на время, а потом возвращается. Что может спасти душу?

– Боль. И память.

Боль будит. Боль будоражит. Боль не дает уснуть.

А память шепчет и шепчет сны о другом. О том, что она помнит. О светлом, об ином. О том, что оно возможно. И если выдержать, перетерпеть, пере-жить, то будешь и будешь жить. Может быть, бесконечно.

– Бесконечно? Это значит – вечно? В Вечности, которая существует, которая есть? Только еще надо потерпеть немножко. Только еще постараться...

Так и было. И Свет начал постепенно возвращаться. Сперва появились просветы. Будто отдельные твердые кочки посреди общей топкости. На них можно было отдохнуть. На них можно было подышать полной грудью. Оглядеться по сторонам. Посмотреть вверх. И поискать новую кочку, до которой нужно еще добраться.

Кочек становилось всё больше, вот они соединились в тропинку... Начался обратный процесс.

В безнадежности появились точки надежды. Какофония перестала быть резкой, визгливой, скрежещущей. Начали возвращаться мелодичные звуки. Они складывались в какое-то подобие музыкальной фразы. Будто кто-то тренькает, наигрывает на гитаре – так, для себя, подбирая мелодию.

Мелодия становилась песенкой. Слова неразборчивы.

И вот зазвучали духовые. Флейта, гобой, кларнет и даже труба. Эта труба поднялась высоко-высоко – и там, в высоте, над всеми, наедине с небом молилась и пела, и наполняла музыкой Баха всю небесную высь. Звуки «Хорошо темперированного клавира» неслись над Землей. Душа выжила. Душа услышала музыку Баха.

И Свет вернулся ко мне. Он вернулся почти сразу, хотя казалось, что его не было долго. Сначала он жил внутри меня свернувшимся клубочком, и его никто не видел и не замечал. Но постепенно он стал такими лучами из меня исходить, что теперь я и сама его вижу и чувствую. Переполненная этим Светом, я вливаюсь в него и становлюсь им. Всё тогда – Любовь, Тишина и Свет, и я сама – Любовь, Тишина и Свет. И нет во мне слов. И не нужны слова. Тогда я осязаю прикосновение – касание Бога, касание Его любви.

Здесь предел того, что умеют слова, по крайней мере, мои... Люди вокруг хоть и не догадываются, что это, но тоже чувствуют. Чужие люди, не все, но некоторые, пытаются переводить это на свой язык, но я-то вижу и знаю: это они Свет, из меня исходящий, видят – и сами светлеют. Вы понимаете, о чем я?

Я сказала: «И сотни дней без любви не наберется». Это правда, и я не стыжусь этого, я радуюсь. Вот только беспокоюсь немного, что Вы не совсем верно меня услышите. Перед собой я не стыжусь и не стыдилась своих любовей и влюбленностей. Ничего в них нет постыдного. Я недоверчивости Вашего взгляда испугалась. Простите меня за это.

А влюбленности мои были хоть и чувственными, но платоническими. Одни – по детскому возрасту, другие – по каким-то иным причинам. И вообще, считайте, что Вы вытянули счастливый билет: всё у нас будет так, как Вы захотите, как Вам будет нужно, необременительно и приятно. И никогда ничего не будет наоборот.

Это не совсем шутка. Это в очень малой степени шутка. Это и не шутка вовсе.

Я никогда намеренно не обижу Вас. Я никогда сознательно или намеренно не сделаю Вам больно. Мне легко и радостно обещать Вам это. Я всегда буду у Вас столько, сколько Вам захочется и будет нужно. И ни на капельку больше.

В ту секунду, когда Вы захотите «избавиться и от этой привязанности», я уйду. И это будет легко, хоть и грустно. Потому что я всё равно буду любить Вас. И никогда Вы не перестанете быть для меня младшеньким, маленьким моим братишкой.

У меня не будет метаний и страданий, я не буду «сходить с ума». Я очень светло и без всяких судорог люблю Вас. И болтать об этом не буду так много. Очень хочу, чтоб Вам от моей любви стало хоть капельку светлей, легче, спокойней, радостней. И не хочу, чтобы она внесла в Вашу жизнь новые страхи, боль, страдание. Если так всё же случится, Вы скажите, только скажите, ладно?..

И опять мы все вместе летали – Вы и мы с Другом как единое нечто. На этот раз полет был вертикальным. Я стояла, как если бы стояла на полу, на земле или в воде. Но стояла ни на чем. Держала Вас перед собой двумя руками, и мы были как будто неподвижны в этом положении, потому что я не помню никаких усилий, обычных при движении, но точно знаю, что нет, не неподвижны, а летели, как если бы облетали шар, только очень большой, так что и не чувствуется, что он круглый.

Я не видела Вашего лица, потому что держала Вас крепко (знала, что нельзя отпустить: Вы тогда упадете. Но мне не было страшно: знала, что не отпущу. И Вам не было страшно, Вы вообще об этом не думали). Я держала Вас крепко, а лицо Ваше было выше, и я не могла его видеть. Я знала, что это лечу я, а не Вы, что летная сила во мне, а не в Вас, но что сила эта рождается и «заряжается» Вами и входит в меня через Вас. Она переходит в мое тело из Вашего. Поэтому мне (и нам) было очень нужно, чтобы я держала Вас вот так тесно и крепко, иначе не мог бы состояться полет.

Весь полет был каким-то очень серьезным и сосредоточенным. В нем не было обычного ликования. Но было «глаза-в-глаза», хотя я не видела Ваших глаз, и Вы моих, наверное, не видели. И это «глаза-в-глаза» было очень глубоким, вопрошающим. О чем? Не знаю. Но что-то серьезное, очень большое было в этом полете.

Я сказала выше: это не было эротично. Не совсем так. Прикосновения тел не было, это правда. Но весь полет, весь воздух, в котором мы неподвижно летели, стоя лицом друг к другу, всё дыхание, наше

«глаза-в-глаза», – всё это было… я не знаю, как сказать… Это было как за секунду до мгновения, когда губы прильнут друг к другу, но они никогда не прильнут, потому что это мгновение длится вечно, а следующего, естественно, не будет. Мне кажется, это именно то, что я хочу сказать. Не мы с Вами ощущали это, а этим было то напряжение без напряжения, то мгновение, растянувшееся в вечность.

Видите, как получается: летели, но была неподвижность. Внутренняя напряженность – запредельная, но не отягощающая. Энергия была не общая, но переходящая от одного к другому. Без Вашей энергии я не смогла бы лететь. В Вас тоже была энергия, но сами лететь Вы не могли. И эрос был не Ваш, не мой и не наш, а скорее, вокруг нас, мы в нем находились, но не осознавали его, и он не пугал, не мешал, не тревожил нас.

И я думаю, что это «глаза-в-глаза» могло бы длиться и длиться. Но я пошевелилась и что-то нарушила. И всё исчезло.

* * *

...Какой праздник ты сделал мне своим телефонным звонком. И твой голос вчера вечером тоже что-то успел сотворить за несколько секунд – я совсем перестала бояться его (голоса) и тебя воплощенного, а так как страх сразу же превратился в любовь, то и любовь выросла на столько, сколько страха было во мне. Я сейчас и голос твой люблю (которого боялась), и ту интонацию, которую услышала чуть ли не в единственной твоей фразе: «Ну вы же видите, что делается». А что делается, любимый? Что делается, волшебник ты мой, творящий чудеса из ничего – из воздуха, из телефона, из одной фразы? Или, может быть, из влюбленности моей? Из моего восторженного обожания? Короче, из моей сентиментальной глупости – и вдруг чудо. Волшебник ты, чудесник и кудесник, вот.

Еще одно признание. Только услышь хорошо, как умеешь слышать, ладно? С тех пор, как я так сильно полюбила тебя, я разучилась быть без тебя, но *там* нельзя быть с тобой, там я могу быть только одна или с Другом, что, в общем, то же самое. С любовью, но одна. Это не от меня зависит. И у меня что-то вроде выбора: или *там*, или с тобой. Я не совершаю этот выбор, он совершается сам. Я не могу управлять этим. И сейчас выбирается с тобой; значит, в это время не могу быть *там*. Это не страшно, это не надолго так, это такой-то отрезок пути. Потом что-то будет. Либо научусь быть *там* с тобой, как сейчас могу быть только с Другом, либо буду уходить в *там* и возвращаться, либо еще что-то, чего не знаю сейчас.

Там я должна и хочу быть одна. Хочу жить на той высоте, на которой можно улыбнуться друг другу, обнять, сказать «люблю» – и разой-

тись на время... Может быть, я хочу невозможного? Но ведь нельзя разделить *это* с любимыми. С Другом можно. А больше ни с кем...

Вы смутили меня тем, что «обидели» наши полеты. Один уже был описан, а второй после Ваших слов застыдился и не хочет быть описанным. Но я все-таки попытаюсь. Дело всё в том, что для Вас это – Ялта, Швейцария – места, куда можно поехать по туристической путевке. А я совсем о другом. Мы совсем *о другом* летали.

То, что мы сперва оказались на какой-то горе в Ялте, не было случайностью. Тому было несколько причин. Но первая и главная – это то, что любая гора – Гора, любая гора – высокое и горнее. Я знаю это из жизни, потому что видела и вдыхала в себя и горы в Ялте, и горы в Армении, и Карпаты, и немецкие и французские Альпы, и, наконец, Альпы в Швейцарии. И я знаю это чувство, и знаю разницу между Ялтой и швейцарской горной деревушкой. Но это всё не о полете. Хотя и о нем тоже.

Не помню, как мы летели в Ялту, как оказались на горе. Помню только, что мы уже на ней. Уже была гора. Но была и Ялта – курорт, муравейник, суета. Хотя этого мы не видели. Вам не хотелось там оставаться. Я понимала это. Мне тоже не хотелось, хоть я и говорила Вам какие-то слова о красоте, о тишине (она всё равно была там, в горах), о том, что горы – всегда горы. Но хотелось нам обоим другого. Теперь я понимаю, что хотелось нам разного, но тогда не понимала и не думала об этом. Это я предложила Вам улететь оттуда в Швейцарию, а Вы сомневались, говорили: «Далеко лететь, да и тяжело будет». А потом было вот что.

Мы встали друг против друга, лицом к лицу, и взялись за руки. Нет, я путаю – всё начиналось иначе. Сначала было вот что. Сначала внутренний голос сказал мне: «Это делается не так. Швейцария далеко. Швейцария высоко. Туда долететь нельзя. Туда надо переместиться».

«А как?» – спросила я робко и тут же поняла, что спрашивать не надо, потому что уже знала, как.

И вот тогда мы стали лицом друг к другу и взялись за руки. Мы смотрели в глаза друг другу, и создавалось то напряжение, которое нельзя выдержать долго, но если… И когда оно стало уже почти нестерпимым, и я почувствовала, что вот сейчас обниму Вас, и всё тогда окончится, потому что будет тоника, а тоника – это разрешение, это успокоение, это блаженство, но ничего больше не будет после тоники, в это мгновение Вы спросили меня тихонько:

– Мы летим или стоим?

– Я не знаю, мне кажется, что стоим. Но летим.

– Летим, но стоим, да?

– Нет, стоим, но летим. Вверх.

– Тогда почему же вокруг не небо, а горы?

– Потому что это ***другие*** *горы. И потому что они высоко.*

– Мы летим вместе с горами? Вместе с Ялтой?

– Нет, мы в других горах. Те горы внизу.

– А люди здесь живут?

– Здесь нет, но они иногда сюда залетают. Когда молятся.

– Если здесь молятся, почему же мы продолжаем лететь?

– Потому что ***оно*** *летит тоже.* ***Оно*** *– это горы, и всё, что на них, и всё, что мы можем и не можем увидеть. И молитвы рождаются здесь. И живут здесь, пока кто-нибудь их не находит и не берет себе.*

– В воздухе между вершинами?

– В воздухе между вершинами.

Потом мы летали как обычно, без перемещений. В воздухе между вершинами. Рядом с облаками. Между ними. И я не беспокоилась, что мы разминемся, попадем на разные небеса, потому что мы всё время держались за руки. Мне только иногда хотелось совсем растворитьcя и тоже стать воздухом между вершинами. Но как раз это было невозможно. А когда нежность переполнила меня и стала перехлестывать через край, через край, я наклонилась к Вам и поцеловала руку, которая держала меня… Я приникла к ней губами и поняла, что никогда не смогу отнять губы от руки. И что те молитвы, которые рождаются здесь, и мои губы на Вашей руке, держащей мою, – это одно и то же. И потому здесь так тихо. Молитвы все бессловесны. И воздух между вершинами – он весь из этих бессловесных молитв, а значит, и из моей, нашей: моих губ на Вашей руке.

А Вы тихонько гладили мою голову, и я увидела, что мы летим уже не так, как раньше: не стоя лицом друг к другу, не лежа, как на воде, держась за руки, а лежа на боку, лицом друг к другу. И глаза всё время глядят в глаза. И то, что было в Ваших глазах, мне ни рассказать, ни даже осознать до конца. И это было, как если бы мы не летели в воздухе между вершинами, а зависли, нет, просто лежали в этом воздухе неподвижно, а вершины, и небо, и облака, и всё летало вокруг нас. А может быть, это мы вместе – мы с этим всем вместе – вот так летали?

Голос, который я слышу так часто, говорил мне о противопоставлении любви и страсти. Ибо любовь ведет к бессмертию, а страсть к сгоранию, она временна. Если Вы скажете, что страсть присутствует в любви, я не буду Вам возражать. Но это совсем другое дело. Страсть в любви не отменяет света и бессмертия. Страсть без любви – губитель-

на. Вот об этом был Голос, по-моему. И поэтому мой вопрос: «А что же делать тем, у кого прикосновение рук рождает страсть?» Дескать, не их выбор, не их вина, что же им делать? Ответ мне до сих пор не до конца ясен. Может быть, он о преодолении.

* * *

Сегодня почти весь день провела в постели в забытьи и полузабытьи. Какая-то жизнь всё время витала вокруг меня. И Вы были в ней: плавали в воздухе над моей кроватью и вокруг. И опять я не видела ни лица, ни четкой фигуры, но знала, что это были Вы. Хоть Вы ни разу не обратились ко мне ни словами, ни без слов, ни разу не коснулись меня. А сама я не летала. Я была в это время больна и постанывала тихонько. То дремала, то спала, то просыпалась. А потом у нас наступила длинная-длинная ночь, а у вас там было уже утро. Я смотрела на Вас, как Вы спите, уставший, – и думала, что вот самое время передать Вам чуточку утренней нежности, совсем-совсем утренней, детской, нежаркой, *тихонькой*. Вот так сдунуть ее с ладошки на Вас, спящего, и смотреть, как она вокруг Вас летает, а потом садится на Вас – осторожно, мягко, чтоб не разбудить, чтоб не испугать, чтоб не потревожить, чтоб не внести сумятицы в утреннюю просыпающуюся Вашу душу.

А если Вы с нею, с нежностью, проснетесь, так, может быть, и день будет легче и воздушней. Он ведь выходной, на работу не надо. У вас там не жарко, как у нас здесь, и весна еще, а не лето, и будем мы спать на воздухе, а потом просыпаться и немножко читать, что-нибудь поклевывая, а потом в небо глядеть – и снова засыпать… Вот бы весь день так. Тогда и намечтается много, и надумается, и отдохнется…

А я буду Вам отсюда теплые лучики слать – на случай, если у вас холодно. Мне для этого ничего не нужно, даже думать об этом не нужно: они сами из меня исходят и к Вам направляются. И сами свою физическую температуру регулируют. Если Вам холодно – согреют. Если Вам жарко – остудят. Потому что они умные не разумом, а сердцем. Или, как говорил Кастанеда, телом.

Это я всё бормочу-бормочу: баюкаю Вас. А как Вы задремлете, замолчу и буду смотреть на Вас спящего. Вспомнила, что когда мне лет четырнадцать было и я была влюблена в свою троюродную сестру Инну, которой было тогда двадцать семь, вот так же сидела у ее постели в Одесском доме отдыха, охраняя ее послеобеденный сон. И весь мир был тихим и молящимся... Что ж это так? За столько лет ничего и не изменилось?..

Вы спрашиваете, почему я могу бывать в *том* мире только одна? Потому что там пустынно. Только Космос и ты. Только Бог и ты.

Невозможно иначе. Если я попытаюсь нарушить эту пустынность и приведу любого гостя, даже очень хорошего и любимого, *тот* мир исторгнет нас, перестанет для меня быть. Может случиться, что *когда-нибудь* он пропустит нас вдвоем, но еще не сейчас. Он не противоречит природе моей любви к Вам или вообще к человечеству. Он вообще не об этом. Он просто призывает или допускает *одного*. С Другом мы были – *одно*. И у нас один Бог. Мы – двойное *одно*. Нас не было двое. С Вами – по крайней мере, сегодня, – мы не одно, нас двое. И я не знаю, один ли у нас Бог. Двоим туда нельзя. А выбор вовсе не тяжелый, его просто нет, потому что попадаю туда я нечасто и ненадолго. А если когда-нибудь тот мир примет меня насовсем, то здесь это будет выглядеть, скорее всего, как смерть...

Так что – нет, мы не были с Вами в том мире. Но были в близких, родственных сферах. Только более «человечных», более доступных нашему восприятию... И хотя я не могу взять Вас с собой *туда*, но, может быть, могу говорить с Вами об этом, потому что... Вот послушайте, что было со мною однажды.

Если Вам когда-нибудь приходилось лежать в ночи без сна, Вы поймете, что чувствовала я, вытянувшись на кровати с открытыми глазами в темной комнате в час ночи, затем в два, в три, в четыре… Не бодрствуя, но и не засыпая, расслабленная, я наблюдала за свободным течением своих мыслей.

Передо мной было зеркало. В темноте неосвещенной спальни я видела в нем комнату – знакомую комнату, только зазеркальную. Она казалась и обычной, и странной одновременно. Это была моя комната, моя спальня, но сейчас, в зеркале, она была другой – преображенной, иномирной. Я смотрела, не пробуждаясь и не засыпая, бездумно ожидая чего-то, прислушиваясь к тихим неясным потокам внутри себя, очень похожими на те, которые посылало мне когда-то Дерево-друг в Техасе. Как и тогда, это не было сном, это была полуреальность, в которой я ничего не делала, но что-то делалось со мной.

Поэтому я совсем не удивилась, когда и сейчас увидела дерево – там, в зазеркальной комнате. Не удивилась, когда оно заговорило со мной.

Это было большое и старое дерево, похожее на то, с которым я так дружила в Техасе, но там было родное Дерево-друг, а с этим я не была знакома раньше. Дерево-гость, так я его назвала. Мне нравилось смотреть на него, на его могучий ствол, на мощные ветки, каждая из которых сама могла бы стать стволом, но сейчас они раскинулись, как руки, поднятые вверх, и вместе создавали целый мир кроны – листьев, малых веток и веточек.

Я смотрела на него и не спрашивала, как оно попало в мою комнату-спальню, а оно смотрело на меня и не спрашивало, почему я лежу без сна, и почему во мне происходит что-то очень похожее на любовь человека к человеку, хотя я в постели одна: никто не ласкает меня, и я никого не ласкаю. А потом эта моя любовь обратилась к нему, и начался диалог... только не спрашивайте меня, на каком языке, потому что говорили мы не словами. Нет, не словами, но хорошо понимали друг друга. И когда дерево позвало меня к себе, я не колебалась ни единой секунды. Потянулась к нему и, не шелохнувшись, не вставая с кровати, не переходя в зазеркалье, оказалась сначала внутри его кроны, а потом и внутри ствола. Знакомые льющиеся потоки чего-то серебристо-прозрачного заструились вокруг меня. Потом началось струение неоформленных полутеней, а может быть полупятен. Я почувствовала себя частью дерева. Мне не нужно было ни разговаривать, ни смотреть, ни слушать, ни дышать. То, что я видела, было незримо; то, что я слышала, не было звуками; то, что я ощущала, было совсем незнакомым, ни на что не похожим, будто я перестала быть человеком, а стала кем-то или чем-то иным.

Какой-то желтый пересверк блеснул в левом углу глаза, и это было последнее, что я успела заметить. Застонал и умолк протяжный мелодичный напев, и больше не осталось звуков, а только в полном безмолвии текло и текло что-то, казавшееся мне диалогом, беседой, объятием долгим и тихим, засыпанием и растворением, в котором рождалась иная жизнь. И не было ничего более желанного, чем раствориться и родиться заново в этой жизни, для этой жизни – без движений, без действий, без поступков, без слов... Я увидела большой цветок то ли вишневого, то ли малинового цвета – и вспомнила его. Мне показалось, что в сердцевине цветка – туннель. Я спросила у Дерева-гостя:

– Куда он ведет?

– Нет никакого туннеля. Просто в прошлый раз цветок приглашал тебя, но тогда ты не сумела войти.

– Почему?

– Потому что была не одна.

– А вдвоем невозможно?

– Возможно, но нужно научиться.

– Можно ли совмещать мир людей и этот ваш мир?

– Можно. Но нельзя находиться в двух мирах одновременно. Можно переходить из одного в другой и возвращаться.

– А можно ли остаться в вашем мире навсегда?

– Нет, этот мир пока чужой для тебя. И останься ты здесь надолго, затосковала бы по своему, привычному. Но ты можешь сотворить его себе там, в твоем мире, в вашем мире людей. Попробуй...

– Так ведь я всё время пытаюсь, а не получается... А можно ли рассказывать о тебе, о том, что было сегодня ночью?

– Попробуй. И если кто-то отзовется на твой рассказ, это будет означать, что когда-нибудь он сможет прийти сюда с тобой. Попробуй.

Вот я и пробую. С Вами...

* * *

Не помню, в каком полете ласкала Вас так, что потом мне было неловко за себя. Какая разница, в каком. В этом не было нечистоты, но была страсть. Ласки не были нескромными. И если бы я смогла рассказать о них или показать их, любой взрослый посмеялся бы надо мной: «Только-то и всего?» Но они опьянили меня, а может быть, я опьянилась, и потому оказались возможными эти ласки. Желание ласкать Вас было таким острым и пронзительным, что меня не удивил тот полет (вот Вам и обрывочек исповеди). Не знаю, как всё это происходило бы, будь желание обоюдным, а ласки невиртуальными. Мы никогда этого не узнаем, но я знаю одно: как бы оно ни происходило, оно было бы чистым и молитвенным, его не нужно было бы стыдиться или извиняться за него. Но желание не было обоюдным. И я не знаю, что делали мои губы и пальцы, скорее всего, ничего не делали, даже виртуально, а только желали, но так горячо, так жарко, так страстно желали… Простите меня. Я ведь даже самой себе не могу ответить на вопрос, чего же они желали.

Когда всё это началось? Ах да, мы с тобой бежали быстро-быстро, держась за руки, пока в какой-то момент не повернули головы друг к дружке, не воскликнули одновременно «и-и-и раз!», не оттолкнулись и не взлетели. А улыбка от этого «и-и-и-раз» так и осталась на лицах.

Мы летали весело, играя, как я только в Одессе в детстве летала. Мы переворачивались в воздухе и дурачились, и смеялись. И было весело, празднично и легко. Так, наверное, бывало у девушек в XVIII-XIX веках на их первом балу, когда их кружили в вальсе. Может быть, у Наташи Ростовой так было.

И мы шалили и нежничали в солнечном праздничном воздухе. Потому что всё это был праздник. Он не мог быть невысоким, он не мог быть высоким. Он совсем другой. Он – праздник. Как фейерверк, как маскарад, как у Грина в Гель-Гью. Помнишь? Праздник нужен людям. Это Бог такие праздники посылает. Потому что всё это веселье, озорство, пляски всякие в воздухе – они же детские, они чистые, они Божьи, и это от любви только и бывает. У Вас раньше*

---

* *Грин, Александр*. Бегущая по волнам

не бывало так? Если никогда не бывало, то это очень горько. Но мы наверстаем. Мы осыплем Вас праздниками и весельем. Потому что это тоже – молитва и счастье.

Потом мы с Вами говорили. И я слышала невозможный Ваш ласкающий голос. Вы говорили, что сердитесь, что огорчаетесь, но Вы утешали меня, а в какую-то секунду Вы сказали «ну-у-у», и оно звучало как «люблю», как по головке гладят, как «ну что ты?», как «не грусти», как ласка. И я совсем сошла с ума. Не знаю, что делать. Потому что меня не хватает, чтобы вместить всё это, а оно еще растет и растет.

А утром мы с Вами снова летали. Только я не знаю, полет это был или... Мы плыли по воздуху в каком-то незнакомом пространстве, я про него ничего не помню. Плыли лежа, неподвижные, как будто на ковре-самолете, только никакого ковра под нами не было. Просто воздух держал наши тела так же естественно, как твердь держала бы. Не знаю, летели мы или плыли в этом пространстве. Это как если б мы лежали на воде, ничего не делая, но течение нас все-таки немножко относило бы, и мы перемещались. И здесь так было, только в воздухе.

Мы лежали, и я немножечко плакала. То есть не плакала, но слезы текли по щекам. И ты меня утешал. Нежно-нежно, как маленькую. А я тебе пыталась объяснить, что это ничего, что я не от горя плачу и даже не от счастья, а потому что я предельная, а ***она*** *– беспредельная, и я не могу ее вместить. И мне всё хотелось найти такое слово, чтоб ты услышал, понял, узнал, почувствовал, как я тебя… Я даже вокруг посматривала, от глаз твоих отрываясь, думала, а вдруг что-нибудь увижу такое… Небеса все-таки. Да, забыла сказать важное: мы всё время летели под музыку Баха. Мы летели, и она с нами – тихая, непрекращающаяся. Ей ведь не нужны слова.*

И так было, пока я вдруг не поняла, что я никогда не найду этих слов, потому что их нет в природе. И что же теперь? Теперь придется писать тебе письма на каком-нибудь неземном языке? Я совсем сейчас писать не могу, но и оторваться от тебя не могу тоже. И знаешь ли ты, почему их нет, этих слов? Сейчас расскажу, только ты иди ко мне немножко поближе, для того чтобы не нужно было громко говорить. Вру, не для этого. Но я не корысти ради соврала, постеснялась просто. А ты все-таки иди поближе, пожалуйста, чтобы в самое ушко тебе шептать, чтобы совсем-совсем рядом было...

Мы были с тобой вдвоем. Ты стоял передо мной. А я уткнулась в тебя, и мое лицо при этом прижалось к твоему животу. Я не помню, как это получилось. Может быть, я стояла на коленях (как у Родена, помнишь?), может быть, ты стоял на каком-то возвышении. Это было неважно, и я не запомнила. Как не запомнила и того,

были ли на тебе одежды. Может быть, были, потому что не помню, чтобы моя щека или губы касались твоего тела. Но и другого не помню, чтобы они касались ткани. Зато очень помню, что я обнимала тебя, и лицо мое уткнулось в твой живот. И как только это произошло, начался вихрь. Но не безумный ураганный, а совсем другой. Твой живот сотворял это со мной. Твой живот – с моим лицом, щекой и губами. И я не знаю, что было при этом с тобой, а со мной творилось тако-о-о-е…

Не умею описать того, что родилось тогда этим соприкосновением. Его было так много, и оно было такое большое, что нельзя было не взлететь, невозможно, понимаешь? И мы полетели по спирали, уходящей вверх. И я любила тебя так, как только в полетах бывает. А на земле так не умеют.

Мы летели и всё не отрывались друг от друга, и глаз не отводили. И оказались мы где-то, не знаю где. И там уже не летали, а просто обитали в пространстве, просто плыли по нему. Сначала – как люди на картине Шагала, взявшись за руки, потом как птицы, потом как облака, безусильно, без цели, без направления даже. Просто отдавшись потоку… не воздуха, нет, нежности. Мы плыли в нежности. Нежность была ***вместо*** *воздуха, это в ней мы плыли. Мир этот и был – сама нежность... Вдыхаем и выдыхаем – нежность. И очень много нежности внутри нас. И вокруг нас. И она держит нас на себе и в себе. Понимаешь? И мы совсем ничего не делали и ни о чем не говорили.*

Потом ты спросил (безмолвно и бессловесно): «Останемся здесь насовсем?»

А я знала, что нет, не останемся, но не могла сказать этого тебе. Мне казалось, что тогда всё пропадет, исчезнет. И я ничего не говорила. Только притянула тебя к себе и снова уткнулась лицом в твой живот. На этот раз помню, что моя щека и мои губы чувствовали твою кожу. И я трогала ее губами. А ты… Я не знаю, что было с тобою, но ты гладил мою голову и произносил что-то ласковое, что-то вроде твоего «ну-у», от которого я и на земле умирала, а тут и подавно.

Потом это пространство сгустилось немножко, будто появились облака. И опять мы просто обитали в нем, не летели даже, хотя ноги наши не касались земли, да и не было ее возле нас, и видно не было, и не нужна она была. И опять мы смотрели в глаза – я в твои, ты в мои. И я не знаю, что видел ты, а я в твоих видела вопрос. И тогда я сказала словами: «Нет, это место, где я бываю только одна. И нет, я не могу тебя взять туда. Пока не могу. Сейчас не могу. Может быть, когда-нибудь. Но до этого ты должен перестать этого хотеть». «Почему?» – спросили твои глаза. «Потому

что ты должен что-то понять, что-то угадать и почувствовать. Без этого тебе туда не попасть. Но когда догадаешься, когда узнаешь, ты перестанешь хотеть именно потому, что узнал и понял».

Твои глаза огорчились. И сразу начался спуск. Нет, мы не падали. Мы летели. Опять по спирали, но не вверх, а вниз. Я испугалась, что сейчас всё окончится, и стала лихорадочно извиняться, просить у тебя прощения за… не знаю, за что, но прости, любимый!

Мне нужно было что-то придумать. Потому что в тот момент, когда мы начали спускаться, я поняла всем существом своим (вот оно, «открытие»), что так же, как я не взлечу без тебя, потому что именно ты делаешь нас летучими, так и ты не сможешь управлять полетом, потому что рулить и направлять могу только я.

И я перестала кричать «прости меня!». Я встала во весь свой мизерный рост. И глядя в твои любимые-любимые-любимые-любимые глаза, сказала: «Сейчас полетим к твоему заколдованному озеру». И тут же мы к нему полетели. Мы летели обнявшись, как один человек. А когда были уже над озером, я сказала: «Сейчас полетим вниз». И мы полетели вниз. И ступили на землю, а озеро оставалось наверху в горах, и пешком добираться до него было долго и трудно. Мы стояли на лесной тропинке. И мне больше не нужно было «рулить». Ты взял меня за руку и спросил: «Пойдем?» И мы пошли к нему пешком. Вверх. Почти по спирали. Так вела дорога.

За мной долг – рассказать еще об одном «открытии». Я поняла (догадалась толчком озарения, а я таким толчкам верю), что внутри меня – любовь Друга ко мне. И это она обернулась моей (его) любовью к Вам. Много раз замечала: то, что я делаю – говорю, чувствую, боюсь, радуюсь, сомневаюсь, стыжусь, восторгаюсь – уже было однажды, только на моем месте тогда был Друг, а на Вашем – я. И очень многие вещи, очень многое в его поведении, отношении, оценках, восприятии понимаю только теперь, когда во мне – его любовь. Может быть, поэтому я не могу быть с тобой без него? Он всегда внутри меня, как моя душа, и я не умею жить без него, как не умею жить без души своей.

* * *

...Это не было полетом, но было началом того, что мы с тобой оба ждали и хотели: маленьким-маленьким, но приближением к тому, чтобы вместе попасть в то место, где я бывала только одна.

Утро было пасмурным и дождливым. Легкий дождик не лил, а накрапывал мне на плечи, грудь и лицо, лаская забытой прохладой, и километры вышагивались сами собой, то унося меня куда-то, то возвращая на тропинку. Я знала, что ты спишь еще – и не пыталась входить в твой сон, в сны твои. Мне было достаточно тебя вокруг: тебя,

обернувшегося дождиком, прохладой, нежностью воздуха. И внутри – тихим потоком... нет, не потоком, а чем-то разлитым внутри меня ласковым, но спокойным, ласковым, но безмолвным, ласковым, но бережным-бережным: не нарушить бы сна твоего.

Становилось всё тише и тише, всё тоньше делался воздух, всё молчаливей, безмолвней, пустынней. И все-таки я вздрогнула, когда пришло *оно* – касание Тишины. Оно не приходило так долго. Я не ожидала его сегодня. Я шагала, не останавливаясь, боясь сбиться с ритма, боясь, что аритмичность движений нарушит касание и унесет его. Только смотрела во все глаза, вбирая его в себя, и оно входило легко и естественно. И никто не знал об этом, кроме деревьев. Потому что они тоже вбирали в себя касание Тишины, хотя в то же время сами были ее частью.

В какой-то момент я подумала: вот ушел зной и вернулась Тишина. А при жаре была ли она возможна? Наверное, возможна, но другая. Как в любви. Когда страсть, когда горячо и жарко, возможен ли Свет тогда? Возможен, наверное, но это совсем другое.

Мне хотелось шагать и шагать, не нарушая ритма, не нарушая касания Тишины. Но пора было возвращаться. «Как бы не расплескать это, ведь расплещется», – думала я, подходя к дому. Оно не расплескалось, но спряталось или ушло. Я переодевалась, завтракала, шла к остановке троллейбуса. В троллейбусе сидела, закрыв глаза, не слыша звуков вокруг себя, ожидая возвращения той Тишины. И она вернулась, очень скоро вернулась. И тогда…

Сначала слегка закружилась голова, и меня понесло по спирали. Это был вихрь, но вихрь спокойный, не устрашающий, вихрь-неподвижность. Он унес меня в темноту ночи и постепенно сменился тихим плавным покачиванием, как в лодке в спокойном море. «Как Гарвей, – подумала я. – Как Гарвей. В море. В ночи. И никого вокруг.» Я действительно была в лодке, в море, в ночи, и никого вокруг. Но это не было страшно, в этом был какой-то великий покой. И тихое покачивание лодки. И желание, чтоб это не прекращалось никогда. Не было одиночества. Не было ожидания. Ничего не было. Только ночь – и темное небо, и темное море, и тихое покачивание лодки.

Я не заметила момента, когда ты вошел в лодку. Просто в какое-то мгновение ты уже был там. И трогал меня пальцем. И смотрел на меня вопросительно. И ничего не говорили мы друг другу. Ты только взял мою руку в свою. И так качались мы в той лодке в темноте безмолвной ночи, не различая, где море переходит в небо, а небо во что-то еще, а это «что-то еще» входит в нас, заполняя нас собою. И по мере того, как оно заполняет нас, мы становимся единым с этим морем, и небом, и ночью, и чем-то еще, и друг с другом. И всё это –

Свет. Темно-фиолетовый. Свет, оказывается, может быть любого цвета. И Тишина. И Безмолвие. И касание Тишины…

Перед рассветом темнота сгустилась, но и это было в Свете, Безмолвии и Тишине. А потом был рассвет. И настало утро. И, взявшись за руки, мы полетели... просто полетели, без всяких чудес. А потом Вы повернули к себе домой, а я к себе...

* * *

У Вас действительно абсолютный слух на меня, не зря Вас называют моим младшим братиком. Вот ведь уже несколько дней Вы слышите, что со мной неладно. Я непритворно возражала и только сегодня поняла, что Вы правы. Плохо со мной. И плохо без причины. Вернее, без повода. Потому что без причины не бывает.

Пришло Ваше письмо. Такое всё равно Ваше, такое залюбляющее, меня в Вас залюбляющее. А у меня и без того уже щека Вашу вспомнила. И всё оттуда, из нашей встречи, вернулось теплом и головокружением, и горячим потоком, сверху вниз заливающим. Как подумать: ну что там в самом деле было? Палец Вашей играющей руки, глаза со зрачками-туннелями, в которые всё время с тех пор вплываю. Но дальше – обрыв. И щека. И еще Ваш смех надо мной, застеснявшейся. Ну вот как это всё в целый мир превращается?

О чем мы с Вами говорили? Не помню. Хотя каждый раз то одно, то иное всплывает вздрогом всего тела, всё тем же горячим потоком и нежностью, нежностью, нежностью… И хмелем пьянящим. И благодарностью. И молитвенностью.

Плохо ли мне от Ваших писем? От писем ли Ваших плохо? Мне от них горячо. Мне от них влюбленно. Я, правда, слегка теряю голову, но ведь это от счастья, от счастья… Мне хочется хватать Вас за руки и плясать с Вами. Или стать на колени и молиться без слов, но бесконечно. Или целовать Ваши ладони. Господи, неужели Вы можете в меня проникнуть и увидеть-услышать-почувствовать, что там внутри меня – Вам, к Вам...

Вы посылаете мне Одессу. Я начала получать ее – это ведь Вы мне ее посылаете? Много ее получаю и по-разному. Вот – улицы ночные; моря не вижу, но вижу парк возле моря, и корпус санатория, мимо которого мы ходили. А сейчас начинает наплывать всё подряд: Ваш дом, магазин, где мы покупали всякую всячину, вся Пушкинская, и Оперный театр, и Литературный музей, и спуск к Портклубу… Но и не только это. Вы посылаете мне одесский воздух? И ту наполненность воздуха? И ту Тишину? Ту невозможность говорить вслух? Это же Вы мне посылаете? Вы?

...Только что был полет, о котором никогда не сумею рассказать

Вам, но и никогда не пожалею, что он был. И, наверное, хотела бы повторить его снова и снова.

* * *

Вы настойчиво просите описать полет, а я не могу, совсем не могу словами. Здесь нужен другой язык. Но Вы просите, и я пытаюсь, хотя знаю, что ничего не получится...

В моей бруклинской норке-квартире очень много неба. И часто, когда я стою на балконе или даже в комнате, перед моими глазами – только оно. Небо. Вот так и в этот раз. Я лежала на спине, глядя в небо. Облаков было много, они плыли медленно, завораживая… и сами как завороженные. Я не стану рассказывать, какими были облака. Вы и сами, наверное, не раз смотрели на них. И видели, как они медленно, неведомой нам силой взаимного притяжения вплывают друг в друга, соединяясь в одно. Как при этом иные, соединившись, продолжают оставаться отдельными, а иные превращают в новое единое совокупное облако. Да и в наших полетах такое уже бывало с нами.

Я увидела два облака – два лица. Одно над другим. Обращенные друг к другу. Они плыли навстречу друг другу, и я ощутила силу их взаимного притяжения, которая всё росла и росла по мере их сближения. Их губы были неподвижны, но слияние было неизбежным, они должны были слиться во что бы то ни стало, иначе что-то ужасное приключилось бы с небом. Но нет, не встретятся их губы, потому что облака эти – «в разных небесах», не суждено им слиться в одно. Всё, что им можно, это медленно проплыть мимо.

Я смотрела на них завороженная и понимала, что если сейчас что-то не придумать, не сотворить, они действительно разминутся, и тогда это их напряжение взорвется, и взорвется небо, и взорвется мир. «Я внизу, ты сверху», – прошептала я, хотя тебя не было рядом. И крепко-крепко прижала тебя к себе, так что щека моя была у самой твоей щеки и слегка касалась ее.

Мы летели так стремительно, как никогда раньше. И так же тихо и неподвижно. Как в том полете, когда был вихрь-неподвижность. Мы летели так долго, что тысячи жизней могли бы пройти за это время. Мои руки обнимали тебя и чувствовали твое тело, прижатое к моему. Остановилось время. Остановилось движение. Был ты. Было прикосновение твоей щеки. И жаркое-жаркое-жаркое пространство.

Я раскрыла руки. Теперь мне не нужно было тебя держать: воздух держал нас надежно и нежно. Я взяла тебя за руки, и подушечки моих пальцев касались твоих. Я вспомнила рассказ Ошо о том, что внутренняя энергия человека истекает, в основном, только из

пальцев рук и ног. И подумала: вот и не надо слов любви. Потому что мои пальцы лучше расскажут об этом твоим. И что вот сейчас в тебя струится то, что плывет и плавится во мне, что переполняет меня и запускает в полеты, потому что если не выпустить его из себя, оно взорвет меня изнутри, и хотя это тоже вариант полета, но какого-то терминального: мы ведь не знаем, во что превращаемся после взрыва. Потом я подумала, что и твои пальцы посылают мне свою – то есть твою – энергию, и я чувствую, что в меня входит ***нечто****, и люблю это нечто, и принимаю его в себя, но не знаю, что же это такое. Не могла бы назвать это словами.*

Я смотрела в твои глаза. Теперь они были чуть-чуть темнее, чем тогда, при встрече, утратили желтоватый оттенок и стали двумя изумрудами с коричневыми круглыми туннелями посередине.

Они были большими и серьезными, твои глаза. Они были вопрошающими, но не дразнили, не играли – всё было другим. Может быть они, как и я, остановились и замерли перед… Это было похоже на икону или на картину Рериха, когда невидимое проступает и видится так явно…

Я очень волновалась. И это странно, потому что одновременно с этим я не волновалась совсем, а была охвачена чем-то большим, чему следовала и не могла сопротивляться. И вот ведь что удивительно… Это большое, которому я научилась, которое вело меня, которое было родственно небу и облакам, и Космосу, и Тишине, – это большое тоже была я!

То, что родилось и жило во мне тогда, было безмолвным песнопением, а может быть, чем-то иным, но я просто не могу вспомнить, с чем бы сравнить, чтоб дать Вам какое-то представление о нем. Не глазам Вашим, не ушам Вашим, не пальцам Вашим, а всему Вам. Мне хотелось молиться с Вами. То, что было во мне, оно ведь и было молитвой. Но не словами же вершить эту молитву, не песней, не музыкой. Я погрузила лицо в Ваше тело, как тогда в ладони. Я обняла Вас, и мои губы и щеки касались Вас. Может быть, Ошо и прав, что энергия истекает только из пальцев. Он мудрец, он знает. Он даже наверняка прав… и то, что излучалось Вашим телом, Вашей кожей, было не энергией. То, что принимали от Вас мои губы и щека моя, было не просто энергией: это была жизнь. Но не та, к которой мы привыкли, а совсем иная, совсем-совсем, я не знаю, с чем сравнить ее.

Моя рука обнимала Вашу спину, значит, пальцы тоже касались Вас, а щека касалась живота и понимала, умница, что нельзя, не нужно прижиматься к нему слишком тесно, что только при этом легком полукасании и рождается то, что струится сейчас между нами, ради чего можно умереть или снова родиться, от чего, навер-

ное, рождаются где-то новые звезды, или новые песни, или новые бессмертные стихи, или новая Тишина. И губы знали, хотя им, губам, чего-то недоставало. Они целовали и целовали, но, как и я, не могли вылюбить, высказать, выразить то, что переполняло их, заставляло вздрагивать, и пульсировать, и чего-то искать. Они не могли остановиться, и не было им утоления. И я пошла за ними туда, куда они меня вели, и снова погрузила в тебя свое лицо…

Я открыла глаза. Надо мной плыло облако – ты. Я видела твои изумруды с туннелями, твою щеку, которой недавно касалась моя. Я потянулась к тебе, и – о Боже! – ты проплывал мимо.

Я закричала, но не было звуков в крике моем. Ты проплывал мимо.

Если бы ты хотел этой «невстречи», я покорилась бы тебе. Если бы ты хотел этого расставания, я не посмела бы перечить. Но не по твоей воле совершалось это «несовпадение плоскостей». Не по твоей воле разминулись в небесах наши лица. И не зная, что можно сделать еще, я рванулась из своего неба, потому что зачем мне небо, в котором нет тебя, я рванулась из своего неба к твоему, я была готова просто выпрыгнуть из своего неба, не думая о том, что будет в следующий момент, не зная ничего, ничего не оценивая.

И что-то изменилось в небесном пространстве. Твое облако будто чуть-чуть сместилось. Хотя, наверное, это не твое сместилось, а мое, растревоженное моими отчаянными рывками. Но какая разница. Я снова увидела твои глаза. Я смотрела в них не отрываясь. «Сила взаимного притяжения, – шептала я тебе, не отрывая своих глаз от твоих. – Только она может превысить любые другие силы…»

Два облака плыли друг над другом. Два лица. Они смотрели друг на друга. Глаза-в-глаза, глаза-в-глаза. Я снизу, ты сверху. Твое лицо приближалось…

* * *

Еще всё молчит во мне и не хочет нарушить молчание.

Еще чувствуют твой вкус, вкус твоего тела, мои губы, хотя они же не целовали тебя.

И пахнет тобой воздух, хотя я не знаю на самом деле твоего запаха, он мне не знаком. Почему же я думаю, что это его вдыхаю сейчас? Так в детстве, совсем еще маленькая, вдыхала аромат маминой одежды, когда она куда-то уезжала. Я помню это. Помню, как зарывалась лицом в ее висевшее в шкафу платье и искала ее, не понимая тогда, что это я так по ней скучаю...

И так же, как в мамино платье ребенком, зарывалась я в тебя.

Мне кажется, что сегодняшний день был, помимо всего остального, еще и очень большим, очень емким. Вместившим так много и так много рассказавшим. Нам? Мне? Не знаю. Мне кажется, я много-много узнала сегодня. Большого. Сказáнного и несказáнного. О тебе. О нас. О себе. О мире. О мирах. О путях. О том, куда они ведут или могут привести…

Ты прости, что я оскверняю молчание словами. Это не из-за болтливости, просто мне показалось, что вдруг ты тоже думаешь об этом. Вдруг тебе хочется вместе подумать об этом. Или сравнить, похоже ли мы увидели, поняли.

Мне показалось, что, может быть, все эти слова не совсем нарушают молчание, потому что они как бы и не вслух, как бы и не произнесены. Если бы мы были рядом, мне не пришлось бы их говорить, только взяла бы твою руку, посмотрела в глаза... ну, может быть, произнесла бы одно-два словечка или меньше.

Еще помню наш воздух *там*, еще вижу его цвет, еще вдыхаю в себя... И знаешь, что я больше всего вдыхаю в себя? Даже не нежность. Даже не трепетность от внезапно заговоривших пальцев твоих, молчавших до этого. Даже не новый для нас язык, на котором говорили руки. И сказали столько, что ни мне, ни тебе обычным языком не сказать никогда-никогда, даже в стихах, даже в молитвах. А больше всего я вдыхаю... Вот не знаю точного слова... опять эта бедность языка слов... Ну, может быть, самое близкое слово – серьезность. Вдыхаю тихую, вдумчивую, сосредоточенную серьезность. Потому что теперь уже я (а может быть, и ты?) не смогу жить так, как если бы этого дня не было. А это значит, что произошло что-то очень большое. Большее, чем мы способны осознать и представить. И это значит, что началось что-то новое, серьезное и, может быть, торжественное...

Похоже это на твое хоть немножко?

* * *

Мои глаза еще видели тебя, а вокруг меня уже образовалась оболочка-яйцо. Прозрачное, желтоватое, остроконечное. И было мне в нем просторно, беззвучно, сосредоточенно. И из этого яйца я видела тебя. А потом всё исчезло, а я осталась.

...Я знала, что стоит мне лечь на спину, как что-то начнется, но не знала, что именно. И оно началось сразу, будто только меня и поджидало.

Белый-белый под ярким золотистым светом снег из яблоневых лепестков.

Говорят, белый – цвет траура. Здесь не было траура, здесь была радость. Был праздник. Яркий праздничный ликующий солнеч-

ный свет. Яркие, освещенные золотым этим ликованием, живые и нежные лепестки, сыплющиеся и сыплющиеся откуда-то сверху в мое яйцо-оболочку. Щедрость их обилия. Щедрость света. Щедрость, невесомость, бережность их движения, их полета, их мягкого опадания на дно яйца-оболочки. Их несминаемость. Не сминались они, нежные, под тяжестью рук наших и тел наших. И мы могли в них купаться или барахтаться, как ребятишки в пластиковых шарах на детских площадках.

Мне не хотелось барахтаться. Мне хотелось улыбаться (и улыбалась, оно само улыбалось) и молчать (и молчала, оно само молчалось, не могло иначе).

Тебе хотелось, смеяться и радоваться (так и было: оно само, смеялось и радовалось). Хотелось шалить и дурачиться, восклицать что-то восторженное и шутливое. Мне хотелось музыки Моцарта, только без движений и звуков. Потому что музыки Моцарта мне хотелось не «вслух», а «про себя»).

А теперь представь себе всё это вместе.

Ликует внутри искрящаяся, праздничная музыка – радость и чистота – преодолевшая, достигшая, как только и может быть в моцартовских садах. В ритме этой музыки летят и падают, летят и садятся, летят и танцуют белые-белые, нежные-нежные лепестки – тоже моцартовская чистота и моцартовская радость. И всё это под… нет, не «под», а «в» – в триумфальном и лучезарном, торжествующем и щедром свете, свете-празднике, свете-преодолении, свете-чистоте без видимого источника… Ну как – видно? Зримо?

Всё это нам с тобой.

* * *

И были хорошие дни. И были плохие. И ты держал меня. И я тебя. И было так долго-долго. И много чего вместилось в эти дни, только больше всего любви, моя радость, больше всего любви и нежности, и влюбленности, и благодарности тебе и Богу за всё-всё-всё – и за тебя отдельно и особо.

А потом я поняла, что дней-то прошло совсем немножко. И удивилась. Мне-то казалось, что несколько жизней. И болезни были, и полеты были, и страшно было, и весело, и радостно, и счастливо. А больше всего – влюбленно и нежно, влюбленно и нежно. Вообще влюбленно... в пространство, в бесконечность... понимаешь, как это, моя радость? И верилось, что ты со мной. В нашем Нашем. И страшно было, что вдруг тебе его не надо. Вдруг ты забыл, что всё это Оттуда. А потом еще включились губы – помнишь наш полет? И я застеснялась, и стала оправдываться, и оборвала себя, потому что всё

едино, моя радость, всё едино. Потому что люблю тебя, потому что люблю тебя, потому что люблю.

Когда я мысленно говорю с Вами, совсем не произношу «ты», а только «Вы». Но такой невозможной лаской звучит для меня каждое Ваше «ты», ко мне обращенное, такой невозможной неожиданностью отзывается каждое мое «ты», обращенное к Вам, что отказаться от них сейчас для меня – всё равно что убрать руку, оторваться от Ваших глаз, перестать шептать Вам «я люблю, я люблю тебя». Разве это возможно?

И напрасно ты говоришь, что я не из этого века, что мне бы лучше родиться в семнадцатом-восемнадцатом, в крайнем случае, в девятнадцатом. Нет, я в наших двадцатом и двадцать первом жить хочу, мне в них нужно быть – чтобы там, где Вы, там, где Друг. Чтобы вам обоим шептать в трубку, на бумаге, в небеса, где белые облака или серые тучи: люблю, люблю, люблю...

* * *

Левитация, говоришь? Ну слушай...

Мы стоим лицом друг к дружке, взявшись за руки. Две мои руки в двух твоих. Мы смотрим друг дружке в глаза и молчим…

Не разжимая губ, не произнося ни звука, безмолвно беседуем мы. Я рассказываю о своем давнем-давнем, юношеском еще открытии:

– Летать – это же совсем просто, – молча говорю я. – Нужно только, чтобы сила притяжения неба превышала силу притяжения земли.

– Небесное притяжение? Превышало земное? – так же молча говоришь ты. И я улыбаюсь – радуюсь, что ты меня слышишь.

– Ага, – киваю. – Нужно сначала подняться так высоко, чтобы небесное притяжение превысило земное, а потом можно летать куда угодно и сколько угодно. Вот только – как подняться?

– Подняться? Вот так? – спрашиваешь ты так же безмолвно, но улыбаясь всё шире и радостней. – Вот так? – повторяешь, улыбаясь, и чуть-чуть приподнимаешь наши сомкнутые руки, не столько приводя их в движение, сколько определяя направление. – Вот так?

И плавно-плавно, без толчка, без усилия, почти незаметно отделяемся мы от земли и приподнимаемся над ней, и зависаем в воздухе, всё еще стоя лицом друг к другу, взявшись за руки, глядя друг другу в глаза.

– Да, так, только этого мало, мы совсем чуть-чуть поднялись. Давай еще.

Ты опять приподнимаешь наши сомкнутые руки и улыбаешься, и глаза твои улыбаются и лучатся ласково.

И снова плавно-плавно плывем мы вверх.

Очень медленно плывем. Почему же так быстро удаляется земля? И всё, что на ней? И даже над нею? Может быть, это кажется, что мы плывем медленно, как кажется, что медленно летят самолеты? Я хочу оглядеться вокруг, но не могу оторвать своих глаз от твоих. К тому же раньше в полетах я всегда знала, что сила летучести рождается тобою, но осуществляется мною. А теперь? Кто его знает, кто из нас родил эту силу, кто осуществляет…

– Левитация? – спрашиваю.

Ты пожимаешь плечами, а улыбка всё шире, всё смущенней, всё счастливее.

– Да нет, – отвечаешь, – это, пожалуй, не левитация уже…

Осторожно-осторожно вынимаю одну свою руку из твоей и «становлюсь» рядышком. Теперь мы не смотрим в глаза друг дружке и можем оглядеться. Где мы? Не знаю. В межмирье. Потому что вокруг много миров, как звезд в земном небе. И как те земные звезды, эти миры и схожи, и не схожи друг с другом. Сейчас они кажутся очень похожими, как там, на земле, очень похожими казались нам звезды.

Мы идем, взявшись за руки, ступая по… по чему? Не знаю. Мы ступаем так же легко и естественно, как Фрези Грант ступала по воде. Но под нами нет даже воды, даже воздуха, может быть, мы ступаем по… ничему.

– Помнишь, как Дон Кихот любил никого? Помнишь, Санчо никак не мог растолковать это отцу деревенской девушки Альдонсы, которая стала потом Дульсинеей.

– Так любил он или нет? – спрашивал обескураженный зажиточный крестьянин.

– Любил, – отвечал ему Пансо

– Кого же?

– Никого.

– Значит, никого не любил?

– Нет, любил. Благородный сеньор любил НИКОГО.

Ну мог бедный зажиточный крестьянин понять, как прекрасно любить никого, мечтать ни о ком, восхищаться никем… Ах, да что я всё порчу словами! А какая радость была узнать, увидеть, что не только благородный идальго, но и толстый Санчо понимает и радуется, что можно любить – и любить никого, и Песнь Песней никому петь.

Но я отвлеклась. А ведь только и хотела сказать, мы шли не по воде и не по тверди, а спокойно ступали по ничему, и было это легко и приятно, естественно и гармонично.

Мы прошли по ничему, потом сели на ничто (что-то вроде при-

горка или валуна, но не твердое, не жидкое и не мягкое – никакое, только нас это не смущало нисколечко). Огляделись, наконец, вокруг и поняли, что миры эти не такие уж схожие. Мы видели огромный белый шар больше нашего земного солнца, в несколько раз больше. И из этого шара исходили широкие голубые лучи, поблескивающие чем-то серебристо-голубым. Мы увидели тот уже виденный мною раньше прозрачный круг или шар блекло-кофейного цвета. И в нем был поющий петух, который у нас на глазах превратился в быка, а бык в женское лицо. Мы увидели какую-то странную многоугольную геометрическую фигуру, которая сначала показалась нам хаотичной, а потом постепенно в ней «вырисовались» свои подмиры, будто эта фигура была не мир, а совокупность миров. И эти миры составляли нечто гармоничное для нашего глаза, если жили в согласии, но стоило им «поссориться», как всю совокупность начинали мучить судороги и конвульсии – и так до тех пор, пока они не «мирились», не соглашались друг с другом… Мы слушали мир, который не могли увидеть совсем. Но не могли не слышать его, хотя и он не издавал звуков. Это был мир Тишины, и Тишина звучала, как звучала она для нас на земле в счастливые и высокие наши минуты. Мы сидели, вслушиваясь в звучание Тишины.

Это длилось и длилось. Наступали сумерки. И души всего живого – и того, что нам не казалось живым, – проступали так явственно, что их невозможно было не заметить. И приходила ночь – теплая, ласковая. Потом начинался рассвет, и мы замирали от нежности, наблюдая, как медленно и неуклонно свет ширился и поглощал тьму – без борьбы, без усилия – как он победительно и радостно растекался по небу, готовя восход. И восход наступал. И поднималось солнце. Незаметно проходил день, и снова – закат-сумерки-ночь… День за днем, день за днем. Месяц. Год. Жизнь. Много жизней… И тогда я приблизила свое лицо к твоему. И прикоснулась губами к твоим губам. И… нет, я не буду, я не могу рассказать об этом. Если с тобой было что-то похоже тогда или когда-нибудь раньше, ты знаешь, а если не знаешь…

Помнишь, две жизни назад я писала где-то кому-то:

Прикосновенье рук рождает Свет.

Свет рождает любовь.

Любовь рождает Бога…

Прикосновенье рук рождает страсть…

Нет, это не страсть! Страсть рождает пламя. Пламя жжет. Пламя рождает боль. Пламя рождает смерть. А тут…

…Я раскрыла глаза. И увидела твое лицо. Я не поняла, что имен-

но случилось с тобою; оно изменилось, но почему, что творилось внутри тебя? Почему оно было будто осияно каким-то удивительным светом? Ах, вот что! Новое солнце взошло! Или мы просто не заметили его раньше? Но нет, такого нельзя было не заметить. Большое-большое бирюзовое солнце улыбалось нам с тобой детской, ласковой, радостной улыбкой ребенка. Солнце – ребенок, солнце – дитя. Бирюзовое солнышко… Как в детских книжках, как в сказках. И от него, бирюзового нашего солнышка, расходились неяркие широкие, нежные, теплые, ласковые детские лучики. И всё было озарено этим солнцем-ребеночком, только что родившимся, но уже улыбнувшимся. И лицо твое… На нем сверкали бирюзовые серебринки. Так вот он откуда, наш бирюзовый дождь! Бирюзовое серебро, серебристая бирюзовость!

Мне кажется, я знаю теперь продолжение того, о чем рассказывал мне Голос:

Прикосновенье рук рождает Свет.
Свет рождает любовь
Любовь рождает Бога…
Прикосновенье губ рождает мир.

Мир сотворен Богом. Бог рождает миры. Бог – Творец. Бог – Любовь. Любовь сотворяет мир.

Только что мы с тобой сотворили новое солнце.
Новый мир сотворили мы!

Дальше я умолкаю, потому что... чувствуешь, до чего можно додуматься дальше? И сердце мое замирает... Так, может, ошибся поэт и

…значит, и впрямь
Всю жизнь ***приближается****, а не длится*
*Любовь, удивленья мгновенная дань…**

И еще. Бирюзовый цвет – это ведь соединение синего и зеленого, да? Синий – цвет неба. Зеленый – цвет травы, деревьев, растений. Значит, бирюзовый цвет – соединение земного и небесного?..

---

* *Пастернак, Борис.* «Я тоже любил, и дыханье...» В оригинале эти строки звучат так:

Так, значит, и впрямь
Всю жизнь удаляется, а не длится
Любовь, удивленья мгновенная дань?

* * *

Я поняла, что если стану записывать все свои полусны-полувидения, и потом посылать их тебе, то просто замучаю тебя. Ведь если быть достаточно внимательным, то их поток почти бесконечен. Стоит только прилечь, закрыть глаза… а то и не закрывать вовсе. Стоит только дать себе волю поплыть в полусознании, в четвертьсознании, в подсознании… Вопрос только в одном: засну ли я прямо из этого состояния – и тогда забуду всё, очнусь ли, спохватившись: ведь только что было что-то, а что? – и начну вспоминать, и вытащу за хвостик свое полувидение-полуявь... Или выйду из этого полусна, так и не вспомнив ничего, позабыв и о том, что было что-то... А между тем, это «что-то» живет, продолжает существовать параллельно с моей вертикальной жизнью. Но, будучи параллельным, оно, как в неэвклидовом пространстве, время от времени всё же с этой вертикальной жизнью пересекается, или касается его каким-то краешком, или как-то еще напоминает о себе...

* * *

Мне захотелось отдохнуть, и я улеглась на скамейку, положив под голову шапочку, да так и лежала на боку, глядя перед собой на лужайку, на деревья, на голубое-голубое небо.

Ты появился неожиданно, совсем незаметно. Вот только что никого не было, и вот – ты, смотришь и улыбаешься.

– Ты прилетел? На чем же ты летел?

– На Тишине.

– И сейчас на ней?

– И сейчас.

– Да, я слышала, она зазвучала недавно. Это ты включил ее?

– Не знаю.

Ты лежишь на Тишине, молчишь и улыбаешься.

– И земля совсем-совсем не притягивает тебя? Тебе не нужны усилия?

И опять ты только улыбаешься и молчишь. Я беру твои руки в свои. Они кажутся мне и детскими, и мужскими одновременно. Я молчу, но рук твоих не отпускаю. Молчу, но из рук моих струятся целые речи на неведомом мне языке. И твои руки их понимают. Я это вижу. Вижу, потому что смотрю, не отрываясь, в твои глаза. А твои смотрят на меня. И они не играют со мной. Они совсем не играют со мной, но они лучатся. И они ласковые. И я прикасаюсь губами к твоим рукам. Много раз прикасаюсь губами. Тихо-тихо, нежно-нежно.

– Ты отдохнула?

– Ты хочешь еще полетать?

Я хотела встать, чтобы оттолкнуться от земли и взлететь. Но ты жестом остановил меня, сам взял мои руки и чуть-чуть подтянул меня к себе. А когда чуть-чуть подтянул, мое тело поднялось, будто и не весило ничего, будто твое притяжение превысило земное. А стоило мне оказаться совсем рядом с тобою, как сразу включилось небесное. Я вспомнила открытие свое – о притяжениях и полетах, о том, что летать легко, только нужно, чтобы небесное притяжение стало больше земного. И подумала: «Вот ведь, оказывается, неважно, как высоко над землей мы находимся, чтобы это произошло. Важно только, как высоко то, что между нами».

И мы поплыли над лужайкой по широкой спирали, всё вверх, вверх и вверх. А потом… Что было потом? Где были мы? Не знаю. Это не было близко и не было далеко. Глаза забыли о том, что они – орган зрения, а уши – что они орган слуха. Не могу сказать, было ли темно или светло. Было ***иначе****. Я ничего не видела вокруг себя, но не от слепоты, не от темноты или чрезмерной яркости, а оттого, что всё мое существо принимало мир в себя… Будто вся Вселенная свернулась в какое-то ласковое нежное облачко, и это облачко окутало меня, и я… Нет, не так… Будто я обняла Вселенную, а потом, обняв ее, вместе с нею свернулась в маленькое ласковое облачко…*

И я приняла в себя, внутрь себя, внутрь своей души и своего тела это облачко, и оно там во мне раскрылось, как китайский цветок в чае. Раскрылось и расплылось во мне нежностью, сладчайшей нежнейшей нежностью, и я не могла ничего видеть или слышать, потому что сама превратилась в то, что было только нежностью одной. И всем сознанием своим я прижалась, прильнула, приникла к этому во мне расцветающему, что было тобой и Вселенной, только так, только вместе, и оттого… ой, не получается же объяснить, рассказать, не получается, дослышь сам…

И вот так мы зависли в том, названия чему я не знаю. И пространством его назвать не могу, даже космическим. Оно – не движение, не тишина даже, оно – покой, оно – нечто невидимое. И мы с тобой… И я с тобою внутри себя, а ты – внутри меня и с Вселенной внутри себя… Но это на словах только получается так смешно и так сложно, а там это было так хорошо и естественно. И было такое чувство, что это… Опять слова не найду, но всё равно это мы – ты, я, Вселенная – были одно, были Дома. А может быть, это у всех так, когда они любят, не знаешь?

Мы пришли, и больше никуда не нужно было идти, понимаешь? Мы пришли Домой. Потом – лет через тысячу или миллион – я снова обрела способность видеть. И первое, что я увидела, это был ты. Ты смотрел, вернее, вглядывался в меня. Тебе нужно было что-то раз-

глядеть. Что? Я спросила: «Мы где?» А ты сказал: «Кажется, Дома». Я спросила: «С нами было одно и то же?» А ты сказал: «Не знаю». Я спросила: «А Вселенная?» А ты засмеялся, как тогда, когда я покраснела, и как тогда, сказал: «Вселенная? В твоем возрасте не знать, где Вселенная?» Тогда я спросила: «А мы летали?» А ты сказал: «Посмотри». И я посмотрела и увидела, что мы медленно спускаемся по широкой спирали к моей скамейке. Тогда я спросила: «А это обязательно? Обязательно возвращаться?» А ты пожал плечами. Ты тоже не знал. Но глаза у тебя погрустнели. Тебе не хотелось возвращаться, да?

А потом мы сидели вдвоем на скамейке, и мне хотелось умереть, потому что я знала, что ты сейчас улетишь, а я останусь. Но и умирать мне было нельзя, ведь это нарушило бы Тишину. Тогда я снова легла на скамейку, положив под голову шапочку. Сомкнула веки и приложила твою руку к губам. Опять нежный шар стал распускаться во мне, и я позвала тебя тихо. Ты не ответил.

Я открыла глаза. Тебя рядом не было.

Ты сказал, тебе всякая моя любовь в радость. Значит, и такая – с ласкающими пальцами и губами, с шепотом и молитвой пальцев и губ?.. И выходит снова, что развоплощенность лучше, потому что воплощенные мои губы не посмели бы твоих воплощенных пальцев коснуться. И не было бы Песни Песней. А так есть. И она – молитва. Только без воплощения.

Мураками* напомнил мне о языке тела, на котором люди могут сказать так много, намного больше, чем словами. Ну в самом деле, как рассказать словами то, что говорили-шептали тебе мои губы, не целующие даже, а только касающиеся пальцев твоих рук, хотя руки твои были за тысячи километров. И как рассказать словами об одинаково нежном, одинаково молитвенном и любящем касании. Вначале – ищущем поддержку и помощь, а потом – дарящему помощь и всего себя на вечные веки. Ты, пожалуй, прав: странная история происходит с нами. Мы так вместе сейчас, пусть по-разному, но вместе. Ты ведь тоже со мной, я не ошибаюсь? Но мы разными дорожками идем, разные песни поем, разные параграфы в Школе любви изучаем. И не дай мне Бог тебя с твоей дорожки на свою пере-тягивать, навязывать тебе свою песнь вместо твоей, органичной именно для тебя.

Я думала – задарю тебя любовью своею, заласкаю... И будет тогда общая песнь. Всё оказалось не так просто. Ну и прекрасно. Пусть непросто будет. Пусть только не против Бога, а у нас ведь не против.

---

* *Мураками, Харуки.* Норвежский лес

Как же мне вылюбить, высказать, передать тебе переполняющую меня нежность, как? А может быть, и не надо? Может быть…

Я сегодня смотрела на крохотных трогательных воробышков. Подумала, вот хочется же такого обнять, а сделай это – он погибнет, и нежность к нему никогда не реализуется, не воплотится. А любовь к животным? Это ведь тоже развоплощенная нежность... У меня такая нежность к собакам. И знаешь, кажется, я только что поняла природу своих любовей. Это ты мне помог. Я люблю *вся*. Вот и весь сказ. Я люблю вся. И следовательно, тело тоже любит. Мураками научил меня, что язык тела – это хороший и чистый язык, на котором люди могут гораздо больше и тоньше, чем словами, сказать не только Богу (это я давно знала, это одно из главных наших с Другом открытий было, что язык тела – это язык, на котором человек разговаривает с Богом), но и друг другу. Я это сейчас очень хорошо понимаю и чувствую: никогда словами не скажу того, что могут сказать, например, рука, или объятие, или губы.

* * *

Только что был еще один полет.

Мы – много-много людей – застряли в подвале многоэтажного универмага. Мы спустились туда, чтобы перекусить в кафе, а оно было закрыто. И всё бы ничего, да только и лифт отказал, и двери оказались запертыми.

Страха почему-то не было, но ждать надоело всем, и молодежь начала развлекаться – шутки шутить, в игры играть, ссориться. Но больше всего было смеха. Переносить шум становилось всё труднее. «Надо отключить звук», – сказала я себе и оперлась о стенку, чтобы легче было стоять.

Шум сразу стал отдаляться. Раскаты смеха стихали, постепенно сгустилась тишина, наполненная музыкой, похожей на баховский клавир. Я закрыла глаза и позвала беззвучно. Вы откликнулись сразу, будто только и ждали меня. «Как в сказке, – подумала я, – так всегда в сказках волшебники и феи на зов появляются, – и вообще все те, кто желания исполняют, рыбки золотые, например.» А Вы уже и впрямь передо мной стояли, и обе руки мои держали, и в глаза заглядывали.

– Что означает, по-Вашему, глаза-в-глаза? – спросили Вы, не разжимая губ. – Язык-то все-таки разный...

– Глаза-в-глаза для меня – это когда двое любящих глядят в глаза друг другу, и любовное напряжение в них и между ними достигает той крайней запредельной силы, когда лица не могут уже не сойтись в поцелуе. Но мгновение это будет длиться вечно, и губы никогда не сомкнутся, то есть и разрешения аккорда в тонику не будет.

Глаза-в-глаза – это как я сейчас в Ваши смотрю. Когда всё самое главное, самое лучшее, что есть в душе смотрящего, – вся глубина, вся высота, вся чистота, весь Космос, – всё льется потоком через глаза любящего в глаза любимого. И создается при этом такое напряжение Тишины, которую ничем нарушить нельзя, которую люди обычно не могут вынести долго. Тогда «глаза-в-глаза» переходит в другое, теперь это «губы-в-губы». И это прекрасно, но то высочайшее напряжение перед тоникой разрешается в нее и исчезает. Между тем, если выдержать это напряжение подольше, могут начаться ***иные чудеса****.*

– Чудеса любви?

– Не только. Чудеса любви возможны и тогда, когда разрешение аккордов в тонику все-таки состоялось. Чудеса полета. Чудеса перемещения. Чудеса иных воссоединений.

– Можем мы сейчас полететь вдвоем?

– Так ведь уже летим.

Мы еще не летим. Мы только взлетаем. Стоя друг перед другом, не отводя глаз и не разжимая сомкнутых рук. Я еще успеваю вспомнить: «Прикосновение рук рождает Свет…»

«Какое счастье, что оно рождает в нас Свет, а не страсть, полет, а не пламя», – успеваю подумать, и больше уже мыслей нет никаких. Медленно-медленно, плавно-плавно плывем мы вверх. Что знает рука, когда тянется к небу? Что знают глаза, в небо глядящие? Вот стояли, а вот уже не стоим, проплываем этаж за этажом, как облака. И ведь не было никакого толчка, когда же начался этот полет? И должно же быть темно, а на самом деле всё залито светом. И свет всё струится, струится…

Смотрю в Ваши глаза. Как всегда, не вижу ни тела Вашего, хотя вот же оно передо мной, совсем близко, ни лица, хотя что-то вроде смущенной улыбки все-таки различаю. И глаз Ваших не вижу, в которые смотрю неотрывно. И рук, которые держу, которые меня держат. Я вижу свой мир, в котором бывала только одна, который люблю, и с которым, как мне кажется, иногда воссоединяюсь.

– Смотри, смотри!

– Это иной мир?

– Нет, это наш, только очень-очень высоко.

– Это космос?

– Да.

– Но тогда в нем должны быть иные миры.

– Они есть. Они в нашем. И наш в них.

– Ты летала сюда?

– Да.

– Это тот мир, который любит тебя? Ты хотела бы в нем остаться?

– Не сейчас. Сейчас еще рано. Когда-нибудь.

Мы летим и летим. И музыка Баха с нами. Музыка Баха не нарушает Тишины. Тишина касается нас нежно и бережно. Мы летим, и Богом переполняется душа моя. И ни звука не смею я сказать Вам даже мысленно, даже не разжимая губ. И только глаза-в-глаза. И два потока, пусть разных, пусть не слившихся в один, но взлетевших все-таки вместе, вдвоем. Мне хочется, чтобы Космос принял нас за одно существо, и я пытаюсь подтянуть тебя поближе. «Глупенькая, – слышу я твой не-голос, – это не имеет значения. Душ-то всё равно две». Души – две, да, но всё впереди, впереди, мы открыты, открыты!..

Почему какой-то шум заглушает музыку? Я открываю глаза. We are open, we are open, кричат со всех сторон бегущие к лифту люди. Я стою у стены в подвале возле закрытого кафетерия. Руки сжаты в неплотные кулачки, будто что-то держат. Что держат они? Ваши руки?

Не прекращая полета, медленно иду к лифту.

* * *

А потом был еще один полет. Вдвоем. Вернее, втроем, но Друг, как всегда, не был отдельным существом – видимым или невидимым. Он был во мне и одновременно в Вас. Услышьте это. По-моему, это очень важно. Это, мне кажется, из самого значительного, что происходит с нами. Что он был не только внутри меня, но и одновременно внутри Вас.

Не думаю, что смогу рассказать об этом полете, хотя понимаю, что Вы – участник его и имеете право всё о нем знать. Но я не сумею передать, хотя очень хотелось бы... почти так же сильно хотелось бы, как снова вернуться в него и жить в нем. Он окончился несколько минут назад. Он, может быть, и не окончился, где-то еще продолжается, но я не выдержала: открыла глаза и оказалась в своей квартире. Просто не смогла вынести того, что *там* было со мною, с нами. Его было так много, оно настолько больше меня, я не смогла его вместить и прервала... Неужели насовсем?

У меня еще кружится голова и прыгает сердце, так что я его слышу, но оно не жалуется, скорее, упрекает: зачем прервала полет?!

Попробую хоть что-то сказать, хоть конспективно.

На этот раз я смутно видела Ваше тело. Оно было обнаженным. И смутно слышала Ваш голос. Он был ласкающим и успокаивающим, утешающим и подбадривающим. Голос любящего старшего. А лица снова не видела.

То пространство, в котором мы летали, было желтовато-молочным и очень светлым, хотя источника света – солнца, лампы, чего угодно – не было вовсе. И это пространство было, конечно, пустынным. Никого, только мы. Себя я не видела, но была собою – всем, что делала, чувствовала, воспринимала…

Мы летели так естественно, так безусильно, будто родились и выросли в этой летучей сфере, будто никогда в иных сферах и не жили. И музыка была вся из света, вся из света, и даже эти сумасшедшие аккорды... они были страшно напряженными, но и они были светлыми, – просто последними, перед самой тоникой, и им смертельно нужно было войти в нее, разрешиться или умереть.

Вы знаете, конечно, как это бывает, когда лопасти крутятся-вращаются так быстро, что кажутся неподвижными. Вот и о нас я не могла бы сказать, были ли мы там неподвижны или скорость движения была слишком велика. Во всяком случае, мне казалось, что мы в этом воздушно-безвоздушном пространстве обитаем естественно. Просто нет никакого земного притяжения, а есть притяжение совсем иного порядка. И то безумное напряжение, о котором я говорила, оно, конечно, было, но в то же время было полное ощущение безусильности нашего полета-бытия. И только по силе, по невероятной силе этого любовного потока я могла бы о чем-то догадаться...

То, в чем мы плыли-летели-обитали, казалось немножко похожим на небо, но в нем совсем не было голубого, а только беловато-желтоватое. В нем не было никого и ничего. И это абсолютная правда и абсолютная неправда. «В нем было ничего» равно «в нем было всё». И в этом всем – мы. И наш полет. И не спрашивайте меня, был ли это сон.

Мы разговаривали друг с другом? Да, довольно много. Могу ли я передать беседу? Нет, не могу. Ничего не хочу скрыть, наоборот, я бы и кожу с себя сняла, чтобы стать более открытой. Но не могу. Может быть, я не скрыть хочу, нет, но рассказывать об этом белой бумаге не могу. Правда, не могу. Да и почти не помню слов. Это были вопросы и ответы. Вы спрашивали, я отвечала. Каждая фраза была больше самой себя. Вот и всё, что я могу об этом сказать. О чем мы говорили? О любви. Всё о любви.

Был ли эрос? Был. Были ли ласки? Нет, не было. Не помню ни одной. Ни одного касания. Только нежность невыносимая. Но было что-то невоплощенное, что только с Другом бывало у меня. Если когда-нибудь случится, я прошепчу Вам об этом в самое ухо… Наверное, опять неправда. Ласки были. Действительно, ни одного касания, никакого, это правда, но всё было – ласка, и это тоже прав-

да. А аккорды так и не разрешились в тонику. По крайней мере, я этого не увидела, не услышала, не почувствовала.

Вы спросите, где были всё это время Вы? Со мной и были. Мы были парой. Но пели мы не в унисон, наверное. И потому я не могу рассказать Вам Вашу песню. Могу только сказать, что Вы – не отталкивали, не обескураживали меня. Вы были близким, родным человеком. Вам не было плохо, тяжело или… Тут идут слова «чужого словаря». Вообще-то мне вспоминается о Вас еще что-то. Но это тоже в самое ушко только…

А потом – будто кто-то переключил экран – вдруг стало так, как будто эта тоника давно уже наступила, и мы оказались в чем-то светло-счастливом, спокойном, родном и домашнем. Нет, это не был дом с потолком и стенами... Но сама беспредельность была родной и домашней. И я любила Вас виновато-блаженно, не знаю почему, а Вы были ласковым и прощающим, не знаю почему. Ну как это бывает, когда тебе ерошат волосы и разговаривают с тобой ласкающим голосом. И меня стало заливать таким счастьем, таким невозможным, невыносимым счастьем, что я почувствовала, что больше мне не вместить.

И тогда я открыла глаза. И оказалась в своей комнате. Но внутри меня всё оставалось, ничто не исчезло – и сейчас продолжается.

Не знаю, услышите ли то, о чем я пыталась Вам рассказать. Оно такое большое... Когда я не выдержала и переместилась в свою комнату из нашей беспредельности, сначала очень себя заругала, а потом подумала, что это немножко похоже на то, что человек не может увидеть Бога, а если б увидел… Вы не сердитесь на меня? Я Вас не неволю?

* * *

А когда это чудо случилось со мной, что полюбила вдруг? Может быть, когда был первый полет? Но он потому и был, что чудо свершилось, хотя я тогда этого не знала. И только сейчас начинаю понимать, каким правильным был этот полет, где Вы сначала ребенок, а потом большой. И все полеты, и то, как в них участвует – явно или неявно – Друг, и всё это наше переплетенное тройное единство. Полеты оказались намного мудрее меня – и намного больше знают.

* * *

Было очень жарко, и дойдя до свободной скамейки в тени, я села на нее и вздохнула с облегчением.

Скамейка стояла напротив того самого дуба, у которого я гуляла

однажды зимой. Тогда все деревья были голые, на ветках оставалось много старых сухих листьев, и я думала: а как же весной пробьются молодые листочки? Ведь эти старые мертвые будут им мешать. Не помешали. И скамейка была та самая. Я сидела, глядя на дерево, отдыхая от жары, рассматривала зеленую крону и две сухие ветки, и гнезда птиц, и их самих, сидящих на ветках у своих домиков, и постепенно входила в состояние полусна-полуяви.

Вновь проплывали надо мною два облака… помните те два лица, которые так стремились друг к другу, но не встретились бы, не сошлись, если бы мы с Вами не помогли тогда их небесам соединиться в одно? Сейчас они вместе, и я улыбалась им – и Вам, которого ощущала, почти осязала вокруг себя.

А вы, невидимый, даже не полупрозрачный, а просто невидимый, витали вокруг и становились частью всего, что меня окружало – дерева, кроны его густой, многочисленных птичек неумолкающих, но не нарушающих тишину. Вам хотелось туда, к ним. И мне тоже… Вы были невидимы, но я видела вас. То, что я видела, не имело формы, но она и не нужна была моим глазам. То, что я видела, не имело никакого материального «сгущения», но и оно не нужно было моим глазам. Я сказала Вам не голосом: «Я поняла тайну деревьев. Они соединяют земную Тишину с Тишиной небесной». А больше я ничего не говорила, потому что…

...Плывут два облака навстречу друг другу. Эти не разминутся, нет, они сближаются и, наконец, проникают одно в другое, но не останавливаются, а продолжают сближение, входя друг в друга плавно, естественно, безусильно. И вот они сливаются, объединяются, совокупляются в нечто единое, неравное сумме двух.

Так было и у нас с Вами.

Мы летели медленно, как летят облака: не летели, а плыли в воздухе над лужайкой, над деревом с гнездами. И это было тишиной и нежностью, такой спокойной, такой неподвижной… Хотя мы всё время были в плавном безусильном движении. Мы плыли навстречу друг дружке, как два облака, – сближались-сближались, но не останавливались, а вплывали, входили друг в друга и воссоединялись в одно. А соединившись, поплыли в этом синем-синем небе одним облаком. Но были мы не одно, а двое: Вы и я.

Вот так я «видела» нас с Вами в невысоком пока еще небе, над лужайкой, которую обвивала пешеходная тропинка. Я взяла слово «видела» в кавычки, потому что видеть это было нельзя: мы оба были невидимы. Увидеть со стороны можно было только мое дурацкое опустошенное тело, лежащее на скамейке. Но я именно видела

нас, хотя облачка эти были тоже почти прозрачны, а может быть, и совсем прозрачны, совсем невидимы. И только внутренние глаза мои видели их так же явственно, как люди обычно видят облака – белые облака в синем солнечном небе.

Я даже любить вас там не могла, настолько мы были не отдельны. Слышите меня, родная душа моя, слышите?

Потом Вы увидели Друга. А я еще раньше почувствовала его присутствие. И Вы будто дверцу отворили – дали ему возможность войти в наше облако. И он вошел. И нас стало трое, что есть один, что есть одно ?. *И когда это произошло, мы полетели вверх. Я знала, что он пришел к нам оттуда, где обитает сейчас. И что мы не полетим туда, потому что нам с Вами туда пока еще нельзя. И что поэтому наше тройное единство материализуется лишь на какое-то время. Что он – гость здесь, ему нельзя быть с нами долго. Но что он – главный в нашем полете. Даже не знаю, чья была эта летная сила: его, моя, наша? Не знаю, да это и неважно.*

Мы летели вверх через первое небо, через второе, десятое… «Господи, сколько же их, этих небес», – подумала я. (Вы? Мы с вами?)

«Мы летим к нашему», – отвечал он-я-Вы-мы. Мы летели к нашему небу, и много-много облаков плавали вокруг сами по себе, много-много облаков плыли навстречу друг другу и входили друг в друга, и превращались в Единое…

Мы подлетели к нашему небу. Нам не нужно было никого спрашивать. Мы просто подлетели к нему как Домой.

Это и было Домой, но не совсем. Это было «Домой», как в моей квартирке в Одессе, когда Друг был еще здесь, на земле, и эта квартирка олицетворяла для нас Наш Дом. Тогда у меня была целая «теория» о Доме и о домиках. О том, как одиноко жили мы в своих квартирах, как искали тепла для души, как некоторым из нас удавалось найти своим душам пристанище – домик, в котором они прятались от чужих, а иногда приглашали тех, кто становился им родственным или близким. И только избранным счастливцам дарован был Дом – Храм, Монастырь, обитель не только души, но и духа. Не знаю, бывали ли у Вас когда-нибудь где-нибудь домики или Дом. У меня в Америке не было, а говорить здесь «домой» непроизвольно, не задумываясь, я начала совсем недавно, когда квартира, в которой живу, стала постепенно превращаться в домик…

Домой, куда мы прилетели, мы «вошли» как в мамины руки. И это было так хорошо и спокойно. Но, как и в маминых руках, здесь нельзя было оставаться всегда или очень долго.

Пустынно было вокруг. Наверное, всё, кроме нашего неба, перестало существовать. И мы плавали безусильно в этом небе. Мы

даже не летели, мы покачивались, как покачиваются в море, лежа на спине и глядя в небо, когда оба они – и море, и небо – спокойны. И как в море, нам казалось сейчас, что Времени нет. И Пространства нет тоже. А есть только вот это мерное спокойное покачивание то ли на воде, то ли на воздухе…

Пространства действительно не было: не было никаких пределов, никаких отмеряющих границ.

Было всё. И это всё одновременно означало ничто. Вернее, наоборот: ноль, то есть ничто, и в то же время – всё, бесконечность.

И Времени, наверное, не было тоже. Потому что, когда я открыла глаза и взглянула на часы, оказалось, что не прошло и минуты… Я встала со скамейки, оглянулась, не увижу ли Вас, и пошла дальше по тропинке…

* * *

Всё хорошо, мой маленький, всё хорошо. Всё плохое ушло, а оно и не было плохим, просто дел и суеты было много, это же бывает. Я даже догадываюсь, почему и как это происходило. Это может быть просто стремлением к усреднению. Не мое стремление, а всего мирового устройства. Ну да Бог с ним, ушло – и нет его.

Вы говорите о себе, что вы грустный, а я о себе, что счастливая. Но у нас всё время один рисунок получается. Я пугаюсь, стыжусь, теряюсь. А Вы – легко и незаметно смахиваете все страхи и стыд, превращаете мою растерянность в радость, в благодарность, в новую волну влюбленности. Так я в конце концов поверю, что нам всё можно, всё хорошо, всё приемлемо. И это, в общем-то, так и есть. Вернее, так и было бы, если бы нам… если бы мы одну песнь пели, а мы все-таки разные поем.

Вы можете мне что угодно сделать. Вы улыбнулись там, на другом конце света, я здесь расцветаю. Вы чуть усмехнулись в трубку, я умираю от счастья, вернее, возрождаюсь. Вы сказали «не обижусь» – и всё, что есть «я», рванулось к Вам.

Как я люблю Вас, как люблю! И ведь еще совсем недавно мы ничего не знали... Когда был наш первый полет, ты не помнишь?

* * *

Я очень тяжело и мучительно перехожу на «ты».

«Ты...» Сама не понимаю, как это слово проговариваю, то есть прописываю. Это же больше, чем целовать, это так много, так близко, так ласково. А я говорю, и ты принимаешь. Чудо, да? У нас всё чудо. У нас действительно всё чудо. Вроде бы не должно было ничего такого случиться. И вдруг случилось *всё*. Ведь гораздо больше случилось, чем

мы, чем я поняла. Ой, запуталась. Но неважно. Это как в сказке волшебной. Обязательно что-то сотворю с тобой чудесное, как во всех сказках сотворяется. Или ты со мной. И мы будем улыбаться, и верить в хорошее, и жалеть этих несчастных пятнадцать мальчиков*, помнишь? Жалко их всех, особенно последнего, потому что он хоть и большой, а дурачок, они все мимо прошли, а нам-то что? Зато мы теперь знаем, и ты никогда не подаришь мне подснежников, даже через триста лет. А на «ты» не теплее, а горячее. С Другом мы так всю жизнь и переходили с «вы» на «ты» и наоборот, потому что в разные моменты выскакивало то одно, то другое.

* * *

А это самый страшный наш полет, единственный такой, и мне не хотелось Вам его рассказывать.

Мы были с Вами вдвоем. Мы не летали. И я очень любила Вас. Не помню, что мы делали, о чем говорили. Это естественно, что не помню. Потому что мое тело очень сильно любило Вас. Оно часто Вас очень сильно любит. Но это бывает по-разному. Прикосновенье рук рождает разное. А тогда оно рождало не страсть, но и не свет только. И я была как хмельная, и не могла бы запомнить ни своих, ни Ваших слов. Не думаю, что ласки мои были грубыми или нескромными. Но они были, их было много, а может быть, и немного, но было в них что-то неудержимое, влекущее и ведущее меня. И в какой-то момент… Я целовала ваши руки, даже не целовала, а касалась губами Ваших рук, и это была молитва, но горячая, жаркая и хмельная. Так бывает? Не знаю. Так было.

И вот от этих рук, обожествленных и ласкаемых мною, я подняла на Вас глаза… И увидела Ваши. Увидела Ваше лицо. Жалеющее,

---

*…Пятнадцать мальчиков дарили мне подснежники.
Пятнадцать мальчиков надломленными голосами
мне говорили:
«Я никогда тебя не разлюблю».
Я отвечала им примерно вот что: «Посмотрим».

Пятнадцать мальчиков теперь живут спокойно.
Они исполнили тяжелую повинность <…>
Но, видишь ли, и ты меня разлюбишь,
и, победив себя, ты будешь говорить со мной надменно,
как будто победил меня,
а я пойду по улице, по улице...

Белла Ахмадулина

сочувствующее. Желающее помочь. Боящееся огорчить и обидеть. Я объяснила? Продолжать?

Это мгновенно отрезвило меня, мне стало невыносимо стыдно. Я не судила себя, мне не до того было, но… Говорят, что Страшный суд будет именно таким: вам покажут всю вашу жизнь, а вы будете смотреть и умирать от стыда. Ибо нет муки сильнее.

Я стала внутренне метаться, чтобы спрятаться от Вас, а прятаться было некуда. И руки Ваши всё еще были в моих. И тогда я взлетела. Впервые в жизни взлетела не от любви, не от счастья, не от летучести – от стыда. Не взлетела – удрала в полет. Сбежала. Летела я, как стрела, – по косой, вверх. И слышала за собой Ваш голос, зовущий меня.

Вы тоже взлетели и тоже летели по косой вверх. И тоже не от любви, не от счастья, не от летучести. А от жалости – спасти, успокоить, утешить.

Вы догнали меня. И гладили мои руки, и говорили взахлеб утешающие слова. А я думала о том, что вот Вы прилетели сами, а как же Вы полетите назад? Я должна доставить Вас домой, но не могу: нет во мне взлетной силы.

Вот и всё. Это и был весь полет. Мы живы, значит, вернулись. Но стыд мой остался при мне.

«Несоответствие зова отклику». Звучит красиво. Не знаю, зачем я пришла в Вашу жизнь, хотя кое-какие мысли у меня по этому поводу были и есть. До Вас *гением любви* меня называл Друг. Вы это знали или сами придумали? Во всяком случае, это повод для улыбки или шутки: если я гений любви, а Вы – нет, то я и обречена на несоответствие отклика зову. Да и не только с Вами!

Но нет, я не гений любви и не обречена на несоответствие зова отклику, ведь был Друг, был Володя, была Мира, которая только в чувственности и в моих философских исканиях не шла со мной в ногу, зато в святости – ого-го как перегоняла! И любить умела. Не такой, как у меня, не *моей*, а *своей* любовью. Но это было настоящее. И отклика было не меньше зова.

* * *

...Сегодня Кортасар увел меня в 1963 год. Будто вернулась туда – в свой 1963-й – и сразу всё вспомнила. Не разумом, не памятью разума, а телом, памятью тела. И потому я тебя узнала. Я о тебе много-много узнала. И ты можешь мне ничего не рассказывать, я всё равно знаю, будто была с тобою всё время, всю твою жизнь. Не могу сказать словами, что я о тебе знаю, но знаю на другом уровне, как

Кастанеда говорил: «Тело знает». Это глубже и больше слов. Я тебя теперь чувствую. Чувствую, почему ты вот это делаешь, а это нет, почему так, а не иначе на это реагируешь.

Разумом не знаю, но телом знаю, чувствую каждую твою болинку, и страхи твои, и напряженность. Мне кажется, если ты попросишь меня смазать – чем там мажут? – больное место и не скажешь, где болит, я подойду и смажу где надо, понимаешь это, да?

Это мне всё Кортасар про тебя рассказал. Как будто какимнибудь аппаратом послойным снимки делал. Господи, как я тебя сейчас люблю, как мне хочется тебя защищать от всего – не от всех, а именно от всего. И Кортасара люблю, и всех их из книжки* тоже, но всё равно, если б ты согласился, я б тебя оттуда увела. Там больно, а я бы тебя в безболезненность увела. Там сумерки, а я бы тебя в свет, там судороги, а я бы тебя в свободную мягкость, там безверие, а я бы тебя в доверчивость. И никто бы тебя не обижал – не потому что все люди честные и хорошие, а потому что обидеть тебя было бы о-о-очень трудно, почти невозможно.

Я вспомнила вот что. Примерно в то время, когда ты родился, я тоже была каждым из этих героев. Я была анонимным невротиком, и мне казалось тогда, что чем хуже, тем лучше. Чем невротичней, тем лучше. И была я тогда одна на всем белом свете. И верила во всё плохое, а в хорошее не верила. И жалела весь мир, оттого что ему так одиноко и плохо, но более всех жалела себя.

Это правда. Это стыдно, но это правда. Это было время моего развода с Витей и Аллой. (Ты спрашиваешь, простила ли я их? Я никогда их не судила. Но было мне очень плохо. Сначала с ними, а потом без них. Если кто и не прощал, так это Друг. Он не мог простить Витьке не сам уход, а то, что, уходя, оставил меня одну – «маленькую, одинокую, без старших, без друзей, способных помочь». Это он так говорил – и не прощал этого Вите.) Я тогда тоже была одна сплошная боль. И света во мне не было, а был надрыв. И гармонии тоже не было. Была невротичность. Была достоевщина. Была попытка оставаться со всеми – и стать такой, как все. Было прохождение через всю ту грязь, в которой я слишком быстро и рано повинилась Другу, оставив ему в душе на долгие годы кровоточащую дыру и невозможность принять. Вот тогда я и была, как они, герои Кортасара. И может быть, поэтому я сейчас так болезненно их залюбила. Но не менее остро захотела, чтобы ты перестал быть одним из них, хотя и не мое это дело, я не имею права. Но это же чувство, а не поступок, оно неуправляемо. Я тебя в свет хочу, в послекортасаровщину. Там лучше, поверь.

---

* *Кортасар, Хулио.* 62. Модель для сборки

Не знаю, где твои пределы, на что может хватить твоего сердца и твоей души. Но если ты и вправду «немного умер», как ты говоришь о себе, то для меня это звучит как призыв. И единственной моей естественной реакцией на это было бы стремительно мчаться к тебе и всеми-всеми возможными и невозможными, дозволенными и недозволенными способами вдыхать в тебя жизнь – из воздуха, из самой себя, из любви тех, кто тебе нужен, – из чего угодно, только бы оживить…

* * *

Это было днем. Все мои ниточки так натянулись... «Какие ниточки?» – спросил ты, когда я, не выдержав, позвонила тебе. «Ну... мои к тебе». Звонок был не ко времени, и потому не к месту. Я извинялась как сумасшедшая.

Я обнимала тебя. И мы стояли лицом друг к другу, как тогда, в первом полете с Другом. Но в тот раз я держала в руках тебя-ребенка, а сейчас обнимала большого, и прижималась к тебе, и льнула к тебе всем телом. Это было очень много, очень остро и очень светло. Со мной творилось что-то, чего я не берусь описать, но что точно не подходит ни под одно из известных мне слов. Оно подходит под одно слово, которое мы оба произносим, но вкладываем в него разное значение, а потому мне нельзя им пользоваться. Это слово – эрос, но я точно знаю, что ты меня не поймешь, потому что для тебя оно означает совсем другое, что-то сексуальное, что-то, чего я не хочу и не могу принять.

Я обнимала тебя… И со мной творилось… А ты? Что было при этом с тобой? Этого я не знаю.

Ах, нет, не получается, не получается рассказать...

Ну что ж, попробуем еще раз?

Я обнимала тебя, и от этого со мной творилось то волшебное, что всегда происходит со мной, когда мои глаза видят твои, а тело хоть как-то, хоть кончиком пальца, к твоему прикасается, пусть даже через тысячи километров. Тогда начинается излучение. И чем больше этого излучения, тем больше музыки и тишины, музыки и света, музыки и чего-то, что струится от меня к тебе, а через тебя в пространство. А от этого излучение становится интенсивнее, только это слово сюда не подходит, оно грубое, а излучение – нежное-нежное, как любовь. Потому что оно и есть любовь. И снова всё по кругу. Но не по порочному, а по прекрасному: касание, излучение, нежность, свет, тишина, любовь, касание... И музыка... И непонятно, что чем сотворяется.

И вот так оно и было. Но в этот раз оттого, может быть,

что тела наши касались друг друга, мое тело, вернее, верхний слой его – кожа – стал другим.

Могут ли растворяться тела человеческие? Таять, расплавляться? Наружный внешний слой моего тела как бы перестал быть плотным… то есть он не стал ни жидким, ни вязким, но и плотным, непроницаемо плотным быть перестал. Так, наверное, бывает, когда проходят сквозь стены.

Происходило ли это только с моим телом или с твоим тоже, я не знаю. Но знаю, что хотя мы с тобой оставались двумя отдельными человеками, у нас была теперь одна общая кожа. Это немножко похоже на сросшихся близнецов. Мы были как одно существо, хотя всё у нас было отдельное, только объятие стало нераздельным. И вот это одно двойное существо безо всякого усилия отделилось от земли и очень медленно, очень плавно, как в невесомости, поплыло, устремилось вверх. Мы смотрели друг другу в глаза, и это почти парение было любовью. Я не отрывала своих глаз от твоих, а потому не видела ничего, что было вокруг. В этом было напряжение бесконечного. Бесконечным становилось всё, понимаешь? От этого напряжения нельзя было устать, понимаешь? И оно не было таким, как в земной любви: оно не могло никогда ничем закончиться. Оно и не закончилось у нас. Просто в какой-то момент мы улыбнулись друг дружке и посмотрели по сторонам. Оказалась, что мы – в темно-фиолетовом пространстве, похожем на вечернее небо. И нам в нем хорошо, не страшно, не утомительно. Мы – Дома.

И тогда мне нестерпимо захотелось, чтобы так было всегда... Я не знала и не знаю, что нужно для этого. Я не знала и не знаю, хочешь ли ты этого. Я не знала и не знаю, как совместить это с Голосом, который много раз повторял мне: «Иди один». Но Кто-то смилостивился надо мною: я живу, что-то делаю, читаю, пишу, думаю. А в это самое время наше общее слившееся существо плывет и плывет в фиолетовом пространстве.

Во мне живет и трепещет что-то на уровне радостного озарения: о нас троих: и о нас с тобой, и о вас двоих, и обо всех любовях, потому что все они разные, отдельные – любовь Друга ко мне и через меня к тебе, моя любовь к тебе, твоя к Другу и твоя ко мне... даром, что все мы разминулись во времени и в пространстве... Потому что ты, конечно, любишь меня, хоть и не так, как я тебя, но это другое дело, это ведь тоже любовь. И всё это уже таинственно переплелось, как твоя и моя нежность, тоже разные, но живые; что-то из этого всего родилось, или рождается, или еще родится. Я черпаю для себя из любви бесконечно много, но очень хочу надеяться, что не хищно и

не жадно хватаю себе – «дай, дай, дай». Желание давать, дарить, внутреннее «возьми, возьми, пожалуйста» так сильн*о* во мне, что я надеюсь не ошибиться, учась у своей любви.

А учусь я у нее очень многому, учусь постоянно. Вот хочешь, я расскажу тебе о той «учебной» ночи, которая проходила так тяжело и болезненно, а окончилась так светло и хорошо, хочешь? Ну слушай.

Тогда ночью я лежала в своей постели. Во мне копошились всякие темные и не очень темные, болезненные и не очень болезненные желания, мысли, чувства. Они были противоречивы, потому что всё то светлое, что было во мне раньше и есть сейчас, оно же и тогда было. Но вместе с этим светлым было и другое.

Я представляла тебя, воплощенного, то есть такого, каким видела раньше, – с руками, ногами, туловищем и головой. И мне хотелось обнять тебя, мне очень хотелось этого, но было страшно. Мне было страшно, что не смогу с реальным, воплощенным тобой жить так же легко, бестелесно и нежно, ласково и едино, как сейчас с тобой воображаемым. Нет, не воображаемым даже, а просто нематериальным совсем, состоящим из воздуха и моей любви. И чувство вины во мне было очень сильным. Перед тобой – за то, что тебе тяжело со мной. За то, что ты не стал счастливее от моей любви, как я того хотела. Что тебе не стало легче, как я хотела, а стало еще тяжелее.

И получились у меня «неразрешимые противоречия», много неразрешимых противоречий:

Хочу к тебе. Хочу быть одна и общаться с тобой нематериально. Общаюсь же так с Другом – постоянно, ежесекундно.

Хочу к тебе немедленно, сейчас же, как можно ближе, как можно слитней. – Хочу оставаться вне досягаемости. Боюсь увидеть и быть увиденной.

Хочу быть правдивой, не лгать, не лукавить. – Хочу скрыть от всего мира тайну своей любви к тебе.

Хочу оставаться в Школе любви. – Хочу полного уединения, Пустыни, Монастыря, Скита.

Надо ли продолжать? Весь ужас тогда для меня был именно в неразрешимости этих противоречий – и невозможности выбора, невозможности чем-то поступиться.

Вот такая была ночка. Я то засыпала, то просыпалась, и всё это жило во мне во сне и наяву.

А спасение пришло само, хотя мне-то казалось, что это я «додумалась». Спасение было совсем простым: я знала его с молодости. Когда мой Вовка бы еще подростком, мы часто обсуждали наши труд-

ности и проблемы. И я тогда говорила: «Выход может быть только один: через верх».

Вот и этой ночью я всё мучилась-мучилась, пока вдруг не охватила меня та самая радость, которая всегда охватывает человека в момент «открытия», озарения. Я ведь всё это время ночью непрерывно говорила с вами – с тобой и с Другом, – я вам рассказывала, и жаловалась, и объясняла, и хотела Вашей и его *маминой* руки, и хотела… в общем, много чего хотела. И вдруг поняла, что всё так плохо, так дергано, нервно, с достоевщиной и кортасаровщиной, потому что я *не там.* Я спустилась с того уровня, где всё решаемо, всё светло, где нет никаких тупиков, – туда, где темно, болезненно и неразрешимо. Из неэвклидового пространства в эвклидово. И потому не нужно пытаться что-то делать с этими противоречиями, тем более, что это и невозможно, а нужно вернуться туда, где они просто исчезают все, потому что *там* их не может быть. Там – свет, там – гармония. Там параллельные прямые сходятся столько раз, сколько хотят, и никто ни на кого не в обиде.

И как только это поняла – а я поняла это радостным толчком, мгновенно, – как только это поняла, сразу же, в ту же самую секундочку и оказалась *там*. И все противоречия исчезли. И был *Свет*, и была *Свобода*. И всё стало можно. И не было больше страха. Я вернулась в правильное место.

Хочу оставаться *там* всегда. Приглашаю туда и Вас. Там хорошо. Там любовь. Там каждый с каждым отдельно – и все вместе, и нет страха причинить боль, потому что нет боли от неполученного пряника. И я люблю Вас, люблю Вас, благоговейно и нежно. И эрос больше не пугает меня, как ничто не пугает, потому что он тоже – *там*, и тоже – светлый, не жадный, не хищный, а нежный-нежный. И ему тоже ничего не надо. Только излучать любовь, понимаешь?

* * *

Мы были с тобой вдвоем. Стояли, держась за руки. Ты что-то говорил. Не помню слов, помню голос. Твой голос – ласкающий, утешающий, разрешающий, уводящий, творящий со мной что-то такое, отчего случаются полеты, и вихри, и сумасшедшие поступки. Ты был добр. А у меня всё клокотало от невозможного желания близости, большей, еще большей, невозможно большей близости. Не как у мужчины и женщины, а какой? Не знаю... Как у воды, сливающейся с другой в единый поток. Но чтобы в этом новом потоке мне всё равно тебя ощущать, тянуться к тебе, тянуться, как… как рука тянется к небу, понимаешь? Чтобы уже слились, а всё же к тебе. Как к небу тянутся бесконечно, понимаешь?

Я обняла тебя. Или ты меня, это неважно. Только в этом объя-

тии то, что творилось со мной, эта тяга моя к тебе, в тебя усилилась многократно. И мы действительно стали входить друг в друга, вплавляться, будто перестали быть плотными, а стали как расплавленный металл, только не горячий, а просто жидкий. Когда-то что-то похожее уже было у меня с тобою. В этой жизни? Или в прошлой? Или в будущей? Я не помню. Но помню, что тогда это было только с кожей, с наружным слоем наших тел. А сейчас они просто сплавлялись, вливались друг в друга, превращались в единое целое. Но и внутри этого единого я любила тебя и тянулась к тебе.

И вот это наше сплавленное, слитое, единое существо медленно-медленно поплыло вверх. Было темно, хотя на земле был день. Небо было темное, ночное, и мы плыли в него, а потом по нему. И я не знаю, каким чудом я всё равно видела тебя при этом…

А потом мы опять стояли где-то в межзвездном пространстве. Стояли лицом к лицу, снова двое, снова держась за руки и глядя в глаза друг дружке. И губам моим нестерпимо, нестерпимо, нестерпимо нужно было коснуться твоих, но они даже не помышляли об этом. И всё то, что было в них тягой к тебе и любовью к тебе, всё это пело внутри меня. И была музыка. И была пастернаковская строка, помнишь: «Губы и губы на звезды выменивать»? Мы – выменивали. И звезды загорались вокруг нас. А ты улыбался. Улыбался каждой новой звезде. Тебе очень нравилось зажигать новые звезды – и очень нравилось выменивать на них губы и губы.

А потом я услышала Голос: «Теперь можно». И поцеловала тебя. Твои губы своими губами. Но не как женщина мужчину, совсем не так. А как дети целуют: быстро и коротко. И это было нежно-нежно. И сладко-сладко. Но ты испугался и закричал: «Сейчас звезды погаснут!»

А они не погасли! Они не погасли, наоборот. К этим звездам, которые мы зажгли с тобой раньше, вдруг добавился фейерверк, и в этом фейерверке кружились и расходились брызгами много маленьких ярких звездочек, веселых, детских, озорных звездочек. Те продолжали сиять, а эти плясали, плясали. Ты прикусил нижнюю губу и смотрел на всё это – удивленный, восхищенный, счастливый. Ты был счастлив! Честное слово! Я тебя таким радостно-празднично-восторженно счастливым и не видела никогда!

Нет, не подумай, что я решила, будто это от моего поцелуя ты был таким счастливым. Я понимаю, это от звезд. От тех больших, серьезных, которые… На которые мы губы и губы выменяли. И этих деток озорничавших, которые тебе праздник дарили.

А потом мы с тобою и с этими звездочками все вместе танцевали. Даже я, толстая, неуклюжая. Но там я не была неуклюжей. Мне было легко танцевать с вами. Легко и весело. И совсем не стыдно.

А потом всё стало растворяться в темном небе, и мы с тобой снова поплыли по этому небу, держась за руки. И так и плыли, не знаю куда…

И сейчас плывем.

ЭПИЛОГ

Я раскрыла глаза и облегченно вздохнула. Вокруг был знакомый пейзаж. Всё на месте. Жизнь продолжается.

– Жизнь продолжается, но не там, где раньше. Ты в другой сказке, в другом царстве, в другом мире.

– В другом? Но здесь всё, как прежде. Те же деревья, те же птицы, те же цветы. Что же это за мир другой, чем отличается от былого?

– Это мир неравного равенства. Здесь иные закономерности. Здесь, приняв в душу один цветок, ты тем самым принимаешь в душу все цветы. Сможешь?

– Смогу. Это легко и приятно. И я действительно люблю каждый цветок, когда одним любуюсь.

– И любить одно дерево — это всё равно, что полюбить все деревья. Сможешь?

– О, конечно! Это так радостно!

– И полюбить енота, зайца, птицу или белку – это полюбить всех зверей, всё живое. Сможешь?

– Не знаю… И крокодила? И гиену? И шакала? Не знаю... Это гораздо трудней.

– Но и это еще не всё. Главное – вот оно. Полюбить одного человека можно только, полюбив всех. В этом и состоит неравное равенство.

– Всех? Всех одинаково? Самого любимого и того, кто мне только знаком, и того, кто враждебен?

– Это не совсем так. Потому что многослойна душа. И много в ней пространства. И есть где разбрестись разным любовям. Лишь частично можно выразить это в переводе на язык Земли. Но всем им должно найтись место в твоей душе. Сможешь?

– А злодеи? Как полюбить злодеев?

– Спрашивай душу свою...

– Нет, не могу... Не смогу полюбить злодеев! Не хочу их любить! Я могу пожалеть их, когда они уже свергнуты, когда стали несчастными и не опасными. Но любить их я не могу...

– Что ж, тогда возвращайся на Землю.

И в тот же миг оказалась я на Земле. Как? Не знаю. Но увидела родную лужайку, а на ней – голубые, лиловые, желтые цветочки. И я любила их всей душою. Было ли это любовью ко всем цветам на свете? Не знаю, не знаю. Какая разница.

А вокруг лужайки – тропинка. По ней идут люди. И солнышко светит.

И рассыпалась душа моя...

Она рассыпалась на множество искорок, и теперь каждая искорка равна целой душе, и душа равна каждой своей искорке, но и самой себе тоже. И никакого противоречия, никакой вражды. Всё хорошо, всё ладно.

Теперь так легко отдать свою душу не кому-нибудь одному, а многим, многим, многим...

– Вот тебе вся душа моя! И тебе вся душа моя! И тебе... И тебе... И тебе...

Не беднеет и не пустеет душа... Взлетают искорки по одной – и каждая в кого-нибудь попадает. Вот одна коснулась девушки и исчезла: вошла в ее душу. Девушка только вздрогнула, оглянулась по сторонам, никого не увидела и дальше пошла.

Вот вторая пролетела над пожилой женщиной. А та даже и не заметила.

Вот третья попала на юношу – и юноша улыбнулся. Вот мальчишка запел свою песню громче... а искорки всё сыплются и сыплются.

Ну и пусть меня в том мире, в том царстве не приняли. Я пока здесь поживу. В душе моей много искорок. Всем хватит.

Всем или не всем, но многим. И тем, кого выбрала моя душа. И тем, кто волей судьбы оказался рядом. И тем, кто просто проходил мимо, не замечая меня. Ну и пусть по-разному я люблю их. Зато всей душой. Потому что каждая искорка – вся душа. И целая душа – вся душа тоже...

* * *

Пляж... Широкий, задумчивый, тихий. Океан спокоен. Под солнышком он кажется голубым. И песок... А на песке книга. Большая, старинная. Ветерок легкий, он колышет страницы книги, переворачивает их то в одну сторону, то в другую. Так странно... большая старинная книга на широком желтом песке у такого большого, но такого спокойного океана. Так странно...

Так странно читать свои собственные строки. Ведь всё это было со мной, было...

О, как не сразу я поняла, что моя любовь к Богу, так остро ощущаемая мной, есть продолжение моих любовей к людям. Что все мои влюбленности в людей – это только земное, прижизненное воплощение, земное представительство моей любви к Нему.

Как не сразу я поняла, что все мои влюбленности и любови – по

сути одна единая любовь, та единственная любовь, которой могу и умею любить я. И неважно кого – маму, ребеночка или старушку, возлюбленного или ученика. Неважно что – музыку Моцарта, стихи Мандельштама, мозаику Равенны, камни и горы, цветы и деревья, озера и реки, небо и океан. Моя любовь всё равно остается неизменной. Это та любовь, которую получила я при рождении и которая пребудет со мной до конца жизни.

Ты был так щедр ко мне, Господи, посылая мне Себя в облике всех любимых моих на земле – всех, кого я любила, кто любил меня. Я впадала в отчаянье, впадала в пустоту и молчание, но не те пустоту и молчание, что равны полноте и молитве, а те, что бывают после пожара. Когда видишь, как падает хрусталик бесконечности, и знаешь, что он разобьется вдребезги, но тупо смотришь на это, не пытаясь остановить. А Ты терпеливо продолжал посылать мне весть о Себе в новых любовях, новых любимых, новых молитвах. И как дыхание Твое надо мною была каждая новая любовь. Снова и снова я получала дары Твои. И они спасали меня, возрождали снова и снова…

Прости же меня и не оставь. Я нуждаюсь в Твоей помощи. Сделай так, чтоб я могла нести свой крест. Сделай так, чтобы каждый мог нести свой крест, чтоб крест этот не оказался слишком тяжелым, чтоб человек донес его и не сломался, не упал по дороге. Помоги нам всем, Господи! Помоги тем, кто ищет Тебя и не может найти. Помоги им найти Тебя.

Помоги тем, кто не ищет Тебя, потому что не знает о Тебе. Дай им познать себя, дай им узнать о Тебе, чтоб в них проснулась тоска по Тебе, томление по Тебе. Помоги тем, кто сначала искал Тебя, а потом перестал, потому что между Тобою и миром выбрал мир, между вечным и временным – временное. Сделай так, чтобы они поняли свое заблуждение не разумом, а душою – и обратили к Тебе свои души.

Как буду я жить? Смогу ли жить так, чтоб Ты не огорчался и не плакал из-за меня, Господи?

Пусть вся моя жизнь, все мои мысли, поступки, всё, что составляет мою жизнь, творится любовью.

Сделай меня мостиком между Тобой и людьми. Или, что то же самое, даруй мне любовь хранящую, позволь мне быть орудием Твоим, чтобы любовь моя охраняла как можно больше людей для Тебя. Прости мне дерзость помыслов и чувств моих. И да будет на всё воля Твоя, а не моя. И да свершается всё по воле Твоей во все времена.

Нью-Йорк

Вячеслав Попов

Река называется Ривой

ФОМА И РЫБА

в щели жаберной пузырек
береженым мерцает духом
рыба рыба реки царек
пусть уха тебе будет пухом
пусть счастливец живую тьму
тронет сросшимися перстами
рыба рыба поймай фому
поменяйся с фомой местами

18.09.2017

НА КЛАДБИЩЕ

выцветшая низкая оградка
сморщенные капли синевы
вот ты где сиротская кроватка
полная некошеной травы
смотрит понкратенкова ульяна
на себя из памяти моей
смаргивает стеблями бурьяна
маету кладбищенских теней

4.02.2018

ПЕТЯ И СНЕГИРИ

В середине декабря,
в скарлатинном свете,
снегири из букваря
прилетали к Пете.

Неспокойные, как ртуть,
сели где-то рядом,

страшно Пете их спугнуть
вздохом или взглядом.

Петя плавится, плывет,
сам себя глотая,
ждет, что сядет на живот,
птиц прохладных стая.

Шепчет Петя: «Снегири,
у меня темно внутри!»
А они ему в ответ:
«Это, Петя, тоже свет!»

26.10.2017

САСТАМАЛА

У ели под подолом копошится
овец чумазых племя. Дождь,
как видно, зарядил надолго.
Старинной финской церкви хлев
сегодня на замке. Напрасно
мы ехали сюда. А впрочем, нет:
я вижу пар живой овечий
и желтых глаз пугливый тусклый свет,
не человеческий, но всё же человечий,
и, слыша блеянье, я говорю: привет!

4.09.2018

ЯГОДЫ

будешь с памятью бедной
прощаться проситься
помни что
вот о чем не забудь

однолапый птенец
переплетная птица
клиновидная голая грудь

на кусте костяном обмирая
как дышал не дыши
замолчал и молчи

снегири от пустого
февральского рая
принесут
в крепких клювах ключи

эти ягоды мерзлые
жаркие

кровь оттаяла
стала густа

а не мертвые
а не жалкие
человеческие уста

11.02.2019

ЛЕВ И РИВА

река называется Ривой
старик называется Львом
Лев смотрит на Риву с обрыва
спит Рива под каменным льдом
застыла хорошей широкой
томительно долгой дугой
единственной в мире дорогой
к той Риве которой другой

26.06.2020

ВСТРЕЧА

Протопоп Аввакум видит Божий Град.
Августин Блаженный ждет у врат,
рад нечеловечески,
говорит по-гречески:
– Здравствуй, брат!
Вот ты и отмучился, сын Петров,

вот и зришь воочию мир миров
вне пространства-времени,
без плотского бремени,
жив-здоров.
Там ты был подвижник,
был борец,
пастырь, постник, книжник,
муж, отец,
а отныне только сын и брат.
Дай с тобой обняться, очень рад!

31.05.2020

СМОЛА. 1970

воздух безвозвратный
теплый золотой
тополевых почек
в воздухе настой
тротуар дощатый
в луже плавунцы
есть у бабы Нины
чудо-леденцы
мы идем на речку
а они гремят
у баночки-жестянки
край слегка примят
огненные сосны
на коре смола
на ощупь очень сладкой
та смола была

25.04.2021

Янислав Вольфсон

ПРЕБЫВАНИЕ

там говорят такое было
он шел доскою неширокой
как будто улицей мощеной
как будто всадник
                лошадь пала
как будто школьник
                вон с урока
вопрос решенный
паря на локоть над дорогой
бескровный и раскрепощенный
уже забыв про осторожность
и сдавленное не сдаваться
в уме еще качалось желтым
и гаснущим протуберанцем
и было большим чем казалось
и о потеряной сандалии
задумывался наблюдатель
среди проклятий
он шел не спорить а признаться
что он есть писарь а писатель
давно непойманный летает
в немногословных небесах
что он есть чтец а постановщик
невидим ибо это проще
чем притчей шляться на устах
шел говорят и так шатался
похоже груз был непосилен
и улыбался как дитя
наверно просто помешался
а может чем-то опоили
людей повеселить хотят
когда доска зашевелилась
и он бесшумно начал падать
толпа опять заволновалась
помиловать рвалась но милость
теперь уже не получалась
теперь уже не получилась

СИРТАКИ

В греческую карту смотришь прямо.
Круто же придумали они:
в номе Драма есть равнина Драма,
на километровке, для войны.

Интересно, как им там живется?
Так же, как и всем...
Лучше пусть метафора свернется,
как белок в тепле.

Видите, я не хочу учиться
на живых теперь –
женские выглядывают лица
в очагах потерь.

Чтоб нарисовать гречанку толком,
черный карандаш, а не простой,
нужно послюнить и втихомолку
надавить рукой.

Так известкой выбелено небо,
что его дощатый потолок
просит сыра и вина, и хлеба,
и холодный уголек.

Чтоб придумать танец, нужно только
задержать в ладонях звук,
как лимона маленькую дольку,
кислый полукруг.

Что жалеть, пока еще есть прежний
голос, пусть он ссохся и огруб,
лишь бы был, когда на побережье
все выходят в круг

и становятся, сплетясь руками,
упираясь тайною дневной
в камни друг у друга под ногами
в тишине двойной.

Только ветер рвет края рубашки.
И на берегу морском
молодые косточки барашка
молодым запьем вином.

Если нас забудут, поделом нам.
И молва, что сор
понесет, что за́стились ладонью,
поздно слились в хор,

и забыли, что в открытом море
дорог каждый час.
Но ведущий голос в этом хоре
вступится за нас.

ОПОЗДАНЬЕ

старый мистер сизиф получает за труд
узнаёте его неопознанный труп
смахивает на страшный суд
так что грудь заложило

ночь там похожа на скисший суп
впрочем точно такая же ночь и тут
и они сочетаются так как трут
и огниво

вот еще заявился один болван
получать что-то там по своим словам
его взгляд словно в вакууме вольфрам
накалился

на ладонях потрескалась вся кора
и рисунок похож говорю всякий раз
то на корень квадратный из зла и добра
то на мордочку лиса

запевает случайный ансамбль цыган
и в стакан наливается калий циан
по краям закипает шестой океан
заполняется зданье

все пришли посмотреть как сгущается мрак
зажимаемый рабски в последний кулак
различить отпущаещи поданный знак
но увы с опозданьем

ИСПАРЕНИЕ

Такое предстоит, что даже Иов задумается, и раздастся шов на черепе его. И отшатнется.

А вместо отражения в колодце раздастся звук ура-новой трубы, и пыль покроет внешние труды. Начнет из моря испаряться йод тихонько. В силу слабости и от плохого освещения, вертикальный забрезжит пляж и голые нахально два лежака, сгоревшие стоймя, как молодость сама.

Реминисценция. Два лежака, как два отставших от оркестра лажака, есть памятник из зольного субстрата, привычно именуемый утрата. Он восстановлен просто, чтоб воспеть чему не состоялось уцелеть.

Ил люзиям каким-то заполняет язык и дно, всё вязнет и воняет, и тлеет. Пауза. Микроба ill, нездешние координаты сил используя, умеет размножаться, как будто человек, и разлагаться, как он, не оставляя ни следа ни в атмосфере, ни в Кориолане, ни в ране, ни в нирване, ни в Нирване, ни в здании среди золоотвала.

Забыл, откуда начал. Ты рыдала, а я не знал, чем утолить слезу? И чтоб развеселить, теперь лежу вдоль линии прибоя, чтобы к туркам меня желто-коричневым окурком он медленно отнёс, назло. Закон, чтоб к берегу прибить, нарушив.

Он знает, но пойди переупрямь теперь уже коричневое тело, желтеющее вдалеке, где брань угасла, точно вовсе не звенела. Ну, он меня покачивать слегка начнет сродни движенью челнока по морю, где отсутствует основа.

Охота пуще, чем неволя слова.

А воля коротка и нелегка.

ПЕРЕВАЛ

сквозь мутное стекло пейзаж куда серьезней
молчание мрачней
отброшенных теней на фоне страсти поздней
портрет всегда ничей

пусть учат радость есть в растеньях однодольных
в обратных словарях
но там есть только сеть для ангелов подпольных
что для себя творят

когда голосовал то взят был в пыль кабины
и шел молоковоз
как будто снова нес известие долинам
и вызов на допрос

и в пыльном лобовом стекле всё попадались
то в бурых пятнах склон
то черные как кровь рубины стоп-сигналов
то близкий горизонт

в разрушенных садах заложена петарда
чтобы сорвать урок
пропущенный давно она взорвется рядом
что твой испанский дрок

и высадят тогда гори моя бумага
но я не возвращу
ни взятого взаймы ни данного в награду
ни то что сам тащу

Сергей Шестаков

* * *

как ни хранила речь, как ни берегла,
слово теперь убежище, а не дом,
сущность играет с именем, как река
с облаком, или кот со своим хвостом,
это ли счастье – мочь, и хотеть, и сметь,
всей благодатью мира взахлёб дыша,
прочерки там, где имя, рожденье, смерть,
жизнь так невыносима, так хороша.

ВОЗДУХ

Саше Шестаковой

1

имярек стоит с пустотой в горсти,
говорит пустоте: прости,

потому что здесь остановки нет,
потому что кончился путь вперед,
потому что выключен путь назад,

или всё же вечерний свет,
или, может, высокий свод,
или даже весенний сад,

имярек на миг разожмет ладонь,
в пустоте заблестит огонь.

2

объясни воде, что она – вода,
что она и та, и не та всегда,
что печаль и нежность – ее руда,
то любовь она, то беда,

объясни земле, что она – земля,
что и мысль, и время – ее поля,

что она – то лествица, то петля,
бытие пополам деля,

александра держит зеленый шар,
он снаружи – лед, в сердцевине – жар,
и над ней сквозь жар этот, этот лед
тихо солнце во тьме встает.

3

говорит огонь: ты небо мое, вода,
я в тебя вхожу, остаюсь в тебе навсегда,
растворяясь тайно без имени и следа,
чтобы стать тобой,

говорит вода: ты небо мое, земля,
я тобой дышу, бередя тебя и целя,
обнимаю, как пустоту ободок нуля
или волчий вой,

говорит земля: ты небо мое, огонь,
я в тебя ложусь, как в ладонь другая ладонь,
чтоб сгореть дотла и воскреснуть, ты только тронь,
полнотой любви, не тщетой.

* * *

Искре

я могу тебе не писать годами,
да и что писать, если сердце рядом
и его не взять никакими льдами,
никакой чумой, никаким снарядом,

я могу тебе не писать веками,
потому что слово вне букв сохранней,
потому что времени между нами
нет, а значит, и расстояний,

потому что прочих пустот плачевней
та, что водит мысль по границе круга,
потому что в каждом из воплощений
мы с тобой всегда узнаём друг друга,

ничего, что речь от дождей намокла,
станут звуки каплями перламутра,
не спеши, постой, подожди немного,
посмотри, уже наступает утро.

* * *

и пока ты думаешь, что насовсем один,
что дома – лишь дыры, а люди – пустоты мира,
над землей проходит маленький господин,
колокольчик в левой руке его, в правой – лира,

и ночной его глаз – берилл, а дневной – топаз,
и невидимый свет нисходит из этих глаз,
словно новая в новом небе звезда зажглась,
чтоб не меркнуть впредь,

и листва начинает блестеть и звенеть роса,
что любая жизнь и смерть любая проста,
как волы на пашне, как парные паруса,

и встают гуртом пренатальные голоса,
и земля начинает петь.

Станислав Бельский

Из цикла «Синематограф»

* * *

тоска по простейшим вещам
по всему что может выпить и съесть
лишенный памяти полдень

могу сосчитать
почтовые волоски в твоих карманах
окна, стебли сухие
(ослепшие
как духовые инструменты) –

будем вести себя так
будто магниты еще магнитят
и власть проступает
черными пятнами на плиссированных юбках

жизнь после жизни
залистывает список мертвецов
словно ржавую ванну

* * *

так и ходить по хрустящим объятиям
по вызревшим виноградным сценам

стихи – сад изгнания, изгнанный сад
где гулливеры нежны в обидах

таков и архив –
не слишком весомый
не слишком израненный или недужный
похожий на гул
в барабане стиральной машины

время свернуто в рогожку
и временно недоступно
на станциях мертвого света

* * *

«мы» – белизна усмирившая текст

но что делать со стаей
самодвижущихся камней?
напустить на них – болезненный
парус, косоугольное время?

касаешься: шиной, зрением
солнечного масла –
чувствительного к стилю хохота
к опустелому магниту

«мы» ошиблись в оценке:
не из каждого уравнения хочется сбежать

* * *

ты проносишь внутрь огражденной метели
сияющую утварь, моторы
если внезапное движение обедняет холод
можно быть наполовину спокойным

такой – свитой из ловчего грохота – модели
доверить вывеску и дуршлаг?
рукав с азбукой
слишком давно разбросанной ветром?

* * *

удерживать время в провале
между недостроенными «я»
воруя ветер у нотных деревьев

утаивать свет дневной – от самого себя
(дыхание исходит из дыхания
медлительной иглой патефонной)

расплачиваться деньгами тумана
треснувшего словно в зеркальце юном
невеста замершей лужи

* * *

вот и глина небесная
вот и глина морская
долго ли покушаться на невезение?

что заставит двигаться
туда где нет слов?
сами слова?

может ничего еще не было
в городе скользнувшего цвета?

снова пение
самофракийское
и снова
пыльные табуретки
до горизонта

* * *

ты говоришь: запасная
женщина одежда ушедших

ты говоришь:
женщина движение языка
по мочке уха филологический случай

ты говоришь:
устаревшее царство разделение
буквы на две червивые половины

говоришь:
винт уходящий в дыхание

история бунта история
прикосновений история красоты

три объемные истории
ждущие воплощений

Сергей Жадан

В лирике Сергея Жадана нарратив «большой истории» переплетается с частным опытом лирического героя, сотканным «из молчания и тишины». Поэзию и прозу Жадана принято причислять к неоромантизму, к особой модернистской поэтике, важной чертой которой является стилизация, когда «грань между фикцией и реальностью размывается, что, в первую очередь, подрывает власть невыносимой реальности» (М. Липовецкий). Это позволяет Жадану не только изживать остатки идеологических советских дискурсов и возникающие новые идеологемы, но и каждый раз вести хронику истории частной в контексте истории Украины.

Такую поэтику можно назвать постколониальной или даже деколониальной, так как она направлена на позитивную эстетику становления и сопротивления. В текстах это проявляется в том, как локальные сюжеты размывают грань между фантастическим и реальным, как переплетается американский верлибр длинной строки с тоникой расстрелянного украинского модернизма 20-х годов прошлого века и эстетикой рок-культуры. Создается язык современной украинской поэзии в контексте contemporary art; письмо, рефлексирующее о самой возможности письма в наше время.

А. Масалов, РГГУ, Москва

* * *

Стих, состоящий из молчания и тишины.
Из узлов, которыми закреплены лодки,
бьющиеся у берега,
не способные сорваться в безвестность,
не способные оборвать крепления.
Стих, похожий на руку, прибитую
ко кресту.

Книги, дарящие нам радость недоговаривания.
Спрашивай меня, спрашивай обо всем, что тебя волнует.
У меня есть письмо,
у меня есть тысяча способов быть с тобой честным,
у меня есть тысяча возможностей
снова промолчать.

Вот здесь я не сказал о первом восхищении твоим именем.
Вот здесь промолчал, когда ты впервые оборвала разговор.
Здесь не договорил о темноте, о том, как она резко

охватила нас на пустынной улице,
под вечерними огнями.
Не договорил, сломал яблоневую ветку времени,
создал паузу в созревании осени.

И теперь этот стих состоит из укора стеблей,
из обиженного дыхания дерева.
Ломаный ритм, как поломанная ветка.
Речь как узел, крепко держащий нас до зимы,
речь как шрам, напоминающий не столько о боли,
сколько об исцелении,
речь как способ придать человечность
дыханию и поцелуям.

Пока мы ждем и молчим,
вылетают на юг птицы,
и медные деревья звенят на ветру,
как оружие.

Будет зима, будет завершение года.
Будет протяженность заснеженного междуречья.
И встанет свет между нами.
Опушки очертятся снегом.

Крепко стянуты эти узлы.
Крепко они соединяют.
Никто не сможет их развязать.
Никто не осмелится.

* * *

Долгий
воскресный псалом авиации.
Застольная песня стольких путников.
Распахнуты ворота всех городов.
Распахнуты дельты рек.
Пронизаны холодом низины севера.

Строители уже прибывают на станцию,
выгружаются из вагонов,
готовятся возводить, отстраивать
снег этого года.

Уже произошел этот слом,
кто-то произнес уже слово зима,
и прогреваются печи,
словно распеваются теноры,
и матери настороженно слушают,
как во сне их дети спорят
с учителями.

Открой нам воздушные коридоры,
открой нам источники нашей силы,
открой ноябрьское небо, как сердце.

И вот отворяется дверь по ту сторону осени.
Вот с улицы входит сухая прохлада.
Так и тебе, странник,
входить из ночи в теплый дом,
вносить за собою пропасть
ожиданий и пересадок.

Предчувствовать в воздухе будущий снег,
как ненаписанный стих.
Предчувствовать слесарную работу
зимы в пустых помещениях
света.

Долго наполнялись влагой
залы ожиданий.
Долго собирались у тепла мужчины,
не добравшиеся домой.
Дети пели песню, из которой рождалась луна.
И всё только начиналось.
Всё только начиналось.

* * *

Просто взять и написать эти несколько предложений.
Словно вместе собрать книги, подаренные и недочитанные.
Словно найти все вещи, что приносились в дом.

Просто взять и собрать вместе слова,
которые всё пояснят.
Сделать наконец поэзию убедительной.

Ты же понимаешь, что это о тебе?
Ты же понимаешь, что это именно о тебе?
Всё безумие этого мира чем-то вызвано,
вся искривленность литературы имеет своих адресатов.
Это я для тебя воюю во сне с китами,
это для тебя влюбляюсь в дома и холмы,
это из-за тебя движутся осенние ватаги диких гусей,
это к тебе апеллируют растения на подоконнике.

Ты же понимаешь, что всё это для того,
чтобы дать тебе возможность не соглашаться,
дать тебе это яростное право не верить,
не видеть очевидного,
не видеть его,
не видеть.

Но так вышло,
что спустя столько времени
я продолжаю, заговаривая с тобой,
делать вот эту паузу, лишь на полмгновения, на глоток воздуха,
на то, чтобы выровнять дыхание, чтобы не задохнуться,
говоря с тобой о беззаботности.

Так получилось, что снова и снова ночью,
выходя в темноту, я придерживаю двери,
так, словно ты идешь за мной.

Понимаешь, что это?
Нежность монет, найденных в карманах куртки,
которую не надевал с прошлой зимы.
Спокойствие людей, просыпающихся в разных городах
и всё равно боящихся разбудить друг друга.
Радость путешествия, которое всякий раз оканчивается.
Архангельское воинство привокзальной площади,
побеждающее дьявола
в воздухе над городом.

И мы будем
раскладывать ноту одиночества на мужские
и женские голоса,
и будут вздыхать о выпущенном из рук воздухе
утопленники наших легких,

и мир, как переведенный текст,
будет вызывать множество замечаний,
будет играть смыслами,
проблёскивать надеждой.

* * *

Я тебя обожаю, Боже, я тебя обожаю.
Это твое умение радостно говорить о наихудшем.
Эта твоя способность заставлять сильных людей
вспоминать о собственной слабости,
искусство делать всех беззащитными
перед искренностью.

Обожаю твою усталость,
заставляющую нас успокаивать друг друга,
обожаю твою легкую иронию учителя,
который знает, что большинство учеников, оставив
класс, никогда в жизни не воспользуется
ни одной из математических формул.
Обожаю твое отсутствие, которое давно
никого не беспокоит.

Обожаю эту разлитость света в утреннем воздухе,
эти наши попытки трактовать речь деревьев,
эту нашу влюбленность в возрождение листвы,
эту нашу упорную науку выбрасывания камней
из речного русла,
его углубления,
укрепления берегов.

Приручать свет, прижимать к груди
сгустки темноты, в надежде на то,
что они засветятся изнутри огнем,
о котором ты говоришь всё время.

Обожаю, Боже, твои институции,
твою Церковь, что держится на нашем нежелании
признать, что ты не существуешь.

Обожаю твоих святителей, которые
проходят по волнам европейских рек,
словно цирковые артисты по битому стеклу,

святителей, которые, обучая смирению,
на самом деле обучили нас поэзии.

Страх, как сюжет, записанный в книгу.
Прощение, которое можно воплотить в слова
благодаря евангелистам.
Обожаю тебя за твою неубедительность.

Горит солнце над обреченным городом.
Горит солнце, стоят пророки.
Оплакивают город, который борется и не сдается.
Оплакивают город, исполненный мужества.
Плачут и не понимают –
откуда столько любви у тех,
кого никогда не любили.

* * *

Были слова, которыми я говорил про людей и про их истории.
Были слова, которыми я называл предметы в детских руках.
Были слова, которыми я пытался объяснить свой страх –
страх перед тишиной, страх путешественника,
которого дома никто не ждет.

А теперь подбираю слова,
которыми можно сказать о расстоянии.
О пространстве отчуждения, о географии забвения.
О том, как люди отдаляются друг от друга,
будто воздушные потоки.
О том, как обрывается выдох
на оркестровой перебивке обиженного сердца.

Подбираю слова в подтверждение того,
как мало значит сказанное нами.
Слова в объяснение того,
как проскальзывает между звуков лисья тень молчания.
Слушаю среди ночи дыхание женщины, словно дыхание времени.
Слушаю и повторяю слова про зависимость и преданность.

Глаз выхватывает стих, будто птицу из черной грамматики неба.
Выхватывает возгласы и вздохи в темноте хрестоматий.
Будь со мной искренней той искренностью,
которой прощаются с преждевременно умершими.

Будь нежной той нежностью,
с которой кормят уличных псов.

Брошенные в мире щедрот, накануне праздников,
брошенные со всей нашей неуступчивостью,
изучаем заново прописи гражданства,
остаемся в этой стране, словно в речи родителей.

Краткий отдых воздуха над теплым материком.
Слово, на которое оборачиваешься в тревожной толпе.
Право дыхания, словно право голоса.
Начало книги, словно начало дождя.

* * *

То были дни, когда солнце
огибало окраины города.
То были дни спокойствия, дни равновесия.
О чем ты думал тогда, король?
Что тебя мучило, что утешало?

Было у меня время, чтобы всё изменить.
Знаки, которые могли предостеречь.
Была женщина, говорившая
словно от имени всех непрощенных.
Говорила, будто срывала бинты
для свежей перевязки.

То были дни, когда солнце стояло над нами,
словно корабль над утопленниками.
Дни, когда мы присягали в верности
липам на тихих дворах.
Дни, когда так важно
было заговорить после молчания,
после обиды – нестерпимой, как пение над покойником.

Это, король, то, что останется от нашей обороны.
То, что забирают с собой люди, оставляя
город, в котором похоронены их семьи.

Тихо теперь, король, на землях, где разгорался твой голос.
Пусто на равнинах, откуда ушли беззаботные дети.

И только луна висит над тобой, как нательный крестик,
потерянный в июльской реке.

И вот она выходит к тебе, и снег ускоряет
утиный свой шаг. Двигайтесь, снега, ускоряйся, сердце.
Одинокий король покидает свои владения.
Дети несут хоругви, женщины устилают
головными платками тебе дорогу.
Погонщики ветра гонят свои стада с побережья.

Нам не будет холодно посреди зимних полей.
Нам будут садиться на плечи птицы, принимая
нас за подсолнухи.
Давай вернемся вслед за солнцем, король,
вернемся домой.

Возводится утро, как дом.
Точится время.
Раскрываются книги.
День за днем прибывает солнце,
день за днем чеканится сердцебиение.
День за днем ясней становится ее почерк,
ближе становится голос,
допустимей молчание.

* * *

Царство небесное, – говорят они о жизни.
О домашнем быте, о времени,
отпущенном для любви.

Царство небесное – они называют
свой вековечный мир, детскую печаль,
сковавшую речь отважных.

Царство небесное – это дышат животные в стойлах,
это глядят на зарю мудрые птицы,
почти члены семьи, –
их и забьют на семейные праздники.

Главное в жизни –
победить страх перед зимой, увидеть

логику в оседании снегов, уловить ритм великой
темноты, которая непременно закончится оттепелью.

Гон высокого неба над низинами –
царство небесное, протоптанное
женской обувью в синих сугробах,
царство небесное в учебниках,
принесенных колядниками из школы,
как хлеб из пекарни.

Лишь поет домашняя птица,
приветствуя собственный отход.
Поет птица, выстывая сердцем
посреди великого перехода зимы.

Нам всем, словно терновым винам, дозревать любовью
к этой земле, к нашему царству,
над которым формируется голосовой аппарат
горизонта.

Великая вера пограничных народов –
желать царства небесного своим умершим,
особенно тем из них, кто ни во что не верил:

отмечать их отход птичьим пением,
отпускать их в глубокие снега, словно в море,
в лодках, нагруженных
горьким слобожанским тёрном...

...Мой отец умер 4 января.
В тот день шел сильный густой снег.
Какое-то время они шли
друг другу
навстречу.

Перевод с украинского – Станислав Бельский

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Е. Е. Климов

Записки художника*

III. ПОЕЗДКА В ИТАЛИЮ – 1934

3 июня 1934 г.

Вспоминаю записи 26-27 мая 1928 г., затем 20 сентября 1929 г. Теперь могу записать, что намеченное мною в 1928 г. живо.

На завтра назначен отъезд в Италию. Что будет – не знаю. Еду туда, как в место, где чувствуются разрешения вопроса о Востоке и Западе. Как будто синтез этот мерещится мне в Венеции. Туда, к истокам, к колыбели, к настоящим и действенным памятникам! Увидеть своими глазами то, чему молился и верил. Учиться и постигать великие произведения.

7 июня 1934 г.

Мимо, скорее мимо, унылые, болотистые, ровные поля Польши. Скорее к горам, к какой-то границе, отделяющей неведомый мир. Варшава, очаг Теодоровичей, всё так хорошо.

Чехия – спокойная и безлюдная (из окна вагона) страна. Поля без конца и мало построек. Язык без гласных, на одних шипящих и гортанных с припеванием.

Начинаются горы. Синева. Италия встречает торжественно и стихийно. Гроза, град, ливень.

8 июня 1934 г. Сиена

Господи! Всё чужое; прекрасное, великое, но чужое. Хожу, как пришелец, подкидыш, и нет никакого слияния с окружающим. Конечно, рано еще, кроме того, устал, не спал три ночи. Прямо бежать отсюда хочется!

А по дороге из Флоренции в Сиену благодать какая! Земля не выдерживает богатства, всё прет «из нутра». А во все стороны виднеются башни городов и замков, удивительные по силуэту и сросшиеся с природой. Было из-за чего воевать Флоренции со Сиеной!

Старик в tratorii, простой, отвечает мне на похвалу картине: «Это

---

* Окончание. Начало см.: НЖ, № 303, 2021.

делал дилетант, il non profondito d'arte» (он не углублял искусство). Где в другой стране найдешь простолюдина, который бы так рассуждал об искусстве?

10 июня 1934 г. Сиена

Лучше стало. 6 часов гулял по окрестностям и зарисовывал. Ходил вокруг Сиены по дорогам и тропинкам. Старался в самой Сиене осмотреть всё самое главное и проникнуть в суть сиенцев, этих особых византийцев. Дуччио, Симоне Мартини, Лоренцетти – это такие восприятия, которых часто не встретишь. Никакие репродукции не в состоянии передать их глубины и торжественного спокойствия. Вся сиенская школа в Пинакотеке – сплошной звук нежных согласованных тонов, ритмичных силуэтов на золотых фонах и сказочных маленьких картин. Отбрасываю несколько неудачных больших картин, остается в целом нечто благородное и очень близкое-родное.

Сама Сиена немного приоткрывается, надо больше ходить, смотреть и отдаваться глазу.

Тоскана, воздух, горы и дали – такой я вас не предполагал! На картинах этой природы нет.

13 июня 1934 г.

Кончаю Сиену. Город камня, узких улиц, свободной толпы и постоянного звона в церквах.

Был сегодня с утра в Оссерванце, в 3-х километрах от Сиены. Дорога шла через виноградники и сады. Не было еще восьми часов утра, как я вошел в церковь; что-то бормотали монахи-францисканцы, церковь была пуста. Видел майолики Луки делла Роббиа и несколько образов сиенских мастеров XV в. На обратном пути шел со мною патер-францисканец. Заговорили (сколько я мог по-итальянски и по-французски) о нашем крае, кто у нас живет, какие конфессии, кто я и пр. Какие главные церкви в Риге? Петра? Ап. Петр же был наместником Христа в Риме. Как в России относятся к Папе? (Я выразил удивление и сказал, что об этом вообще не думают). Очень Папу не любят? А как было бы хорошо, если бы все были с Папой! Любят ли русские Италию, любят ли Муссолини? Знаете ли вы, что Ленин был тут в Оссерванце и оставил свою подпись в 1915 г.? А он был атеист. Почему духовенство в России раболепствует (откуда он это знает!)? «On doit mourir, надо быть твердым» – закончил мой собеседник.

Увидел и услышал я наяву мечты католиков к мировому господству, живущие и поныне.

Попал в церковь Св. Евгения. В первый раз в жизни видел церковь своего святого. Сама по себе церковь мало интересна.

Родной и близкой Сиена всё же мне не стала. Что-то в корне не свое мешает почувствовать дух и основу Сиены. Я говорю о городе.

Живопись сиенская много ближе, и чем древнее, тем ближе. Больше удивляюсь, чем люблю.

14 июня 1934 г. San Gimignano

Город Средних веков, красного и серого камня, 13-ти башен. Башни торчат, как трубы. Подумал о том, а что если бы здесь жить? Нет, не выдержал бы этой каменной коробки. Почему-то вспомнил Изборск. Так же каркают стаи ворон и галок и кружатся вокруг каменных громад. Я хожу мимо, вхожу в дома, смотрю и тихо прохожу дальше. Мимо меня проходит жизнь, я же, как безучастный зритель, в ней не участвую. Жизнь сочувствия во мне не вызывает, чужда она мне.

Совершенно поражен увиденным в церквах. Фрески Б. Гоццолли и Барна да Сиена. Сначала увидел Гоццоли и так его полюбил, как ни одного из виденных мною до сих пор. Хорошее, радостное, свежее, бодрое и живое. Это уже, конечно, не Сиена, тут много другого, но душевно и увлекательно. Гоццолли любить можно. Поражен Барна да Сиена. В нем много от Джотто (хотя его еще не видел), от силы, от земли, от серьезной, убедительной и немного жестокой веры. Так верить и ненавидеть может только сильная и глубокая душа. Всё вместе очень просто, тонко по колориту, хотя колористическая задача не была, конечно, его главной задачей. Всю устремленность он направил на характер внутреннего движения, доведя его в некоторых композициях («Поцелуй Иуды») до исключительной лаконичности.

Старая итальянка в радостях, что пришел к ней в тратторию иностранец, запрыгала около меня козулей, и смешно было, как с ужимками и прыжками старуха подносила мне тарелки и вино. Сама вся в цветной пудре (а лет ей 55 с «гаком») и сладостно улыбается.

От гордости человеческой понаставили вышки.

15 июня 1934 г. Флоренция

Сижу на площади Синьории, в Лоджии. Окружают меня скульптуры Персей Бенвенуто Челлини, Давид, Нептун и др. Как-то необычно, странно. Идет дождь, народ толпится в крытой галерее. Слышны гудки автомобилей, звонки трамваев. Тут же Давид Микеланджело и башня Синьории. Чувствуется большой город. О Сиене и Сан-Джиминиано складываются воспоминания, как о тихих провинциальных городках.

16 июня 1934 г. Флоренция

Первые встречи с городами у меня мало приятны, но потом

осваиваешься. То же самое и с Флоренцией. Тут изобилие искусства. На нашу северную бедность и печаль тут наваливается такой поток искусства, что вначале не можешь опомниться.

Встретился в Уффициях с Ник. Ник. Лоховым[1]. Он был так добр и повел меня по музею. Его объяснения по поводу картин замечательны, видно вживание в суть образов, понимание и углубленное вчувствование. (Запомнил особенно Леонардовское «Поклонение волхвов»). Впервые увидел «Венеру» и «Весну» Боттичелли. Прошел по галерее, чтобы ориентироваться и знать, где что смотреть.

Глаза Ник. Ник. загорелись, когда я начал рассказывать о России, об Изборске и старушке-нянюшке Макаровских[2].

На Monte Miniato встретил закат солнца. Простор и величие далей, стремительные облака и быстро наступивший вечер.

Есть во Флоренции черты сходства с Парижем. Торжественность, столичность, величавость, сознание своего могущества и силы. Тут мозг и разум Возрождения. Тут центр идеи Человека. Может, от этого и вся флорентийская живопись, собственно, группируется вокруг человека?

17 июня 1934 г. Флоренция

Сегодня день, посвященный Микеланджело. Pietà в Диомо, Гробницы Медичей в San Lorenzo и Академия, где Давид (оригинал) и Рабы. Вот что вызывает трепет и слезы, что волнует, как грандиозное и неповторимое событие. Вот он, великий, грохочущий! Камни оживают, забываешь о глыбах, а видишь скованных гигантов. Так вот они, великие! Вот те, кто внесли в мир свои образы и кто зашатал все устои. Не утерпел, погладил фигуры в San Lorenzo и в Академии. «Соприкоснулся» в буквальном смысле.

А Леонардо? Разве замысел «Поклонения волхвов» не гениален? Явление в наш грешный мир Мадонны с младенцем и отношение к ней всего человечества – ведь вот основная мысль. Это глубина таких же масштабов, как Достоевский. Тут-то и переступило Возрождение свой гребень, заглянуло в такие глубины и высоты, что стало страшно и... перестали радоваться.

18 июня 1934 г. Флоренция

Встреча с Н. Н. Лоховым. Редко встречал таких людей. Он в Италии с 1913 г. Писал копии с итальянцев для Музея изящных искусств в Москве. Сам по образованию химик, он еще будучи студентом делал копии в Эрмитаже. Затем ездил в Италию, работал там и привозил в Москву сделанное. Война 1914 застала его за работой в Италии. У него сложилась идея создать галерею живописи, около 150

номеров. Для этого он решил скопировать лучшие произведения итальянского искусства как монументального характера, так и станковые картины. И всё это собрание перевезти в Москву, чтобы там была бы возможность видеть и изучать великие произведения.

Сам Ник. Ник. в разговоре не говорит, а прямо трепещет. Начался спор на тему «искусство для искусства». Н. Н. восстал против этого тезиса во имя общей человечности, идеи целого. По его представлению, есть целый мир и в нем человек, со всеми своими страстями и качествами; художник, сохраняя свою человечность, должен идти и брать большие задачи, не суживая свой мир до пределов профессиональных. Художник должен идти largo, жить со временем, с эпохой, но брать ее возвышенно, идейно. Моральная ответственность лежит на художнике, это теперь не сознается.

20 июня 1934 г. Флоренция

Галерея Питти. Здесь открылись мне портреты Тициана и Тинторетто. Глубина тона, тонкость психологической нюансировки и чарующие сочетания красок. «Мужской портрет» (в сером) Тициана – это жемчужина. В Тициане необыкновенный дар ощущения человека, выделение главной сущности, а язык живописи до того сочный и полный, что вровень с ним никого по живописи поставить нельзя.

Портреты Рафаэля тонки и проникновенны. Но они более декоративны, резки, репрезентативны, в некоторых деталях мелочны. У Тициана же всё – сплошной поток света; золотая атмосфера окутывает человека и съедает все границы. Это чудеса живописи, благородные, гениальные и простые!

23 июня 1934 г. Флоренция

Фра Беато открылся в монастыре San Marco поэтом и мечтателем, нежным лириком. Только здесь можно понять его душу, всё очарование певучести его золотистой гаммы. Это песнь о грёзе, о невозможном, о такой чистоте образов, что малейшие помыслы о земном кажутся здесь непристойными, тяжелыми и невозможными. Беато Анжелико можно любить, им можно мечтать.

Этого сказать о Гирландайо («Тайная вечеря») нельзя. Тут только уважение и сознание произведенной им грандиозной работы.

Парк Boboli – прототип Версаля – всё от человека. Здесь вообще всё так пропитано человеком, что нет простого пейзажа, родного нам, необработанного, говорящего только языком природы. Буквально каждый кусок «очеловечен». Фиезоле – гора под Флоренцией; с нее открывается божественный вид на всю Флоренцию; легко дышать, воздух чистый и мысли ширятся, но писать не могу.

25 июня 1937 г.

Еще один период кончается. Завтра утром покидаю Флоренцию и через Падую и Равенну направляюсь в Венецию.

29 июня 1934 г. Венеция

На месте не удалось записать. Пишу с запозданием.

Равенна останется одним из сильнейших впечатлений всей поездки. Мозаики S. Vitale – такое торжество духа, такое благородство искусства, что надо поражаться мастерам VI в., которые могли достигнуть таких вершин. Зеленые, голубые, бирюзовые и золотые фоны сливаются, горят, ничто не выскакивает, но в общем концерте славят Господа. Это благостные ковры, это вышивание бисером тончайших оттенков. Есть замечательные детали: голубые тени в дереве на мозаике «Троица». В мавзолее Галлы Плацидии всё покрыто бирюзовой мозаикой. Какие-то вьющиеся растения переплетаются с оленями. В окнах вместо стекол тонкие пластинки желтого мрамора. Свет проходит окрашенный и создает как бы окрашенный воздух.

Самый облик города, благородный в своей скромности и слаженности, импонирует. Дома, окрашенные в красные, оранжевые и розовые цвета, создают прекрасные ансамбли. Тихий, провинциальный уклад жизни дополняет мирную картину этого города, благородного в своем достоинстве. Шарманка большая на тележке, запряженная осликом, едет и останавливается на улице под окнами. Мелодичные звуки несутся далеко по тихим улицам.

Падуя останется в памяти, как видение Джотто, видение яркое и звонкое. Молодостью веет от фресок в Капелле на Арене, весною, ярким синим небом. Всё пропитано синим. Всё просто, гениально и велико, и в этой простоте и углубленности – сила гения Джотто. Спокойствие даже в самых драматических сценах, сдержанность и отсутствие ужаса и надрыва. Джотто сохраняет ясность образа и мысли во всех композициях. Кроме Джотто в Падуе ничего не видел.

Были в пути и неприятности – не в тот поезд сели, – они, конечно, забудутся, но в момент их изживания они были неприятны.

Город чудес – так называю я Венецию, так открылась она нам. Роскошная и кружевная, как белая невеста.

3 июля 1934 г. Венеция

Тут конечный этап путешествия, тут пункт, где думал я найти разрешение моих вопросов живописи. Мы ли переросли, изменилось ли многое, но не знаю, вряд ли сейчас можно говорить о «колоритной» венецианской школе – так всё почернело. Портреты Тициана, картины и портреты Веронезе – вот что осталось, остальное всё

черно. Но главное, что почувствовал, что венецианская школа очень заказная; тут забываешь, что художник может чем-то увлечься сам, без заказчика. Как будто здесь всё сделано для других, а не для себя. Тинторетто же в своих полотнах, возможно, делал и для удивления и для поражения толпы. Этот же внутренний холод венецианцев больше всего разочаровывает. Признаешь прекрасные достижения отдельных мастеров, но всех в целом полюбить душою не можешь. Нет, не здесь, в Венеции, разрешение моих мечтаний о Востоке и Западе. Да и могут ли они быть здесь вообще разрешены?

3 июля 1934 г. Киоджа, около Венеции

Тихий рыбачий порт, убогий, далекий. Паруса оранжевые, красные с рисунками, прямо сказка. Город и жители бедны, грязны и детообильны. Дети всюду: рахитичные, грязные, больные. Итальянец-жулик сопровождал нас до ресторана и там получил мзду, как будто он нас туда привел.

6 июля 1934 г. Венеция

Подходит конец Венеции. Все уже устали от путешествия, плохо воспринимаем. Какой же результат «венецианского сидения»? Что дала мне Венеция? Здесь научаешься любить цвет, сохранять его и вводить в воздух. Мастеров любимых мною я почти не видел: ни одного пейзажа Гварди, один только этюд Капалетто. Веронезе и могучий Тициан остались непревзойденными в смысле колорита.

Померкли многие идеалы и кумиры. Сейчас ехать учиться в Венецию, как то делали Суриков и Врубель, нельзя. Другие времена настали. Теперь Равенна, Сиена и вообще раннее Возрождение. Но побывать и писать в Венеции – большая радость. Такого города не увидишь, такой жизни не поймешь по книгам, надо самому видеть и испытать.

Еще один день – и обратно, домой.

13 июля 1934 г. Рига

Снова Рига, всё ушло в воспоминания. Теперь, собственно, должно начаться переживание и осмысливание всего увиденного.

Надо прямо сказать, что передать и почувствовать Италию мне почти не удалось. Вернее, я ее не узнал и не полюбил так, как нужно, взял ее только внешне, не затронув духа. Почти полное отсутствие чистого пейзажа отодвинуло от меня итальянское искусство. Я понял разумом всё величие этого искусства, но сердечность и любовь остались только по отношению к очень малому числу живописцев и художников. В этом, безусловно, крах путешествия. Намеченная мною цель – осознание синтеза Востока и Запада в венецианской

живописи – тоже не получила своего разрешения. Вопрос остался открытым.

Чисто внешние причины создавали не вполне подходящую атмосферу для целей поездки. На дальнейшее урок – в путешествие подобного рода пускайся один или с кем-либо, имеющим те же задания[3].

IV. «СКИТАНИЯ» ПО ПЕЧОРСКОМУ КРАЮ. 1937

16 июня 1937 г.

Эрик Дм.[4] поехал к Лохову[5] учиться и поработать. А меня тянет на природу, в свою, родную область.

29 июня 1937 г. Изборск

Провел 4 дня с экскурсией[6], сблизился с ребятами. Грустно было прощаться. Хорошие души и лица. Юные сердца, увидевшие впервые родную землю. Задор, юмор, смех, юность, порывы сердечные, так прозрачно прикрытые, – всё вместе оставило самое светлое воспоминание.

Оставшись один, как-то не нахожу себе места, работа не клеится. Два дня у Гавр. Ив.[7] Он – издерганный и нервный, боящийся потерять место человек, всё время говорящий, больной и мнительный, но за всем тем – человек добрый, радушный, не слишком умный, но более сердечный; загнанный жизнью и голову свою согнувший под влиянием обстоятельств. Жена его (Зинаида Сергеевна) – полная дама, вносящая в жизнь семьи начало равновесия и спокойствия, – томится деревенским заточением. Девочка Ирочка не по летам развитая, наблюдательная и сознательная.

«Радость в том, чтобы делать радость другим», – прочел где-то.

1 июля 1937 г.

Вчера ходил на озера Любенец и Велье. Северные озера, среди соснового леса. Напоминают наши озера – Белое и Серебряное[8]. Медвежий угол, куда редко забредает человек. Купались, гуляли, но не работали, глаз не пленяется, смотрю и не вижу.

Видел в газете панно Либертса[9] для Парижской выставки. Уродство и безобразие, фальш, безвкусие. Не бахвалясь, должен сказать, что мои маленькие этюды честнее.

2 июля 1937 г.

Ходил на Городач. Тут, по предположению Ал. Ив. [Макаровского][10] была древняя стоянка варягов. Мощь и раздолье.

4 июля 1937 г.

Воскресенье, утро. Деревня Городище. Вчера пришел сюда. Здесь всё по-иному, как новый мир. Речка Пижма, древняя граница Руси и Ливонии, на скате берега построилась деревня, само укрепленное место сейчас распахано и немного дальше, но преданий никаких не сохранилось, только само название деревни говорит о былом.

Люди новые встречаются мне в пути. Обогащаюсь новым опытом. Бодрая, здоровая семья Клавдии Павловны, учительницы, другая семья на мельнице.

Почему плохо у меня было с живописью в Изборске? Удивляться перестал, примелькалось и стало обычным.

Здесь, в Городище, – интимнее. Но жизнь крестьян в большинстве полна диких и грубых обычаев, страшно пьют.

5 июля 1937 г.

День работы. Встречи с людьми разнообразными и любопытными. Язев, Язиха, Плешатый, Анна Ивановна, Юра.

6 июля 1937 г.

Этот край мне ближе, чем Италия.

Писал в избе Плешатого. Господи, как живут! Он сам плотник, насчитал, что в жизни своей 50 изб поставил, не считая клетей, сараев и бань. Старуха недовольна, что старика рисую, – «Помирать будет, что ж там сниматься». Спросил старика, трудно ли избу ставить. «Коли знаешь, так не трудно», – ответил.

8 июля 1937 г.

Под Городищем в лесу стоят три огромных валуна; зовут их «Седельным камнем», т. к. один из них напоминает седло (высота 2 м 20). Ведуны старые, возможно – место древних жертвоприношений, голоса глубокой древности, таинственные знаки земли.

Ходил в деревню Зачернье. Каменный крест в церкви пользуется поклонением. Сейчас в серебряной оправе, местная святыня. Во время крестных ходов носят вокруг церкви, поливают водой, и эта вода считается целебной. Крест будто найден в дупле дерева, стоявшем на этом месте. Это знак, чтобы тут была построена церковь.

Те камни в лесу и этот крест – не одно ли? Вера во что-либо, настоящая и глубокая, помогает. И не исцеляли ли те камни тоже?

10 июля 1937 г.

Видеть свое изображение – есть ли это простая потребность

человека или это уже от культуры городской? Просьба крестьян нарисовать их в праздничном наряде простодушна.

«Время дано нам как капитал. Как капитал можно прожить, так проживается и время», – читаю в журнале.

12 июля 1937 г. Городище

Бабы вчера ходили по деревне с песнями. Получили на водку, подвыпили малость и горланили целый вечер, ходили взад-вперед по «бульвару». С яростью отплясывали и кружились. За ними вослед ходили, слушали и смотрели, любопытничали и смеялись. А бабы репертуар свой повторяли. Язиха рукой помахивала, как истый регент. А молодых в хоре нет.

Встретился с Ваней Бойцовым. Бывают люди, не умеющие носить свое материальное благополучие, которые постоянно как бы извиняются и предупреждают вашу мысль об их достатке. Так есть также люди, выставляющие свою бедность. «Вот к таким бедным и обиженным принадлежу и я», – говорит Ваня. Кто не хранит в себе с достоинством своего положения, тот вызывает скорее отчужденность, чем сострадание.

13 июля 1937 г.

Рассказ о Муравейском. Сын псаломщика, капитан в отставке, физиономия противная, пьет всё что можно. Когда выпьет, то любит изображать отпевание, поет во все гласы. А в жизни циник.

Старуха, что рисую, 96-ти лет, провела весь свой век в Городище, всех своих родных пережила и похоронила. Не любит, когда муж внучки сидит и читает. «Как дурак над книгой сидишь», – говорит ему.

Вспомнил рассказ Гавр. Ив., как в кряковском Культ. просв. обществе был поставлен вопрос о существовании Бога на голосование. Простым большинством голосов было решено, что Бога нет, а потом занесли в протокол: вопрос о существовании Бога решен отрицательно.

Чудеса, прямо рассказ для Зощенко.

15 июля 1937 г. Городище

Один этап пути закончен. Сегодня направляюсь в Обозерье, к новым восприятиям и людям.

Дай Бог материалы, собранные тут, пустить потом в дело.

16 июля 1937 г. Лисьё

Вчера вечером по Пижме доехал. Из-за грозы только в 7 часов вечера выехали из Городища. Баркас гружен лесом и товарами для тор-

говли, везут с печерской ярмарки. Осадка большая, нельзя пройти в некоторых местах. Уверенно ведет Иван Васильевич Кирюхов. Выходим в озеро, подняли парус, обходим мели, делаем большой заезд. Озеро тихо, но отзвуки волн, тихие перекаты чувствуются. Десять часов вечера, и мы плывем довольно скоро. Мерно покачивает. С северо-запада заволакивает большой тучей. Проходим остров Будовиж, там ждут на пристани пароход, который раз в неделю приходит из Юрьева. Стало совсем темно. Месяц клонится к западу и прячется в силуэтах темных деревьев. Круто поворачиваем и берем курс на берег. Смотрю на Кирюхова – крепкий он, как богатырь, улыбается хитро, покажет один зуб и уверенно ведет баркас. Доверяешь ему вполне. А озеро знать надо. Мели, камни. В темноте двигаемся по заливам, через траву. Еще сквозь тучи виднеется отблеск заката и на этом фоне постепенно начинают вырисовываться силуэты построек, деревьев и церкви. Вот, думаю, ворвусь к каким-то неизвестным людям ночью, нарушу течение их жизни. Выходим на берег. Мужчина ждет кого-то. Меня знакомят. Он беспокоится, что кто-то не приехал.

17 июля 1937 г. По Лисью

Сейчас здесь трудная жизнь стала, все, кто могли, ушли на заработки, так как тут всем прожить невозможно. Рыбы нет.

Природа раздольная, водь широкая, псковская. Вот она – псковщина, какою я еще ее не видел.

Люди, меня приютившие, гостеприимные.

18 июля 1937 г.

Лисье, берег озера. Утро. Ни Франция, ни Италия не сравнится с этим берегом. Счастье улыбнулось мне. Как хорошо здесь.

Хозяин с привкусом цинизма в разговоре, не из благостных натур. Евг. Вас. вся издерганная, истеричная дама, хотящая быть молодой. Ее сестра добрее и женственнее, с ней чувствуешь себя легче. Дочь Евг. Вас. – Лиза – вся огонь (вспомнил Л. Белоглазову), замкнутая, чертенок, задор и веселье – словом, полностью оправдываются 17 лет. Другая – Вера – томится сидением на острове, мечтает о танцах, но по части культуры вся семья довольно слабовата. Читают всякую дрянь и в школе сильно обэстонились. Вера говорит: «Я больше эстонка, чем русская, я выросла в Эстонии». Так жаль, что, живя в самом русском месте, интеллигенция наша начинает сдавать национальные позиции.

18 июля 1937 г. Кулье, берег залива, в ожидании перевоза в Колпино

Говорили мне в Городище: «Ничего там в Лисьях нет!» А тут-то я и нашел в пейзаже то, о чем мечтал. Надо будет попасть и в Будовиж.

Наверно, и там хорошо. Ведь Лисье я не променяю на Капри. Когда провожали меня, то прощались, как родные и старые знакомые. Опять перевозил меня Кирюхов. Долго стояли на берегу, махали платками и долго были видны белые пятна платьев. Вступил на берег и жаль стало, что уехал. Пошло болото, увязал, промок и вспотел, и с трудом дошел до твердой почвы. По дороге оборачивался и всё еще видел светлые фигурки. Заедали оводы. По дороге угостили квасом и указали путь на Кулье. Селение отдает казенщиной, волостным местом, видны начала цивилизации, потому скорее хочется прочь, мимо! Хочу мест природных, свежих, далеких от ложной «культуры».

Опять в Колпине ждут меня новые люди и новые места.

19 июля 1937 г. Утро. Колпино

Вчера был день приключений. Промок снизу на болоте, изнутри на дороге, а сверху на озере под проливным дождем. Попутчик мой, Вас. Митр. Сперанский, слегка «под мухой», управляет парусом. Ветер свежий. Отойдя километр, свернули и подняли парус. Бодро рванулись. Волна довольно крупная, а лодка не из очень стойких. Идти надо бейдевиндом. Пространства водные широки.

На востоке поднялась темная туча и закрыла уже четверть небосклона. Надо поворачивать, ветер свежеет и рвет. Снимаем парус и держимся ближе к камышам. Колпино уже видно, но объезжать надо кругом. Не миновать тучи.

Думаю только о том, чтобы не промокли подрамник с бумагой. Прикрываюсь парусом, разуваюсь, так как в лодку набирается вода, и чувствую, как меня хлещет крупными каплями ливня. Промокает всё ужасно. «Не выкачать ли воду?» – спрашиваю. – «Таких случаев не бывает, чтоб от дождя тонули», – успокаивает меня Сперанский. Сидим прижавшись, и его нога греет мою. Бедные мои ботинки, они стоят под открытым небом! Начинает стихать, чуть светлеет и наконец мы можем убрать наш зонтик из паруса. До Колпина еще километра два. Уже издали от церкви веет стариной, правда сильно измененной. Схожу на берег, вид у меня бандитский и в таком образе предстаю пред ясные очи бати и его жены. Для представительства вид не самый подходящий.

19 июля 1937 г. Колпино

Ходил на Шартово. Неинтересно, Лисье величественнее и могучее. Завтра в обратный путь на Городище – Печоры – Изборск. Жаль озера, хорошо оно.

Батя больной, «малохольный», неумный, писарь из семинаристов, стал священником только по невозможности стать кем-либо другим. Она – радушная хозяйка, хлопотунья, наверно, хотела бы иметь детей.

На бате сказалась, по-видимому, любовь его папаши к вину. Походка, разговор, движения – всё развинчено. Молодой, но уже рамоли.

Церковь и снаружи, и внутри сильно пострадала. Только северная и южная стены хранят еще старинную кладку. Сводов нет, столбов нет, потолок прямой. Купол плохого силуэта. Нет хороших икон, кроме Преображения. В архиве ветхие документы. О времени Грозного говорит надпись на колоколе: «Лѣта 7066 года мѣсяца октября в 18 день литы сіи колокола на память Св. Апостола Луки ко храму Преображенія Господа Спаса Нашего Иисуса Христа въ Колпинскѣ, при державѣ Благочестивѣйшаго Царя и Государя Великаго Князя Ивана Васильевича всея Руси и при Архіепископѣ Великаго Новограда и Пскова Пименѣ и при священникѣ Ермолы Васильевѣ сынѣ и при дѣтяхъ боярскихъ Колпинской губы Иванѣ Борисовѣ сынѣ».

Легенды о самом Колпине противоречивы. Пина – по-эстонски собака, кол – три. Будто три собаки гнались за Грозным, но он успел переплыть на лошади. А собаки эти три – это трое противников в Ливонскую войну.

На другом колоколе надпись: «...а дѣлатели мастера Псковичи многогрѣшный рабъ Косма Васильевъ сынъ да Логинъ Семенов сынъ колокольщика изъ великихъ воротъ. Слава свершителю и Всехитрецу Единому Богу. Аминь».

Старик на лодке ехал 75 лет. Ни разу не ездил на «машине». Как отъехали, сын старика, рулевой, снял шапку, перекрестился и уверенно повел лодку через озеро.

20 июля 1937 г. Лес, дорога из Кулья в Верску

Бежать хотелось скорее от бати, какой-то сплин наводил он на меня, да и вся атмосфера какая-то тягучая, невыносимая. В лодку село 8 человек. На два пальца борт выше воды. «Ничего, – говорят, – мы привыкши. С малолетства в лодке.» На руле – сын старика, крепкий, моложавый, а ему уже 40 лет.

Жаль, что такие «бати» в этих коренных русских местах. Теряется уважение к делу, которому они призваны служить. Сушу белье на дороге. Всё снял, всё мокро. Сижу в одном пальто. До Городища еще 6 километров. Жара. Обозерский край – то, что увидел, – прекрасно.

21 июля 1937 г. Мёдово

Вот куда попал, прямо как в сказке! Опять на озере. Прихожу вчера в Городище, пошел мыться на реку, иду в школу за этюдами и вижу: учитель собирается с кем-то в дорогу, – спрашиваю, куда? На озеро, – и зовут меня с собой. Ну, конечно, поехал. Вечер тихий, луна, гладь водная, силуэты островов, теплый безветренный вечер и к 11$^{1}/_{2}$

часам вечера мы на острове Мёдово. Здешний учитель с тонким юмором. Июльский день сегодня, жара. Физиономия моя сильно подгорела. Начал работу с утра, сейчас к вечеру кончил. Хожу босый, чтобы зажили ранки на ноге, но ходить трудно. Бедная пустая деревня.

Обрывы, как в Лисье, может даже еще градиознее.

Прошел месяц моих скитаний. Многих повидал, хорошие места видел. Много грустного, тяжелого, но есть и крепкое, положительное. К грустному причисляю двух батей и в связи с этим и ведомое ими дело.

22 июля 1937 г.

Ходил в Каменку работать. Пустота, только бабы и дети. Избы заколочены. «Беднее нашей жизни нет, наверно, на свете», – говорит мне баба у колодца. «От казны, наверное, будете?» – спрашивают меня. Край заброшенный, угол труднодостижимый. А ведь тут могли бы быть чудесные курортные места, но их, при таком положении, слава Богу, скоро не будет. Тут те же просторы, дали, высокие обрывы и кругом тихая вода.

Один наличник с вырезанным орлом. Есть ли еще где-нибудь подобное украшение? Думал об учителе, почему он такой нервный. «Не печься об утре», – вот один из способов спокойной жизни.

23 июля 1937 г. Городище

Приехал вчера на лодке по тихому озеру и тихой реке, прямо к мельнице. Шли на веслах, на парусе, а потом бичевой. Подсмеивались над скупостью медовского учителя. «С больной головы да на здоровую.»

Иду в Печоры. Ящик и мольберт повезли, так что мне самому легче.

24 июля 1937 г. Изборск

Снова седой, старый Изборск. Какой он большой по сравнению с деревнями Обозерья. Что-то в нем столичное, дородное, городское. А этого не хочется, хочется дальше в глубь, дальше от цивилизации.

Видел вчера на дороге старика в красной рубахе. Что заставляет тут людей тянуться к яркости? Баба покупает ситцы «глазастые», ядреные, чтоб видно было, чтоб «в глаза бросалось». Это мы теперь на серых оттенках играем, а простота душевная просит яри, нас же эта ярь колет. Душевные порывы здесь так же сильны, и просты, и стихийны.

25 июля 1937 г.

Изборск весною пленительней. Сейчас работать тут не могу, возможно, что и усталость дает себя знать.

По рассказам Ал. Ив. [Макаровского], потребности у населения здесь стали высокие, белье, туфли и пр. А теперь началась «велосипедомания». Спросил Ал. Ив. одного из крестьян – зачем ему велосипед-то, получил ответ: «А что, Ал. Ив., разве только одни баре могут кататься?» А человеку, по существу, эта машина совсем и не нужна.

27 июля 1937 г.

Гуга (сын Ал. Ив.) потешный. Мать спрашивает его: «Кто пришел?» – «Не знаю, – говорит, – незнакомый какой-то, с модной прической, в середине выстрижено.» Это Гуга не видал никогда лысины.

Сторож Кондратьич так и не слышал вечером моего стука и того, как я попал, наконец, к себе в комнату.

Грандиозно за озером Дребью, перевалы земли величественные. Писал здесь «Снопы».

«Не удивляй, а очаровывай», – один из заветов певца Александровича. Это верно и в нашем деле живописи.

Сегодня днем разразилась гроза. Надвинулась песчано-серая туча. Мы сидели в гостиной у Ал. Ив. Вдруг блеснула молния светлой струей и сразу же раздался удар огромной силы. «Ну, это тут, где-то близко», – подумали мы. Ал. Ив. перекрестился и повторял: «Царица небесная». Выглянули в окно, но ничего, кроме потоков воды. Через минуты две Мар. Степ. сообщает, что виден дымок. Смотрим в окно, а там уже пылает. Языки пламени вырываются из-под крыши, и в одно мгновение весь хутор Шустрова был в огне, несмотря на сильный дождь. Языки крутились, взвивались и подымали черный столб дыма. Когда дождь немного стих, пошли мы с Ал. Ив. на пожарище. Из сарая тащили обгорелую свинью за задние ноги. Толпа крестьян работала, подавала воду. Тушение больше заключалось в разбирании бревен и растаскивании их по сторонам. За длинный багор держались человек 15-20, зацепили за угол избы и под крики «Раз, два, тянем» рушили горящую избу. Так сохранялись по крайней мере бревна. Загорелся торф и сено. Стихия природы здесь в деревне страшнее и грандиозней. Ни у кого в Изборске нет громоотводов.

29 июля 1937 г.

Был в избе у Мельниковых. Хозяйка гостеприимная, добрая, по всей вероятности. В детях есть что-то тупое.

30 июля 1937 г.

Ходил вчера в Халахальню. Рисовал древний крест у дороги. На обратном пути шел через Молочково, через ряд деревень, через углы и закоулки, мимо удивленных баб и мужиков. Две грозовые тучи нагоня-

ли меня. Двинулся по изборской дороге, гремело по сторонам, спешил. «Дождем схватит», – говорили мне. – «Что поделаешь», – отвечал я и продолжал быстро идти. Тучи как-то странно раздвоились, одна нагоняла слева, а другая изливала потоки справа, посередине же был просвет. Так и дошел я без дождя, а по бокам тучи вылились, рассеялись, гроза прошла, стал прохладный вечер. Прошел за день около 40 километров. Устал к вечеру здорово, т. к. спешил и без передышки быстрым ходом шел пять часов. Всё же весь день вспоминаю с удовольствием.

31 июля 1937 г. Изборск

Познакомился вчера с Ник. Ефр. Андреевым[11], молодым ученым, пишущим по вопросам русского иконописания XVI в. Просматриваю его статьи, интересно. Он приводит следующие тексты:

«Образ есть подобие, списывающее Первообраз». *Иоанн Дамаскин (700–754)*.

«Икона сотворена бывает уподоблением к первообразному или красками или вещию коею первообразному целу сущу.» *Инок Зиновий (XVI в.)*

«Икона несть идол, понеже образ есть живому и пребывающему или живу бывшему некогда. Икона есть образ некоего, имать икона первообразное оно, его же есть образ и несть како нарещи икона Богом, им же икона имать первообразное. Идол же не имать первообразное, сего ради и праздна есть вещь идолы.» *Инок Зиновий (XVI в.)*

Бродил по Изборску. Боже, что за виды! Так привык к ним, как будто они родные.

1 августа 1937 г. Изборск

Завтра снова к озеру. Как-то воспримет Манечка[12] всё обозерское.

Видел снимок проф. Голубинского[13]. Он сделал на нем следующую надпись: «Предоставляя желающим и произволящим быть сторонниками истории тупой и лгущей, я, со своей стороны, есьм горячий почитатель истории настоящей».

5 августа 1937 г. Городище

Ходили вокруг Городища, зашли в деревню Заходы, встретили крестьянку Стёшу. «Что-то от вас воздухом пахнет, так бы и спала с вами.» Это у Кл. Павл. платочек был надушен, так она прельстилась духами.

8-10 августа 1937 г. Будовиж

Опять на озере два дня. Снова раздолье, простор. Вез нас с Манечкой Язев, страшный по виду, лодка текла немилосердно, он

ленился откачивать, предоставляя это делать нам самим. Попали на остров, он меньше и беднее Мёдова. Жители затаеннее, глуше и подозрительнее. Два дня провели в семье Юшкиных, питались только солеными снетками и чаем. Не понимали здешние, что есть художник, который интересуется природой и пр. Спрашивают: «Что-то вы всё беспокоитесь, какие это планы снимаете?» И в полицейском кордоне спрашивают: «Зачем, собственно, сюда приехали?» Атмосфера подозрительного недоверия не из приятных.

Вера, девица лет шестнадцати, с горделивой осанкой, с лоснящейся круглой рожей, везла нас обратно в Городище; Потапов – портной, в разговоре выясняется, что он всё видел; одиннадцатимесячный Угорка, постоянно смеющийся, – вот кто останется в памяти.

Решили тут не задерживаться и ехать в Изборск.

11 августа 1937 г. Изборск

Еще три дня и домой. Последние дни работаю вяло.

12 августа 1937 г.

На островах почувствовал, как все явления культуры и искусства чужды тем людям. Практические вещи – как насосы, шлюи, какие-то пилы – это всё нужно, но картины – нет. Фотография нужна, снимают даже покойников.

14 августа 1937 г. Поезд Валк – Рига

Вспомнил вчерашнюю встречу с Леон. Ив. Парень самонадеянный, высокомерный. Всё «мы» да «мы»! «Мы открыли, мы нашли.» Не очень ему верю. На наивных людей такой апломб, вероятно, действует.

Видел в Печорах монаха-старика Герасима. Заметил на нем что-то вроде вериг. У него жил, оказывается, Ваня Бойцов. Отец Герасим отзывается о нем неодобрительно. «Больше с ним общения желания не имею.»

16 августа 1937 г. Рига

Почти два месяца скитаний кончились. Много хорошего видел, дай Бог применить найденное[14].

А тут свои мелкие дела. Читаешь и видишь, как напоминают люди о себе. Один пускает заметку, что участвует на выставке, где принимают участие выдающиеся русские художники. Другой пускает рекламу о своей победе. Зачем всё это? Так далеко от настоящего искусства.

Вспомнил, как Ал. Ив. показывал мне археологические находки своего края. Вот что держит его в Изборске, это связь с глубинами времени, связь с родной землей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Николай Николаевич Лохов (1872–1948), русский художник, гениальный копиист. О нем см. также запись от 18 июня 1934. Подробнее в кн. «Встречи». – Сс. 62-66.
2. Александр Иванович Макаровский (1888–1958), историк-краевед, в те годы директор русской школы в Изборске. Климов подружился с ним и с его семьей во время своих посещений Изборска. См. очерк Е. Е. Климова о нем в кн. «Встречи». – Сс. 45-49.
3. В Италию Е. Е. Климов поехал вместе с супругой Марией Клементиевной. Сопровождал их также В. И. Синайский, друг по Риге.
4. Эрик Дмитриевич Прэн (1894–1985), художник и искусствовед, друг Климова по Риге.
5. У Н. Н. Лохова Э. Д. Прэн знакомился с технической стороной живописи периода раннего Возрождения.
6. Экскурсия учеников из Русской гимназии в Риге.
7. По всей вероятности, учитель в изборской школе.
8. Озера в Латвии.
9. Либертс Лундольф (1895, Латвия, – 1959, Нью-Йорк), латвийский художник, сценограф. В более ранней записи Е. Е. Климов пишет о Либертсе следующее: «Либерт Лундольф – художник-декоратор, руководитель одного из классов Академии, а также директор Государственной типографии».
10. А. И. Макаровский – см. прим. 2.
11. Историк Николай Ефремович Андреев (1908–1982), в дальнейшем близкий друг Е. Е. Климова. О нем Климов вспоминает в «Записках РАГ». Т. 28 (1997). – Сс. 97-106.
12. Мария Клементиевна Климова (1902–1978), жена Е. Е. Климова.
13. Е. Е. Голубинский (1834–1912), историк Церкви.
14. В 1938 г. Е. Е. Климов опубликовал альбом литографий под названием «По Печорскому краю», во многом основанный на зарисовках 1937 года. Предисловие написал А. И. Макаровский.

Публикация – А. Е. Климов

Владимир Хазан

Переписка Гершона Света с Жозефиной и Лидией Пастернак*

Дружеские отношения скрепляли Гершона Света с четой Пастернак – живописцем Леонидом Осиповичем (1862–1945) и пианисткой Розалией Исидоровной (урожд. Кауфман; 1868–1939), а после смерти обоих – с их дочерьми, Жозефиной (1900–1993) и Лидией (1902–1989). Несколько публикуемых ниже писем из переписки Света с Жозефиной Леонидовной и Лидией Леонидовной не содержат какой-то особо значительной информации, однако они не лишены известного интереса прежде всего с точки зрения той биографической реконструкции, на которую нацелена данная публикация в целом, а также изучения исторического контекста, в котором творческое наследие Пастернака-художника продолжало свое существование после его смерти.

Свет познакомился с Пастернаками в берлинские времена, что нашло отражение в его статье «У Л. О. Пастернака: К открытию его выставки в Берлине», опубликованной в рижской газете «Сегодня»[1]:

Я сижу в светлом просторном ателье Леонида Осиповича Пастернака. Через несколько дней открытие выставки его полотен и рисунков в популярной в Берлине выставочной галерее Гартберга. На столах, полу и стульях громоздятся обрамленные холсты разных размеров. На большом мольберте еще сохнут свежие краски только что специально к выставке законченного портрета берлинского банкира С. с женой и кругом развешаны десятки зарисовок, мечтательно-изящных пастелей и нежно-ласковых акварелей.

Этот 65-летний могикан классической русской живописи, несмотря на свой весьма солидный возраст, бодр и свеж, как юноша. С завидной легкостью и чисто молодой энергией и горячностью он беспрерывно перебрасывает и переставляет с места на место свои часто довольно увесистые картинные рамы и полусерьезно-полунасмешливо жалуется мне на трагикомизм своего положения:

– За последние годы у меня набралось свыше 250 новых работ.

---

* См. также о Гершоне Свете ст.: *Хазан, Владимир*. «Не знаю, знакомо ли Вам мое имя.» Гершон Свет и его корреспонденты. Переписка Гершона Света. – НЖ, № 303, 2021.

Я сам, признаться, не знал, что я столько успел сделать за это время. Я начал приводить в порядок к выставке всё мною написанное, застеклил, обрамил свои вещи и сам ахнул от этого количества полотен, которого я и сам не подозревал. Теперь я в недоумении и не знаю, как выйти из этого положения. По существующей традиции т. н. «коллективных выставок», по условиям размера галереи и, наконец, по чисто практическим соображениям я могу выставить 70-80 вещей, т. е. чуть меньше одной трети всех моих новых работ. Между тем за одну мою поездку по Палестине в 1925 г. (Нужно: 1924. – В. Х.) в экспедиции популярного издателя прекрасной «Жар-Птицы» Александра Когана я сделал около 100 набросков, которые одни могли бы заполнить целую выставку.

В углу на специальном постаменте высится большой масляный портрет яснополянского гения. Пастернак любовно показывает мне этот портрет Толстого, который он только что закончил и с несколькими десятками других зарисовок Толстого посылает в Москву в толстовский музей, подготавливающий сейчас большую толстовскую выставку к осени 1928 г. – столетию со дня рождения Толстого.

Среди этих работ есть один раритет, никогда еще нигде не выставленный и не репродуцированный. Это – зарисовка прихода Толстого к известному русскому философу Федорову в помещении библиотеки Румянцевского музея, где Федоров состоял библиотекарем.

Толстой часто посещал Федорова и тут за библиотечным прилавком вел с ним нескончаемые беседы на религиозно-философские темы. Частым участником этих бесед был также и Владимир Соловьев. Пастернак запечатлел именно такой момент общей беседы. Федоров сурово сидит у библиотечного барьера с обычно заложенными в рукава руками. Сбоку пламенеют горящие, вдохновенные глаза Соловьева, и против обоих задумчиво стоит в мужицком кожухе яснополянский мудрец.

Невольно наш разговор начинает вертеться вокруг имени Толстого, и я задаю Пастернаку естественный вопрос, как это случилось, что Толстой именно ему – тогда еще совсем молодому начинающему художнику-еврею – поручил такую почетную и ответственную работу, как иллюстрирование «Воскресения».

– Еще задолго до «Воскресения», – рассказывает Пастернак, – я иллюстрировал для журнала «Север» «Войну и мир», которую этот журнал давал в качестве приложения. Толстой меня еще тогда лично не знал, но, как мне передавали, он моими иллюстрациями был очень доволен. В 1893 г. на весенней выставке передвижников в Москве была выставлена моя картина «Дебютантка», имевшая очень большой успех.

(Первый мой успех художника выпал несколько раньше на мою картину «Письмо с родины», которая приобретена Третьяковской галереей.)

Эту московскую весеннюю выставку посетил тогда Толстой, и кто-то из коллег меня ему представил. Толстой сказал мне несколько комплиментов по поводу моих картин и иллюстраций к «Войне и миру» и тут же пригласил меня к себе. Летом того же года Толстой пригласил меня снова в Ясную Поляну, и с тех пор мы с женой стали там частыми посетителями.

В 1898 г. Толстой задумал «Воскресение», весь доход с которого был предназначен в пользу духоборов. Во время одного визита в Ясную Поляну Толстой предложил мне взять на себя иллюстрирование «Воскресения», принятого тогда «Нивой» к печатанию. Я переехал на жительство к Толстому и с трепетом принялся за работу. Днем я читал свеженаписанные Толстым страницы, вечером за чаем мы сообща обсуждали характер иллюстраций, а в ночные часы я работал.

Как известно, почти все персонажи «Воскресения» писаны Толстым с живых людей. Когда я показал Льву Николаевичу мои первые этюды Нехлюдова, Толстой удивленно заметил:

– Удивительно… Ваш Нехлюдов на редкость напоминает того, с кого я его списывал.

Толстой работал тогда с поразительной интенсивностью. Издательство «Нива» его сильно торопило, и он почти ежедневно писал целую главу. Таким образом я в течение 6 недель сделал 33 иллюстрации. Меня эта спешка и сознание огромной ответственности взятой на себя задачи до того измотали, что я по окончании работы серьезно заболел.

Толстой был моими иллюстрациями очень доволен и на каждом рисунке ставил мне отметки, как гимназисту. Некоторые мои иллюстрации удостоились пяти с плюсом. Все оригиналы моих иллюстраций к «Воскресению» с толстовскими отметками на них находятся в московском музее. Эти карандашные пометки поныне еще очень хорошо сохранились.

Интересен следующий эпизод: сцену суда Толстой писал под определенным уклоном в сторону сатиры. Он мне это дал понять во время обсуждения плана этой главы, и я в своих иллюстрациях фигуры прокурора, судей и в особенности адвоката слегка каррикатуризировал.

Когда я принес эти рисунки на суд Толстого, он рассмеялся и заметил:

– Вы еще более дерзки, чем я…

Но еще более интересный эпизод произошел с моим рисунком «После экзекуции». Эта глава произвела на меня потрясающее впе-

чатление. Целую ночь напролет я не сомкнул глаз и к утру принес Толстому мой готовый рисунок. Эта иллюстрация тронула Льва Николаевича до слез, и он растроганно жал мне руку и благодарил. Вдруг он схватился за голову и воскликнул:

– Что я наделал, что я наделал!! Я ведь вчера телеграфировал Марксу, чтобы всю эту главу выкинули. Но ничего! Я сейчас же телеграфно распоряжусь, чтоб главу вторично набрали и вставили в роман.

Можете себе представить мое положение. Я энергично запротестовал против изменения желания автора из-за помещения моего рисунка, но Толстой настаивал на своем. В конце концов мы помирились на том, что Толстой телеграфно прибавил несколько строк к предыдущей главе суда и тем сделал возможным помещение моего рисунка.

Это были счастливейшие дни моей жизни, и воспоминания об этих чудесных днях теперь еще живут в моей душе и часто кажутся мне каким-то волшебным сном.

Толстой часто бывал потом у нас в Москве в гостях. Когда впервые появилось трио Чайковского, у нас в доме устроили музыкальный вечер, и моя жена (ученица Лешетицкого[2]) со скрипачом Гржимали[3] и виолончелистом Брандуковым[4] исполнили новое творение Чайковского. Толстой пришел на этот вечер со своими дочерьми Татьяной и Марией и очень внимательно слушал музыку. После концерта мы его – вегетарианца – кормили солеными огурцами и маслинами[5].

Леонид Осипович водит меня дальше по своему ателье и бегло перечисляет те работы свои, которые он окончательно наметил для своей выставки. Тут ряд портретов, много интересных голов (Рахманинов, Шаляпин, Черниховский, Эйнштейн, философ Гершензон, Лев Шестов, вождь сионизма Н. Соколов), много масляных натюрмортов, пастелей, акварелей и графических рисунков. Бросается в глаза уйма палестинских видов, пейзажей и зарисовок с натуры, среди них выделяется по своей яркости и исключительной художественной правдивости прекрасная голова богатой бухарской еврейки.

Совершенно исключительное впечатление по колориту, нежности тонов и какому-то, я бы сказал, религиозно-мистическому налету оставляют пастернаковские виды Иерусалима.

Эта удивительная прозрачность воздуха, эта яркая синева ясного неба и палящая солнечность Святого Града переданы тут с совершенно исключительным мастерством.

В 1927 г. Л. Пастернаку исполнилось 65 лет, и, помимо приведенной, Свет посвятил ему еще статью «Проф. Л. Пастернак: К 65-летию

известного еврейского художника», напечатанную в варшавской идишской газете «Der Moment»[6].

Семидесятилетний пастернаковский юбилей Свет отметил статьей «Леонид Пастернак – иллюстратор Льва Толстого (К его 70-летнему дню рождения)», которая появилась в варшавском идишском журнале «Literarishe blätter»[7] (1932, n. 17, April 22, pp. 267-268). В этой статье упоминалась экспедиция группы художников, организованная и профинансированная издателем А. Э. Коганом, одним из участников которой был Л. Пастернак[8]. Экспедиция, в которую вошли приглашенные А. Э. Коганом еврейские художники из Парижа, Берлина и Нью-Йорка, состоялась весной 1924 г. (у Света, как и в приведенной выше статье, неверно указан 1925-й). Результатом этой экспедиции должна была стать выставка палестинских картин, издание красочных альбомов о Святой Земле и пр. Однако, как пишет автор,

...данные планы не осуществились. Лишь отдельные художники из этой группы выставляли палестинские пейзажи на своих персональных выставках, – этим дело и ограничилось. И только Леонид Пастернак сдержал свое слово. Он сделал во время этого путешествия более 100 эскизов и рисунков, и пять лет назад, к своему 65-летию, выставил все из них в Берлине. И у публики, и у критиков картины получили самый положительный отклик.

Столетний юбилей художника Свет отметил целым рядом статей, опубликованных на разных языках и в разных органах печати: статья «Hatsayar Leonid Pasternak – 100 shana le-huliadto» («Художник Леонид Пастернак – 100 лет со дня рождения») появилась в ивритоязычном нью-йоркском журнале «Hadoar»[9], через несколько дней нью-йоркское «Новое русское слово» напечатало его статью «Леонид Пастернак: (К столетию со дня рождения)»[10], наконец, статью «Памяти Л. Пастернака: К столетию со дня рождения» поместил тель-авивский русскоязычный журнал «Вестник Израиля»[11]. Следует упомянуть еще одну статью, в которой Свет связал отца и сына Пастернаков – Леонида Осиповича и Бориса Леонидовича – в драматический для творческой жизни и судьбы последнего 1958 год[12].

К сожалению, не все письма из эпистолярного диалога Света и дочерей Л. Пастернака сохранились. Так, было еще какое-то письмо Света Лидии Леонидовне относительно ее замечания, сделанного в газете «Times», что отец не был сионистом, и ее ответ ему. В упомянутой выше статье в журнале «Hadoar» Свет рассказывает об этом своем письме к ней, в котором говорилось о том, что в течение 11 лет дружбы с Пастернаком в Берлине он чувствовал в нем одного из тех редких

евреев, кто сохранил в себе национальный дух. «Вы правы, – отвечала она, – но и в России русские люди чувствовали, что он один из них.» Не удалось обнаружить также письмо Света, в котором он перечисляет европейские издательства, в которые имело бы смысл обратиться с предложением об издании мемуарных записок Л. Пастернака (см. публикуемый ниже ответ на него Жозефины Леонидовны (конец июля – начало августа 1963), из которого становится очевидной эта лакуна).

Письма дочерей Пастернака печатаются по современной орфографии по автографам, хранящимся в CAHJP – The Central Archives of the History of the Jewish People. Gershon Svet Coll. (Jerusalem, Israel). – Pp. 360-448-452; письма Света – по автографам, хранящимся в HIA – Hoover Institution Archives on War, Revolution, and Peace (Stanford University, California, USA). Pasternak family papers.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Сегодня». № 286, 18 дек., 1927. – С. 5.

2. Лешетицкий Федор Осипович (Teodor Leszetycki, 1830–1915), польский пианист, композитор, педагог.

3. Гржимали Иван (Ян) Войтехович (Jan Hřimalý, 1844–1915), русский скрипач и музыкальный педагог чешского происхождения.

4. Анатолий Андреевич Брандуков (1856–1930), виолончелист, педагог.

5. Ср. в опубликованных воспоминаниях Л. Пастернака: «В начале 90-х годов Чайковский написал новое трио *На смерть Великого артиста*. Это трио имело большой успех в музыкальных кругах. Лев Николаевич, который избегал появляться в местах, где было много народу, перестал посещать концерты. Ему, как передавали нам Татьяна Львовна и Мария Львовна, очень хотелось послушать в интимном кругу это новое произведение, и мы предложили им устроить это у нас. Играли: фортепиано – моя жена; профессор Гржимали – скрипка; профессор Брандуков – виолончель. Ввиду тесноты нашей небольшой квартиры, были, кроме участников, Толстого и дочерей его, всего лишь 2-3 человека приглашенных. На моей акварели (которую потом лишь по памяти я исполнил) и запечатлен этот вечер, который оказался особенно удачным и в музыкальном отношении, и по доставленному Льву Николаевичу удовольствию. Помню также, что Лев Николаевич у нас поужинал (вегетарианский ужин), и, помню, ему страшно маслины понравились» (*Пастернак, Л. О.* Записи разных лет. – М.: Советский художник, 1973. – Сс. 180-181).

6. «Der Moment». № 129, June 5, 1927. – Pp. 6-7.

7. «Literarishe blätter». № 17, April 22, 1932. – Pp. 267-268.

8. Коган Александр Эдуардович (1878–1949), журналист, редактор-издатель ж. «Солнце России», г. «Копейка». Об этой экспедиции см. подробнее: *Пастернак, Л. О*. Записи разных лет. – Сс. 87-93; *Пастернак, Л. О*. Заметки об искусстве. Переписка / Сост.: Е. Б. и Ел. В. Пастернак; коммент. А. С. Але-

шина [et al.] / Именной указ. Т. Е. Беднякова и Ел. В. Пастернак / Москва: «Азбуковник», 2013. – Сс. 190-192, 597; *Хазан, Владимир*. «...Человек исключительного художественно-издательского формата» (Об Александре Эдуардовиче Когане) // «Лехаим» (Москва), 2007, № 9 (185), сент. – Сс. 91-93; *Weissblei, Gil.* In Search of a New Jewish Art: Leonid Pasternak in Jerusalem // Ars Judaica: The Bar-Ilan Journal of Jewish Art (Bar-Ilan University, Israel) / Ed. Ilia Rodov [et al.] , 2017, vol. 13. – Pp. 91-110.
9. «Hadoar». Vol. XLII, № 21, 1962 (1866), March 23. – Pp. 346-347.
10. «Леонид Пастернак: (К столетию со дня рождения)». – № 17921, 3 апр., 1962. – С. 3.
11. См. о нем ниже, в письмах А. Евзерова (Эйзера) Свету, включенных в настоящую подборку: № 30/31, март-апр. 1962. – Сс. 40-42; см. также прим. 5 к письму Света к Ж. Пастернак от 13 декабря 1960 г. и прим. 1 к письму Л.Пастернак-Слейтер к Свету от 9 октября 1963 года.
12. *Свет, Гершон*. Леонид Пастернак – отец поэта // «Русская мысль», 1958, № 1301, 9 дек. – С. 5.

Переписка Гершона Света

ГЕРШОН СВЕТ – ЖОЗЕФИНЕ ПАСТЕРНАК

Нью-Йорк – Оксфорд
13 декабря 1960[1]

Многоуважаемая Жозефина Леонидовна!

Не знаю, известно ли Вам мое имя. Я жил до 1933-го года в Берлине, там с отцом Вашим и матерью часто встречался, с папой был по-настоящему дружен, писал о нем, о его выставках, он подарил мне свою гравюру Бетховена, с теплой надписью. Она осталась в Иерусалиме, где мы прожили 14 лет[2]. Теперь мы живем в Нью-Йорке, где я обслуживаю ряд газет, состою корреспондентом при Объединенных Нациях и т. п.

В конце недели выезжаем на шесть недель в Европу и Израиль. В воскресенье, 18-го декабря, приедем в Лондон с женой на два-три дня, до среды 21-го декабря, когда вылетим в Мадрид – Ниццу – Рим – Тель-Авив и т. д. В Лондоне мы остановимся в отеле «Моунт Рояль». Очень хотел бы повидать Вас и Вашу сестру, если это возможно. С д[окторо]м Чарльс Пастернак, когда он был тут, мы как-то обменялись письмами[3]. Хотел бы от Вас услышать, что с картинами Вашего отца, остался ли архив его переписки с Бяликом, Черниховским и другими? Я его как-то взял с собой на доклад Вейцмана в Берлине[4],

посадил его рядом со мной у стола прессы, и он в тот вечер сделал ряд чудесных зарисовок Вейцмана[5]. Сохранилось ли всё это? Помню, раз он мне в Берлине позвонил, просил меня с женой прийти к нему на чай, что мы, конечно, с радостью приняли. Мама Ваша в тот день слышала кого-то играть (sic) прелюды Рахманинова по берлинскому радио и сказала мне: я куда лучше их играю, почему меня не приглашают играть по радио? Помню, что я связался с тоже уже покойным певцом Иосифом Шми[д]том[6], и он пытался устроить, чтобы маму пригласили играть по радио. Это было уже в дни прихода Гитлера, мы скоро оставили впопыхах Берлин, и больше я отца Вашего не видел и в связи с ним не был.

Если Вы могли бы приехать в Лондон, чтобы повидаться, – было бы прекрасно. В том или ином случае дайте мне знать в отель «Моунт Рояль», как дело обстоит в этом смысле. Мы в Лондоне задержимся только до среды, так что буду благодарен, если по прибытии найду от Вас весточку[7].

Привет Вам и Вашей сестре
от большого почитателя
и близкого знакомого Ваших покойных родителей
Ваш [далее от руки] Гершон Свет

---

1. Отпечатано на именной почтовой бумаге, с адресом и перечислением членства в организациях и изданий, с которыми сотрудничал:

Gershon Svet
155 East 77th Street
New York 21, N.Y.

Member, United Nations Correspondents Association
Member, Overseas Press Club
Regular Contributor to
Maariv, Tel Aviv
Aufbau, New York
Novoe Russkoe Slovo, New York
Hadoar, New York
Zion Syndicate

2. Как говорилось во вступительной заметке, Свет жил в Иерусалиме с 1935 по 1948 гг.

3. Чарльз (Карл) А. Пастернак (Charles Pasternak; 1930), проф. биохимии Оксфордского университета, директор-основатель Оксфордского международного биомедицинского центра; сын Жозефины и Федора Пастернаков.

4. Хаим Азриэль Вейцман (1874–1952), еврейский политический и государственный деятель, первый президент Израиля, один из лидеров международного сионистского движения, президент Всемирной сионистской организации (1921–1931, 1935–1946).
5. Ср. то же воспоминание, которому Свет придал публичный характер:

Л. О. Пастернака и его жену Р[озалию] И[сидоровну], урожденную Кауфман, я близко знал. В годы моего проживания в Берлине, между 1922 и 1933 гг., я с ними часто встречался, бывал у них на дому.

В те годы Берлин был крупным еврейским центром. Проживали там одно время Бялик, Черниховский, Ровницкий, Бергельсон, Шнеур, часто приезжали на заседания сионистского Акцион-Комитета д-р Вейцман, Нахум Соколов, Леон Моцкин и др. Пастернак с ними встречался, общался, бывал на сионистских собраниях. На одном из них я его посадил рядом с собой у стола печати, и за те сорок минут, в течение которых говорил д-р Хаим Вейцман, он сделал с него ряд набросков карандашом – один лучше другого. (*Свет, Гершон*. Памяти Л. Пастернака (К столетию со дня рождения) // «Вестник Израиля», 1962, № 30/31, март-апр. – С. 40).

Возможно, речь идет о лекции Вейцмана, посвященной политической ситуации в Палестине, которая состоялась 16 июня 1926 г. и проходила в Berliner Philharmonie (см.: Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918–1941 / Hrsg. von Karl Schlögel (et al.). Berlin: Akademie Verlag, 1999. – S. 293).
6. Иосиф (Йозеф) Шмидт (Joseph Schmidt; 1904–1942), еврейский оперный и камерный певец (тенор), кантор, киноактер. См. посвященную ему статью Света «Известный немецкий радиотенор Иосиф Шмидт» (Der Moment (Warsaw), 1932, n 1, January 1).
7. Неизвестно, произошла ли тогда встреча Света с Жозефиной или Лидией Пастернак. Позднее, в мае 1963 г., он навестил их в Оксфорде, где обе жили со своими семьями, и посвятил этому очерк, в котором писал:

Когда я в Оксфорде на вокзале дал шоферу такси адрес, куда я просил меня привезти, он, взглянув, сказал: «О, вы хотите навестить Пастернаков».

Их знают в Оксфорде. Леонид Осипович Пастернак, известный русский художник, иллюстратор «Войны и мира» и «Воскресения» Толстого, скончался в Оксфорде 31 мая 1945 года и там похоронен на еврейском кладбище. В Оксфорде он провел последние шесть лет своей жизни и за эти годы написал много картин и также свою автобиографию, один отрывок из которой был несколько времени назад напечатан в «Новом Журнале». Л[еонид] О[сипович] поселился в Оксфорде в 1939 году, после смерти жены. В Оксфорде живет вот уж свыше 30 лет его дочь Лидия, вышедшая замуж за врача-психиатра д-ра Слейтера.

Л. О. Пастернак оставил Россию в 1921 году. Из-за болезни своей жены он отправился в Берлин и там остался до 1938 года. Вторая дочь его, Жозефина, замужем за банковским деятелем, тоже по фамилии Пастернак. Они жили в Мюнхене. Когда преследования евреев в гитлеровской Германии в 1938 году особенно обострились, Леонид Осипович с женой, пианисткой Розой Кауфман, отправились в Лондон с целью вернуться оттуда в Россию. Дочь Жозефина с мужем и детьми оставили Германию и переселились в Оксфорд, где уже жила ее сестра Лидия.

Незадолго до начала Второй мировой войны умерла в Лондоне Роза Пастернак, и Леонид Осипович сам переехал в Оксфорд и там поселился у своей дочери Лиды. Он имел там просторную студию, в которой работал почти до последних дней своей жизни.

В Англии имя Л[еонида] О[сиповича] как художника было известно уже давно. В 1907 году известный английский коллекционер художественных вещей, брат лорда Д'Абериона, пригласил Л[еонида] О[сиповича] в Лондон для написания портрета его дочери. Портрет, написанный Л[еонидом] О[сиповичем] в предельно короткий срок, оказался таким удачным и произвел такое сильное впечатление на английского коллекционера, что тот предложил Л[еониду] О[сиповичу] оставить Россию и обосноваться в Лондоне, где ему сулили большой успех и высокие гонорары. Леонид Осипович, который тогда был уже довольно известен в России и состоял профессором Московского Училища Живописи и Ваяния, отклонил заманчивое приглашение и вернулся в Россию. Жителем Англии он стал лишь 31 год спустя.

В последние годы своей жизни в Оксфорде Леонид Осипович написал свои мемуары. Особый интерес представляют те 90 страниц его русской рукописи, которые посвящены встречам с Толстым, когда Пастернак иллюстрировал *Воскресение*.

Семья хотела, чтобы мемуары Л[еонида] О[сиповича] прежде всего появились в России. Рукопись уже года два назад была послана Госиздату, но ответа не последовало. В прошлом году был в Англии К. Чуковский. Он посетил Пастернаков, обещая похлопотать в Госиздате об издании рукописи Л[еонида] О[сиповича], но со времени его отъезда прошло больше года, а от него тоже – «ни слуху, ни духу».

В 1924 году Пастернак вместе с группой художников ездил в Палестину, где он написал ряд акварелей и пастелей и сделал много зарисовок в Иерусалиме, Тивериаде, Сафеде. Вместе с портретами Эйнштейна (один портрет Эйнштейна кисти Пастернака находится в университетской библиотеке в Иерусалиме), Гершензона, пианиста Айзнера, Миши Эльмана, художника Германа Штрука это могло бы составить интересную выставку в каком-нибудь музее еврейской живописи в Нью-Йорке, Лондоне или Тель-Авиве и Иерусалиме. Но семья об этом и слышать не хочет. Если будет устроена – сказала мне одна из дочерей в Оксфорде – коллективная выставка всех его

работ, выставим и эти, написанные им в Палестине, как и портреты именитых евреев.

Известна картина Пастернака, на которой изображен визит Толстого в Румянцевскую библиотеку. Толстой сидит в тулупе, рядом с ним Владимир Соловьев, и оба они беседуют с философом Федоровым. Эта замечательная картина находится, если не ошибаюсь, в Третьяковской галерее. В годы пребывания Пастернака в Оксфорде он написал другой вариант этой картины, не менее удачный. И эта картина находится у дочерей в Оксфорде. Картина Пастернака *Толстой за письменным столом*, при свете лампы, известна в России всем любителям живописи. Литографические оттиски этой картины в дореволюционной России украшали стены сотен тысяч жилищ. В Оксфорде Пастернак написал повторные варианты этой и других картин, изображающих Толстого.

Работы Л[еонида] О[сиповича] – портреты его детей, скончавшегося поэта Бориса, проживающего в Москве другого сына, архитектора Александра, портреты его покойной жены, обеих дочерей, зарисовки Шаляпина, Скрябина, Рахманинова, второй вариант известной картины Л[еонида] О[сиповича] *Письмо с родины*, портрет режиссера Гордона Крэга, три зарисовки Ленина, чудесная акварель *Москва зимой*, *Кремль*, ряд натюрмортов, портрет немецкого философа Гариака, зарисовка московского трио (Рахманинов, Брандуков, Могилевский, 1910 г.), зарисовка совместной встречи в 1917 году революционеров Кропоткина, Брешковской, Чайковского, Бурцева и Морозова, портрет бельгийского поэта Эмиля Верхарна, портрет Эйнштейна, играющего на скрипке, удачный набросок Пушкина, виды Одессы и многое другое хранят дочери Пастернака в Оксфорде.

Жозефина Леонидовна привела в порядок рукопись мемуаров отца и всё еще надеется на то, что в Москве сменят гнев на милость и всё же напечатают мемуары Л[еонида] О[сиповича], она уповает на то, что всё то, что имело место вокруг присуждения премии Нобеля покойному Борису Пастернаку, не отразится на судьбе мемуаров его отца. Лидия Осиповна (sic) перевела уже и продолжает переводить произведения брата на английский язык. Она также читает лекции о творчестве Бориса Пастернака, цитируя его стихи в своих переводах (*Свет, Гершон*. У дочерей Леонида Пастернака в Оксфорде // «Новое русское слово», 1963, № 18395, 21 июля. – С. 3).

ГЕРШОН СВЕТ – ЖОЗЕФИНЕ ПАСТЕРНАК

Нью-Йорк – Оксфорд
21 января 1962[1]

Дорогая Жозефина Леонидовна!

Спасибо за открытку, за оттиск главы из рукописи Вашего отца,

за каталог. И оттиск, и каталог я Вам через неделю-другую верну, после того как я оттуда спишу некоторые даты и факты. Картину (Толстой с Федоровым и Соловьевым в библиотеке) мне Леонид Осипович показывал у себя в студии перед выставкой по поводу его 70-летия в 1932-м году. Помню, что я об этой картине писал в статье в «Сегодня»[2] и в других своих статьях. Не помню, писал ли я Вам, что тут, в Филадельфии, имеется немецкий еврей, который обладает коллекцией картин Л[еонида] О[сиповича]. Я давно собираюсь побывать в Филадельфии. Надеюсь, что в будущем месяце сумею это осуществить и повидать эти картины. Потом Вам об этом напишу. Я скоро начну подбирать материал для своей статьи о Л[еониде] О[сиповиче] к столетию со дня его рождения[3]. Как зовут Вашего второго брата и что он (адвокат, ученый, артист, писатель?) делает в России?[4]

Как обстоит дело с выставкой полотен Л[еонида] О[сиповича] тут, в Нью-Йорке? Списались ли Вы с какими-то галереями тут? Я лично считаю, что такая выставка тут может иметь огромный успех и художественный, и материальный. Почему нельзя устроить выставку в Лондоне? Я писал Вам, кажется, что сын покойного Иосифа Гессена Владимир[5], который работает в «Новом русском слове», где и я пишу, продал тут рисунки Бенуа, полученные им от его дочери, на несколько тысяч долларов[6]. Я не спец в этой области, но я уверен, что картины Л[еонида] О[сиповича] тут будут не то что распроданы, а буквально расхватаны. Знаю, что всё это не так просто, что присылка сюда картин – дело накладное, но мне кажется, что это окупится сторицей.

Что с мемуарами Л[еонида] О[сиповича]? Они в рукописи? Собираетесь ли Вы их издать? Попробовали Вы снестись тут с русскими издательствами?[7] Ведь издал же университет в Висконсин три тома Бориса Леонидовича[8] – почему им не издать мемуаров его отца? Переведена эта рукопись и на другие языки? Может, можно ее напечатать главами в «Новом русском слове», а потом издать книгой? Имеете ли Вы русские копии? Если да – можете мне прислать один экземпляр? Я бы тут поговорил в редакции «Нового русского слова» и с редактором[9] и с Н. Н. Мартьяновым, их спецом в издательской области[10]. Они в свое время издали книгу Алданова «Самоубийство», которая хорошо разошлась[11]. Подумываете ли Вы и о немецком издании? Это, по-моему, весьма возможно, так как имя Л[еонида] О[сиповича] там очень известно.

Если можно – пришлите мне портрет отца и снимки с некоторых его картин. У меня где-то имеется его портрет с мамой. В Берлине он мне подарил гравюру своего Бетховена с надписью. Это осталось в Иерусалиме, где в погребе лежит несколько сот моих книг и прочее добро. Надеюсь их еще оттуда вывезти.

Всех Вам благ и сердечный привет.

Ежели всё будет нормально – будем осенью на день-два у Вас в Лондоне.

Ваш [подпись от руки]

Гершон Свет

---

1. Отпечатано на именной почтовой бумаге:

Gershon Svet

155 East 77th Street

New York 21, N.Y.

2. Текст этой статьи, написанный гораздо раньше указываемого Светом 1932 года, приведен выше, во вступительной заметке к данному эпистолярному разделу.

3. О серии статей Света, написанных к 100-летнему юбилею Л. О. Пастернака, см. выше.

4. Александр Леонидович Пастернак (1893–1982), архитектор, действительный член Российской Академии художественных наук.

5. Владимир Иосифович Гессен (1901–1982), журналист. Родился в Царском Селе, окончил петроградское Выборгское коммерческое училище, в 20-е гг. учился в Берлинском университете, где защитил докторскую диссертацию по экономике. С 1933 г. жил в Париже. В годы Второй мировой войны участник движения Сопротивления на юге Франции, см. его книгу «Герои и предатели» (1950). После окончания войны уехал в США, работал в газете «Новое русское слово». Об эмигрантской жизни см. его кн. «В борьбе за жизнь (Записки эмигранта): Петербург – Берлин – Париж – Нью-Йорк» (1974).

6. Речь идет о художнице Анне Александровне Черкесовой (урожд. Бенуа; 1895–1984), старшей дочери А. Н. Бенуа. О том, что в знак благодарности за написанный некролог А. Н. Бенуа она подарила ему «чудеснейшую акварель отца с изображением Фонтенебло», В. И. Гессен поведал в упомянутой книге «В борьбе за жизнь: Записки эмигранта» (Нью-Йорк, 1974. – С. 163).

7. Отдельной книгой мемуары Л. О. Пастернака «Записи разных лет» увидели свет только в 1973 г. в московском издательстве «Советский художник».

8. Свет имеет в виду трехтомник «Сочинений» Бориса Пастернака (под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова; предисл. Жаклин де Пруаяр; вступ. ст. В.Вейдле), вышедший в 1961 г. в издательстве Мичиганского университета (штат Мичиган).

9. Имеется в виду Марк Ефимович Вейнбаум (1890–1973).

10. О Н. Н. Мартьянове см. прим. 11 к письму Света Алданову от 3 апреля 1950 г.

11. *Алданов, М. А.* Самоубийство. – Нью-Йорк: Литературный фонд, 1958.

ЖОЗЕФИНА ПАСТЕРНАК – ГЕРШОНУ СВЕТУ

Оксфорд – Нью-Йорк
23 апреля 1963

Дорогой Mr. Swet,

Очень, очень обрадовались Вашему письму и сообщению, что 25-26-го мая с Божьей помощью будете в Лондоне. Вы, конечно, приедете в Оксфорд, чтобы на папочкины работы посмотреть?! Мы охотно навестим Вас и в Лондоне, но ведь больше смысла Вам сюда приехать, *милости просим*, – и с Оксфордом познакомитесь.

Сообщите, пожалуйста, точный адрес и телефон и время приезда в Лондон.

Au revoir! И счастливого пути.

Ваша Ж. Пастернак

ЖОЗЕФИНА ПАСТЕРНАК – ГЕРШОНУ СВЕТУ

Оксфорд – Нью-Йорк
12 мая 1963

Dear Mr. Swet,

От Вас еще не было известий о дате приезда (вернее, была – неопределенная дата «конец мая»), а хотелось бы знать *точно* (также адрес и номер телефона отеля, в кот[ором] остановитесь в Лондоне), чтобы не разъехаться. Как уже зимой писала Вам, я с детьми и внуками от 8-22 июня буду в Bournemouth у моря (в соседстве с Southampton). Но ведь Вы в последнем письме пишете, что планы изменили и прямо в Лондон направляетесь? А ведь я очень надеюсь, что Вы в Oxford приедете, и прошу быть нашими гостями! Лидочка (сестра) не уезжает в начале июня. Надеюсь, что Вы ответите тотчас же (а может быть, письмо уже в дороге?)! На всякий случай вот наш телефон: Oxford 58744, а сестрин: Oxford 55994.

Заранее радуюсь встрече! Счастливого пути, сердечный привет.

Ваша Ж. Пастернак

ЖОЗЕФИНА ПАСТЕРНАК – ГЕРШОНУ СВЕТУ

Оксфорд – Нью-Йорк
Конец июля – начало августа 1963[1]

Спасибо за письмо и статью в «Новом русском слове»![2] Поищем

блокнот с набросками с Вайцмана, о кот[орых] Вы упоминаете. Отн[осительно] Витгенштейн, Паркет, Беннер[3] и т. д. – подумаем, а также относ[ительно] мемуаров. Работы и у сестры, и у меня – не оберешься. А вот хорошо бы повидаться, как пишете, – в августе, сентябре – ведь переговоры вести, планы делать и т. д. легче устно, чем письменно! Всего, всего хорошего. Серд[ечный] привет также от сестры.

Ваша Ж. Пастернак

---

1. Написано на фотооткрытке – пастернаковской иллюстрации одной из сцен романа Л. Толстого «Воскресение (Пасхальное богослужение)». Датируется приблизительно, по содержанию.

2. Речь идет о статье Света, приведенной в прим. 7 к его письму Ж. Пастернак от 13 декабря 1960 г.

3. По-видимому, в недошедшем до нас письме к Ж. Пастернак Свет советовал обратиться в крупные международные издательские фирмы – Wittgenstein, Parkett, Benner – с предложением об издании мемуарного наследия Леонида Осиповича.

ЛИДИЯ ПАСТЕРНАК-СЛЕЙТЕР – ГЕРШОНУ СВЕТУ

Нью-Хавен – Нью-Йорк
5 августа 1963[1]

German Swet
155 East 77th Street
New York 21
N.Y.

Спасибо за письмо и статью![2] Уже дала 2[-ю] лекцию – одну в Yale, другую – в Ann Arbor. Следующая – 13-го августа – снова в Yale, в 7.30 p.m. (room 115 William Harkness Hall, 100 Wall Street, Summer language school) (в случае, если б Вас это интересовало). В United Nations нас уже водили, спасибо.

Безумно устала, нигде не успеваю толком очухаться. Надеюсь, что удастся повидать Вас в New York'е, но не уверена.

Сердечный привет Вам обоим от всех нас.

Ваша Л. (sic) Slater

---

1. Написано на почтовой карточке. Лидия Леонидовна в это время находилась в США, где прочитала несколько лекций в крупных американских уни-

верситетах. Судя по тому, что она указывает на Summer language school, лекции эти касались не ее основной специальности – биохимии, а скорее – литературы и языка: помимо того, что Лидия Леонидовна сама писала стихи и имела печатные сборники («Перед восходом солнца», 1971 (1-е изд.), 1973 (2-е изд.) и «Вспышки магния», 1974 (1-е изд.), 1975 (2-е изд.)), она выступала в качестве переводчика (в том числе стихов брата) и составителем поэтических антологий: «Fifty Poems Chosen and Translated» (London: Unwin Books, 1963 – 1st ed., 1969 – 2nd ed., 1972 – 3rd ed.) и «Contemporary Russian Poems» (London: Hub Publications Ltd.). Датируется по почтовому штемпелю.

2. См. прим. 2 к предыдущему письму.

ЛИДИЯ ПАСТЕРНАК-СЛЕЙТЕР – ГЕРШОНУ СВЕТУ

Оксфорд – Нью-Йорк
9 октября 1963

Милый Свет,

Сестра уже давным-давно просила меня поблагодарить Вас за присылку Вашей статьи в «Aufbau»[1], – но я всё никак не могу добраться до письма – масса дел, и никакой решительно энергии не осталось. Спасибо и от меня. Жаль только, что Вы о нас такого плохого мнения – не знаю, чем мы это заслужили.

Если бы в папиных мемуарах находилась запись о Толстом и еврее, крестившемся после беседы с ним, – то, конечно, запись эта была бы и в манускрипте сестры. Почему Вы полагаете, что такое упоминание помешало бы напечатанию всего в Москве?.. Во всяком случае, очень интересно мне было узнать об этом эпизоде, спасибо. С сердечным приветом Вам и Вашей супруге, также и от сестры,

Ваша Л. П[астернак-]Slater

P.S. Кстати: в Oxford'е нету еврейского кладбища[2].

---

1. Статья Света «Bei den Pasternaks in Oxford» была опубликована в приложении *Der Zeitgest* к издававшему в Нью-Йорке немецкоязычному еженедельнику *Aufbau* (1963, n 201, 30. August. – S. 15).

2. Реплика, направленная против утверждения Света в его статье «У дочерей Леонида Пастернака в Оксфорде»: «Леонид Осипович Пастернак, известный русский художник, иллюстратор *Войны и мира* и *Воскресения* Толстого, скончался в Оксфорде 31 мая 1945 года и там похоронен на еврейском кладбище» (см. прим. 7 к письму Света к Ж. Пастернак от 13 декабря 1960 г.) и повторенная в его статье «Bei den Pasternaks in Oxford»: «Er starb am 31. Mai

1945, im Alter von 83 Jahren, und ist auf dem jüdischen Friedhof in Oxford begraben».

ЖОЗЕФИНА ПАСТЕРНАК – ГЕРШОНУ СВЕТУ

Оксфорд – Нью-Йорк
Декабрь 1963[1]

С сердечным приветом и наилучшими пожеланиями к Новому Году

от всех Пастернаков

1. Написано на фотооткрытке-репродукции картины Л. Пастернака *View of Mount Carmel* (From the Palestine Series, 1924).

ЖОЗЕФИНА ПАСТЕРНАК – ГЕРШОНУ СВЕТУ

Оксфорд – Нью-Йорк
Рождество 1965[1]

Давно от Вас не было весточки, надеюсь, что все Вы здоровы и благополучны.

Наилучшие пожелания к Новому Году (как время летит!) Вам и дорогой супруге[2].

Привет от *всех наших*!

Ваша

Ж. Пастернак

1. Написано на фотооткрытке – репродукции картины Л. Пастернака «Борис и Александр, дети художника».

2. Смерть жены, которой не стало примерно за год до этого письма, 9 декабря 1964 г. (см. некрологи, помещенные в *Новом русском слове*, 1964, № 18903, 10 дек.), оказала на Света такое сильное воздействие, что он продолжительное время не мог вернуться к прежней жизни и каждодневным занятиям: не находил, в частности, в себе сил писать письма даже близким людям. Этим объясняется, что Жозефина и Лидия ничего не знали о смерти Юдит – см. следующее письмо.

ЖОЗЕФИНА И ЛИДИЯ ПАСТЕРНАК – ГЕРШОНУ СВЕТУ

Оксфорд – Нью-Йорк
8 февраля 1966

J. Pasternak
18 Carey Close
Oxford

Mr. Gershon Svet
155 East 77 Street
New York 21
N.Y. U.S.A.

Дорогой Гершон Самойлович (sic),

Какое грустное Ваше письмо!.. Нет, мы, конечно, ничего о Вашем большом горе не знаем, а то бы давно написали. Но я удивлялась, что от Вас давно не было известий. Примите уверение в нашем искреннем и глубоком соболезновании.

Вы пишете, что будете весною в Европе, – надеемся, что не проедете мимо Англии, не заглянув к нам, – напишите же, пожалуйста, когда Вас ждать – и сколько времени Вы пробудете в Англии.

Мы читали Р. Швейцер – ее книгу на немецком языке[1], не знали, что вышло в «Гранях»,[2] – постараемся достать Ваши «Встречи»[3], наверное, будут очень интересны.

До свиданья!

С сердечным приветом и добрыми пожеланиями

Ваши

Лидия и Жозефина П[астернак]

---

1. Имеется в виду кн.: *Schwetzer, Renate*. Freundschaft mit Boris Pasternak. – Wien, München, Basel: K. Desch, 1963.

2. Позднее был опубликован русский перевод этой книги: *Швейцер, Рената*. Дружба с Борисом Пастернаком. Переписка // «Грани», 1965, № 58. – Сс. 3-90.

3. Г. Свет работал над мемуарной книгой «Встречи», которую, однако, не завершил, не издал, и судьба рукописи которой остается неизвестной.

Публикация – В. Хазан

Е. Дубровина, М. Адамович

«Жизнь промелькнула... и сгорела»

Поэт и музыкант Владимир Верещагин

Как на экране синема
Передо мной горят живые
Полуистлевшего письма
Когда-то строки дорогие.
В. А. Верещагин

СЕМЬЯ ВЕРЕЩАГИНЫХ

29 сентября 1923 года немецкий пароход, отплывающий из Петербурга в Германию через Эстонию, Латвию и Польшу, задерживался в порту на четыре дня. Владимир Александрович Верещагин должен был отплыть на нем к жене, Марии Николаевне Верещагиной-Розовой[1], и пасынку, находящимся в это время в Ревеле. Верещагин нервничал. «Не спал всю ночь и всё прислушивался, не подъехал ли автомобиль, чтобы меня арестовать», – вспоминает он в своих мемуарах[2]. Наконец наступил день отъезда. Провожала его мать, Ольга Ивановна[3], крестила его дрожащей рукой и прижимала к сердцу – знала, что видит сына в последний раз.

Отплытие назначено на двенадцать часов дня, но отправка задерживается до семи вечера. Наконец-то пароход отчаливает от пристани, «почти темно. Петербург тонет в ночном тумане». Последняя остановка на родной земле – Кронштадт, проверка документов. Пронесло. Слегка покачиваясь, пароход уходит в море, «погружаясь в молочный туман». С болью в сердце бросает Владимир Александрович взгляд на тающие вдали очертания города – последний взгляд в прошлое, прощание с детством, с Россией, а впереди – длинная и трудная дорога в неизвестность.

Была теплая осенняя ночь, морской бриз с родных берегов возвращал его в детство. Пассажиры уже давно погрузились в сон, а он всё еще стоял на палубе, вспоминая друзей, оставшихся в России родных, годы учебы, первые сценические выступления и первые голодные дни революции…

Владимир Александрович Верещагин родился 14 октября 1888 года в Петербурге в семье генерал-майора и некогда популярного военного писателя, Александра Васильевича Верещагина (1850–1909). Был он также племянником знаменитого художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина (1842–1904). 14 октября было в семье датой знаменательной: в этот день родился дед его по отцу, предводитель местного дворянства в Череповце, а также брат отца, художник Василий Верещагин. Сын художника, тоже Василий Васильевич, ровесник Владимира Александровича, вспоминал: «Отец мой мало интересовался своими предками и в противоположность своему брату, генералу Александру Васильевичу, не придавал никакого значения тому, что еще его дед был записан в шестую часть дворянской родословной книги, куда вносились лишь старейшие дворянские рода («столбовые дворяне»), могущие доказать минимум пятьсот лет дворянства»[4].

Мать, Ольга Ивановна Старицкая, была музыкантом и привила детям любовь к музыке. С раннего детства Владимир увлекся пением, а младший брат Василий аккомпанировал ему на рояле. Так сложилось, что Василий учился у Глазунова и позднее стал серьезным музыкантом и композитором.

Семья была верующая и «укоренившейся привычкой была ежедневная молитва в Казанском Соборе». Как вспоминает Владимир Верещагин, потом, в 20-х годах, когда исчезли свечи, оставалась им «только одна горячая молитва»[5]. В стихотворении «Пасхальный звон колоколов» он пишет:

Пасхальный звон колоколов
Из храма дальнего несется,
В такую ночь на Божий зов,
Я верю, – счастье отзовется.

Христос Воскрес! Душа молись!
И улетят твои печали.
Какие слезы пролились,
Какие песни прозвучали...

С детства его притягивала сцена. Впервые в семилетнем возрасте попал Владимир в Мариинский театр, где была представлена опера «Руслан и Людмила». Увертюру к опере Глинка написал под впечатлением свадьбы Великой княгини Марии Николаевны, дочери Николая I, и князя Максимилиана Лейхтенбергского, сына Евгения Богарнэ. Опера произвела на мальчика такое сильное впечатление, что ночью у него сделался жар.

В семье была только одна девочка – сестра Ольга, позже – воспитанница Смольного института благородных девиц, первого в Европе образовательного заведения для девочек. Мать и отец проявляли неустанную заботу о детях. Так, Владимир вспоминал: «Для нашего здоровья отец купил дачу в гор. Луга под Петербургом, где мы и проживали безвыездно почти пять лет. Всё раннее детство»[6]. В Луге был небольшой театр, который открывался только летом. В течение сезона в этот театр приглашали известных артистов Императорских театров. Владимир не пропускал ни одного спектакля. И хотя его тянуло к сцене, влечение это не находило отклика у родителей. Не желая огорчать отца, юный Владимир смирился с мыслью, что никогда не станет артистом. Отца Владимир Александрович уважал и боготворил, и ослушаться не смел.

Александр Васильевич Верещагин был не только военным, но и знатоком и любителем русской старины. Он много путешествовал, привозя из поездок всякие любопытные вещицы. В 1900 году во время командировки в Китай он посвятил свободное время розыску китайских древностей, которые и привез с собой в Россию. Вся коллекция была впоследствии приобретена для Русского музея Императора Александра III.

У брата-художника тоже было трое детей, ровесников Владимира, Василия и Ольги. Александр Васильевич часто помогал брату в его подготовке к выставкам, о чем он пишет в своих воспоминаниях «Дома и на войне» (1886). В конце 80-х годов, вернувшись из-за границы, где он содействовал брату в устройстве очередной выставки, Александр Васильевич задумал написать мемуары. За первым успехом последовал ряд книг, которые принесли ему славу писателя. Один известный генерал и военный историк так охарактеризовал способности Александра Васильевича: «Александр Верещагин так же мастерски владеет пером, как его брат Василий – кистью». Перед изданием своей книги «Дома и на войне» Верещагин-старший даже отправился в Ясную Поляну, в усадьбу Льва Толстого, читать ему главы из своей книги. В письме к Стасову Лев Николаевич писал: «Вы не ошиблись о Верещагине. Это именно тот художественный историк войны, которого не было, – поэтический и правдивый. Очень бы желал, чтобы книга эта была напечатана. Он мне очень, очень понравился. Это не художник, а лучше – трезвый, умный и правдивый человек, который много пережил и умеет рассказать хорошо то, что он видел и чувствовал, а это ужасно редко».

Вскоре из Луги семья возвращается в Петербург. Кончается беззаботное детство – Владимира определяют в 3-е Реальное училище. Семья поселяется поблизости, на Лиговке, в то время – пригороде

Петербурга. «Всё училище – от учителей, учеников и сторожей – ходило по струнке», – вспоминает Владимир Александрович. Такая дисциплина была ему не по душе, и по его настоянию мальчика переводят в частную гимназию, принадлежащую известному педагогу и профессору Якову Григорьевичу Гуревичу[7]. Это было одно из ведущих прогрессивных частных средних учебных заведений Петербурга. Гуревич пригласил для преподавания лучшие педагогические кадры. С 1879 года преподавателем древних языков и русской словесности был Иннокентий Анненский. Из известных выпускников гимназии можно назвать будущего композитора Игоря Стравинского, поэта, литературного критика и издателя Сергея Маковского, актера Павла Гайдебурова и других. Интересный факт: одним из внуков Якова Григорьевича Гуревича был известный советский писатель и литературовед Ираклий Андроников[8], сын его дочери Екатерины, а племянником жены – известный философ Иван Александрович Ильин[9].

Так как сестра Ольга воспитывалась в Смольном институте, то навещали ее часто всей дружной семьей. Однако дядю своего, художника Василия Верещагина, Владимир увидел впервые, когда ему было уже десять лет, так как жил дядя, в основном, за границей – то в Париже, то в Мюнхене, или путешествовал по Кавказу, или уезжал в Индию, «редко наведываясь в Петербург». У Василия Васильевича, кроме Александра, было еще два брата, живших в провинции в своих усадьбах. Когда они приезжали, все собирались вместе в доме Александра Васильевича и, по воспоминаниям Владимира, вели нескончаемые беседы, полные интереснейших воспоминаний.

ЮНОСТЬ

Молодого Владимира Верещагина страстно тянуло к пению, и, несмотря на возражения отца, от своей мечты он все-таки не отказался. Первым своим учителем он считал Василия Далматова, директора Суворинской драматической школы[10]. Попутно с «театральными порывами» появилась у него и страсть к сочинительству. В 15 лет Владимира отдали в Пажеский корпус, где он начал писать первые стихи. Серьезное занятие сына поэзией почему-то несказанно обрадовало отца, хотя отзывы знатоков поэзии положительными не были.

Первым слушателем поэта стал историк искусства Владимир Васильевич Стасов, близкий друг отца, часто бывавший в их доме. Верещагин вспоминает в книге «Из далекого прошлого»: «Писал я вначале совсем плохо и мне до сих пор стыдно за себя, что я так мог испытывать терпение милого старика. И что же! Стасов прослушал всё до конца, похвалил и приказал писать стихи». Однако другой критик, Виктор Петрович Буренин, прочитав стихи молодого

Владимира, посоветовал ему впредь не заниматься «пустяками». Все-таки в 1913 году Владимир Верещагин издал свою первую небольшую книжку стихов в Суворинском издательстве «Новое время», о которой Буренин дал, по словам Верещагина, неожиданно «благосклонный отзыв». Книга, однако, осталась неотмеченной читателями. Американский литературовед Вадим Крейд указал на тот факт, что в книге «нет никаких эстетических веяний Серебряного века», что, видимо, явилось причиной ее непопулярности.

Пажеский корпус, где учился Верещагин, находился в красивом здании на Садовой, «швейцар в красной с позументами ливрее, громадный белый зал и приемная, вся увешанная портретами бывших пажей», произвела на Володю впечатление неизгладимое. Из преподавателей навсегда остался в памяти действительный статский советник Рудольф Игнатьевич Менжинский[11]. К тому времени ему было лет 80, и прослужил он в Корпусе более полувека. Рудольф Игнатьевич, представитель старинного польского рода, человеком был добрым и честным, принципов своих придерживался твердо, в среде гражданских и университетских коллег пользовался уважением и даже приобрел репутацию «знающего историка и прогрессивного педагога». Но в истории он, к сожалению, известен тем, что сын его, Вячеслав Менжинский, был начальником ОГПУ в 1926–1934 гг., а после смерти Менжинского его преемником стал Ягода.

На одном из праздников в Корпусе, на который съезжался весь петербургский высший свет, впервые Владимир выступил как певец. Он писал: «Помню: весь белый зал залит светом. Ордена, ленты, дамы в открытых платьях. В первом ряду – Великий князь и генералитет. Пел я романс Denza с виолончелью и дуэт ‘Crucifix’ Фора с камер-пажем баритоном». Впоследствии не раз приходилось Владимиру Александровичу выходить на сцену, но это было уже не в России. Тогда же это был его первый сценический успех.

В 1904 году, после того, как Владимир Верещагин перенес тяжелое воспаление легких, его отправляют на лечение в Италию. В том же году вместе с отцом 16-летний юноша уезжает в Болгарию, посетив по дороге маленький городок Нерви, около Генуи, где в это время находилась мать с больным младшим сыном, Василием. В дороге Верещагины получили страшную весть: 31 марта 1904 года броненосец «Петропавловск» наткнулся у Порт-Артура на японскую мину и затонул. Находившиеся на борту броненосца адмирал С. О. Макаров и брат отца, художник Василий Верещагин, погибли.

В январе 1905 года началась первая русская революция, а в октябре того же года, в день 17-летия Владимира Александровича, осуществилась его мечта – новая поездка за границу. На этот раз –

Париж, Берлин. Как мог он предполагать в те годы, что будет петь на сценах лучших театров Европы!

28 января (10 февраля) 1909 года в семье Верещагиных случилась страшная трагедия: застрелился отец Владимира, Александр Васильевич Верещагин, якобы «вследствие расстройства личных дел». Ему было 58 лет. В своих воспоминаниях Владимир Верещагин о самоубийстве отца не упоминает.

Трагедии семьи на этом не закончились. В 1911 году жена художника, Лидия Васильевна Верещагина-Андреевская, талантливая пианистка, мать троих детей, покончила жизнь самоубийством. (Две его дочери скончались после революции: Анна – в 1917-м, Лидия – в 1930-м). Сын художника, Василий Васильевич (1892–1981), в Гражданскую войну оказался в Чехословакии, где и жил до конца дней своих, издав небольшую книгу воспоминаний о своей семье.

Однако вернемся к Владимиру. Серьезные уроки пения он начал брать в 1910 году у профессора И. С. Томарса, «прекрасного тенора и тонкого музыканта»[12]. У него на квартире раз в неделю устраивались музыкальные вечера, на которых ученики исполняли целые оперы. Уже на второй год обучения Верещагин стал принимать участие в оперных ансамблях. Такую оценку он дает своему голосу: «Голос у меня был небольшой, но, как многие находили, приятного тембра». К концу четвертого года занятий Верещагин уже сделал солидные успехи и мечтал попробовать себя на большой сцене. На прослушивание он отправился с братом Василием к Н. Фигнеру[13], знаменитому в то время певцу и директору Оперного театра Народного дома имени Императора Николая II. В этом театре гастролировали Шаляпин, Собинов, давались спектакли с итальянскими знаменитостями. Исполнением Верещагина Фигнер остался доволен, но молодому певцу не повезло, так как директор вскоре театр покинул.

28 июня 1914 года в Сараево был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, что послужило поводом к началу Первой мировой войны. Война 1914 года застала Владимира Александровича в Гунгербурге, небольшом курортном местечке недалеко от Нарвы, где он проводил лето с матерью и братом. Пришлось срочно вернуться в Петербург. Его назначили на службу в Управление Красного Креста Северного района. За двухлетнюю службу он был награжден знаком Красного Креста. Приблизительно за год до революции Верещагин был назначен помощником уполномоченного передового санитарного отряда им. Великой княгини Елизаветы Федоровны. В годы Гражданской войны он часто встречался с А. Блоком и Н. Гумилевым.

ЭМИГРАЦИЯ

Революцию Владимир Верещагин встретил без радости и, по его выражению, «красного банта не нацепил»; поменяв офицерскую форму на штатскую одежду, стал искать способы выживания. Девятнадцатый и двадцатый годы были для Владимира Александровича самыми тяжелыми. «Отсутствие продуктов и запрещение частной торговли создавали отчаянный голод… Круглые сутки шли расстрелы, и всё население притаилось по своим норам. Ночью по городу носились автомобили с вооруженной до зубов советской опричниной, производившей повальные обыски... Предательство и доносы случались на каждом шагу...», – так вспоминал он это время. Верещагин стал искать пути покинуть Россию и воссоединиться в Ревеле с женой и пасынком.

Мария Николаевна была женщиной образованной, работала учительницей, ближайшей подругой ее была писательница Надежда Александровна Лохвицкая (Тэффи)[14]. Дружба с Тэффи началась еще в России и продолжалась до кончины писательницы в 1952 году. Образ Марии Николаевны Верещагиной-Розовой может вызвать у читателя известные ассоциации с Олечкой Розовой, героиней рассказа Тэффи «Жизнь и воротник». И действительно, странное совпадение фамилий подруги и героини рассказа, этой тихой, «терпеливой жены», бросившей всё в один миг и совершенно перевернувшей свою жизнь, – наталкивает на размышления. Но к моменту написания рассказа (вошедшего в сборник «Тонкая психология», составленный из произведений 1904–11 гг.) Мария Николаевна, 1900 г.р., была еще девочкой. Хотя в нашем случае можно предположить обратное: встретив ее, Тэффи усмехнулась забавному совпадению имен и некоторых подробностей жизни и решила про себя – не случайно всё это... Тонкий наблюдатель «человеческой комедии», она не могла не принять такой знак, ведь «иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти» («Жизнь и воротник»). Мария Николаевна была на двенадцать лет моложе второго мужа. О первом ее браке сведений не сохранилось.

В Германии семья, наконец, воссоединилась. В 1921–1923 гг. Берлин стал одним из культурных центров русской эмиграции. Однако вскоре в стране началась инфляция. Экономический кризис в Германии заставил русских эмигрантов искать новую «русскую столицу». Таким центром становится Париж. Семья Верещагиных переезжает во Францию.

Русская колония в Париже в 1930-х годах, по данным Лиги наций, насчитывала более 175000 человек, включая большой круг литературной диаспоры. Любимым местом встреч культурной элиты стало Le

Dôme Café. Как писал один американский журналист, посетивший кафе в середине 20-х гг.: «Эта группа сосредоточилась на пересечении бульваров Монпарнас и Распейл и <...> состояла исключительно из полупостоянных посетителей, в основном беженцев, мужчин и женщин, которые неизменно писали слово ‘Искусство’ с большой буквы. Место встречи, кафе Le Dôme, стало почти их домом <...> по всей вероятности, это было самое привлекательное место в Париже…»[15]

В Париже Верещагины ведут весьма насыщенный образ жизни. Владимир Александрович с женой попадают в центр культурной жизни, посещают концерты, балеты Дягилева, литературные и музыкальные собрания... Изучая их человеческие и творческие связи, вчитываясь в их простую, кажущуюся приземленной переписку с ярчайшими представителями русской эмиграции того времени, обращаешь внимание именно на тональность этих отношений – их деликатность, искренность и теплоту. Неразобранные и неописанные архивы русской эмиграции XX века хранят до сих пор тайну великой культурной эпохи Русского Зарубежья. Но именно скромное наследие таких его представителей, как чета Верещагиных, восстанавливает подлинную *атмосферу* жизни русских эмигрантов, стиль их взаимоотношений, круг их житейских интересов, их быт, настроения, действительные человеческие переживания и надежды. Всё это уходит в Лету с исчезновением носителей культуры – процесс сколь печальный, столь и естественный. Но трогательные искренние верещагинские переживания, любови-нелюбови, как и легкие их следы, оставленные в той эпохе, – именно это и есть истинное свидетельство о старой русской интеллигенции в изгнании, об их реальной «живой жизни», протекавшей параллельно с творческой. И без такого свидетельства нам сегодня не понять, не оценить адекватно ни высокие интеллектуальные споры «великих», ни жесткие конфликты эпохи.

Верещагины знакомятся и поддерживают постоянную связь с балериной Матильдой Феликсовной Кшесинской (1872–1971)[16], открывшей в Париже в 1929 г. школу танцев. Умерла она, немного не дожив до ста лет. Но даже и в последние годы ее жизни Верещагин не забывал посылать ей поздравительные открытки. Кшесинская отвечала неизменно.

12 июня 1960 г.

...Ваше внимание в день моего юбилея меня несказанно тронуло. Мне так грустно, что я не была дома, – днем я всегда работаю в Студии – когда Вы приходили меня поздравить. Большое и сердечное Вам спасибо. Позвоните как-нибудь, скоро заканчиваю работу в Студии и тогда буду рада Вас видеть.

Сердечный привет,
Ваша Княгиня
М. Романовская-Красинская

8 сент[*ября*] *1962 г.*

Ваша телеграмма меня очень тронула. Сердечное Вам спасибо за поздравления и пожелания ко дню моего 90-летия.

Не сетуйте, что пишу без обращения, но никак не могу припомнить Вашего отчества; простительно, ведь мне девяносто лет.

Шлю мой искренний привет,
Ваша
Княгиня
Романовская-Красинская[17]

Эта переписка из разряда «необязательных» – тем не менее, она продолжается десятилетия; каждый из ее участников трогательно не прерывает череду писем-записочек.

Верещагины имели широкий круг корреспондентов – здесь и Великие князья, и И. Одоевцева, и В. Смоленский[18], и многие другие.

Самым естественным образом Верещагины входят и в круг Ивана Бунина. Конечно же, у нас нет оснований говорить здесь о дружбе писателя с ними. Но между семьями складываются доверительные, деликатные человеческие отношения. Об этом свидетельствует хотя бы такое письмо Ивана Алексеевича:

Exp. Bounine
1, rue J. Offenbach
Paris 16

20.IX.47

Дорогой Владимир Александрович,

Простите, пожалуйста, столь поздний ответ – жара так утомила мое старое сердце, что я еще до сих пор выправляю его всякими каплями, пилюлями[19]. Стихи Ваши прочел уже давно (и передал Надежде Александровне), а вот написать Вам собрался только теперь. И с грустью должен сказать, что если Вы имеете возможность издать их, несмотря на то, что это удовольствие стоит в наши дни очень, очень дорого, Вы не найдете читателей, кроме Ваших друзей: Вы человек талантливый, но уж очень несовременный поэт, ибо стихи Ваши, среди которых есть немало сердечных и хороших в своем роде, веют уже слишком давним чем-то, эпохой Апухтина и

ему подобных, так что, повторяю, успеха Ваша книжка никак не будет иметь.

Сердечно жму Вашу руку,

Ив. Бунин

Что заставляло великого Бунина (не самого ласкового человека) «принимать участие» в столь необязательном сюжете? Казалось бы, можно и вовсе не ответить очередному «второстепенному» поэту, – но Бунин, что очевидно, ценит в Верещагине «первостепенного» *человека* и отечески дает ему правильный совет. Переписка эта не «одноразовая», Буниных и Верещагиных связывают теплые отношения.

8 сент[*ября 1947*]

Дорогие друзья, очень, очень благодарю за добрые чувства, за трогательные стихи. Поправляюсь медленно – поэтому простите, что отвечаю так поздно.

Целую вас.

Ваш Ив. Бунин

Хотя, отдадим себе отчет, в их отношениях несомненно сыграла свою роль и Надежда Тэффи.

В письме Георгию Адамовичу на известие о кончине Тэффи Вера Муромцева-Бунина заметит: «...Тэффи называла свой ‘двор’ – птичьим двором...»[20]. И в этом «птичьем дворе» любимицей была Мария Николаевна Верещагина. Трогательной дружбой, длившейся практически всю жизнь, – при разнице в возрасте в 30 лет! – дорожили обе... Тэффи и Верещагина познакомились еще в России – и не расставались в эмиграции в Париже.

«Дорогой моей радости, свету дней моих закатных, любимому другу моему – Марочке Верещагиной. – Благодарный за многое автор», – напишет Тэффи на своей книге «О нежности» в 1938 году.

А в 1952-м – на «Земной радуге»:

«Марочке и Володе Верещагиным –

Лучшим моим друзьям –

Лучшую часть моего сердца и разума

Любящая навеки – Тэффи»[21]

«Марочка» останется этим «лучшим другом» до конца – она будет душеприказчиком Надежды Александровны и начнет последовательно отстаивать честное имя подруги, правду о ее жизни, – трогательно и самоотверженно борясь со всяческими мифами о великой

насмешнице русской литературы. Тем самым – объективно – сопротивляясь и более мощным мифам о русской эмиграции в XX веке.

ТЭФФИ И СОВЕТСКИЕ ИЗДАТЕЛИ

Известны воспоминания Марии Николаевны о Тэффи, а также ее конфликт с советским литературоведом О. Н. Михайловым[22]. В своем письме, вызванном выходом в СССР в 1971 году книги рассказов Тэффи, Верещагина категорически отрицала предположение Михайлова о том, что Тэффи приняла советское гражданство, а также выступала против описанного исследователем образа своей подруги как эмигрантской «нищенки-страдалицы» (в этом номере журнала публикуем полный текст ее письма).

Нельзя не признать заслуг О. Н. Михайлова, одним из первых начавшего разговор о русской белой эмиграции. И если оглядываться на жестокий советский век в жизни отечественной литературы, то на многие компромиссы можно закрыть глаза: в век тиранов говорят на языке Эзопа, ибо другого нет. Тем не менее, именно в те десятилетия прямых насилия и цензуры были выработаны основные мифы о русской эмиграции, которые исказили ее достойный облик и которые сегодня трудно преодолимы. Потому и написанная история русской культуры XX века, признаемся, нуждается в сильной правке.

Тэффи в Советском Союзе худо-бедно знали – около десяти изданий рассказов писательницы появилось в 1926–1927 годах (тираж – до 40000); ее легкий юмор выдавался за сатиру на врагов-эмигрантов. Сама Тэффи к советским изданиям своих книг относилась как к пиратским: «Сижу и гляжу на эту книгу. Двойное естество у этой книги – она и собственная, и несобственная. Написала я ее сама, а издали ее большевики. <…> таким образом у меня получается прелюбопытная фигура: полезный и приятный враг. Где еще, черт возьми, найдется такое живописное существо? <…> Защиты зарубежному писателю искать негде <…> для ‘Земли и Фабрики’ все мы, эмигрантские писатели, законом не защищенные, являемся чем-то вроде мертвого тела, с которого содрать сапоги сам Бог велел»[23]. Тем не менее, выход рассказов Тэффи в издательстве «Художественная литература», «пробитых» через цензуру Олегом Михайловым, – это было событием для советского книжного мира и для совесткого читателя. Книга дошла и до Парижа.

Предисловие Михайлова вызвало у Марии Николаевны Верещагиной приступ негодования – и решимости действовать. Она отослала Михайлову гневное длинное письмо. Надо признать, что Михайлов позднее включил отрывки из письма Верещагиной в свою статью «Нежный талант» в сборнике «Творчество Тэффи и русский

литературный процесс первой половины XX века» (РАН ИМЛИ, М., 1999). Однако сократил послание – «профессионально», по-советски, убрав факты и доводы, приводимые Верещагиной, – тем самым представив «Марочку» коллегам и неискушенному читателю в образе одной из героинь Тэффи; сокращения исказили истинный смысл слов Верещагиной – как и некоторых ситуаций.

Возражения у Марии Николаевны вызвало, прежде всего, утверждение Михайлова о нуждающейся, голодающей Тэффи. Вторым пунктом своего письма она возражала против того, что Тэффи якобы взяла в последние годы жизни советский паспорт. Михайлов в упомянутой статье косвенно признал ошибку с паспортом: «Мой добрый друг Борис Константинович Зайцев, за две недели до своей кончины, писал из Парижа: ‘<…>между нами, известие о подданстве неверно. Она умерла эмигранткой, после тяжелой сердечной болезни. Во всяк. случ. хорошо, что книжка вышла’». Расставленные О. Н. Михайловым акценты – «хорошо, что книжка вышла» – представляются крайне важными для понимания общей ситуации. Для Михайлова главным было выпустить книгу в свет – представить непросвещенному советскому читателю прозу Тэффи. И неважно, что паспорт Тэффи-эмигрантка не брала, что советскую власть ненавидела и как-то заметила К. Симонову, уговаривавшему ее вернуться: «...боюсь увидеть плакат: ‘Добро пожаловать, товарищ Тэффи!’, а на столбах, которые его поддерживают, будут висеть Зощенко и Ахматова»... Известно и письмо Тэффи И. Бунину (8 января 1948) по поводу его категорического отказа ехать в СССР: «...что Вы потеряли, отказавшись ехать? Что Вы швырнули в рожу советчикам? Миллионы, славу, все блага жизни. И площадь была бы названа сразу Вашим именем, и станция метро, отделанная малахитом, и дача в Крыму, и автомобиль, и слуги. Подумать только! – Писатель, академик, Нобелевская премия – бум на весь мир! И всё швырнули им в рожу. Не знаю другого, способного на такой жест, не вижу (разве я сама, да мне что-то не предлагают, то есть не столько пышности и богатства)»[24]. И так ли уж был важен белоэмигрантке Надежде Лохвицкой выход этой книги? Не впадаем ли мы тут в некоторые иллюзии, определившие магистральный путь исследований литературы эмиграции в СССР, а позднее – в Российской Федерации? Бунин, Алданов, Зайцев, Поплавский, Газданов, Набоков, Тэффи... они вполне успешно состоялись в эмиграции. Их искренняя, щемящая любовь к «отеческим гробам» не помешала им освоиться и выстроить себя в новой реальности. Жизнь в эмиграции органично сочетала ностальгию и борьбу с советской властью как незаконной, сломавшей судьбу. Роман Гуль хорошо описал это состояние: «...я такого *физиологического народолюбия* с ущемлением моей личной свободы никогда

не разделял и не разделяю»; «Не задумываясь, я взял свободу, ибо родина без свободы уж не родина, а свобода без родины, хоть и очень тяжела, м. б. даже страшна, но все-таки – *моя свобода*»[25]. Поэтому и книга «любой ценой», лишь бы в России, была не так уж и нужна эмигрантским писателям, собственно говоря. Этическая цена компромисса считалась слишком высокой. Можно только представить себе реакцию самой Тэффи, прочитай она такую вот заметку в советском журнале «Крокодил» (№ 34, декабрь, 1971) – «Фер-то ке!»:

Летом 1920 года на страницах «Правды» появился фельетон «Ке фер?» <…> Фельетон был перепечатан из парижской белогвардейской газеты «Последние новости». В предисловии «Правды» говорилось, что «фельетон чрезвычайно выпукло рисует настроения буржуазных беженцев, удирающих от русского пролетариата под сень международного капитала». Принадлежал фельетон «Ке фер?» Надежде Бучинской, известному автору юмористических рассказов, которые она подписывала псевдонимом Тэффи. Волею судьбы она сама оказалась в эмиграции. Тэффи провела в Париже тридцать тяжелых лет. Вместо беззаботного юмора – горькая сатира на эмигрантское житье-бытье, мрачное одиночество, нужда... / За несколько дней до смерти писательница приняла советское гражданство... Недавно в издательстве «Художественная литетратура» вышла книга ее рассказов. Читатель найдет в ней произведения, написанные и на родине, и на чужбине.

Между тем как для советского интеллигента этот текст лишь сигнализировал: вышла книга Тэффи, надо читать! Да, два мира, два целеобразования...

Будучи лицом доверенным, подругой близкой и, в силу возраста, верной надежной помощницей и душеприказчицей, Верещагина, как никто в окружении писательницы, знала истину и о доходах Тэффи. И об образе жизни, и о прочности ее быта. Стоит почитать письмо целиком, без купюр, чтобы убедиться в правоте «Марочки», как называла ее Тэффи. Посылки от поклонников и американского Литфонда, денежные переводы, пенсии и гранты – всё было, скромно – но без голодания. Парижский миллионер и филантроп С. Атран, до кончины в 1951 году, выплачивал Надежде Александровне небольшую пожизненную пенсию. За каждую книгу с ее дарственной надписью, которую Тэффи по договоренности посылала Адрею Седыху для распространения, платили от 25 до 50 долларов... Подсчеты «Марочки» в письме не бессмысленны. Это – факты, опираясь на которые исследователь может восстановить жизнь и самоощущение писателя и условия, в которых он творил. Это те артефакты, которые помогают восстановить истину.

Михайлов в своем исследовании опирался на тексты прошений Тэффи в различные фонды – не имея возможности увидеть и понять правильно механизмы, регулирующие действительную жизнь Зарубежной России. Совдеповский миф о «рыдающем эмигранте», предавшем родину и мечтающем искупить вину и вернуться, в интерпретации Михайлова невольно трансформировался в «миф о ностальгии», «миф о чемодане», на котором сидел эмигрант в ожидании момента возвращения. Нет, конечно же, Михайлов не воспринимал эмигранта как врага, но идею ностальгирующего «страдающего сердца» вполне разделял. И этот миф сегодня также доминирует в российской исследовательской мысли.

Миф вообще – сложная, трудно разрушаемая система представлений; он обладает абсолютной аксиологической непреложностью. И лучше не заниматься мифотворчеством. Факты. Факты. Верещагина со своим педантизмом просто раздражала. Михайлов пишет: «В сердцах я написал своему парижскому другу штабс-капитану Российского Общевоинского Союза А. А. Сионскому (с которым познакомился, разумеется, по переписке): ‘Да объясните хоть Вы этой дуре: чтобы пробить книгу Тэффи, я обходил с шапкой К. Чуковского, А. Твардовского и других литературных генералов. И что рукопись лежала в издательстве без движения целых четыре года!’». Да, всё так. Михайлов «пробил» книгу – жившие и «бившиеся» в СССР знают, чего это ему стоило. Но, как почти всё в споре эмиграции и «метрополии», здесь интересен не конфликт, а его первопричины. Здесь столкнулись два менталитета, два нарратива, отточенные весьма непростыми и разными судьбами и жестоким временем. Две модели жизни. На чьей стороне правда?.. Русский XX век так тяжел, что судить кого-то – самому впасть в соблазн.

Когда русские дипийцы послевоенной волны попали в США, белоэмигранты называли их «советскими» – они действительно были взращены Советами и не знали – не понимали – многого из того, чем дорожила первая волна этого бесконечного океана русского изгойства. Но первые – постарались понять их и принять. Вторые – научиться и сделать своим то, что ценили первые. Их судьбы соединились.

Гораздо драматичнее складывались взаимоотношения диаспоры и советской «метрополии». Взаимное непонимание эмигрантов и «советских» в СССР, в котором ни те, ни другие лично повинны не были, – это зияющая пропасть, и это, кстати, – еще одно реальное обвинение советской системе, разорвавшей русскую культуру на куски, погрузившей ее в непреодолимую трагедию. Это – приговор.

Вот и получается, что в реальной истории русской культуры позволительно одному назвать свою корреспондентку «дурой» и обнаро-

довать это в статье, другой – написать: «Многоуважаемый господин М.»... Верещагина со всей своей женской щепетильностью и педантизмом скрупулезно отчитывает: что это Вы такое говорите, голубчик, как можно не считать эти пять долларов? – нельзя не считать: это люди от себя отрывали, с любовью дарили, а не по корысти, – откуда же одиночество и заброшенность?.. Тесный круг друзей, единомышленников, людей чувствующих друг друга и ценящих эту дружбу, вместе переживающих невзгоды и радости, – независимо от степени славы или признания одного или другого, будь то нобелиат Бунин или Марочка Верещагина... В этом нам открывается истинная атмосфера жизни тех людей, полная достоинства и уважения, *самодостаточная* жизнь русской Франции. И чета Верещагиных была воплощением такого стиля отношений. Мария Николаевна до последней минуты не оставила Надежду Александровну – может, та заменила ей мать, потерянную в изгнании? Уж точно – Тэффи стала членом семьи Верещагиных. Это она, «Марочка», стояла у смертного ложа Тэффи, она готовила ее во гроб, призывала ее дочь из Англии, собирала ее вещи, освобождая опустевшую ее комнату для новых жильцов... Жизнь продолжалась. И до конца дней своих Мария Николаевна Верещагина берегла и яростно отстаивала правду о жизни своей знаменитой подруги.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. А. ВЕРЕЩАГИНА

Да, Владимир Александрович и Мария Николаевна Верещагины прожили долгую жизнь, насыщенную и деятельную. Каждый – на своем поприще. Мария Николаевна жила друзьями, семьей; преподавала, иногда пописывала. Она участвовала в работе Союза русских писателей и журналистов, помогала в проведении вечеров, преподавала русский язык. Владимир Александрович занимался музыкой и продолжал писать стихи.

В. А. Верещагин вошел в состав Союза русских писателей и журналистов, созданный в 1920 году; первым председателем Союза стал Иван Бунин. Принимал Верещагин участие и в работе Союза русских дворян, Общества охранения русских культурных ценностей, Общества любителей русской военной старины и др.

Среди музыкантов-поэтов можно назвать американских композиторов Владимира Дукельского (Вернон Дюк)[26], Александра Корона[27] и Игоря Астрова[28] (ученика Прокофьева), пианистов – Всеволода Пастухова[29] и Ивана Умова[30], жившего в Египте, и – Верещагина.

В 1925 году вместе с музыкантом, дирижером и композитором Алексеем Михайловичем Труненко В. А. Верещагин создает в Париже вокальный мужской квартет им. М. П. Мусоргского[31]. Уже первое его выступление принесло успех. Оно состоялось 12 декабря 1925 года – в

программе были произведения Балакирева, Даргомыжского, Баха, Шопена. Сначала квартет гастролирует в Париже.

В том же 1925-м композитор и дирижер Н. Черепнин[32] открывает в Париже Русскую консерваторию, в зале которой Верещагин и его Квартет им. Мусоргского часто дают концерты. Выступления проходят при переполненном зале.

1926 год. Верещагин выступает на еженедельных субботниках русского артистического сообщества, которые проходят в Тургеневском салоне на рю Пигаль. Здесь всегда царит душевная атмосфера, а проходящие концерты пользуются большой популярностью у публики. После концерта гости могли побеседовать с исполнителями за чашкой чая из русского самовара. 28 февраля 1926 года в этом же зале был проведен семейный бал-маскарад, на который в русском костюме приехала известная французская певица Полина Виардо. Как отмечает газета «Возрождение», «В музыкальном отделении громадный успех имел квартет имени Мусоргского, и шумные аплодисменты выпали на долю певцов В. Верещагина и Г. Захарова»[33].

В течение 1927 года квартет с успехом принимал участие в «ревю» театра Фоли-Бержер, одного из самых популярных и старейших кабаре Парижа. Художник Эдуард Мане посвятил Фоли-Бержер одну из своих известных работ «Бар в Фоли-Бержер», написанную в 1881 году. Пика популярности театр достиг в межвоенный период, когда он стал славиться своими экстравагантными костюмами в стиле арт-деко. На его сцене выступала джазовая певица и танцовщица Жозефина Бейкер, завоевавшая среди зрителей прозвище «черная жемчужина»; бывали там и писательница Сидони Габриэль Колетт, актеры Морис Шевалье, Чарли Чаплин и Жан Габен...

Вскоре квартет Мусоргского отправляется на гастроли в Европу. В том же 1927 году квартет совершает турне по Бельгии. Первые выступления перед брюссельской публикой прошли с большим успехом и были тепло отмечены местной прессой. Дальше путь лежал в Антверпен и Лондон. По возвращении из турне музыканты играли на летних курортах Франции.

В 1929 году Владимир Верещагин вместе с квартетом пел в одном из модных тогда кабаре в Лондоне. Эта поездка была для него особенно примечательна. Однажды, услышав русское пение, за кулисы пришел Федор Шаляпин. Узнав, что в зале находится великий артист, присутствующие заволновались. «А было их в зале в этот вечер немало: принц Уэльский, будущий король Георг VI с женой, принцессой Елизаветой, и многие представители лондонского высшего общества», – вспоминает Владимир Александрович.

После представления все участники квартета и Шаляпин перешли в отдельный салон, где «полилось шампанское, а с ним и песни».

В Амстердаме, где проходила «Русская Неделя», квартет Верещагина дал несколько концертов. Там же Верещагин еще раз с восхищением прослушал «Бориса Годунова» с Шаляпиным в главной партии. «Много раз я видел и слышал ‘Бориса’, но так близко, как в тот вечер, еще не приходилось никогда… Незабываемое чудесное видение», – пишет Верещагин в своих воспоминаниях. В последний раз он встретил Федора Ивановича на Больших Бульварах в Париже...

Квартет Мусоргского просуществовал до 1930 года. В 1931-м В.Верещагин, А. Труненко и Г. Глебов создают «Квартет бояр». Первое выступление проходит в малом зале Русской оперы. В концерте принимали участие известные исполнители цыганских песен – Настя Полякова[34], Ю. Морфесси[35] и Ж. Гулеско[36]. Часто выступает Верещагин и в ресторанах с ансамблем цыган, дает сольные концерты. Публика любила Верещагина, каждое выступление проходило с большим успехом.

После войны Верещагин продолжал писать, выступать с докладами. В 1951 г. он вошел в комитет по организации чествования Б. К. Зайцева, в 1954-м – В. Ф. Зеелера[37]. Вторая книга его поэзии «Стихи» вышла в 1955 году. В «Словаре поэтов Русского Зарубежья» В. Крейд писал: «Его единственная эмигрантская поэтическая книга ‘Стихи’, включавшая 24 стихотворения, – тоже в своем роде мемуарная: это цикл легких и изящных миниатюр, ретроспективных по своей направленности»[38]. Поэт разослал книгу друзьям: Ирине Одоевцевой, Владимиру Смоленскому, Ивану Бунину и другим. В прессе книга отклика не нашла, как и предрекал Бунин. Однако на стихи Верещагина писались романсы – композиторами Федором Андреевичем Евсеевским и Георгием Сергеевичем Сериковым. На его стихи написаны романсы «Расцвели хризантемы», «Вы только мой каприз», «Черемуха» (музыка Л. Дризо) и множество других. Самым известным стал романс, написанный Львом Яковлевичем Дризо[39], «Уйди, совсем уйди...» (стихи эти часто неправильно приписывают художнику Василию Верещагину, дяде поэта):

Уйди, совсем уйди... Я не хочу свиданий,
Свиданий без любви и ласковых речей.
Еще душа моя полна воспоминаний
О прежних днях любви златой весны моей!

Теперь тебе другая дороже и милее,
И ей ты отдаешь и ласки, и мечты.
А я совсем одна, едва собой владея
И так же всё любя… О, если б понял ты!

Когда душа полна тревогою дневною,
Когда в мечтах моих далеко от тебя,
Когда любовь моя мне кажется смешною,
Мне жаль своих надежд, желаний и себя.

Но в поздний час ночной, когда сильнее муки,
Когда кругом всё спит в безмолвной тишине,
К тебе в немой тоске протягивая руки,
Я плачу и зову: «Вернись, вернись ко мне!»

Сочетание дара музыканта и поэта – явление нередкое; по сути своей музыка и поэзия не могут существовать друг без друга. Белинский писал: «Музыка – душа поэзии, проясняет и открывает ее. Она делает поэтическое слово более глубоким по смыслу и более легким по восприятию. Дух музыки в эмоциональном аспекте – творческая воля, побуждающая одаренных людей создавать состояние звучаний и оформлять их, как свое мировоззрение». Поэту, как и музыканту, дан редкий талант – уловить таинственное звучание мира и отразить услышанное словами или нотными знаками, передать с их помощью ритм и музыку природы, ее дыхание или просто состояние собственной души. Такое музыкальное начало присутствовало и в поэзии Владимира Верещагина. Именно поэтому стихи его так легко перекладываются на музыку.

Начиная с 1955 года Верещагин печатал стихи и воспоминания о Великих князьях Гавриириле Константиновиче и Константине Константиновиче, а также о Зеелере, Зилоти[40] и др. в парижском журнале «Возрождение», с которым он сотрудничал. В 1955-м он временно замещал заболевшего Г. А. Мейера[41] на должности редактора журнала «Возрождение». В ноябре того же года в журнале появилось следующее объявление: «Вследствие болезни Г.А. Мейера издательство просит адресовать письма и статьи на имя Владимира Александровича Верещагина» (№ 47. С. 4); однако уже в марте 1956-го (№ 51) статьи приходили на имя нового секретаря редакции И. К. Мартыновского-Опишни[42].

Когда В. Верещагину было уже 80 лет, он издал книгу воспоминаний «Из далекого прошлого» (1968), которая охватила, к сожалению, только его доэмигрантский период. В этой книге он повествует о жизни его семьи в царской России, о встречах с Шаляпиным, Репиным, Н. Фигнер и многими другими литературными, музыкальными, политическими и государственными деятелями, а также вспоминает годы Первой мировой войны, времена Красного террора. Кроме членства в действующем в межвоенный период Союзе русских

писателей и журналистов в Париже, постоянные контакты, судя по всему, были у Верещагина с «Возрождением» и с «Русской мыслью». Так, в корреспонденции от 22 апреля 1977 года читаем: «Редакция ‘Русской мысли’ устроила прием по случаю своего 30-летия. Присутствовали около 120 человек, среди которых были: один из основателей газеты С. А. Посохов, В. Верещагин, И. Одоевцева, Е. Каннак, П. М. Михалевский, В. В. Вейдле, Н. В. Лосский, В. Авьерино, Доминик, М. Геллер, А. Лишке, В. Некрасов, Жорж Нива, М. Федоров, С. Оболенский, Н. Б. и А. В. Соллогубы и многие другие» (РМ, 28.04.77, № 3149).

Однако главным для Верещагина оставалась его музыкальная деятельность. В 1976 году на собрании Русского музыкального общества он был избран членом правления и почетным вице-президентом (и позднее неоднократно переизбирался в этой должности, о чем свидетельствуют отчеты с заседаний 1979–1980 гг.). 12 ноября 1978 года Русское музыкальное общество и Консерватория им. С. В. Рахманинова отмечали 90-летие Владимира Александровича Верещагина, своего почетного вице-председателя. Вступительное слово было предоставлено председателю РМО Максиму Евграфовичу Ковалевскому. Оперный певец Григорий Евгеньевич Гришин прочел биографию юбиляра и спел романсы Федора Андреевича Евсеевского и Георгия Сергеевича Серикова на слова Верещагина, певица Галина Николаевна Григорьева читала стихи юбиляра. Сам Верещагин выступил с чтением своих рассказов-воспоминаний (РМ, 02.11.78, № 3228; 23.11.78, № 3231; 07.12.78, № 3233).

Владимир Александрович Верещагин скончался в Париже 3 августа 1981 года. Жена его, Мария Николаевна, пережила мужа на семь лет, она умерла 27 мая 1988 года. Могилы их находятся на кладбище в Булонь-Бийанкуре в пригороде Парижа. 3 августа 1981 года в газете «Русская мысль», одним из основателей которой он был, появилось следующее объявление: «На 93 году жизни скончался Владимир Александрович Верещагин, член Союза русских писателей и журналистов в Париже, основатель вокального квартета им. Мусорского, почетный председатель РМОЗ»[43] (06.08.81 № 3372). Скупые слова, а за ними стоит судьба человека, имя которого ушло в забвение, стерлось временем. Владимир Александрович Верещагин прожил долгую и плодотворную жизнь, внеся большой вклад в культуру диаспоры русского Парижа. Рука об руку чета Верещагиных прошла извилистыми путями беженства, вживания в чужую страну и культуру – и представила образ живого Русского Зарубежья. Без мифов и ретуши – во всем его очаровании.

Сеанс окончен. В зале тьма,
Всё замолчало, опустело,
Как на экране синема,
Жизнь промелькнула… и сгорела.

В. Верещагин

Ниже мы публикуем письма В. А. Верещагину от Петра Краснова и Иосифа Штримера, статью-некролог «Тэффи» В. А. Верещагина, а также письмо М. Н. Верещагиной к О. Михайлову. Тексты печатаются по современной пунктуации и орфографии, с сохранением отдельных орфографических особенностей оригиналов. Благодарим Bakhmeteff Archive, The Rare Book & Manuscript Library (Columbia University) и Российский государственный архив литературы и искусства за предоставленные материалы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Девичья фамилия Розова (1900–1988), в эмиграции работала преподавателем русского языка.
2. *Верещагин, Владимир*. Из далекого прошлого / Париж. 1969.
3. Ольга Ивановна Верещагина (Старицкая, 1846–1940), мать В. А. Верещагина.
4. *Верещагин, В. В*. Воспоминания сына художника / М.: «Художник РСФСР». 1978.
5. Судьба брата Василия Александровича Верещагина после революции неизвестна. Сестра Ольга вышла замуж за офицера Генерального штаба, Анатолия Федоровича Барсова. Он умер в Германии в 1937 году в возрасте 69 лет. Ольга Александровна умерла в Париже в 1952 году.
6. *Верещагин, Владимир*. Указ. издание.
7. Гуревич Яков Григорьевич (1843–1906), российский историк, педагог.
8. Андроников Ираклий Луарсабович (Андроникашвили, 1908–1990), советский писатель, литературовед, мастер художественного слова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий.
9. Ильин Иван Александрович (1883–1954), философ, писатель, видный деятель эмиграции. Участник Белого движения, идеолог РОВС, антикоммунист, монархист. Был выслан из Советской России в 1922 г. на «Философском пароходе». В 1923–34 гг. работал в Русском научном институте (Берлин). В 1938 г. покинул Германию, жил в Швейцарии.
10. Далматов Василий Пантелеймонович (Лучич; 1852–1912), актер, по национальности серб. В 1873–1876 гг. – актер Московского общедоступного театра, играл в Пушкинском театре, в труппе Ф. Корша. С 1844 г. – в Александринском театре.
11. Менжинский Рудольф Игнатьевич (1834–1917). Преподавал в Институте Императрицы Марии, в Первом кадетском корпусе, в Духовной римско-католи-

ческой академии. Член Исторического общества при С.-Петербургском университете, почетный член комитета Детского приюта принца П. Ольденбургского.
12. Томарс Иосиф Семенович (1867–1934), камерный и оперный певец (лирический тенор) и педагог.
13. Фигнер Николай Николаевич (1857–1918), оперный певец (тенор). Выступал на сцене Императорской Русской оперы, солист Императорских театров; действительный статский советник. После большевистского переворота жил на Украине, преподавал пение. Похоронен в Киеве.
14. Надежда Александровна Тэффи (Лохвицкая, в замужестве – Бучинская; 1872–1952). Дата рождения Н. А. определена по документам в ЦГИА Санкт-Петербурга (Метрическая книга Сергиевского всей артиллерии собора, фонд Петроградской духовной консистории. См.: *Румянцев, Андрей.* Одна из двух Лохвицких // «Санкт-Петербургские ведомости». 2017. № 118, 30 июня). Прозаик, поэт, мемуарист, переводчик, «королева русского юмора». Работала в разных литературных жанрах. Была широко известна и в Российской империи, и в Русском Зарубежье. Эмигрировала в 1918 в Берлин, затем переехала в Париж. Публиковалась в ведущих периодических изданиях русской эмиграции, среди них «Возрождение», «Руль», «Современные записки», «Сегодня», и др.
15. *Glassco, John*. Memoirs of Montparnasse / NY: Oxford University Press, 1970. Перевод с англ. Е. Дубровиной.
16. Кшесинская Матильда Феликсовна (Кржесинска, Романовская-Красинская), светлейшая княгиня (1872–1971), известная балерина, педагог. Жена Вел. князя Андрея Владимировича. Прима-балерина Мариинского театра. В 1911–1912 гг. выступала в Русских сезонах С. П. Дягилева. В 1920-м покинула Россию. Жила на юге Франции. В 1921 г. после бракосочетания получила титул светлейшей княгини. В 1929 г. переехала в Париж, открыла свою балетную школу. Последнее выступление состоялось в 1936 г. на сцене лондонского театра Covent Garden в спектакле Русского балета Монте-Карло. В 1950 г. возглавила Федерацию русского классического балета в Лондоне. Автор книги «Воспоминания» (Париж, 1960; Москва, 1992).
17. Цитируемые письма хранятся в Bakhmeteff Archive, Rare books and Manuscript Library / Vladimir Aleksandrovich Vereshchagin Papers, Box 1.
18. Смоленский Владимир Владимирович (1901–1961), поэт первой волны эмиграции. С 1919 года воевал в Добровольческой армии, с которой и эвакуировался из Крыма в 1920 году. Жил в Тунисе, потом во Франции. Входил в ряд литературных объединений Русского Парижа. Считался одним из лучших чтецов. Выпустил три сборника стихов.
19. В 1947 году Бунину был поставлен диагноз – эмфизема легких; после лечения состояние его не улучшилось.
20. Письма И. А. Бунина хранятся в Бахметевском архиве: Bakhmeteff Archive, Rare books and Manuscript Library / Vladimir Aleksandrovich Vereshchagin Papers, Box 1. Письмо В. Н. и И. А. Буниных к Г. Адамовичу от 20

октября 1952 г., Париж (эта часть письма написана рукой В. Н.): «...Вероятно, вы уже знаете о кончине Тэффи. / Я накануне по телефону от В[еры] Р[афаиловны] [Мартыновой] узнала, что Н[адежде[А[лександровне] очень плохо, что к ней никого не пускают, что положение очень серьезно, – хотят вызвать ее дочь из Лондона. У меня не было надежды, а все-таки, когда в 5 вечера следующего дня та же В[ера] Р[афаиловна] сообщила эту страшную весть, то стало очень тяжело. Отчего, несмотря на то, что, когда ожидаешь конца и он приходит, испытываешь чувство неожиданности и удивления? <…> Я была на первой панихиде в тот же день в 8 ч. вечера. Народу было немного, только те, кого могли известить по телефону, то есть самые близкие люди. / Служил отец Олимп с Дарю. Человек пять-шесть стояло в ее комнате. Остальные в передней. <…> Н[адежда] А[лександровна] лежала на своем широком диване в белых простынях, по пояс открытая; поразило, что в черном платье. На груди икона. В руках отпуск. На лбу венчик. Возложил отец Олимп. Лицо спокойное, умное. Глаза хорошо закрыты. Она умерла после укола морфия, и Тамара Ив[ановна] Пант[елеймонова] думала, что она заснула. Сестра милосердия скоро поняла, что всё кончено. <…> P. S. В[ера] Р[афаиловна] очень страдает, – образовалось пустое место без Тэффи. Она обижена на Вас. Напишите сочувствие ей ласково. Она ведь очень добрая. А Тэффи называла свой ‘двор’ – птичьим двором...» / URL: http://bunin-lit.ru/bunin/letters/letter-869.htm

21. Н. А. Тэффи / РГАЛИ. Ф. 1174, оп. 2, ед.хр. 16, л. 2об. Все дарственные надписи цитируются по: РГАЛИ. Ф. 1174, оп. 2, ед. хр.16, л. 1-1об, л. 2-2об.

22. Михайлов Олег Николаевич (1932–2013), доктор филологических наук, писатель, исследователь литературы первой волны русской эмиграции. Автор предисловия к книге «Тэффи. Рассказы» / Москва: «Художественная литература», 1971.

23. *Тэффи, Надежда*. Вниманию воров. Статья / «Возрождение», № 1125, 1 июля 1928 года. Издательство «Земля и Фабрика» (ЗИФ) – советское государственно-акционерное издательское общество (1922–1930). Специализировалось на выпуске произведений советских писателей (В. Шишкова, И. Бабеля, И. Эренбурга) и известных писателей зарубежной литературы, периодических изданий – «Всемирный следопыт», «Вокруг света», альманах «Земля и Фабрика»; выпускало дешевую серию «Рабоче-крестьянская библиотека». С 1926 года целевой аудиторией издательства стали рабоче-крестьянские и школьные библиотеки. В 1930 году вошло в состав Государственного издательства художественной литературы. В ЗИФ вышли книги Тэффи: «Проворство рук», 1926; «Сирано де Бержерак», 1927; «Сладкие воспоминания», 1927; «Танго смерти» (Библиотека сатиры и юмора, 1927). В 1930-е годы выпуск книг Тэффи в СССР прекратился; сборники ее рассказов были изданы лишь в 1965, 1966 и 1971 годах. Подробнее: *Бондаренко, Ольга Валерьевна*. Издательская судьба рассказов Н. А. Тэффи в СССР в 1920-е гг. URL: https://www.gramota.net/materials/2/2015/12-1/11.html

24. Переписка Тэффи с И. А. и В. Н. Буниными. 1939–1948 / Публ. Р. Дэвиса и Э. Хейбер // Диаспора. [Вып.] 2. СПб., 2001. – Сс. 548-549.
25. *Гуль, Роман*. «Я унес Россию». Т. 1: Россия в Германии. Изд-во «Мост», Нью-Йорк, 1981. – Сс. 34, 184.
26. Дукельский Владимир Александрович (1903–1969), композитор, поэт. В 1920-м эмигрировал в Константинополь. Основал вместе с Б. Ю. Поплавским Константинопольский цех поэтов. Затем уехал в США, оттуда в 1924-м – во Францию. Жил в Париже и Лондоне. Писал музыку для балетов, кинофильмов, музыкальных комедий; симфонии, камерную музыку, романсы на стихи русских поэтов. Его произведения включали в свои концерты С. А. Кусевицкий и С. С. Прокофьев. Автор музыки к балету «Зефир и Флора», исполненному в Париже Русским балетом С. П. Дягилева 15 июня 1925 года. Сотрудничал с Русским музыкальным издательством в Париже (до 1933). В 1929 г. переселился в США. Продолжил сотрудничество с С. А. Кусевицким. Участник Второй мировой войны, лейтенант морской пограничной службы. В 1947 г. Ролан Пети поставил в Париже его балет «Бал прачек». Писал под псевдонимом Верной Дюк – мюзиклы, песни, музыку для кинофильмов, в том числе к фильмам «Golden Follies» (1938) и «Cabin in the Sky» (1943). Публиковался в американских журналах. В 1955 г. выпустил воспоминания «Passport to Paris», в 1964 г. книгу «Listen Here a Critical Essay on Music Depreciation». Автор четырех сборников стихов (Мюнхен, 1960-е).
27. Корона Александр Акимович (189?, Тифлис, – 1967, США), композитор, поэт. Первый его сборник стихов «Лампа Аладдина. Книга песен» увидел свет осенью 1914 г. в Петрограде. Николай Гумилев говорил о книге: в ней почти всё «слишком откровенно навеяно» Пьером Луисом и «Александрийскими песнями» Кузмина – «И все-таки там, где поэт выходит за пределы выдуманных тем о свободной любви и смелых моряках, он обнаруживает если не индивидуальность, то во всяком случае талант». Около 1920 г. Корона эвакуировался в Турцию, затем уехал в Италию, позднее жил во Франции. В начале Второй мировой войны уехал в США. Писал музыку для театра, сочинял романсы на стихи русских поэтов. Последняя прижизненная публикация – в вашингтонском коллективном сборнике «Содружество» (1966).
28. Астров Игорь (Раппопорт-Ястребцев, 1909–1976), музыкант, литератор, переводчик. Ученик С. Прокофьева. Преподавал иностранные языки в Болонском университете. Переводил сонеты В. Шекспира и Ж.-М. Эредиа, на французский – стихи Н. Гумилева, А. Ахматовой, А. Блока, В. Брюсова. В 1935-м за первый сборник стихов на французском языке «Sonnets» был удостоен премии Французской академии. Позднее на французском вышли книги стихов «Перелетные птицы», «Наполеон» и др. Публиковался в сб. «Эстафета» (Париж, 1948). В 1946–1966 гг. работал синхронным переводчиком в ООН. Совместно с М. Цетлиным выполнил перевод на русский цикла стихотворений Элизабет Баррет-Браунинг «Португальские сонеты» (Нью-Йорк, 1956).

29. Пастухов Всеволод Леонидович (1894–1967), музыкант, поэт. Был известен в Русском Зарубежье как блестящий пианист. До Второй мировой войны жил в Риге, открыл музыкальную школу и преподавал в ней. В 1950-е стал редактором нью-йоркского журнала «Опыты» (совместно с Р. Н. Гринбергом). Писал рецензии, стихи и рассказы. Второй сборник «Хрупкий полет» вышел в год смерти Пастухова (о первом сборнике у нас нет сведений). В эмиграции Пастухов выступал с концертами во многих городах. Около 1949 г. эмигрировал в США. Жил с 1957 г. под Нью-Йорком, в Дугластоне. Участвовал в кружке, называвшемся в обиходе «Лигой». Кружок собирался на квартире М. С. Цетлиной в Нью-Йорке.

30. Умов Иван Павлович (1883–1961), поэт, музыкант. Учился в Военно-инженерном училище в Санкт-Петербурге, где занимался переводами Омара Хайяма (в 1911 г. издал 11 четверостиший). По окончании Московского Лазаревского института, где он изучал восточные языки, с 1 сентября 1913 г. до октябрьского переворота И. П. Умов был русским вице-консулом в Александрии. После революции остался в эмиграции, жил в Египте. Знал десять языков. Окончил в Лондоне консерваторию по классу фортепиано, преподавал в Александрии музыку, выступал с концертами. Книга стихов «Незримый гость» вышла в 1949 году.

31. **ТРУНЕНКО** Алексей Михайлович (? – 17 января 1939, Берлин), музыкант, дирижер, композитор. Окончил Императорскую певческую капеллу и С.-Петербургскую консерваторию по классу профессора А. К. Лядова. Ближайший помощник В. В. Андреева по Великорусскому балалаечному оркестру. В 1923 г. эмигрировал. Один из основателей вокального мужского Квартета им. М. П. Мусоргского. В 1925–1930-е давал концерты с Квартетом в Париже в зале Gaveau, участвовал в благотворительных концертах. Выпустил две пластинки с русскими народными песнями (Париж, 1925). **ЗАХАРОВ** Василий Федорович (? – 17 июля 1961, Париж), певец (баритон). В эмиграции жил в Париже. В 1924 г. – артист театра «Эрмитаж». В 1927–1930 гг. пел в спектаклях «Садко» и «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова, «Хованщина» М. П. Мусоргского в Русской опере под управлением К. Д. Агренева-Славянского. Выступал в концертах в качестве солиста и в составе вокального квартета. Выступал вместе с оркестром Г. Черноярова в ресторане «Le Prado» (1930-е). После войны – солист оркестра балалаечников под управлением Ж. Стрехи, ансамбля русских народных инструментов под управлением Д. Ляхова (1950-е) и др. Последние годы жизни работал в американской фирме в Париже. **КОВАЛЕВСКИЙ** Максим Евграфович (30 августа/12 сентября 1903, С.-Петербург, – 13 июня 1988, пох. на клад. в Бюльон, под Парижем), диакон, математик, церковный деятель, духовный композитор. В 1920 г. с семьей эмигрировал во Францию. Один из основателей Братства иподиаконов и церковнослужителей при соборе Св. Александра Невского (1921). Иподиакон (1921). Один из учредителей Братства Св. Фотия при

Трехсвятительском подворье в Париже (1925). Окончил физико-математический факультет в Сорбонне и Высший статистико-математический институт. Специалист по теории вероятности. В течение сорока лет работал в страховой компании «Soleil et Aigle». Музыкальную подготовку начал в Петербурге, продолжил в Париже, занимался в Русской консерватории, брал уроки у Н. А. Шамие. Одновременно изучал русское церковное пение. В течение многих лет был регентом. В 1973 г. был избран председателем Русского музыкального общества в Париже. Преподавал курс истории литургии и вел занятия по церковному пению в Богословском институте Св. Дионисия. Соредактор «Сборника Божественной литургии» (Лондон, 1962). Вошел в Почетный комитет Общества ревнителей православного церковного пения. Автор многочисленных статей о музыке, исследований о древнем пении Восточной и Западной христианских Церквей. **ЕВСЕЕВСКИЙ** (Евсевский) Федор Андреевич (9 апреля 1889 – 27 января 1970, Париж, пох. на клад. Сент-Женевьев-де-Буа), штабс-ротмистр Украинского гусарского полка, композитор, пианист, певец, военный капельмейстер. Окончил Елисаветградское кавалерийское училище. В эмиграции жил в Париже. С 1927 г. руководил вокальным квартетом «Китеж». Пел в составе мужского квинтета «The Five Modern Minstrels». С середины 1930-х – руководитель и дирижер балалаечного оркестра. Участвовал в концертах Содружества русских балалаечников за границей. С 1936 г. – дирижер Украинской оперы в Париже. После войны заведовал музыкальной частью Русского драматического театра, работал аккомпаниатором в «Театре без занавеса». С 1954 г. работал пианистом в русском ресторане «У Муси». В 1959 г. в Лионе прошла премьера балета «Фантастическая сказка» на музыку Евсеевского. Выступал на вечерах в Русских домах в предместьях Парижа. **СЕРИКОВ** Георгий Сергеевич (26 мая 1902, Москва, – 5 ноября 1991, Шелль, пох. на клад. Сент-Женевьев-де-Буа), протоиерей, пианист, композитор, общественный деятель, деятель культуры. В начале 1920 г. эмигрировал в Константинополь, затем во Францию (1921). Жил в Медоне. Окончил консерваторию в Лозанне (Швейцария). В 1925–1929 гг. провел серию концертов в США, с конца 1920-х сотрудничал с музыкантами Русской консерватории в Париже, вел концертную деятельность. Лауреат конкурсов пианистов в Лозанне и Париже. Занимался композицией. Автор циклов фортепианных этюдов, пьес, сонатин, вокальных произведений и мелодекламаций на стихи и тексты Надсона, В. Набокова и др. По окончании музыкальной деятельности учился в Страсбурге и в Свято-Сергиевском институте в Париже. С 1920-х был в числе основателей (вместе Е.С. Меньшиковой) и лидеров РСХД. Священник (1938). Служил в церквях Парижа и его предместий. Участвовал в Неделях христианского единства, читал лекции на Высших женских богословских курсах (1960-е) и др. Член Братства Св. Троицы. Участвовал в литературно-музыкальных и юбилейных вечерах Д. С. Мережковского (1938), Б. К. Зайцева (1960-е, 1971) и др. Автор

многочисленных статей на богословские темы в «Вестнике РСХД», журнале «Вечное», «Вестнике Русского Западно-Европейского экзархата» и др. Владел шестью иностранными языками. Последние годы жизни провел в Русском доме в Кормей-ан-Паризи, а затем в Русском доме в Шелль. **ГРИШИН** Григорий Евгеньевич (Г. Е. Пошивайло, 8 января 1909, Лодзь, – 22 августа 1988, Грасс), оперный певец (тенор). Окончил Русский лицей в Риге. В 1929 г. приехал в Париж. Сотрудничал в качестве хориста с Русской оперой в Париже. Окончил в 1935 г. Русскую консерваторию в Париже. Первый публичный концерт провел в 1936 г. в зале Gaveau. Пел в русских оперных спектаклях. После войны пел в Русской камерной опере, Новом театре оперетты (1946). Принимал участие в постановках С. Лифаря. Участвовал в песнопениях и службах в Св. Александро-Невском соборе и других православных храмах Парижа. В 1971 провел свой 200-й концерт. С 1966 г. – профессор Русской консерватории в Париже, в 1984 г. – ее директор. Вице-председатель Российского музыкального общества за границей (РМОЗ), вице-председатель Ассоциации друзей Русской консерватории. Сотрудничал с газетой «Русские новости». **ГРИГОРЬЕВА** Галина Николаевна (урожд. Шелудковская, 5 февраля 1931 – 6 февраля 1990, Кламар, пох. на клад. Сент-Женевьев-де-Буа), певица, пианистка, педагог. Жена П. Л. Григорьева. Окончила Русскую гимназию и Русскую консерваторию в Париже. С 1950 г. участвовала как пианистка, певица и чтица в концертах и благотворительных вечерах, в том числе организованных приходами православных церквей Парижа и предместий, Национальной организацией витязей (НОВ), Казачьим союзом и др. Была членом НОВ. В 1950–1951 гг. выступала в детском театре «Золушка», в 1952 г. – в Русской оперетте. Руководила молодежным хором «Наша смена». Солистка концертов архиерейского хора Св.Александро-Невского собора (с 1960), регент. Преподавала в Русской консерватории в Париже с 1965 г., профессор по классу фортепиано. В 1963 г. организовала свой хор имени П. И. Чайковского, выступала с ним по французскому телевидению (1970-е). В 1980 г. участвовала в записи пластинки оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковского с Французским национальным оркестром под управлением М. Ростроповича (запись была удостоена высшей награды Французской музыкальной академии).

32. Черепнин Николай Николаевич (1873–1945, пох. на кладб. Сент-Женевьев-де-Буа), композитор, дирижер, пианист, педагог. Первые произведения Черепнина были изданы в 1898 году. В 1899 г. был приглашен заведующим оркестровым классом Императорской Придворной певческой капеллы. С 1898 г. дирижировал хором Мариинского театра. Основал дирижерский класс в Консерватории (1906). Был ведущим дирижером Русских сезонов С. П. Дягилева в Париже (1909–1914). После большевистского переворота уехал в Тифлис, где возглавил Тифлисскую консерваторию и был одним из ведущих ее профессоров (1918–1921.) Эмигрировал в Париж (1921). Участвовал в органи-

зации Русской Парижской консерватории, возглавив ее в качестве избранного директора (1925–1929, 1938–1945). По приглашению С. А. Кусевицкого дирижировал Бостонским симфоническим оркестром (1932). Оставил концертную деятельность в 1933 году. Член Попечительского совета издательства «М. П. Беляев» (1926–1937), президент Попечительского совета (с 1937).

33. «Возрождение». 1926, 6 марта, № 277.

34. Анастасия Алексеевна Полякова (1877–1947), исполнительница цыганских песен. В 1920 году вместе с семьей эмигрировала в Константинополь, выступала сначала в ресторане «Стелла» известного ресторатора Федора Федоровича Томаса, позже в кабаре «Черная роза».

35. Морфесси Юрий Спиридонович (1882–1949), русский эстрадный и оперный певец (баритон) греческого происхождения. С 1920 г. жил в эмиграции, во Франции, Югославии, Германии.

36. Гулеско Жан (1877–1953), скрипач, дирижер, выходец из семьи потомственных румынских музыкантов. В 1921 г. покинул Россию. Выступал как скрипач и дирижер с оркестром в концертах. В 1923 г. работал в берлинских ресторанах. С 1924 г. играл в русских и кавказских ресторанах в Париже.

37. Зеелер Владимир Феофилович (1874–1954), политический и общественный деятель, юрист, адвокат, видный представитель русской эмиграции. В эмиграции жил во Франции.

38. Словарь поэтов Русского Зарубежья / Сост. В. Крейд, В. Синкевич, Д. Бобышев / СПб: РХГИ. 1999. – Сс. 56-57.

39. Дризо Лев Яковлевич (1880–1935), композитор, автор популярных романсов. Продолжил свою карьеру в годы НЭПа, пытаясь приспособить репертуар под требования нового времени. В частности, написал мелодекламацию «Ночной Париж», где высмеивал русскую эмиграцию. На заре XX столетия издал более десятка романсов на собственные стихи и музыку.

40. Зилоти Александр Ильич (1863–1945), пианист, дирижер и педагог. Ученик Ф. Листа. Преподавал в Московской консерватории, был руководителем Мариинского театра. В 1922 г. эмигрировал в США, жил в Нью-Йорке, преподавал в Juilliard School. Похоронен на Русском кладбище Новодивеевского монастыря, штат Нью-Йорк.

41. Мейер Георгий Андреевич (1894–1966), офицер, публицист, философ, литературный критик, литературовед. Учился на историко-филологическом факультете Московского университета. Участник Первой мировой и Гражданской войн, участник 1-го Кубанского похода. В 1920 г. эвакуировался в Константинополь, преподавал русский язык, выступал с докладами о русской поэзии. В 1923 г. переехал во Францию, жил в Париже. Сотрудничал с газетами «Родная земля» и «Возрождение». Работал таксистом. В начале 1950-х неофициально возглавлял журнал «Возрождение», исполнял обязанности редактора. Член Союза русских писателей и журналистов. В 1959 г. переехал в деревню под Парижем, работал над книгой о Ф. М. Достоевском

(не закончил). Публиковал статьи и заметки в газетах «Новое слово» (Берлин), «Парижский вестник», в журнале «Грани» (Франкфурт-на-Майне). Автор нескольких десятков литературно-критических, публицистических, философских статей и двух книг: «Свет в ночи (о «Преступлении и наказании»). Опыт медленного чтения» (Франкфурт-на-Майне, 1967) и «У истоков революции» (Франкфурт-на-Майне, 1971).
42. Опишня Игорь Константинович (Мартыновский Игнатий Константинович, 1900–1960), журналист, историк литературы и театра, главный редактор журнала «Возрождение» (с конца 1950-х).
43. «Русская Мысль». 1981, № 3372.

Из архива В. А. Верещагина

ПИСЬМО П. Н. КРАСНОВА

Петр Николаевич Краснов (1869–1947), генерал-майор Русской Императорской армии, атаман Всевеликого Войска Донского, видный деятель Белого движения, монархист, военный и политический деятель Русского Зарубежья. Эмигрировал в 1920 году. Жил в Германии, под Мюнхеном, а с ноября 1923 года – во Франции. Активно занимался политической деятельностью, сотрудничал с Великим князем Николаем Николаевичем, Русским общевоинским союзом и другими белоэмигрантскими организациями. Автор двадцати книг воспоминаний и исторических романов, переведенных на европейские языки. В 1926 г. был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Краснов симпатизировал Германии, видя в Гитлере лидера антикоммунистической борьбы. Во время Второй мировой войны занимал пост начальника Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Германии. В мае 1945 г. был насильственно репатриирован в СССР, приговорен к смертной казни и казнен.

Письмо хранится в Бахметевском архиве: Vladimir Aleksandrovich Vereshchagin Papers, 1916–1964, Box 1.

P. N. Krasnoff
Dahlewitz
Adolf-Hitler-Str. 118
№ 412
25 сентября 1942

Глубокоуважаемый Владимир Александрович,

Оба Ваши письма, и заказное, и простое, я получил. Конечно, написать о Вашем глубоко талантливом дяде[1] и рядом с ним и о Вашем

отце[2], книгою которого «Дома и на войне»[3] я зачитывался в юношеские годы, было бы для меня одно удовольствие. Картины художника Верещагина – все – и туркестанские, и из войны 1877–78 годов, а потом и иллюстрации к «Войне и миру» в изумительных по настроению холстах на художественных выставках – были моим самым большим увлечением в свое время. Я лично был знаком с Вашим дядей, когда ехал с ним и адмиралом Макаровым[4] в Сибирском экспрессе, а с теми данными, которые Вы мне дали, это и вышла бы большая – строк эдак на триста – статья, достойная памяти великого русского баталиста. Но – где печатать? Ведь на весь наш эмигрантский мир имеется только *одна* газета «Парижский вестник»[5], да и та выходит только раз в неделю по воскресеньям и по нынешним обстоятельствам, когда весь мир занят небывало грозной войной и решением судеб Российских, газета эта могла бы уделить на память о Вашем дяде строк не более сорока-пятидесяти… А для этого мне не нужно писать – это напишут еще лучше меня тамошние присяжные сотрудники. Вот почему, как ни хотелось бы мне быть полезным Вам и помянуть человека, которого я так всегда почитал и почитаю и теперь, я не в состоянии сделать это по не зависящим от меня причинам.

Прошу принять мои уверения в совершенном моем уважении и преданности.

П. Краснов

---

1. Василий Васильевич Верещагин (1842–1904), художник-баталист, литератор. Погиб во время Русско-японской войны при подрыве на мине броненосца «Петропавловск» в районе Порт-Артура.

2. Александр Васильевич Верещагин (1850–1909), генерал-лейтенант, писатель; брат художника В. В. Верещагина, отец В. А. Верещагина. Подробно о нем см. в публикуемой выше статье «Жизнь промелькнула и сгорела».

3. *Верещагин, А. В.* Дома и на войне. 1853–1881: Воспоминания и рассказы. – СПб., 1886.

4. Степан Осипович Макаров (1848–1904), вице-адмирал, океанограф, полярный исследователь, автор многочисленных изобретений. Командовал Тихоокеанским флотом во время Русско-японской войны. По пути на фронт Краснов действительно встречался с адмиралом Макаровым и получил от него приглашение выйти в море на его флагманском броненосце «Петропавловск». Краснов не смог принять приглашения, и новая ожидаемая встреча его с Макаровым не состоялась: 31 марта 1904 года броненосец подорвался на японской мине вблизи Порт-Артура и затонул.

5. Газета издавалась с 14 июня 1942 г. по 12 августа 1944 г., в годы немецкой оккупации Франции, занимала прогерманскую позицию. В газете периодически публиковали свои статьи генерал П. Н. Краснов, писатели

И.С. Шмелев и Илья Сургучев, поэты Валентин Горянский, Георгий Евангулов и Николай Туроверов, философ Георгий Мейер, художник Александр Бенуа, балетмейстер Сергей Лифарь и др. Выпуск № 1, 1942, открывался письмом генерала П. Н. Краснова, где он писал: «Известие о том, что русские офицеры допущены к действенной борьбе с большевизмом, меня чрезвычайно обрадовало...»

ПИСЬМО ИОСИФА ШТРИМЕРА

Иосиф (Осип) Штример (1881–1962), композитор. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, ученик Н. Римского-Корсакова, А. Лядова, М. Штейнберга, Н. Черепнина. Брат известного советского виолончелиста, педагога А. Я. Штримера, профессора Ленинградской консерватории. Участник Белого движения. В эмиграции жил во Франции. Член правления «Русского музыкального общества» (Русской консерватории). С 1941 г. – в США. Музыкальное наследие хранится в New York Public Library, Joseph Strimer papers, JPB 14-23. Music Division.

Письмо хранится в РГАЛИ: Тэффи Н. А. Ф. 1174, оп. 2, ед. хр.19, л. 1-1об.

Joseph Strimer
311 West 95th Street
New York 25. N.Y.
Monument 2-2427

12 февраля 1953

Многоуважаемый Владимир Александрович,

Благодарю Вас за Ваше милое письмо от 25 января, которое я получил только 10 февраля. Благодарю также за внимание к моей музыке, которую при сем прилагаю. Я написал эту вещь после смерти дорогой Надежды Александровны[1], т. е. когда это стихотворение было напечатано в «Новом Русском Слове»[2]. Но у меня есть еще ранний романс на слова Тэффи «Джанум»[3]. Эта вещь написана давно, в 1919 году, как-то летом, когда мы с Н. А. проходили курс лечения в Contrexeville в Borezac. Н. А. прочитала мне эту вещь и по моей просьбе обработала ее для музыки. Эту вещь довольно много поют теперь и здесь, в Америке. Я очень хотел бы, чтобы «Джанум» тоже исполнили в концертном отделении, тем более что на слова Тэффи, кажется, нет других музыкальных произведений. Эта вещь издана в Париже у Бесселя. Вы можете достать ее у Durand («Djanoum» Edition W. Bessel)[4], думаю, что она стоит около 200 фр. Быть может, Бессель для Вашего заседания даст или одолжит эту вещь. Если же

нет – купите, и я с удовольствием возмещу стоимость. Для исполнения «Джанума» нужна очень хорошая певица (высокий голос) и очень хороший пианист.

Буду Вам очень признателен, если Вы будете держать меня в курсе дел и пришлете газету с отчетом о заседании.

В заключение должен Вас спросить, почему Вы приписываете мне музыкальные критики в «Нов. Р. Слове»? Я никогда не пишу (единственный раз писал только о «Женитьбе» Гречанинова). Музык. критик здесь очень серьезный Гершон Свет[5], также Марк Штерн[6], а театральный – Камышников[7].

С искренним приветом Вам и Вашей супруге от нас обоих.

Ваш Штример

---

1. Надежда Александровна Тэффи (1872–1952).

2. Речь идет о раннем стихотворении Н. Тэффи, которым А. Седых закончил, в частности, некролог «Скончалась Н. А. Тэффи» в НРС (НРС, 10 октября 1952, № 14776):

Он ночью приплывет на черных парусах,
Серебряный корабль с пурпурною каймою.
Но люди не поймут, что он приплыл за мною,
И скажут: «Вот луна играет на волнах...»

Как черный серафим три парные крыла,
Он вскинет паруса над звездной тишиною.
Но люди не поймут, что он уплыл со мною,
И скажут: «Вот она сегодня умерла...»

3. Стихотворение вошло в сборнике Н. Тэффи «Шамрам: письма Востока» (Берлин, 1923).

ДЖАНУМ

Я твоя Джанум! В мечети Айя-Софья
Сердце мне благословил Аллах,
Чтобы отдала тебе свою любовь я
В поцелуях, песнях и слезах…
Буду для тебя сидеть я на пороге,
Вить веретеном пурпуровую нить,
Чтобы бирюзой твои украсить ноги,
Темной амброй кудри опьянить...

Если ты уйдешь дорогой голубою –
Прошепчи: «Джанум» в аллаховом саду,

И отвечу я: «Эффендим! Я с тобою»,
И на зов твой с песнею пойду...

4. Бессель Александр Васильевич (1890–1978), чиновник, общественный и религиозный деятель. Окончил С.-Петербургский университет. Служил в Министерстве иностранных дел. Эмигрировал, с 1920 г. – в Париже. Руководил нотоиздательской фирмой «W. Bessel & Cie». С 1934 г. неоднократно избирался в совет Российского музыкального общества за границей (РМОЗ). Многие годы принимал деятельное участие в церковной жизни Св. Александра Невского собора, работал в Комитете по сбору средств, был помощником старосты. В 1963 г. избран вице-председателем приходского совета.
5. Гершон Свет (1893–1968), журналист. См. о нем подробно в НЖ, №№ 303-304, 2021, – *В. Хазан*. «Не знаю, знакомо ли Вам мое имя. Гершон Свет и его корреспонденты» и «Переписка Г. Света с Жозефиной и Лидией Пастернак».
6. Марк Штерн – старейший сотрудник НРС, музыкальный критик, первая волна эмиграции. Известно, что прибыл в США в 1923 г.: «В 1923 году в Нью-Йорк прибыло несколько тысяч членов так называемой белой или ‘константинопольской’ эмиграции – из Турции пришло несколько транспортов с остатками белых армий, эвакуированных из Крыма в Галлиполи и на остров Лемнос. Когда на борт первого корабля с пачкой НРС поднялся сотрудник газеты, его едва не выбросили за борт, так как газета показалась слишком ‘левой’. Но вскоре константинопольская эмиграция уже называла газету своей, обогатив ее новыми читателями и сотрудниками. Появились имена С. В. Животовского, Л. М. Камышникова, Я. И. Лисицына, И. И. Остромысленского, И. Л. Тартака, Н. С. Калашникова, А. Я. Браиловского, Н. Н. Алла, А. А. Волошина, В. Д. Крымского, М. А. Штерна». (*Новак, М. В.* Православная и православно-ориентированная печать системы русской прессы США периода XIX–XX веков: история и типология / Журналистика. Дисс. уч. ст. д-ра филол. наук. 2010). См. также: *Седых, Андрей*. Русские евреи в эмигрантской литературе / Книга о русском еврействе. 1917–1967 / Союз русских евреев / Нью-Йорк. 1968. Седых приводит список фамилий сотрудников НРС за пятидесятилетний период, среди них: «А. Ю. Аронсон, В. И. Гессен <…>, В. С. Вайнберг (медицинские статьи), М. А. Штерн, И. С. Яссер (музыковед), А. А. Гольденвейзер, Г. И. Альтшулер, Ю.Б. Марголин <…>, И. М. Троцкий, Гершони Свет, Б. Двинов, Д. Ю. Далин, Г. А. Абрамович, С. М. Соловейчик, Д. И. Шуб...» Штерн писал о Зилоти, Гартмане, делал музыкальные обзоры.
7. Лев Маркович Камышников (1881–1961), журналист, театральный критик. До эмиграции писал для одесских газет на театральные темы, в Петербурге был секретарем первого «Салона» С. К. Маковского, сотрудничал с мирискусниками, состоял секретарем худ. комитета при Театре интермедии. Эмигрировал сначала в Константинополь, затем в США. Был сотрудником «Нового русского слова». Писал передовые статьи, фельетоны, рецензии,

лит. заметки, театральную критику. Издавал «Зеленый журнал» по проблемам литературы и искусства, газеты «Раннее утро», «Время», но издания оказались недолговечными. Печатался в «Новом Журнале».

Владимир Верещагин

ТЭФФИ

Очерк был опубликован с сокращениями в г. «Русская мысль», № 2713, 21 ноября 1968 года. Текст печатается по оригиналу 1953 года, который хранится в РГАЛИ: Н. А. Тэффи. Ф. 1174, оп. 2, ед. хр. 20, л. 1-4.

Надежда Александровна родилась в семье профессора Лохвицкого.

Отец ее, известный адвокат, любитель и знаток искусства, особенно литературы, сумел передать эту любовь своим детям.

Одна из дочерей – Мирра Лохвицкая – стала известной поэтессой и трижды была награждена Пушкинской премией.

В 1910 году Надежда Александровна Лохвицкая, взяв своим псевдонимом имя одного из персонажей Киплинга Т-э-ф-ф-и[1], выпустила свой первый сборник стихов[2], а затем, в том же году, небольшую книгу рассказов[3]. Обе книги имели большой успех, и Тэффи сразу стала в ряды популярных и любимых авторов русской литературы.

Одновременно Тэффи начала писать и в журналах. Когда один из редакторов «Русского слова» пытался требовать от молодой сотрудницы скучных газетных статей, руководитель газеты, знаменитый Влас Дорошевич[4], воспротивился: «Оставьте Тэффи писать как она хочет. Нельзя арабскую лошадь заставлять воду возить».

Популярность Тэффи росла с каждым днем. Ее полные остроумия и блеска пьесы и скетчи украшали афиши всех театров России, начиная от Императорских («Шарманка Сатаны»).

Тэффи, как глубокому психологу, были близки и понятны души и сердца как богатых, так и бедных, детские души и души животных.

В ее исключительно по наблюдательности (sic) рассказах тонкий и, главное, беззлобный юмор чередуется с глубокими и трогательными людскими переживаниями.

Тэффи говорит о себе самой:

«Я родилась в Петербурге весной, а, как известно, наша петербургская весна весьма переменчива: то сияет солнце, то идет дождь. Поэтому и у меня, как на фронтоне древнего греческого театра, два лица: смеющееся и плачущее.

– Смейтесь! – говорили мне читатели.

– Смейтесь! Это приносит нам деньги, – говорили мои издатели... и я смеялась!

Много писала я песен. Иногда они теряли мое имя и, расходясь, бродили по свету как беспаспортные бродяги».

Живя в эмиграции, Тэффи сотрудничала во многих эмигрантских изданиях и написала замечательные книги: «О нежности», «Всё о любви», «Зигзаг», «Тихая заводь», «Книга Июнь», «Ведьма» и «Радуга». Многие переведены на иностранные языки.

Отдавая дань духу времени, Тэффи написала несколько чрезвычайно интересных сценариев для экрана.

Несмотря на ее преклонный возраст, Тэффи нельзя было назвать старой женщиной. Маленькое, бледное, немножко острое лицо, окруженное пепельно-седыми шелковистыми волосами, удивительного «незабудочного» цвета живые глаза. Всегда элегантная, любезная и обаятельная, она даже перед людьми совершенно близкими заботилась о своей внешности.

Иногда днем, если не было мучительных сердечных спазм, она с друзьями любила посидеть в нарядном парижском кафе.

Там, среди движения и шума, она была довольна, что и она принимает участие в предвечерней суете.

До последних дней жизни она отдавала свой талант и силы русской литературе, в которой имя Тэффи останется навсегда.

Чтобы достойно закончить мой краткий очерк о Тэффи, приведу отзывы о ней наших писателей:

АНДРЕЙ СЕДЫХ[5]: Тэффи – большая писательница, и никто, пожалуй, не умеет так глубоко и внимательно заглянуть в человеческую душу.

ЖЕРНАКОВА-НИКОЛАЕВА[6]: Тэффи – исключительная писательница. Ее смех многогранен. У Тэффи не только светлое, но и религиозное начало. Мы можем гордиться нашей Тэффи.

М. КАЛ[Л]АШ[7]: Тэффи в нашей литературе (и только ли в нашей) явление единственное и едва ли повторимое. Многоликая, независимая сама по себе, ни на кого не похожая Тэффи.

Ю. САЗОНОВА[8]: В рассказах Тэффи звенит радость жизни так неудержимо и беззаботно, что заражает всё вокруг и невольно втягивает восхищенного читателя.

М. ЦЕТЛИН[9]: У Тэффи, пожалуй, кроме старинных русских сказок, нет соперников в русской литературе.

В. АЛЕКСАНДРОВА[10]: Лучшее у Тэффи надо искать не в чисто юмористических, а в трагически-серьезных рассказах.

МИХАИЛ ОСОРГИН[11]: Тэффи – один из самых умных современных писателей.

САША ЧЕРНЫЙ[12]: Прежние писательницы приучили нас ухмыляться при виде женщины, берущейся за перо. Но Аполлон сжалился и послал нам в награду Тэффи. Не «женщину-писательницу», а писателя большого, глубокого и своеобразного.

ВИКТОР ОКС[13]: Если добра и зла единый хаос есть ключ к поэзии Тэффи, то чарующая притча о «Федосье-Ангелике»[14] есть поистине замок этой поэзии, за которым хранятся для многих грядущих поколений сокровища ее творчества.

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ: Пожалуй, разгадка в том, что Тэффи никого не судит, никого ничему не поучает. И именно в этом, помимо черт чисто художественных, тайна ее обаяния.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ: Тэффи юмористка – культурный, умный, хороший писатель. Серьезная Тэффи – неповторимое явление русской литературы, подлинное чудо, которому через сто лет будут удивляться.

А. АМФИТЕАТРОВ: Лучшая, изящнейшая юмористка нашей современности Тэффи; своим смехом продолжает традицию великого Гоголя.

А. КУПРИН: Она единственная, оригинальная, чудесная Тэффи. Любят ее дети, подростки, пылкая молодежь и зрелые люди труда, и посыпанные сединою отцы.

М. АЛДАНОВ: На восхищении талантом Тэффи сходятся люди самых разных политических взглядов и литературных вкусов; и я не могу припомнить другого писателя, который вызвал бы такое единодушие у критиков и у публики.

Владимир Верещагин,
1953, Париж

---

1. Действительно, у Киплинга в рассказе «Как было написано первое письмо» есть маленькая героиня Таффимай Металлумай, или Таффи (*Taffy*, Тэффи). Есть несколько версий происхождения псевдонима «Тэффи». Впервые имя Тэффи (без инициалов) появляется в 51-м номере журнала «Театр и искусство» в декабре 1901 года (вторая публикация). Сама Надежда Александровна писала: «...вспомнился <…> один дурак, действительно отменный и вдобавок такой, которому везло, значит, самой судьбой за идеального дурака признанный. Звали его Степан, а домашние называли его Стеффи. Отбросив из деликатности первую букву (чтобы дурак не зазнался)...» (рассказ «Псевдоним»). Возможны и другие варианты.

2. Семь огней. – СПб.: Шиповник, 1910.

3. Юмористические рассказы. Кн. 1. – СПб.: Шиповник, 1910.

4 Дорошевич Власий Михайлович (1865–1922), журналист, театральный критик, публицист; один из известнейших дореволюционных фельетонистов. В начале творческой деятельности сблизился с И. Д. Сытиным, редактировал

его газету «Русское слово» (1902–1917). Скончался в Петрограде от туберкулеза.

5. Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак, 1902–1994), журналист, писатель, мемуарист, общественный деятель Русского Зарубежья; гл. редактор «Нового русского слова» (1973–1994, Нью-Йорк); секретарь И. А. Бунина во время поездки писателя на вручение Нобелевской премии. Эмигрировал в 1919 году, с 1941 г. – в США.

6. Жернакова-Николаева Надежда Алексеевна (1930–2011), литературовед, профессор, преподавала в университетах США; была председателем РАГ США (1982–2011).

7. Каллаш Мария Александровна (урожд. Новикова, псевд. М. Курдюмов, 1886–1954), журналист, публицист, религиозный деятель. Была членом Всероссийского Поместного Собора в Москве (1917–18). В начале 1920-х выехала в научную командировку в Италию, в 1922 г. – в Германию, затем в Париж. Принимала деятельное участие в жизни русской эмиграции. Была постоянным автором журнала «Путь» (1925–1940). Выступала с докладами на Семинаре по изучению русской религиозной и философской мысли XIX века под руководством Н. А. Бердяева (1929). В 1931 – один из основателей Трехсвятительского подворья в Париже. Член РСХД. Преподавала в Школе-интернате в Кенси (под Парижем). До 1947 года – член Союза русских писателей и журналистов в Париже. В 1946 г. была избрана членом редакционной комиссии культурно-просветительского отдела при Союзе советских патриотов (ССП). Автор книг: «Риму или Христу» (1927), «Кому нужна церковная смута» (1928), «Василий Розанов» (1929), «Церковь и новая Россия» (1933), «Сердце смятенное. О творчестве А. П. Чехова» (1934), «Рим и Православная Церковь» (1939), «Дни примирения» (1946). Скончалась в Париже.

8. Сазонова-Слонимская Юлия Леонидовна (1884/87–1957), писатель, театральный критик, актриса, сестра писателя Михаила Слонимского. Эмигрировала через Константинополь, жила в Софии, затем с 1923 г. – в Париже. Руководила парижским Театром марионеток. С началом Второй мировой войны через Португалию переехала в США. В 1955 г. вернулась в Париж. Сотрудничала с НЖ, опубликовала переписку с Р.-М. Рильке (НЖ, № 45, 1943).

9. Цетлин Михаил Осипович (Поэтический псевдоним Амари, 1882–1945), литературный критик, писатель; совместно с М. Алдановым – основатель и гл. редактор НЖ (1942–45).

10. Александрова Вера Александровна (в замуж. Шварц, 1895–1966), литературный критик, публицист, издатель, гл. редактор Издательства им. Чехова (1952–1956). В эмиграции жила в Германии, Франции, США.

11. Осоргин Михаил Андреевич (Ильин, 1878–1942), писатель, один из руководителей русских масонских лож во Франции. В эмиграции жил во Франции.

12. Саша Черный (Александр Михайлович Гликберг, 1880–1932), поэт, прозаик, журналист. Эмигрировал в 1920 г., жил в Литве, Берлине, Риме. С 1923 г. – в Париже.
13. Окс Виктор (Виктор-Абрам Окс, 1879–1954), писатель, литературный критик. После Октябрьского переворота 1917 года – член правления Союза сценических деятелей, управляющий делами ВСНХ, работал в Народном Комиссариате внешней торговли. В 1922 г. работал в советском торгпредстве в Константинополе, затем в Лондоне. Невозвращенец. В эмиграции занимался литературной деятельностью. С 1927 года жил во Франции.
14. Стихотворение в прозе «Ангелика» вошло в сборник «Passiflora» (Берлин, 1923).

ПИСЬМО М. Н. ВЕРЕЩАГИНОЙ К О. Н. МИХАЙЛОВУ

Олег Николаевич Михайлов (1932–2013), советский писатель, автор исторических романов, исследователь литературы первой волны русской эмиграции. Известны его биографические романы-исследования и книги по литературоведению «И. А. Бунин. Очерк творчества» (1967), «Строгий талант. Иван Бунин. Жизнь. Судьба. Творчество» (1976), «Куприн» (1981), «Шмелев. Сочинения в 2-х томах» (1989), «Литература русского зарубежья» (1995), «Жизнь Бунина: лишь слову жизнь дана» (2001), «От Мережковского до Бродского» (2001) и др. В данном письме речь идет о книге «Тэффи» (Рассказы. – М.: Художественная литература, 1971), издание которой подготовил Олег Михайлов; он же написал предисловие «О Тэффи».

Публикуемое ниже письмо хранится в РГАЛИ, Ф. 1174, оп. 2, ед. хр. 24, л. 1-4.

1972, февраль
Париж

Многоуважаемый господин Михайлов,

прочитала ваше предисловие к книге Тэффи, изд. Художественная Литература, 1971, – Москва, и прошу вас сделать в биографии Н. А. Тэффи существенные поправки: 1) о Нужде и одиночестве Н. А. Тэффи в эмиграции 2) о Советском гражданстве, которое якобы приняла за несколько лет до смерти Н. А.Тэффи.

В журнале «Крокодил», № 34, 1971 г., повторение той же искаженной действительности.

Тэффи никогда в эмиграции не нуждалась. Читатели ее обожали, большинство критиков любили. Так же, как в дореволюционной России. Она жила в прекрасной квартире до Второй мировой войны

с компаньонкой, ее обслуживающей. Дочь этой компаньонки живет теперь в Париже. Тэффи мало интересовалась политической разноголосицей эмиграции. Сначала она писала в монархической газете «Возрождение», потом перешла в либерально-демократическую «Последние Новости», так как ей предложили более выгодные условия. Кроме того издавались ее книги, рассказы, пьесы, стихи; всего к концу жизни около 30-ти книг. 2 книги рассказов переведены на французский язык.

Свои наблюдения о русской эмиграции и иностранцах, свою тонкую насмешку и не едкую сатиру она находила везде. Она бывала в элегантных ресторанах, также и у скромных и бедных эмигрантов, которым она часто по мере сил помогала. У нее бывали друзья – писатели Бунин, Зайцев, Зинаида Гиппиус, Алданов, Борис Пантелеймонов, молодые поэты и бесконечное множество почитателей. До начала Второй мировой войны в личной жизни Н. А. Тэффи была счастлива. Она встретила человека, глубоко ее полюбившего, которому она платила тем же[1]. Он баловал ее, исполняя ее малейшие желания. Она не отходила от господина Т. во время всей его болезни до последней минуты его жизни. Т. посвящена «Книга Июнь» изд. в Белграде[2]. Его два сына живут в Париже. После его смерти Тэффи переехала в начале войны к своей давнишней приятельнице – Тамаре Оксинской[3], которая ей сдала в своей большой квартире в прекрасном квартале Парижа комнату. Эту небольшую комнату Надежда Александровна обставила своей красного дерева мебелью, на стенах висели картины Коровина, миниатюры дочерей, портреты друзей-писателей[4]. У Тэффи было двое дочерей[5]. В. Грабовская жила всегда в Лондоне и несколько раз в год навещала мать. Бучинская жила в Варшаве. Обе дочери несколько лет после смерти матери умерли. В этой квартире у нее был советский писатель Константин Симонов и может вам рассказать об уютной, пахнувшей всегда духами комнате, в которой Тэффи провела последние годы своей жизни.

В начале войны появились признаки грудной жабы. Но Тэффи не умела себя беречь, любила, несмотря на спазмы, выезжать на концерты или литературные вечера, пойти с друзьями в нарядное кафе. Живая, моложавая, окруженная близкими и любящими ее людьми – моим мужем, мной, Тамарой Пантеле[й]моновой[6] и другими, которые живут теперь в Париже. Она восхищала всех своим остроумием и веселостью.

Она умерла на моих руках. В комнате находилась Тамара Пантелеймонова и сиделка. Мы попросили Оксинскую принять участье в подсчете денег, которые находились в шкафу в конверте. Таким образом трое свидетелей: Пантелеймонова, Оксинская и я –

пересчитали доллары в сумме приблизительно одного (1) миллиона фр., считая на французские франки, которую и передали дочери Тэффи – Валентине Грабовской, вечером прилетевшей из Лондона. На следующий день Грабовская отправилась в банк и взяла остальные деньги. Конверт с долларами по 2 или 5 долларов – были постоянные присылки от разных почитателей, а также и журналистов, живущих в Америке, – подарки вместо вещевых посылок. Кроме этих денег я передала дочери кольцо с бриллиантом в 4 карата в форме сердца (Рисунок сердца на полях. – *Прим. публ.*)

Письма Тэффи к Седых вероятно можно объяснить полугрустным, полушутливым кокетством перед пришедшей уже старостью, которая так не шла ни к ее характеру, ни к ее внешности; еще возможно, что она считала, что если щедрая Америка помогает ее собратьям по перу, то нет причины почему бы и ей не получать посылки.

Как видите, ваши сведения о нужде и одиночестве Надежды Александровны в эмиграции представлены вами вольно или невольно читателям совершенно неверно[7].

Теперь о принятии Н. А. Тэффи советского гражданства. Все документы Тэффи были переданы моим мужем Владимиром Александровичем Верещагиным (сыном генерала Алекс. Вас. Верещагина – соратника Скобелева и племянника баталиста Вас. Вас. Верещагина) и мною – дочери В. Грабовской. Ее паспорт был такой же, как у большинства эмигрантов, выданный Францией на основании Нансеновского паспорта. Но вызывает улыбку ваше описание «нужды», в которой якобы жила Тэффи, и прибавление, что она «несколько лет до смерти приняла советское гражданство». Совсем непонятно, почему же тогда Советское Правительство не озаботилось придти на помощь бедствующей и при этом замечательной русской писательнице, которую даже сам Ленин оценил и которую перепечатывали из эмигрантских газет – советские, что кстати Тэффи прекрасно знала. Право, эти строки в вашем предисловии вызывают у читателя полное недоумение!

В заключение хочу сказать, что бесконечно ценя Тэффи как большую русскую писательницу, своеобразную жемчужинку русской литературы, любя ее как человека глубоко религиозного и доброго, любуясь ею на протяжении долгих лет дружбы как очаровательной женщиной, петербургской барыней, мы с мужем можем только радоваться, если все эти качества, вся многогранность этой нежной, умной, тонкой писательницы наконец станут известны в полной мере советским читателям когда-нибудь, а не только рассказики со специально подобранной сатирой.

Для полноты биографии Надежды Александровны Тэффи хочу

прибавить, что до одобрения Лениным и Хрущевым таланта Тэффи, государь Николай II зачитывался рассказами Тэффи, читая их вслух императрице и своим дочерям. Здесь в эмиграции, если кто-нибудь из членов Царской семьи встречал случайно Надежду Александровну, то неизменно благодарил ее за радость, которую она дарит своим читателям.

Также довожу до вашего сведения, что о Н. А. Тэффи в Америке написаны несколько диссертаций, на основании документов, находящихся там в архивах, а также данных, которые мы с мужем могли сообщить.

I) Копия этого письма будет отослана в журнал «Крокодил», а также Наталье Борисовне Волковой, заведующей литературным архивом. (Центральный государственный архив Литературы и Искусств С.С.С.Р.)

Нелепости, очевидно вполне умышленные, о жизни Тэффи в эмиграции появляются в Советском Союзе несмотря на материалы, переданные моим мужем и мной, – Наталье Борисовне Волковой во время ее посещения нас.

2) Прилагаю также фотокопию статьи моего мужа, появившуюся в «Русской мысли» 21-го ноября 1968 года к десятилетию со дня кончины Н. А. Тэффи.

(подпись от руки): Мария Верещагина, февраль 1972 года, Париж

---

1. Тикстон Павел Андреевич (1872–1935), гражданский муж Н. Тэффи; сын известного калужского фабриканта Андрея Тикстона; до 1917 года – коммерции советник, директор банка в С.-Петербурге, масон.

2. Книга Июнь.·– Белград, 1931.

3. Оксинская (Лаврова) Тамара Ананьевна (1889–1963, Париж), актриса, режиссер. Играла в театре С. Сабурова и в театре «Пассаж» в С.-Петербурге. Эмигрировала в 1920, жила в Париже. Играла в Русском театре, в Русском интимном театре.

4. В этом контексте интересна статья польского исследователя Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska «Роль предметов в жизни и творчестве Тэффи» / W kregu problemow antropologii literatury. Cialo I rzecz w literaturze / University: Bialystok, 2016: «В жизни и в творчестве Тэффи большую роль играли предметы. <…> красивая одежда очень интересовала Тэффи. За ней она следила не только при жизни, но и думала о том, чтобы не быть плохо одетой после смерти. Подруга Тэффи, И. Одоевцева, вспоминала, что ‘Тэффи по привычке ежедневно следила за собой: бархатный берет, обычно кокетливо скошенный на левый глаз, строго и прямо надвинут на лоб до самых бровей, скрывая затейливые завитки на висках. Клетчатый шарф, обычно не без лихости и кокетства закинутый вокруг шеи, распластан на плечах’. Для Тэффи в

жизни необходимы были женские помады и украшения. Как элегантная женщина, она никому не показывалась в натуральном виде – ненапудренная, с неподкрашенными губами и неподведенными глазами. Когда этого не сделала, тогда говорила, что у нее неавантажный вид; часто повторяла, что хочет нравиться всем. <…> Во-первых, это квартира, в которой комнату снимает пожилая, но обеспеченная женщина. <…> названные предметы и вещи играли в жизни Тэффи важную роль. Чтобы жизнь человека была полна, а он себя хорошо чувствовал, они необходимы: квартира, кровать, одежда, обувь, посуда; но и нужны для духовной жизни верующего человека – иконы святых и Спасителя, крестики; для души и эстетического вкуса – украшение стен (картины, портреты, стаканчики); для женщин – детали в одежде и в наружном виде – косметические украшения типа пудры, губные помады. Значит, хозяйка этой квартиры вела уравновешенный и упорядоченный образ жизни. <…> [Предметы] Для Тэффи служили средством характеристики героев, определяли их характер и поведение» (Цитируемое письмо см.: *И. Одоевцева*. О Тэффи/ Далекие берега. Портреты писателей эмиграции. Мемуары / Сост. В. Крейд // Москва, 1994. – С. 319). М. Н. Верещагина также пишет об этом: «Н. А. Тэффи жила в квартире г-жи Лавровой (Оксинской), обставив комнату своей собственной прекрасной мебелью красного дерева. На стенах – картины Коровина, портреты друзей-писателей. Около кровати-дивана – образки Спасителя и Серафима Саровского, кипариссный крестик, привезенный из русского монастыря. Все эти вещи делали темноватую комнату, выходящую окном во двор, – уютной и какой-то барской. Запах духов и еще чего-то приятного, свойственного всем ее вещам, почему-то напоминал Петербург, и представлялась ее квартира там, о которой она любила рассказывать, где каждая вещь была ею выбрана внимательно и со вкусом» (*Мария Верещагина*. Письмо к редактору НРС «Как жила Тэффи». – НРС, № 14813, 15.X.1952 в ответ на заметку: *Н. Ш*. В комнате у Н. А. Тэффи. – НРС, № 14781, 15.X.1952).

5. У Тэффи было две дочери и сын от брака с Владиславом Петровичем Бучинским, служившим судебным следователем: Валерия, Елена и Янек. Валерия Владиславовна Бучинская (в замужестве Грабовская, 1892–1964), переводчица, член Польского правительства в изгнании; во время войны проживала с матерью в Анже, но вынуждена была бежать в Англию. Жила в Лондоне. Передала архив матери (5000 ед.хр., 11 ящиков) в Бахметевский архив, Колумбийский университет. Младшая дочь – Елена Владиславовна Бучинская (1894–1957), драматическая актриса, художник, исполнительница «словопластических» танцев, жила в Варшаве, осталась на территории советской Польши. Ян Владиславович Бучинский (1893? –), по отдельным источникам, в 1937 году осужден на 10 лет «за вредительство», в ГУЛаге находился в Соловецком лагере. Тэффи якобы просила Симонова при их встрече в Париже узнать о судьбе осужденного сына (свидетельство М. Н. Верещагиной). В списках репрессированных Я. В. Бучинский пока не обнаружен.

6. Тамара Ивановна Кристин (1900–1979), вторая жена Б. Г. Пантелеймонова, художник, скульптор, корректор в газете «Возрождение».
7. В письме к редактору НРС «Как жила Тэффи» М. Верещагина также пишет: «Бесчисленное количество ее почитателей, приезжавших Париж, пытались ее повидать и, если это не удавалось, посылали ей письма, подарки. Только болезнь мешала ей быть окруженной огромным кругом почитателей, друзей. Но проститься с ней пришли они все – без различья политических направлений. И духовенство, независимо от юрисдикций, пришло помолиться о ней. Все объединились вокруг ее дочери, чтобы сказать ей, что в ее горе она не одинока, что много русских людей горюют вместе с ней» (НРС, № 14813, 15.X.1952).

Публикация – М. Адамович, Е. Дубровина

О. Ф. Кузнецова

«И со мной моя тайна всечасно...»

Из переписки Зинаиды Шаховской и Ирины Гуаданини с Игорем Чинновым

Публикуемые здесь письма в большей или меньшей степени связаны с именем Владимира Набокова (1899–1977). Они не дают основания говорить о «тайне писательства». Ее раскрыл сам Набоков в своем рассказе «Василий Шишков», где главный герой говорит автору рассказа: «Вы обладаете, чисто физиологически что ли, какой-то тайной писательства, секретом каких-то основных красок, т. е. чем-то исключительно редким и важным, которое вы, к сожалению, применяете по-пустому»[1]. Но письма дают повод поговорить о скрытых за их строчками фактах из жизни Набокова, а также об авторских недомолвках Зинаиды Шаховской в ее книге «В поисках Набокова» (Париж, 1979) и о «загадках» и «ребусах» Набокова, обнаруженных ею в процессе этих поисков. Не разгадан до сих пор и псевдоним Ирины Гуаданини – Алетрус, – за которым она укрылась при публикации рассказа-воспоминания о Набокове.

В архиве И. В. Чиннова (ОР ИМЛИ РАН, фонд 614) сохранилась довольно обширная переписка Зинаиды Шаховской и Игоря Чиннова, а также несколько писем Ирины Гуаданини. Здесь публикуются только те их письма, которые касаются набоковской темы. Публикуемые письма Шаховской и Чиннова относятся к 1978–1979 годам.

Тогда, в конце 1970-х, и Игорь Владимирович Чиннов (1909–1996), и княжна Зинаида Алексеевна Шаховская (1906–2001) – они принадлежали к первой волне русской эмиграции – были хорошо известны в Зарубежье. И не только своими книгами, но активным участием в общественной и культурной жизни русской диаспоры. К ним прислушивались, и нередко их мнения и оценки выражали общую для их круга точку зрения. Чиннова в Зарубежье знали как поэта, унаследовавшего после Георгия Иванова «кресло первого поэта эмиграции». И это было почетное «звание». В послевоенном Париже он сотрудничал с известным тогда издательством «Рифма», где выпускались эмигрантские сборники стихов. Что, по тем временам, было событием. Там вышел и новый сборник Владимира

Набокова «Стихотворения» (1952). Там же издана и первая книга стихов Игоря Чиннова «Монолог» (1950).

Позже, в 1953–1962 годы, когда Чиннов уже работал в Мюнхене на радиостанции «Свобода», в русской редакции, где он составлял тексты передач о новостях культуры на Западе, он тоже содействовал распространению произведений эмигрантов – добился, чтобы в эфир для слушателей в СССР выходили и передачи о русских писателях Парижа. Чем заслужил уважение литераторов.

В 1962 году он уехал в США, где ему предложили место профессора русского языка и литературы. А в 1978-м, когда было написано первое из публикуемых писем к Шаховской, Чиннов как раз только что завершил свою преподавательскую карьеру, в звании заслуженного профессора вышел в отставку и переехал жить во Флориду. Едва обосновавшись на месте своего нового жительства, он отправился в путешествие, как видно из его письма, и чуть было не пропустил отправленную ему Шаховской по почте книгу.

Зинаида Шаховская в эмиграции (и в литературной Франции) была известна своими книгами на русском и на французском языках. По-французски она писала под псевдонимом Жак Круазе. Во Франции Шаховская получила много литературных наград. Французское правительство за литературные заслуги даже присудило ей звание Командора Ордена искусств и литературы. Стихи писала на русском – в эмиграции вышли ее поэтические сборники. С 1968 по 1978 годы Шаховская, можно сказать, возглавляла СМИ эмигрантского Парижа – она редактировала «Русскую мысль», крупнейшую газету эмиграции. В 1978 году, в публикуемом здесь письме Чиннову, Шаховская пишет о завершении своего редакторства и выходе на пенсию.

Гораздо меньше была известна в эмигрантских кругах другая корреспондентка Чиннова – поэтесса Ирина Юрьевна Гуаданини (1905–1976), или Гуаданини-Кокошкина, – она была падчерицей адвоката Владимира Федоровича Кокошкина (1874–1926), за которого, вторым браком, вышла замуж ее мать. В России он входил в Центральный комитет кадетской партии, как и его брат, Ф. Ф. Кокошкин (1871–1918) – известный деятель и основатель этой партии, убитый в 1918 году.

После революции Ирина Гуаданини с отчимом и матерью оказалась в эмиграции. В 1930 годы Гуаданини жила в Париже. Потом – в США, где в 1956–1958 годах работала на радио «Голос Америки» – об этом она пишет Чиннову в одном из писем. А в 1958 году она уехала в Мюнхен и поступила на радио «Свобода» в русскую редакцию, где в то время редактором был Игорь Чиннов. В 1965 году, не дослужившись до пенсии, Гуаданини уволилась, чтобы вернуться в Париж.

Их с Чинновым переписка началась после того, как Чиннов в 1962 году уехал из Мюнхена в США. В архиве сохранилось несколько писем Гуаданини к Чиннову за 1963–1969 годы.

У Чиннова и Ирины Гуаданини были добрые приятельские отношения. После отъезда Чиннова Гуаданини поселилась в его съемной мюнхенской квартире, где он оставил часть своих вещей и книг и просил Гуаданини позже переслать ему его вещи. Эти, чисто житейские, хлопоты и послужили причиной начала их переписки. В письмах возникают, конечно, и другие темы. Гуаданини тогда выпустила в Зарубежье свой единственный сборник стихов «Письма» (Мюнхен, 1962) и сообщает о нем Чиннову. Чиннов считал, что стихи у нее неплохие. Но в эмигрантских кругах Парижа Ирину Гуаданини-Кокошкину знали не в связи с ее стихами, а в связи с ее романом в 1937 году с Владимиром Владимировичем Набоковым. Тогда он еще был не всемирно известным автором «Лолиты», а просто эмигрантским писателем Владимиром Сириным, оказавшимся в Европе практически без средств к существованию.

Ему было под сорок, ей – немного за тридцать. Роман закончился болезненным разрывом: после анонимного письма к жене Набокова писатель прервал отношения и, более того, попросил Гуаданини вернуть ему его письма. Она отказалась.

Предполагают, что Гуаданини стала прототипом Нины из рассказа Набокова «Весна в Фиальте». В сборнике Набокова «Весна в Фиальте», который он издал в 1956 году, рассказ датирован 1938 годом.

Набоковская тема, очень опосредованно, возникает в одном из писем Гуаданини к Чиннову за 1963 год (оно вошло в публикуемую в номере подборку). В письме упоминается набоковская Лолита, а также книга стихов Гуаданини «Письма», негласно адресованная Набокову, что ни для кого не было тайной. Это письмо Гуаданини имеет ценность и как человеческий документ, дающий представление о самой Ирине Гуаданини, «тайной странице» в биографии Набокова, о которой известно очень немного.

Чтобы увидеть, что стоит за строками публикуемых писем, обратимся к упомянутым там фактам и событиям.

«ОН ЗАБУДЕТ ДАЖЕ ДРУЗЕЙ ЕГО ЧЕРНЫХ ЛЕТ…»

Первым делом, необходимо понять причины резкого высказывания Игоря Чиннова в адрес Набоковых в его письме от 27 октября 1978 года к Зинаиде Шаховской. Он пишет о ее рассказе «Пустыня», где в главных героях легко угадываются Владимир и Вера Набоковы: «А ‘Пустыня’ – О! О! Надеюсь, Набоков с женой дружно и преизрядно икали с недельку, если не дольше. Так им и надо, ей особенно, с ее

фальшивым ‘аристократизмом’. Превосходно написали и ‘технически’, разумеется».

Впервые рассказ появился в 1973 году в «Новом Журнале» (№111). Потом Шаховская включила его в сборник «Рассказы. Статьи. Стихи» (Париж, 1978), подаренный Чиннову.

Хотя рассказ «Пустыня» русскоязычный читатель сейчас может найти – книги Шаховской переизданы в России, – необходимо сказать о нем несколько слов. Буквально с самых первых фраз и дальше по тексту становится ясно, что Вальден, главный герой, это – Владимир Набоков. Приведем лишь несколько цитат. Начало рассказа: «Вальден сидел в холле международной гостиницы», «Дома у Вальдена давно не было», – пишет дальше Шаховская. (То, что Набоковы жили в гостинице, – известный факт.) Шаховская представляет читателям героя рассказа – преуспевающего, уставшего от жизни, «известного своей неучтивостью» «великого писателя», который ждет встречи с молодым филологом: «Сознавал ли Вальден, что улыбка его была помимо его воли презрительной и насмешливой, даже и теперь, когда он чувствовал себя потерянным, так как впервые за долгие годы жена не присутствовала при интервью?» (В эмиграции знали об этой странности – неизбежном присутствие жены Набокова на интервью и лекциях.) О жене главного героя Шаховская пишет: «Твердо, под предлогом заботы о нем, об его освобождении от хлопот, она отняла у него участие в жизни, обессилила его». Отняла всё то, что «дает человеку ощущение собственной жизни». Он следовал «только ее советам»; она решала, «кого он может видеть и кого видеть не должен». А ведь когда-то, – пишет Шаховская, – он был счастлив, любим, окружен друзьями. Он «боролся, разговаривал с издателями, устраивал лекции, писал письма...» (Было известно, что жена Набокова выполняла при муже-писателе обязанности редактора и секретаря, вела переписку. Он даже не пользовался телефоном. Вообще же она была женщиной крайне энергичной – хорошо стреляла, любила боксерские поединки.)

И вот ее не стало, пишет Шаховская: «Никто больше не оберегал его, как зверь свою добычу». Вальден смотрит на фотографию жены: ее «тонконосое острое лицо носило отпечаток выработанной высокомерности, которую она считала признаком аристократизма именно потому, что к аристократии не принадлежала». В эмиграции хорошо знали о высокомерии Веры Евсеевны Набоковой (1902–1991).

Финал рассказа таков: Вальден убрал фотографию жены в ящик и почувствовал «забытое, но родное чувство свободы»[2].

Шаховская в сборнике 1978 года поместила «Пустыню» в разделе рассказов. Хотя текст настолько «адресный», что мог бы быть отнесен к жанру художественной публицистики. И всё же – это рас-

сказ, и как художественное произведение он мог быть вообще плодом авторской фантазии. Но то, что таким образом Шаховская высказала свое мнение о судьбе реальной семьи, о разрушительной роли Веры Евсеевны в жизни Набокова, – совершенно очевидно. В рассказе она по-своему пытается оправдать произошедшие с другом ее молодости перемены, которые «обескровили» его.

Хочется понять, почему рассказ написан Шаховской именно в это время. Набокову уже 74 года, менять жизнь поздно. А знакомы они с Набоковым были с 1932 года. Впрочем, за четырнадцать лет до написания рассказа, в 1959 году, в статье «Набоков. Или рана изгнания»[3] Шаховская уже писала, что жизнь Набокова не кажется ей счастливой. По праву многолетней дружбы она с сочувствием говорит в статье о его личном одиночестве, о том, что Набоков живет, «закованным в броню безлюбовного мира», что в последние годы «велика была его душевная пустыня». А читая его воспоминания «Другие берега»[4], приходилось констатировать, что «ни русские, ни французы, ни англичане не найдут в них теплого отклика. Он забудет даже друзей его черных лет»[5].

Шаховская имела в виду эпизод 1949 года, когда она, после длительного перерыва, узнав, наконец, американский адрес Набокова, написала ему, а «в ответ получила деловое и четкое письмо от его жены. В[ладимиру] было уже некогда»[6], – писала Шаховская. Он ей не ответил. На этом переписка «друзей черных лет» – Набокова и Шаховской – закончилась.

Чиннов также в письме упоминает высокомерие Веры Евсеевны – ее «фальшивый аристократизм». В Зарубежье знали, что эмигрантские писатели и друзья из прошлой жизни Владимира Сирина, не приветствовались женой американского писателя Владимира Набокова. Поэтому Чиннов и не стал знакомиться с Набоковым. В письме к Шаховской от 19 августа 1979 года он вспоминает, что однажды «в Женеве спросил Слонима: стоит ли заехать? Он не советовал: аудиенция была бы короткой...»

Но у Чиннова были и более глубокие причины для того, чтобы, судя по его высказыванию в письме, относиться к Вере Набоковой без большой симпатии. Как и у Шаховской. И дело не только в высокомерии. О серьезных разногласиях с ней Шаховская пишет в своей книге «В поисках Набокова», где на нескольких страницах рассказывает о споре с Верой Набоковой. Шаховская вспоминает, что Вера Набокова, демонстрируя свое «презрение к русскому народу», и даже «ненависть», «обрушилась на весь русский народ, на ‘рабскую его натуру’ и всё прочее, что об этом народе часто говорится»[7]. Для Чиннова, эмигранта первой волны, как и для Шаховской, такое отно-

шение к России было невозможно. В письме Чиннов поддержал Шаховскую – отметил, что эти ее страницы «прекрасно написаны».

В статье «Литературные поколения» Шаховская в 1978 году с грустью говорит о советских эмигрантах из СССР 1970-х годов: «У недавно выехавших нет обольщения возможностью скорого возвращения на родину и, по сравнению с писателями первой эмиграции, нет и ностальгии»[8]. Чаще они и Советский Союз, и Россию – критиковали, соединяя эти два образа, – Россию дореволюционную и социалистическую.

Постепенное «отдаление» от России замечает Шаховская и у Набокова. И, по ее убеждению, во многом это случилось под влиянием жены. Ведь раньше она знала другого Набокова. Пытаясь проследить, с какого момента начала развиваться эта его «мутация», Шаховская вспоминает: «Он женится, у него рождается сын. Книги его появляются, не вырывая его из бедности. С каждой новой книгой всё отдаляется от него Россия. Скоро нельзя будет догадаться, к какой стране принадлежат персонажи, им созданные»[9]. Шаховская недоумевает: «Как будто Набоков никогда не знал запаха конопли, нагретой солнцем, облако мякины, летящей с гумна, дыхания земли после половодья». Она удивлена и тем, что «отсутствует в набоковской России русский народ, нет ни мужиков, ни мещан». В результате, в его прозе не найти «участия или соучастия Набокова к судьбе его родины, ни жалости к его соотечественникам»[10]. И это важно для самой Шаховской.

Чиннов согласен с ней. Позже, в письме поэту Юрию Иваску (1907–1986), который был знаком с Набоковым, Чиннов с сожалением вспоминает, что Набоков не сказал «*ни слова* о книгах Некрасова, хотя ‘В окопах Сталинграда’ и ‘В родном городе’ известны на всю Россию. И снобировал гостя»[11].

«ОСКОЛКИ БУТЫЛКИ, БРОШЕННОЙ В МОРЕ ДАВНО…»

Но была и еще одна причина появления рассказа Шаховской и резкого высказывания Чиннова о Набоковых. И Шаховская, и Чиннов сочувствовали Ирине Гуаданини, с которой Набоков в свое время обошелся «не по-джентельменски».

Чиннов и Шаховская знали Ирину Гуаданини: Чиннов несколько лет работал с ней на радио «Свобода» в одной редакции, а Шаховская познакомилась с ней в Париже и оказалась одной из тех, кому довелось прочесть письма Набокова к Гуаданини. (Гуаданини передала письма на хранение «частному лицу», и они были практически закрыты для исследователей.)

По свидетельству Шаховской, эти письма – «редчайший, может быть, единственный подлинный документ, открывающий нам неза-

маскированного Набокова». Шаховская уверена, что «один почерк уже выдает смятенное состояние писавшего. Никакой литературной игры нет и в помине»[12]. По убеждению Шаховской, между Набоковым и Ириной Гуаданини возникло настоящее искреннее чувство, любовь с первого взгляда, как «удар молнии». И хотя Набоков вынужден был расстаться с Гуаданини, Шаховская не согласна была исключить эту «тайную страницу» из биографии Набокова после его смерти. Она считала, что роль Гуаданини в судьбе Набокова была значительной – встреча их повлияла на его творчество. Шаховская писала, что «жизнь писателя неотделима от его творчества, что они необходимо складываются вместе как ‘паузель’ и что нельзя понять произведения писателя, игнорируя его биографию»[13].

А в кругах, близких семье Набоковых, считали, что его любовные письма Ирине – всего лишь литературное творчество писателя, и что речь не шла о его серьезном чувстве, а только о страсти, о быстро забывшемся увлечении. И про Гуаданини предпочитали вообще не упоминать. Она должна была исчезнуть из биографии «знаменитого писателя» Набокова.

Но Шаховская, помня о своей прошлой дружбе, сочла необходимым написать в книге «В поисках Набокова» и об Ирине Гуаданини. Правда, при этом – не называя ее имени.

Почему она не хотела называть в книге имени Ирины Гуаданини, а говорила о ней загадками, намеками, стало известно только в 1997 году со слов самой Шаховской. Дело в том, что книга писалась, когда жена Набокова была еще жива. (Она пережила Набокова на четырнадцать лет.) В найденном в архиве Шаховской мемуарном очерке об Ирине Гуаданини «Бедная Ирина» и опубликованном только в 1997 году, Шаховская писала: «Несмотря на мои совсем не дружеские отношения с Верой Набоковой, я не хотела предавать гласности при ее жизни интимную подробность ее семейной жизни, щадя ее самолюбие».

Из-за причин «этического порядка» Шаховская только в этом, позднем, очерке говорит и о том, что ее особенно «удивляет» в истории с Ириной Гуаданини: «Удивляет меня, что Набоков, покинувший Россию не ребенком, а юношей, как будто никогда не слыхал о том, что в ней считалось приличным и неприличным. Женщина могла просить своего любовника вернуть ей письма, которые могли бы ее скомпрометировать, мужчине не полагалось требовать возвращения своих. Кроме того, малейшее чувство благородства или хоть капля жалости должны были бы помешать Набокову добавить к унижению разрыва неубедительное признание, что в его растерянных письмах ‘было много писательского преувеличения’»[14].

В книге Шаховская пощадила самолюбие Веры Набоковой. Но

свое мнение о ее роли в жизни Набокова Шаховская никогда не скрывала. Ни в статье 1959 года, ни в рассказе «Пустыня» 1973 года, ни в книге о Набокове, ни в интервью 1987 года «О семье В. В. Набокова». Там она писала: «Никто не может не знать так широко обнародованную самим Набоковым его ‘тоталитарную’ любовь к жене и сыну». Но при этом в приведенных примерах Шаховская подвергает сомнению искренность такой любви. Она вспоминает известные «легенды» «о романтической любви герцога и герцогини Виндзорских и о поэтической любви Арагона и Эльзы Триоле» и замечает, что, в конце концов, они «обнаружили свою легковесность»[15]. А в публикуемом здесь письме Чиннову Шаховская пишет, что жена Набокова – это «часть творчества сего писателя», – то есть созданная самим Набоковым, очередная в этом ряду «легенда о любви», но не романтической, а «тоталитарной» – так виделось Шаховской.

Взявшись за написание книги «В поисках Набокова» Шаховская предполагала, что в определенных эмигрантских кругах она получит отрицательные отзывы. Об этом Шаховская и писала Чиннову в публикуемом письме от 15 октября 1978 года: «Я заканчиваю книгу <…> – и многие восстанут против меня, – начиная со вдовы ВВ». Читать это произведение Шаховской, разгадывая недосказанное, интересно. «Технически» книга сделана действительно мастерски. По ходу чтения становится понятно, что, избегая имени Гуаданини, нигде не названная героиня зримо присутствует и в авторском тексте, и в «ребусах» Набокова, на которые Шаховская указывает. Иногда Шаховской удается найти путь к разгадке очередного «ребуса», хотя, по ее словам, Набоков хорошо умел «играть в прятки с читателем». Имя Ирины Гуаданини есть только в подписи к фотографии 1937 года, где изображено чаепитие, в котором участвуют также Набоков и мать Ирины – Вера Кокошкина.

В архиве Чиннова сохранился экземпляр книги «В поисках Набокова» с дарственной надписью Шаховской: «На два письма не было ответа от Вас, друг мой Чиннов – Игорь! Как в море бутылку, шлю теперь Вам эту книгу. – Улыбнитесь ей. Обнимаю. Шах-Зинаида. Париж. 1979». Чиннов в письме от 27 августа 1979 года благодарит Шаховскую за книгу

Символ брошенной в море бутылки, понятный читателям Русского Зарубежья, возникает позже в стихотворении, написанном Чинновым в России 1990-х годов, где есть строки: «Милая девочка мне// Подарила осколки бутылки, // Брошенной в море давно...»[16] А «осколки бутылки», брошенной в море Шаховской, со временем собирались, соединяясь открывающимися исследователям фактами. В донжуанском списке, который Набоков показал Вере перед свадьбой и где

числилось больше двадцати женских имен, после имени Ирины Гуаданини была поставлена точка. Набоков, по его словам, простился «с юностью».

В эмиграции заговорили, что Набоков и его Вера стали неразлучны, как сиамские близнецы.

«ВАШИ ПОИСКИ Н. УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ»

Для Шаховской книга «В поисках Набокова» – это не только мемуарный труд, воссоздание важных моментов биографии писателя, но и попытка «найти» утраченного друга, знакомого ей в 30-е годы, – найти в произведениях Набокова, которые становятся «всё холоднее, всё абстрактнее», отражение его «истинных чувств» гражданина и человека. И Чиннов, прочитав книгу, пишет в письме Шаховской от 19 августа 1979 года, что ее «поиски Н[абокова] увенчались успехом».

В своих «поисках» Шаховская обратилась, прежде всего, к стихам Набокова-Сирина. Именно там, по ее мнению, он искренен, именно там, где «муза не любит контроля, – мы находим человеческое тепло, эмоции, озарение»[17]. В стихах Набоков говорит наиболее откровенно о трагедии, связанной с потерей родины и потерей любви. Если проза «поддается насилию», то, по словам Шаховской, «в стихах своих Набоков ничем не защищен, он обезоружен и обнажен в них гораздо больше, чем в полузакамуфлированных признаниях, рассыпанных в его романах и в художественных биографиях. В поэзии сущность Набоковской трагедии, его травма, выступают отчетливо. <…> Всё искрящееся, живое, подлинное идет из детства, из России, всё тяжелое, бессмысленное – после расставания с ней»[18].

Шаховская предлагает рассматривать стихи Набокова «как человеческий документ» – как свидетельство самого Набокова о фактах его биографии. В книге она говорит о стихотворении «Отвяжись – я тебя умоляю!..» В 1938 году Набоков подарил ей автограф этого стихотворения. Он был вторым в подборке из двух стихотворений с общим названием – «Обращение». Первым там стоял автограф стихотворения «Мы с тобою так верили в связь бытия…» Логично предположить, что оба стихотворения – это «обращение» к одному адресату. Целиком подборка «Обращение» Набоковым не была опубликована.

Первое стихотворение Набоков включил в сборник 1952 года «Стихи». (Существует и аудиозапись стихотворения, где он сам его читает.) А стихотворение «Отвяжись – я тебя умоляю!..», озаглавленное как «Обращение», Набоков опубликовал гораздо раньше и не за подписью «Сирин», а под выдуманным псевдонимом «Василий Шишков»[19]. Как будто «для того, чтобы лучше зашифровать его потаенный мир»[20], – предполагала Шаховская.

Набоков объяснял появление нового псевдонима тем, что это шутка, мистификация, устроенная им для Георгия Адамовича, который обычно критиковал стихи за подписью Сирина. Но сначала под новым псевдонимом Набоков напечатал стихотворение «Поэты»[21]. И Адамовичу оно понравилось. Замысел удался! Затем, два месяца спустя после этой публикации, в сентябре 1939 года, появился рассказ Набокова (Сирина) под названием «Василий Шишков»[22] – и все узнали, что Шишков – это литературный персонаж. Так мистификация, устроенная «для Адамовича», была Набоковым раскрыта, цель достигнута, и выдуманный псевдоним был уже ни к чему. Однако в 1940 году Набоков публикует опять за подписью «Василий Шишков» полное тоски и отчаяния, буквально кричащее стихотворение «Отвяжись – я тебя умоляю!..»[23] Похоже, теперь Набоков задумал двойную мистификацию – для Адамовича и чтобы скрыть «потаенный мир» стихотворения. И только после появления этого стихотворения Василия Шишкова мистификация была завершена. Обычно ироничный, как бы подшучивающий над публикой, Набоков передал Шишкову свое авторство, отказавшись от слишком уж откровенного поэтического признания. Так «потаенный мир» самого Набокова оказался «зашифрован», – что и предполагала Шаховская, говоря о мистификации.

Появление этого стихотворения-исповеди за подписью Василия Шишкова было хорошо подготовлено и выглядело логичным. Ведь читатели уже прочли полное драматизма стихотворение Шишкова «Поэты», где он писал о смерти, об «отрешенье от слова», о «молчанье любви». Прочли они и рассказ об этом ранимом персонаже, для которого невозможна жизнь среди мелочей, скрывающих «зародыши самых явных чудовищ», который собирается «убраться в Африку» или «сунуться в Россию», или «покончить с собой». Подобный персонаж как раз и мог стать автором стихотворения с такой откровенной трагической интонацией. А когда в рассказе Василий Шишков вдруг исчез, Набоков констатировал, что «в каком-то невыносимом для рассудка, дико буквальном смысле» его персонаж смог «исчезнуть в своем творчестве, раствориться в своих стихах, оставить от себя, от своей туманной личности только стихи»[24].

Именно так «исчез» писатель Владимир Сирин. А Владимир Набоков в 1940 году отплыл в Америку.

Так что Шаховская, обращаясь в своих «поисках» к стихам из подборки «Обращение», которые ей оставил в 1938 году Набоков, идет по пути, указанному самим Набоковым, – «ищет» его в стихах. Говоря о публикации этих стихов в сборнике Набокова 1952 года «Стихотворения» в издательстве «Рифма», она обращает внимание на то, что там стихи «появились под разными датами и с некоторыми разночтениями

сравнительно с моим вариантом»[25]. «Мы с тобою так верили в связь бытия...» датировано 1938 годом, а стихотворение «Отвяжись – я тебя умоляю!» там датировано 1939-м. И стихи не объединены общим названием «Обращение» и даже не располагались рядом.

* * *

Мы с тобою так верили в связь бытия,
но теперь оглянулся я – и удивительно,
до чего ты мне кажешься, юность моя,
по цветам не моей, по чертам недействительной!

Если вдуматься, это – как дымка волны
между мной и тобой, между мелью и тонущим;
или вижу столбы и тебя со спины,
как ты прямо в закат на своем полугоночном.

Ты давно уж не я, ты набросок, герой
всякой первой главы – а как долго нам верилось
в непрерывность пути от ложбины сырой
до нагорного вереска.

* * *

Отвяжись – я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.

Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;

обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
всё, что есть у меня, – мой язык.

Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь всё то, чем я смолоду жил,

дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд, –
поздно, поздно! – никто не ответит,
и душа никому не простит.[26]

Шаховская пишет в книге, акцентируя на этом внимание читателей, что стихи она получила именно в 1938 году. И утверждает: «Эти два стихотворения ‘Мы с тобой так верили в связь бытия’ и ‘Отвяжись, я тебя умоляю’, полученные мною *одновременно* в 1938 г., <…> не могут быть ничем иным, как выражением истинных чувств автора, ‘трава двух несмежных могил’ тому порукой»[27]. (Выд. мной. – *О. К.*)

О каких «истинных чувствах» говорит Шаховская, и о чьих могилах идет речь? Ответ на эти вопросы, скрытый за строчками стихов, есть в известных фактах биографии Набокова. «Мы с тобою так верили в связь бытия...» – это «обращение» к юности поэта – такова привычная трактовка. Но возникает вопрос: почему именно в 1938 году Набоков вдруг, обращаясь к юности, прощается с ней? Что произошло тогда, какое событие? Факты дают возможность предположить, что это событие – расставание в конце 1937 года с Ириной Гуаданини, которое было настолько значимо для Набокова, что ассоциировалось с расставанием с юностью. И значит «Мы с тобою…» обращено к Гуаданини?

Второе стихотворение из подборки 1938 года – «Отвяжись – я тебя умоляю...» – было в 1940 году опубликовано Набоковым под названием «Обращение», а в сборнике издательства «Рифма» – без названия. И всё же стихотворение стали называть «К России». Само слово «Россия» в стихотворении появляется только в пятой строфе. И невольно возникают вопросы – к кому поэт обращается, кто, совсем по-женски, «сквозь слезы», смотрит на него «дорогими слепыми глазами» и кто должен пожалеть его и не искать? Чувствуется в этих стихах какой-то второй план, какая-то тайна: кажется, что не только к России обращается здесь поэт. Хочется как-то персонифицировать

возникающий образ. Но поскольку Набоков-Сирин, чтобы «зашифровать» свой «потаенный мир», укрылся здесь за псевдонимом Шишков, то вопросы задавать как бы и некому. Однако известные факты из жизни Набокова и логика общего названия подборки заставляет нас опять говорить об Ирине Гуаданини как адресате и этого «Обращения», и «истинных чувств», обращенных к ней.

Шаховская, один из самых внимательных прижизненных исследователей творчества Набокова, замечает, что в своих текстах «вехи он все-таки ставит, автобиографические данные и личные признания проблескивают под всеми масками, через вымышленное мелькает и подлинное»[28]. И действительно, почти через десять лет после публикации стихотворения «Отвяжись – я тебя умоляю...» почитатели Набокова услышали от него «личное признание» и подсказку, чтобы пройти по оставленным им «вехам».

7 мая 1949 года в Нью-Йорке на своем творческом вечере Набоков читал оба стихотворения из подборки. И во вступительном слове связал их появление с любовной «утратой». Набоков сказал: «Довольно естественно, что для молодого изгнанника утрата отечества сливалась бы с утратой любовной. Из многочисленных лирических стихов такого рода, которые я сочинял в Европе в ту пору, я отобрал несколько таких, которые всё еще отвечают моим сегодняшним требованиям»[29]. (К вечеру Набоков готовился, эти его заметки с текстом выступления сохранились.) После предисловия Набоков прочитал несколько стихотворений, в том числе – «Мы с тобою так верили в связь бытия...» и «Отвяжись – я тебя умоляю...»

Итак, Набоков говорит о любовной «утрате», которую он переживал, когда писал эти «лирические стихотворения». Согласно фактам, «утратой» в конце 1937 года для него была «утрата» любви и расставание с Ириной Гуаданини.

В предисловии к книге о Набокове Шаховская говорит, что «Набоков загадочен, что он бросил вызов своим читателям и почитателям»[30]. И она пытается «разгадывать» его загадки – находить оставленные им самим в его произведениях «вехи», важные «автобиографические данные». И она находит «веху», подтверждающую, что в стихотворении Набоков прямо обращается к Ирине Гуаданини. Шаховская пишет, что строчка о «двух несмежных могилах» в стихотворении Набокова служит «порукой» тому, что речь идет о конкретных фактах, что это вовсе не литературная метафора. В стихотворении «Отвяжись – я тебя умоляю…» Набоковым упомянуты две реальные могилы – заброшенные, потому что их невозможно навестить[31]. Одна могила осталась в фашистской Германии – это могила отца Набокова, В.Д. Набокова, убитого в 1922 году в Берлине. А другая могила оста-

лась в большевистской России. Это могила брата приемного отца Ирины Гуаданини – Ф. Ф. Кокошкина, убитого в 1918 году матросами в больнице. Таким образом, Набоков говорит здесь об общем горе, объединяющем его с Гуаданини: ведь отец Набокова и Федор Федорович Кокошкин были активными членами кадетской партии, оба участвовали в ее создании. Теоретически Владимир Набоков и Ирина Гуаданини могли даже встречаться в детстве ввиду совместной партийной работы их близких. Во всяком случае, Набоков написал стихотворение по случаю годовщины убийства Кокошкина.

И вот теперь Набоков памятью близких и дорогих для них с Гуаданини людей, заклинает: «...сквозь слезы, // сквозь траву двух несмежных могил...» «не смотри на меня, пожалей, не ищи...»; «О Россия» – восклицает он, но за этим восклицанием слышится обращение к любимой женщине. В сложившихся жизненных обстоятельствах «утрата отечества» сливалась для него с «утратой любовной».

Рассматривая стихотворение Набокова как «человеческий документ», Шаховская смогла указать читателям на включенные им в текст «автобиографические данные» и напомнить об Ирине Гуаданини, к которой, возможно, и обращено стихотворение.

«ЧУДОВИЩЕ, НО КАКОЙ ПИСАТЕЛЬ!»

Если дальше идти по предложенному Шаховской пути «поисков Набокова» и читать стихотворение «Отвяжись, я тебя умоляю...» как «человеческий документ», ориентируясь на расставленные Набоковым «вехи», то обнаруживаются и другие важные «автобиографические данные и личные признания» Набокова.

Шаховская процитировала в своей ранней статье 1937 года о творчестве Набокова слова Бунина о нем: «Чудовище, но какой писатель!»[32] (Статья Набокову понравилась.) Высказывание вошло в историю. Набоков о нем, конечно, не забыл.

А тема «чудовищ» получила продолжение в рассказе Набокова следующего, 1950-го, года – «Сцены из жизни двойного чудовища» («Scenes from the Life of a Double Monster»). Правда, в рассказе речь идет об одном «чудовище» – о сиамских близнецах. (Невольно вспоминается, что в эмиграции сиамскими близнецами называли чету Набоковых.) Один из близнецов видит во сне, как он избавится от своего «брата», который в то же время – и он сам. А главный кошмар для него, «чудовища», в том, что его собираются показывать, как зверя в клетке, деревенским зевакам, повезут по ярмаркам. Он перестанет принадлежать себе.

Шаховская не раз упоминает в книге о том, что Набоков не хотел делать достоянием публики свой внутренний мир, показывать свои

«истинные чувства», и потому в произведениях он, «загромождая к себе доступ, расставил ловушки для исследователей»[33], но «вехи» всё же оставлял. В том числе и в текстах для своих выступлений на сцене, которые готовил заранее.

Впрочем, в интервью он тоже предпочитал отвечать на вопросы, заранее поступившие к нему через его несменного секретаря – Веру Евсеевну. О своем нежелании *говорить* Набоков писал в 1973 году в «Предисловии» к изданному им сборнику статей и интервью. Он ссылался на то, что ему не понравилось собственное интервью, которое он услышал в магнитофонной записи. Потому от бесед он впредь отказывался, хотя в русском Париже 1930-х годов участвовал даже в «баталиях». Объясняя в «Предисловии», почему в свой американский сборник он не включил свои русские статьи (кроме статьи 1939 года «О Ходасевиче»), Набоков писал, что без них сборник «отражает более привлекательную личность, чем ‘В. Сирин’, вызывающий смешанные чувства у мемуаристов-эмигрантов, политиков, поэтов и мистиков, которые еще помнят наши баталии в Париже 1930-х годов. Ныне мои суждения, пускай и строгие, выдают кроткий, покладистый нрав; и так и должно быть»[34].

В числе мемуаристов и поэтов, которые «еще помнят» баталии, была и Шаховская. В своем рассказе «Пустыня», вышедшем, кстати, тоже в 1973 году (как и сборник статей Набокова), она пишет о том, что «так» вовсе не «должно быть»: она не соглашается признать полное исчезновение «туманной личности» В. Сирина. Шаховская пытается «найти» Сирина и под маской Василия Шишкова, и под новой маской, отражающей «покладистый нрав» Набокова, которую он, по ее мнению, «старательно выращивал для любопытных». Шаховская не хочет принимать эту «маску, собственной ли волей, или по чьему-то совету надетую»[35]. Она «находит» Набокова «под разными личинами». Ей удается и в его прозе отыскать и показать читателям «проблески подлинного», знакомого и ценимого ею Набокова. Так, обращая внимание на утверждение писателя, что «никакая книга не должна иметь тайного значения», Шаховская замечает, что в его романе «Бледный Огонь» (1961), она видит как раз это «тайное значение». Она указывает на аналогию между Набоковым и героем романа, который, как Набоков, тоскует по стране «Зембля», хоть ее, может быть, и нет «на всем земном шаре». И этот «ребус Набокова», по мнению Шаховской, в романе «всюду проскальзывает, запрятанный за стилистическими и декоративными рисунками». А в качестве другого «ребуса Набокова» она упоминает «курьезный пассаж»: герой романа «обвиняет жену поэта Шеда в том, что она, как корректор, вычеркивает всякое упоминание о его ‘Зембле’»[36].

Конечно, в своих «поисках» Набокова Шаховская не ограничивалась только стихами. В его прозе она тоже находит отражение «истинных чувств» автора. Шаховская пишет о том, как сильно повлияла на его прозу утрата отечества – эта общая боль эмигрантских писателей, которую и она делила с Набоковым. Прежде всего, об этом она писала и в книге о Набокове, и в своей вышедшей 15 августа 1959 года статье «Набоков. Или рана изгнания» (которая как приложение вошла в книгу). Тогда Набоков стал уже автором нашумевшей «Лолиты». Статья, написанная Шаховской с уважением к крупному писателю и с самыми дружескими намерениями, в то же время и с честной критикой, не понравилась Набокову и имела неожиданные для Шаховской последствия.

В статье она говорит, что эмигрантское творчество Набокова «беспочвенно», поскольку он вырван из «своей природной среды», поэтому его книги – «это всегда недоразумение, трагедия, не-существование», где «в ледяной пустыне копошатся существа, не совсем очеловеченные», что в созданном им мире нет «ничего приятного, ничего достойного любви, кроме блещущего фантазией стиля»[37].

Но так же, как потом в книге, в статье Шаховская не может не высказать, тоже завуалированно, своего сожаления и о его «утрате любовной», которая, по ее представлениям, сделала Набокова несчастным. И, обращаясь в статье к Набокову, она пишет, что каждый на «испытания» отвечает по-своему. Одни сдаются, другие сражаются, третьи «находят в себе духовные силы, которые позволяют им игнорировать всё, что извне их пригибает»[38].

Невольно удивляешься, зачем она это говорит писателю, который как раз не сдался и победил: состоялся как писатель и даже стал всемирно известен. На что ему не хватило духовных сил? Выходит, что – на борьбу за личное счастье. Отражение его личной трагедии – «любовной потери», которая не прошла бесследно, Шаховская видит и в романе «Лолита». Шаховская здесь говорила с Набоковым как его друг.

Кстати, и Нина Берберова (1901–1993) в своей основательной статье «Набоков и его ‘Лолита’» заметила, что в романе существует нигде не названный автором, но «растворенный в тексте эпиграф» – образ, который живет «где-то в памяти», «миф его первой любви», «воплощение когда-то не до конца осуществленного счастья»[39].

Шаховская отмечает, что Набоков в романе пытался донести до читателей «скрытый под аллегорией смысл», некую «тайну», но вынуждена констатировать, что «выраженная, загрязненная словами, ими преданная тайна уже сама на себя не походит». Обращаясь в статье к «иллюзионисту Набокову», она делает вывод, что Лолита,

героиня романа, писателю не удалась, – она не похожа на человека «из тела и крови». Лолита из романа представляет собой «произведение искусства, которое его создатель, изнемогая от усилий, силится привести на сушу, таща его за своей лодкой». Шаховской приходит на ум сравнение с рыбой из вышедшей тогда повести «Старик и море». Набоков, как старик у Хемингуэя, любовался красивым, полным сил существом, а в результате тоже «вытащил на берег монстра»[40]. И Шаховская выносит довольно безжалостный приговор и роману, и его автору: «Он не смог победить свое собственное испытание иным способом, как литературным выражением отчаяния», и «увлекает нас в свои мучения». Потому «для тех, кто любит интеллектуальное спокойствие, лучше выпить отраву, чем читать Набокова»[41].

А вот Владимир Вейдле (1895–1979) в статье «Исчезновение Набокова» говорит об этом романе как о «самой зрелой» книге писателя, по которой «лучше всего можно судить о его несравненном словесном мастерстве». Для Вейдле «Лолита» «остается музыкой», потому что разговор о «Лолите» это прежде всего разговор о «человеческой любви». Но (как и Шаховская) Вейдле не согласен с Набоковым, который «только литературную оценку литературных произведений и признавал, всегда литературу в литературе запирал». Вейдле считает, что жизнь человека – от искусства, как и «этику – от эстетики, до конца отделить нельзя»[42].

Статья Шаховской 1959 года была написана после присуждения в 1958 году Борису Пастернаку (1890–1960) Нобелевской премии, на которую Набокова не раз выдвигали. И, конечно, Шаховская не смогла не сказать об этом событии. Она отметила, сожалея о Набокове, что два русских писателя, «во всем остро-противоположные, стали в один и тот же год бестселлерами в Соединенных Штатах»[43]. Она пыталась показать Набокову творческий путь более перспективный, с ее точки зрения, для русского писателя, – путь Пастернака, который получил премию именно за продолжение традиций русского романа. Она, кажется, надеялась, что Набоков прислушается к ее советам. В послесловии к роману «Лолита» 1958 года, Набоков, кстати, и сам пишет о том, насколько тяжело он переживает то, что ему «пришлось отказаться от природной речи», что он, «туземный фокусник», лишился возможности «волшебно воспользоваться» литературными традициями, чтобы «преодолеть по-своему наследие отцов».

Но на статью Шаховской Набоков очень обиделся. По ее словам: «После этой статьи Набоков меня ‘не узнал’ при нашей встрече в Издательстве Галлимар»[44]. Отношения их закончились. «В тот день я потеряла друга», – писала Шаховская[45].

«О БЕДНОЙ ДЕВОЧКЕ МОЕЙ...»

Статья Шаховской была опубликована в августе 1959 года. А в начале 1961 года в альманахе «Воздушные пути» Набоков печатает «Два стихотворения»[46], где, по словам Шаховской, защищает от «нападок» свой роман «Лолита».

Стихи эти очень разные. Первое – лирическое «Минуты есть: ‘Не может быть, – бормочешь’...» – написано давно, 27 декабря 1953 года, дата поставлена. Указанное число – единственный, *видимый нам,* повод для объединения его в подборке со вторым стихотворением – полемическим «Какое сделал я дурное дело...», – оно написано тоже 27 декабря, но 1959 года. Возможно, это очередной «ребус Набокова»[47].

1

Минуты есть: «Не может быть, – бормочешь, –
не может быть, не может быть, что нет
чего-то за пределом этой ночи»,
и знаков ждешь, и требуешь примет.

Касаясь до всего душою голой,
на бесконечно милых мне гляжу
со стоном умиленья и, тяжелый,
по тонкому льду счастия хожу.

27 декабря 1953

2

Какое сделал я дурное дело,
и я ли развратитель и злодей,
я, заставляющий мечтать мир целый
о бедной девочке моей.

О, знаю я, меня боятся люди,
и жгут таких, как я, за волшебство,
и, как от яда в полом изумруде,
мрут от искусства моего.

Но как забавно, что в конце абзаца,
корректору и веку вопреки,
тень русской ветки будет колебаться
на мраморе моей руки.

27 декабря 1959

Во втором стихотворении звучит своеобразный ответ Набокова на статью Шаховской 1959 года, на ее «нападки» на «Лолиту». В этой статье Шаховская, как помним, вынесла приговор: «Лучше выпить отраву, чем читать Набокова», – что Набоков комментирует с иронией: «как от яда в полом изумруде, // мрут от искусства моего». А на противопоставление его Пастернаку – «Первый выражает на нарочито простом языке то, что в русском народе есть вечного, второй с западной утонченностью – кошмар человечества без руля и без ветрил»[48], – он резюмирует: «...в конце абзаца // корректору и веку вопреки, // тень русской ветки…» Так на критику романа возразил Набоков в своих стихах, «посвященных защите ‘Лолиты’ от нападок»[49].

Стихотворение «Какое сделал я дурное дело…» Набоков, видимо, считал своим программным. Во всяком случае, именно его он включил в антологию русской поэзии[50], вышедшую в США в 1967 году, и сам его перевел на английский.

Шаховская считала, что это, по сути, пародия (или отклик?) на стихотворение Бориса Пастернака «Нобелевская премия», написанное после присуждения в 1958 году премии за роман «Доктор Живаго»[51]. Она приводит строфы Пастернака:

Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

– и Набокова, давая возможность читателям сравнить:

я, заставляющий мечтать мир целый
о бедной девочке моей.

Шаховская, специально акцентируя внимание на этих строчках, задается вопросом: «Что же это, случайно или нарочитая подмена России Лолитой?»[52]. Вопрос провокационный. И хотя у Набокова написано не «о Лолите», а «о бедной девочке моей», известный текст Пастернака действительно «подсознательно» (это слово Шаховской) возникает в памяти. Похоже, что Набоков как раз и рассчитывал на эту аллюзию. Мы видим здесь своеобразную дискуссию Набокова с Пастернаком: противопоставление любовно-психологического романа – роману гражданско-патриотическому. Пастернак в романе плачет «над красой земли моей», а Набоков заставляет мир мечтать о «бедной девочке». Во всяком случае, когда у Набокова брали интервью и пытались увести его в сторону социальных проблем, он никогда не согла-

шался признать, что Лолита – символ массовой культуры и американской бездуховности. Просто бедная трогательная девочка – его любимый персонаж. Бедная, бедная девочка, повторял он каждый раз.

«Бедная девочка» в творчестве Набокова имеет свою историю. Она появляется задолго до Лолиты – в рассказе «Волшебник», датированном 1939 годом. Там «волшебник» (он же отчим «бедной девочки») – весьма неприятный господин. Но при этом он – творец, художник, создатель своей любви: «Бесценный оригинал: спящая девочка, масло». Он безнадежно и страстно полюбил «бедную девочку» и силой своего воображения, силой своего творческого дара превратил ее в смысл всей своей жизни. В мечту – так и не осуществившуюся. Волшебник в финале погибает.

Рассказ Набоков читал в небольшой компании знакомых литераторов, где был, в числе прочих, И. И. Фондаминский (1880–1942), один из редакторов «Современных записок». У него в доме, в Париже, жила Гуаданини в том самом 1937 году, знаменательном для нее и для Набокова. Публиковать «Волшебника» Набоков так никогда и не стал[53].

Набоков в своем «Послесловии к американскому изданию 1958-го года» «Лолиты» протянул ниточку от «бедной девочки» к Лолите, указав на «Волшебника» как на «прототип» романа. Он вспоминает: «Первая маленькая пульсация ‘Лолиты’ пробежала во мне в конце 1939-го или в начале 1940-го года, в Париже». Примерно тогда Набоков отдавал в журнал для публикации стихотворение «Отвяжись, я тебя умоляю…»

Воскрешая в памяти те парижские дни, Набоков писал дальше в «Послесловии»: «Насколько помню, начальный озноб вдохновения был каким-то образом связан с газетной статейкой об обезьяне в парижском зоопарке, которая после многих недель улещиванья со стороны какого-то ученого набросала углем первый рисунок, когда-либо исполненный животным: набросок изображал решетку клетки, в которой бедный зверь был заключен», так «явился прототип настоящей книги»[54].

Можно предположить, что сюжет «бедной девочки» возник у Набокова под впечатлением от закончившегося за год до того его романа с Ириной Гуаданини. Для Шаховской настолько очевидна эта связь литературных персонажей с Ириной Гуаданини, что свой очерк 1997 года об Ирине Гуаданини она назвала «Бедная Ирина».

И для Чиннова такая связь тоже очевидна. В публикуемом здесь письме Гуаданини он, полушутя, так ее и назвал – Лолита. Но только ли в шутку? Или признавая право Гуаданини считать себя прототипом этого литературного персонажа? В редакции радио «Свобода», где они работали, у многих были дружеские прозвища – Гуаданини не возражала против Лолиты.

РАЗГОВОР

«Два стихотворения» Набокова, опубликованные в начале 1961 года в альманахе «Воздушные пути» (№ 2) не могли пройти мимо Ирины Гуаданини. Похоже, что она приняла их на свой счет. В 1961 году она написала стихотворение «Разговор» и включила его, указав дату, в свой поэтический сборник «Письма» (1962). В эмиграции не сомневались, что многие стихи в сборнике – это «письма» к Набокову, да и разговор – тоже с Набоковым. По прошествии почти 20 лет с момента их расставания, Гуаданини, наконец, решилась «поговорить».

РАЗГОВОР

«Бездонный вечер тягостен и душен,
как клочья ваты виснут облака…»

«Моя любовь, моя любовь, послушай…
Любовь моя – ведь жизнь так коротка!
Скелет годов разлуки, как в могиле,
рассыпался в ненужный прах –
мы зачеркнем его подсчет унылый
и мы задушим затаенный страх.
Забрезжит утро, просветлеют дали,
и розовый нарядный олеандр...»
«Но вон, смотри, подобно острой стали
сверкнул блестящий луч!»

«Я не боюсь Кассандр!»

Как видно по публикациям Ирины Гуаданини, 1961 год стал для нее временем творческого подъема и творческих удач. В 1961 году она написала это стихотворение, в мае опубликовала рассказ «Туннель», составила и в 1962 году издала сборник стихов «Письма». Затем подготовила и опубликовала в 1963 году воспоминания В. Ф. Кокошкина[55] о его брате Ф. Ф. Кокошкине, где говорится и об отце Набокова. В письме от 16 марта 1964 года Гуаданини пишет Чиннову, что в ответ на эту публикацию ей приходят «приятные письма»[56].

На сборник появилась рецензия в «Новом Журнале», рецензенткой была подруга Гуаданини поэтесса Екатерина Таубер (1903–1987). Таубер писала, зная о любви Гуаданини к Набокову, что в стихах поэтессы символом неугасающей любви стала «птица-дева», которая «ждет свиданья одна среди густых ветвей» (свиданья с птицей *сирин*, как можно догадаться). В рецензии цитируются строки о надежде

«пронести как свечу от заутрени через жизни ступени // к тебе в сердце любовь»[57].

А перед выходом сборника, в мае 1961 года в журнале «Современник» (Торонто, № 3) Гуаданини опубликовала рассказ «Туннель», в основе сюжета которого – история любви, очень похожая на историю ее отношений с Набоковым. Настолько похожая, что ей понадобился псевдоним. «Туннель» подписан странным псевдонимом Алетрус.

Рассказ, как и сборник стихов, сейчас переизданы – они вошли в книгу под общим названием: Ирина Гуаданини. Письма (СПб., 2012). Составители, видимо, сочли, и не без оснований, этот рассказ своеобразным «письмом» Гуаданини к Набокову.

В рассказе она попыталась показать свое видение их отношений. И, конечно, для Гуаданини было важно, чтобы Набоков рассказ заметил, не пропустил. Потому псевдоним она искала приметный. Возможно, «Алетрус», слово, созвучное с названием распространенного североамериканского растения «алетрис», издавна употребляемого индейцами как успокоительное, она выбрала потому, что оно также созвучно с известным в середине 1930-х годов в эмиграции именем – Алебук, что значит – Храбрая Рука. Так называли парагвайские индейцы легендарного генерала русской армии И. Т. Беляева (1875–1957). Он был начальником Генерального штаба воинских сил Парагвая в войне с Боливией 1932–1935 гг., помог отстоять независимость этой страны и стал почетным гражданином республики, исследователем культуры индейцев, просветителем и генеральным администратором индейских колоний в Парагвае, им же созданных.

В возникающие по свету колонии ехали отовсюду русские эмигранты. Помним, что и «Василий Шишков» тоже планировал: «Убраться в Африку, в колонии»[58]. В Африку должна была ехать Гуаданини с мужем, но отказалась из-за климата, и они развелись. Эту ее историю Набоков, конечно же, знал. Потому псевдоним «Алетрус» мог привлечь внимание Набокова – для него он был связан с Парижем середины 1930-х годов, с событиями того времени, с Гуаданини.

Возможно, Гуаданини вкладывала в псевдоним и определенный, «говорящий», смысл, разгадать который Набокову не составило бы труда. Если Алебук – это Храбрая Рука, тогда Алетрус можно прочесть как Храбрый Трус, а если второй слог прочесть по-английски – то получается «Храбрая Правда» (английское слово «truth».) Но это только предположения. Хотя, судя по изложенным в рассказе известным сейчас фактам, она действительно решилась написать правду о том, чем стала для нее эта трагедия. Такой поступок требовал немалой храбрости.

Рассказ Гуаданини начинается с того, что некий господин приехал отдохнуть на Ривьеру, где уже бывал и раньше: «Я был тут... много лет назад». Герой разговорился с хозяевами виллы, и они поведали ему об уже забытой им, как выясняется, трагедии, произошедшей там много лет назад с русской женщиной. Тогда, много лет назад, «он и она» встретились случайно, потом часто виделись, им было хорошо друг с другом, но расставание было неизбежным – он женат. В какой-то момент, уезжая, он обещал, что они смогут быть вместе, – и обещания не сдержал. Она приезжает к нему за окончательным ответом на Ривьеру, где он отдыхает с семьей. Героиня видит его ребенка, слушает его извинения. И понимает, что возлюбленный не может быть с ней. В финале рассказа героиня идет, убитая горем, не разбирая дороги, оступается, срывается с обрыва на рельсы туннеля и, видимо, гибнет. Финал понятен: она не видит жизни без него, а он – не может оставить жену и ребенка.

Рассказ поделен на главки. Перед каждой главкой стоят эпиграфы – строки из стихов известных поэтов, в том числе из Владимира Сирина. Но больше всего – из Владимира Смоленского (1901–1961), любимого поэта Ирины Гуаданини, талантливейшего поэта первой волны эмиграции. В эпиграфах дается оценка событий, как бы авторские комментарии. Один из эпиграфов бросается в глаза явной, заметной опечаткой в имени поэта: «М. Смоленский».

Может быть, в эпиграфе – и есть то главное, зачем писался рассказ? Вот фрагмент стихотворения[59], откуда в эпиграф взяты две последние строчки:

...Ты как уголь в тлеющей золе,
Ты как верность светишь сквозь измену,
Верную всему ты знаешь цену,
Знаешь всё о нищете и зле –
Нет тебя несчастней на земле.

На плече высоком – на крыле –
Непосильную доносишь ношу,
Сквозь толпу торгующих святошей,
Каждый в сердце – по тупой игле,
Каждому завидно – на крыле.

Ты один и нет тебя меж ними
Беззащитней и непобедимей.

Это, конечно, полное прощение, полное понимание выбора

Набокова, его беззащитности перед ситуацией – «непосильная ноша», жена и маленький сын. Этот же мотив – любви, понимания, прощения, надежды – звучит и в ее стихах из книги «Письма», вышедшей следом. И в ее стихотворении 1961 года «Разговор».

Поддержал ли Набоков диалог? Свидетельств об этом нет.

Сохранившееся в архиве письмо Игорю Чиннову от Гуаданини за 19 июля 1965 года написано сильно изменившимся почерком. Гуаданини пишет, что до пенсии на радио «Свобода» ей еще слишком долго, а вскользь сообщает Чиннову, что ее квартиру «обворовали». Судя по следующим письмам, это, скорее, не реальный факт, а проявление болезненной мании. Бывшие сослуживцы Чиннова с радиостанции «Свобода» писали ему, что Ирина заболела, очень похудела и работать не может. Через год, в письме от 14 марта 1966 года, она сообщает Чиннову «между нами», что собирается уехать из Мюнхена в Париж, и опять жалуется, что в ее квартиру постоянно кто-то залезает, что «туземцы» всё у нее воруют. Еще одно письмо пришло через три года – 3 января 1969-го – уже из Парижа. Очень спокойное, краткое: она похоронила мать, гостила у друзей детства в Гренобле, получает вести из Мюнхена и в конце добавляет: «Иногда здесь работаю для отделения нашей станции»[60]. Шаховская вспоминала, что позже тоже давала ей подработку в «Русской мысли», но работать для газеты Гуаданини не смогла, хотя очень нуждалась.

Биограф Набокова Эндрю Филд в книге «VN. Жизнь и искусство Владимира Набокова», писал, что общие друзья Гуаданини и Набокова обратились за помощью к Набокову. И, по словам исследователя, Набоков дал денег, но мало, и сказал: «Да, я стал скупым в моем преклонном возрасте» («Yes, I’v grown miserly in my old age»)[61]. В числе тех «общих друзей» могла быть и Шаховская.

Похоже, что появление в 1973 году рассказа «Пустыня» связано именно с этим событием, – Шаховская, указывая на причины несчастий писателя Вальдена, попыталась оправдать своего друга «черных лет» Набокова, объяснить, как могло случиться, что он отказал в помощи: ведь он «не был скуп, он и в бедности делился с другими тем, что имел, но вот к старости вдруг стал скуповат. <…> А теперь понял, что скупость была ему внушена. Когда старые друзья просили его о помощи, ведь не он открывал письмо, но только слышал холодный голос: ‘Ясно! Таких попрошаек будет всё больше и больше’, – и письмо, без ответа, бросалось в корзину». К тому же, «у него и денег-то никогда не бывало в кармане», – жена была его «кассиром и менеджером». И, наконец, Вальден почувствовал, что такая жизнь для него непереносима. Он видит, что создав череду «чудовищ, ставших героями его книг, <…> и сам он стал чудовищем, недавно ему нрави-

лось, когда об этом писали, а теперь стало непереносимо. Стало трудно выносить себя, захотелось снять силой на него наложенную и уже вросшую в настоящее лицо маску»[62].

Владимиру Набокову тогда оставалось жить четыре года. Он умер в июле 1977 года.

Ирина Гуаданини умерла раньше – в ноябре 1976 года.

В написанной сразу после смерти Набокова статье Шаховская говорит, что Набоков заслужил мировую славу, но получил ее только в 60 лет. И повторяет вывод, к которому пришла в книге за время своих «поисков»: корни его «сочинительского дара» питаются «его биографией», а тема творчества Набокова, где, по ее мнению, легко найти «элементы метафизики», – «одна и та же, и связана с его личной судьбой»[63]. Шаховская заканчивает статью словами – то ли прощения, то ли покаяния – из рассказа Набокова «Музыка» (1932): «Я тебе всё прощу, ведь когда-нибудь мы умрем, и всё будем знать, и всё будет прощено»[64].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Набоков, В. (Сирин)*. Весна в Фиальте и другие рассказы / Нью-Йорк, 1956. – С. 208. Первая публикация рассказа: *Сирин, В*. Василий Шишков // «Последние новости». Париж. 1939. 12 сентября. Тогда же, в 1939 году, в статье «О Ходасевиче» Набоков тоже писал, в чем заключается «тайна писательства». Он говорит о стихах Ходасевича, о том, что это «завещанное сокровище стоит на полке, у будущего на виду, а добытчик ушел туда, откуда, быть может, кое-что долетает до слуха больших поэтов, пронзая наше бытие своей потусторонней свежестью – и придавая искусству как раз то таинственное, что составляет его невыделимый признак». («Современные записки». 1939. № 69. – Сс. 262-264).

2. *Шаховская, З.* Рассказы. Статьи. Стихи / Париж, 1978. – Сс. 48, 49, 53, 54, 51.

3. Статья «Набоков. Или рана изгнания» вышла впервые в 1959 году в «La Revue des Deux Mondes» в Париже на французском языке за подписью «Жак Круазе» (псевдоним Шаховской). Переведена Шаховской и перепечатана как «Приложение» в книге «В поисках Набокова» (Париж, 1979).

4. *Набоков, В*. Другие берега / Нью-Йорк, 1954.

5. *Шаховская, З.* В поисках Набокова / Париж, 1979. – Сс. 161, 160.

6. Там же. – С. 47.

7. Там же. – Сс. 43, 42.

8. *Шаховская, З*. Литературные поколения // «Русская мысль». 1978. 27 июля, № 3214.

9. *Шаховская, З.* В поисках Набокова. Указ. изд. – С.159.

10. Там же. – Сс. 93, 94, 95.

11. Из письма Чиннова от 15 июня 1983 г. / *Чиннов, И*. Собрание сочинений:

в 2-х т. / Сост. О. Ф. Кузнецова, А. Н. Богословский // Москва: «Согласие». 2002. Т. 2. – С. 230. Имеется в виду писатель В. П. Некрасов (1911–1987), его повести «В окопах Сталинграда» (1946) и «В родном городе» (1954).
12. *Шаховская, З.* Бедная Ирина // «Русская мысль». 1997. 23-29 января.
13. *Шаховская, З.* В поисках Набокова. Указ. изд. – С. 6.
14. *Шаховская, З.* Бедная Ирина / Указ. изд.
15. *Шаховская, З.* О семье В. В. Набокова. Интервью 1987 года. Архивная машинопись, сделанная с магнитофонной записи. Около 1987 г. Записал текст Юрий Колкер // URL: Yuri-kolker.com/selected/Schakhovskaya_On_Nabokov_Family.htm (28 июня 2020).
16. *Чиннов, И.* Собрание сочинений / Указ. изд. Т. 2. – С. 59.
17. *Шаховская, З.* В поисках Набокова / Указ. изд. – С. 159.
18. *Шаховская, З.* Рассказы. Статьи. Стихи / Указ. изд. –С. 171.
19. Речь идет о стихах-мистификациях, подписанных псевдонимом Василий Шишков. Под этим псевдонимом Набоковым было опубликовано стихотворение «Обращение» («Отвяжись – я тебя умоляю!..»), «унаследовавшее» название подборки. Первое из подборки – «Мы с тобою так верили в связь бытия…» – вышло значительно позже в сборнике и в мистификации не использовалось. Автографы этих двух стихотворений в одной подборке с общим заголовком «Обращение» находятся среди бумаг З. Шаховской в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне (Manuscript division Library of Congress, Washington. Z. Shakhovskaj Papers). URL: http://nabokov-lit.ru/nabokov/bio/zametki-dlya-avtorskogo-vechera.htm (4 июля 2020). Существует и другой автограф стихотворения «Мы с тобою так верили в связь бытия...» Он был опубликован в журнале «Звезда» (1999. № 4. – Сс. 40-41). В. Старк, автор публикации «Неизвестный автограф Набокова, или История одной мистификации», отметил, что публикуемый им автограф «отличается от канонического текста, печатающегося в набоковских сборниках, посвящением, его датой...» Там есть посвящение: «Иосифу Владимировичу Гессену». О существовании еще одного автографа стихотворения «Отвяжись – я тебя умоляю!..» в архиве З. Шаховской в Вашингтоне – с датой «X. 39» – пишет М. Шраер в книге «Набоков: темы и вариации» / СПб., 2000. – С. 220.
20. *Шаховская, З.* В поисках Набокова / Указ. изд. – С. 159.
21. «Современные записки». 1939. № 69 (июль).
22. *Сирин, В.* Василий Шишков // «Последние новости». Париж, 1939. 12 сентября.
23. «Современные записки». 1940. № 70. – Сс. 128-129.
24. Цит. по: *Набоков, В. (Сирин)*. Весна в Фиальте и другие рассказы / Нью-Йорк, 1956. – С. 214. В книге стоит год написания рассказа – 1940. Хотя уже в 1939 он был опубликован. Путаница с датировкой произведений Сирина – нередкая проблема.
25. *Шаховская, З.* В поисках Набокова / Указ. изд. – С. 44.

26. Стихи воспроизводятся по указанному З. Шаховской сборнику: *Владимир Набоков*. Стихотворения. 1929–1951 / Париж: «Рифма», 1952.
27. *Шаховская, З.* Там же. – С. 44.
28. Там же. – Сс. 6, 7.
29. *Владимир Набоков*. Заметки [для авторского вечера «Стихи и комментарии» 7 мая 1949 г.] Вступительная статья, публикация и комментарии Г.Глушанок. URL: http://nabokov-lit.ru/nabokov/bio/zametki-dlya-avtorskogo-vechera.htm (04.07.2020).
30. *Шаховская, З.* В поисках Набокова / Указ. изд. – С. 7.
31. Это не могила его матери, как иногда предполагают. Мать Набокова умерла в Праге позже – в 1939 году.
32. *Шаховская З.* В поисках Набокова / Указ. изд. – С. 144.
33. Там же. – С. 7.
34. *Набоков, В*. Строгие суждения / Москва, 2018. Перевод книги Владимира Набокова «Strong opinions» (Нью-Йорк, 1973). URL: https://www.litmir.me/br/?b=618376&p=1 (1 июля 2020). Набоков был слишком строг к своим выступлениям. Юрий Иваск, который слушал в Гарвардском университете лекции Набокова, писал 24 марта 1952 г. из Кембриджа: «Да – великолепен Набоков, – снобирующий американцев чистейшим King's English* и блещущий несколько театральным родным языком (разбирал «Вольность» и «Анчар»)». Из письма Игорю Чиннову. См.: Письма запрещенных людей. Литература и жизнь эмиграции. 1950–1980 годы. По материалам архива И. В. Чиннова / Сост. О.Ф. Кузнецова / Москва: ИМЛИ РАН. 2003. – С. 603. – Прим. Ю. Иваска: «* Ради великолепия этого королевского английского языка («do you know» – а не «ду ю ноу») и хожу его слушать».
35. *Шаховская, З.* В поисках Набокова / Указ. изд. – С. 6.
36. Там же. – С. 97.
37. Там же. – Сс. 154-157, 162.
38. Там же. – С. 159.
39. *Берберова, Н.* Набоков и его «Лолита» // «Новый Журнал». 1959. № 57. – С. 106.
40. *Шаховская, З.* В поисках Набокова / Указ. изд. – С. 167.
41. Там же. – С. 162.
42. *Вейдле, В*. Исчезновение Набокова // «Новый Журнал». 1977. № 129. – Сс. 274, 273.
43. *Шаховская, З.* В поисках Набокова / Указ. изд. – С. 167.
44. Там же. – С. 167.
45. Там же. – С. 50.
46. *Набоков, В*. Два стихотворения // «Воздушные пути». 1961. № 2. – С. 184.
47. Возможно, подсказкой для разгадки этого «ребуса» можно считать еще одно стихотворение о любви «Как пахнет липой и сиренью...», датированное тоже 27 декабря, но 1918 года. Оно вошло в книгу «Горний путь» (1923). Там

есть строки: «ты – призрак северного мая, // ты – отроческая любовь!// И памятному сновиденью // я предаюсь средь тишины...» По теме оно вполне «встает» перед стихотворением: «Минуты есть: ‘Не может быть’, – бормочешь…» К тому же – именно в мае (но 1937 года) Набоков и Ирина Гуаданини были в Париже и их роман – в самом разгаре.

48. *Шаховская, З.* В поисках Набокова / Указ. изд. – С. 167.

49. *Шаховская, З.* Рассказы. Статьи. Стихи / Указ. изд. – С. 173.

50. Modern Russian Poetry / An anthology with verse translations edited and with an introduction by Vladimir Markov and Merrill Sparks / New York, 1967. – С. 478.

51. Стихотворение связано с преследованиями, которым подвергся Пастернак в СССР, где сочли его роман «Доктор Живаго» клеветническим и усмотрели там антисоветскую пропаганду. А за стихотворение «Нобелевская премия», которое ушло на Запад, ему угрожали обвинением по статье «Измена Родине». От премии Пастернак вынужден был отказаться.

52. *Шаховская, З.* В поисках Набокова / Указ. изд. – С. 92.

53. Рассказ «Волшебник» вышел в России в журнале «Звезда» (1991, № 3).

54. *Владимир Набоков*. Лолита. – О книге, озаглавленной «Лолита». (Послесловие к американскому изданию 1958-го года). URL: https://Nabokov.gatchina3000.ru. (4 июля 2020).

55. *Кокошкин, В., Гуаданини, И*. Ф. Ф. Кокошкин // «Новый Журнал». 1963. № 74. – Сс. 207-226.

56. ОР ИМЛИ РАН. Ф. 614. Оп. 3.2. Ед. хр. 25.

57. *Таубер, Ек*. Ирина Гуаданини. Письма. Стихи / Мюнхен, 1962 // «Новый Журнал». 1963, № 71. – С. 301.

58. *Набоков, В. (Сирин)*. Весна в Фиальте / Указ. изд. – С. 212.

59. Публикуются строки из стихотворения «Нет тебя счастливей на земле...» из книги Владимира Смоленского «Наедине» (Париж, 1938).

60. ОР ИМЛИ РАН. Ф. 614. Оп. 3.2. Ед. хр. 25.

61. *Field, Andrew*. VN. The Life and Art of Vladimir Nabokov / New York, 1986. – P. 178.

62. *Шаховская, З*. Рассказы. Статьи. Стихи / Указ. изд. – Сс. 53, 54.

63. Там же. – Сс. 177, 182, 176. Статья «Владимир Набоков», вошедшая в данную книгу, впервые была опубликована в журнале «Вестник русского христианского движения» (1977, № 122).

64. *Шаховская, З*. Рассказы. Статьи. Стихи / Указ. изд. – С. 184.

Переписка Зинаиды Шаховской и Ирины Гуаданини с Игорем Чинновым

Публикуемые письма из архива И. В. Чиннова хранятся в «Кабинете архивных фондов эмигрантской литературы им. И. В. Чиннова» ОР ИМЛИ РАН: Письма Ирины Гуаданини. Ф. 614. Оп. 3.2. Ед. хр. 25 // Письма З. А. Шаховской. Ф. 614. Оп. 3.1. Ед. хр. 30 // Письма И. В. Чиннова. Ф. 614. Оп. 2.1. Ед. хр. 79. Письма печатаются по современной пунктуации с сохранением некоторых особенностей орфографии оригиналов.

И. Ю. ГУАДАНИНИ – И. В. ЧИННОВУ

Генваря 2-го, 1963 г.

Дорогой друг,

К сожалению, из-за забастовочек в порту, о коих Вы, вероятно, осведомлены, отъезд мой задержался. Прибуду я в Новый Свет 25-го Генваря сего года. Пробуду очень недолго – 12 дней! Ничего иначе с отпуском не получается. Но Вас лично это беспокоить не может, т. к. Ваши вещи[1] уже, стараниями моими и перевозочной компании, снабжены нужными бумагами, застрахованы и, надеюсь, не потонут в холодных волнах разделяющего нас сейчас океана. Но, правда, тогда потону и я, – Вам, я предполагаю, будет жалко меня, так как погибнет и персидская чашка, принесенная мне моим бывшим однокашником, а Вашим знакомцем Б. С. В.[2] Видите, как таинственно!

Кроме того – три рамочки: фотографии – женская и мужская.

Надеюсь, что Вы не будете разочарованы тем, что не всё, что м. б. Вы хотели видеть, к Вам приедет, но, как я объясняла, зависело это от того, что все книги разных размеров и пришлось подбирать по формату.

Ю. П. Тр[убецкой][3] написал мне очень любезное письмо, но, к моему удивлению, ему понравилось то, что, например, меньше нравится Лидии Дав[ыдовне Червинской][4]. А мне кажется, что она понимает, м. б. они (т. е. эти два лица) очень уж различны. Во всяком случае, – благодарю! Ю. К. Тер[апиано][5] я в свое время написала, что прибуду в Париж, но вот это откладывается на две недели с хвостиком. Надеюсь, что он будет так же благожелателен, как и Ю. П. [Трубецкой]. Кстати, заметили ли Вы в жизни эту странную притяжимость одинаковых имен, отчеств, инициалов и т. п. вещей в случаях

нескольких романов, разводов, вторичных женитьб и т. д. Толстой был совершенно прав в «Анне К[арениной]» с двумя «Алексеями»[6]. Так в данном случае: мой отец Юрий, моя самая первая любовь (кузен, как полагается) Юрий Павлович, здесь – тождество инициалов: Ю. Т.[7] Какая глубокая философия!!!

Надеюсь, что Ваше «кругосветное» путешествие Вас развлекло и повеселило. Ведь это Ваш старый друг, правда? Как Вы разворачиваетесь с английским? ОК? Часы Ваши также у меня и прибудут по почте в Лауренс.

Из всех поздравительных карточек (а их великое множество – заставлены все верхушки книжных шкафчиков) – Ваша – самая лучшая!!! Правда – это скрытая ирония, но я на нее не обижаюсь. Но мне очень интересно было бы знать – кто из Ваших «взрослых» друзей догадался бы воспользоваться своим проездным билетом для доставки Ваших книжечек, разыскал бы подходящие ящики, отбрыкнулся бы от «бриганов», назначавших безобразные цены (под видом того, что это для «РС»[8]), да и еще хотели увезти все «en vrac»[9] и заколачивать эти ящики вне моего достижения – и провел бы столько своих свободных дней на упаковку в вощеную бумагу (всего вместе, конечно, а не каждой в отдельности). Каждая в отдельности тоже переложена бумагой где надо.

Вот, сударь, – Лолита-то, Лолита, а хватка-то как у бульдога. Что, красочно?! «Крокодила-Китаеза» удивлялась моей настойчивости. Сам Александр Иванович Египетский[10]… Это я всё пишу на тот случай, что если когда я буду «нищей и больной», то Вы обо мне вспомните, надеюсь.

Мама шлет Вам свой сердечный привет. Я присоединяюсь. Надеюсь, что на праздники Вы плясали и пили шампанское, и пускали ракеты – по старому мюнхенскому обычаю. Мы всё это видели из окна прекрасной фатеры, в которой живу. Картонку не открывала, так как невмоготу мне разбирать чужие бумаги – вдруг... Пусть стоит неразвязанная до Вашего первого пришествия. Ну, пора и честь знать. До свидания!!! Пойду подлопануть в кантину[11]. Благо, нам теперь без различия «пола и возраста» дают талоны.

Искренне Ваша И. Гуаданини

---

1. И. В. Чиннов в 1962 году уехал из Мюнхена в США, где ему предложили место профессора в университете, а в его съемную квартиру переехала его сослуживица по радио «Свобода» И. Ю. Гуаданини, которая работала на «Свободе» в 1958–1965 гг. Она отправила Чиннову в США часть оставленных им вещей и книг.

2. О ком идет речь – выяснить не удалось.

3. Трубецкой Юрий Павлович (наст. фамилия Нольден, 1902–1974), поэт, писатель. В России встречался с Блоком, Гумилевым, Ахматовой. Жил в Крыму у Волошина. Во время войны оказался в Германии, где и прожил всю оставшуюся жизнь. Короткое время работал на радиостанции «Свобода» в Мюнхене. Ему и другим поэтам Гуаданини послала свой сборник стихов «Письма» (Мюнхен, 1962).
4. Червинская Лидия Давыдовна (1907–1988) – поэт первой волны эмиграции. Принадлежала к поэтам «парижской ноты», писавших сдержанно, без ярких метафор, с использованием обедненного словаря и стремившихся говорить о главных вопросах бытия. Какое-то время работала на радиостанции «Свобода».
5. Терапиано Юрий Константинович (1892–1980), критик, поэт, мемуарист. С 1922 г. поселился в Париже. Долгие годы вел колонку обозревателя эмигрантской прессы в газете «Русская мысль».
6. Персонажи романа «Анна Каренина» Алексей Каренин и Алексей Вронский.
7. Юрий Трубецкой и Юрий Терапиано.
8. Видимо, радиостанция «Свобода».
9. Навалом, россыпью (*фр.*)
10. Лолита, Крокодила-Китаеза, Египетский – прозвища сотрудников радио «Свобода», которыми пользовались в разговорной речи «за глаза». Лолитой себя здесь называет Гуаданини.
11. Cantina – бар, столовая, таверна. (*англ.)*

З. А. ШАХОВСКАЯ – И. В. ЧИННОВУ

Париж. 15 октября 1978
16, rue Faraday
75017 Paris

Дорогой и поэтический друг мой Чин-Чин.

Давно собираюсь Вам написать, но всё еще суматошно живу – чувствую себя гораздо свободнее – хорошо быть не редактором.

Заноза одна – это кое-какие материальные трудности – пенсия у меня крохотная, я же нигде никогда не служила, кроме Р[усской] М[ысли] – т. е. всего 10 лет[1]. А тут еще, с типично русской неряшливостью в делах, наша бухгалтерия почему-то записала меня в кадры только в 73 г. Так что получилось, что пенсия мне за пять лет. И это неважно – важно то, что квартиры тут до безобразия дороги – а уезжать из Парижа я никак не хочу. Выйду на улицы и радуюсь – так уже всё свое – даже к чумному воздуху столицы так привыкла, что

две попытки провести несколько дней на «лоне природы» окончились бегством обратно, в загрязненье.

Рада была Вашей фото и фото Вашего интерьера. Роскошно живете[2], милый поэт, рада за Вас – эстетическое окружение Вам подходит.

Я заканчиваю книгу[3] – небольшую – о Набокове. Ее мне было очень интересно и даже весело писать – думаю, что вызовет она кое-какой шум – и многие восстанут против меня – начиная со вдовы[4] В[ладимира] В[ладимировича], поскольку она – часть творчества сего писателя. А потом, потом – придется ради заработка[5], если жива буду (и останусь умна!), перейти обратно рубикон – на французские берега.

Послала Вам книжонку – не ахти какую – издала ее на память самой себе о моей русской журналистической эпохе. «Рассказы, статьи, стихи»[6] – вряд ли уже она до Вас дошла.

Как Вы? Надеюсь, муза Вас не покинула – на радость любителей умной поэзии – и не только современных.

Сердечный привет. З. Шах-иня[7].

---

1. Зинаида Алексеевна Шаховская была главным редактором русскоязычной газеты «Русская мысль» в Париже в 1968–1978 гг.

2. Игорь Владимирович Чиннов был профессором русской литературы в Vanderbilt University, США. В 1977 году он вышел в отставку и переехал во Флориду («штат пенсионеров») – в курортный город Дейтона-Бич. Там он купил квартиру в кондоминиуме в пяти минутах ходьбы от океана и украсил ее сувенирами, которые привозил из своих туристических поездок.

3. Книга «В поисках Набокова», вышла в 1979 году в Париже.

4. Вера Евсеевна Набокова (урожд. Слоним, 1902–1991) – вдова В. В. Набокова.

5. З. Шаховская писала и издавала книги на французском и сотрудничала во французской прессе под псевдонимом Жак Круазе.

6. Сборник Шаховской «Рассказы. Статьи. Стихи» вышел в Париже в 1978.

7. Чиннов называл Шаховскую в письмах Шах-княгиня. Это – и сокращение.

И. В. ЧИННОВ – З. А. ШАХОВСКОЙ

27 октября 1978

Шах-княгиня, душенька!

1. Не пишите Tchinov. На почте не понимают. Эдак: Chinnov.

2. Четыре спасиба.

a) За письмо, дружеское.

b) За книгу с надписью[1], тоже лестной и трогательной.

c) За «публицистику»[2], в которой осмелились потребовать права на патриотизм и для русских. Статьи Ваши в защиту русского – большая Ваша заслуга: столько теперь охотников всё наше хулить! Вы «против течения» – кланяюсь Вам за это, уважительно, почтительно кланяюсь.

d) И за отличные рассказы – спасибо чисто читательское. «Старость Пушкина» восхитила меня еще «будучи в Новжуре»[3] – и перечитал теперь с наслаждением. Люблю игру воображения убедительную – а часто ли встречаешь? Убедительную? И за мастерство писательское рукоплещу – но более всего за «message», месадж, как у нас говорят здесь, за то, что последние слова «пути надежды и добра», – и за многое другое.

О «мелочах». Росси[4] – Вы в родстве, не так ли? Декабристы: я в свойстве с Якубовичем[5]. Петр Филиппович Якубович-Мельшин[6] («В доме отверженных», «Русская Муза», переводы Бодлера, «Народная Воля», увы) – двоюродный брат мамы (старше намного!). Его мать и мать мамы – родные сестры, Корвин-Косаговские (Корвины – настоящие, в отличие от «Корвина» Пиотровского[7], помните его?). И у нас были какие-то памятки; но Алекс. Ив. был не больно мозговит (Ваш предок толковее).

На стр. 9 Амалия Ризнич линотипистом и корректором раздвоена – «Амелия, Ризнич». Но nitchevo, дело обычное – опечатки. На стр. 84: Печорин вместо Печерин. На стр. 17: «Шопена и прочих не понимаю»[8] – расхохотался. На стр. 15: ах, студента бы Обручева[9] нам!

«Чужой в городе»: на уровне Хемингуэя, Грэма Грина. Блестяще! А «Пустыня» – О! О! Надеюсь, Набоков с женой дружно и преизрядно икали с недельку, если не дольше. Так им и надо, ей особенно, с ее фальшивым «аристократизмом». Превосходно написали и «технически», разумеется.

Очень хороши и другие рассказы, «Собачья смерть»[10] особенно.

Назад к статьям[11]. О Булгакове – замечательно. И остальное хорошо, вполне. А какая широта диапазона! Даже салоны, где бывал Пруст! (Вот «эстеты» из третьих Вам позавидуют!) Но салоны не важны, а сколько в книге важного, нужного. Отличная книга.

Но – мало стихов! Прекрасно «Ты возвращаешься мне птицей», благородное «Германия» и др. военные – и я бы хотел стихов из «Дороги» – например, последнего с его «куда» и «откуда»? («но не ответит вода») – и многого из «Перед сном»[12]…

Еще раз спасибо за отличную книгу! А статья, вернее, книга о Набокове, которую заканчиваете: ее надо бы устроить в США – но как? University of Kansas, где я профессорствовал, объявил об основании Nabokov studies. Но – купят ли они? Едва ли они денежны.

Если хотите, могу туда написать моему другу: Prof. Heinrich[13] (немец и русофил). Но во главе, вероятно, Prof. Parker[14], подозревающий всех русских в антисемитизме... Ученик Набокова (по Cornell University). С ним я не дружен. Перед Новым Годом буду в Нью-Йорке на съезде славистов (читаю доклад и стихи), там будет жена проф. Всеволода Сечкарева[15] (Harvard), моего приятеля, у него издательство «Forum Slavicum» в Германии, они выпустили стихи Г. Иванова. Хотите, поговорю?

Целую ручку. Шах-княгиня, милая, очень Вас люблю. Чин-чин, Игорь Чин.

---

1. Книга «Рассказы. Статьи. Стихи» (Париж, 1978) была подарена с надписью: «Поэту и другу Игорю Чиннову в память встреч до – в юности, и после... С приветом сердечным. Зинаида Шах – 1978».

2. В книгу Шаховская включила свою статью из «Русской мысли» за 1971 год «От частного к общему», где она пишет, что «русофобия», существовавшая до революции, и после создания СССР «поддерживается политическими эмигрантами за границей, работающими на умаление русского народа». И при этом пишущие забывают, что в СССР «русский народ не меньше порабощен, чем другие» народности. (С. 81)

3. Рассказ был напечатан в «Новом Журнале» в 1973 году. Речь идет о деревенской жизни Пушкина (не убитого на дуэли). В конце рассказа говорится, что он «уйдет, только тогда, когда откроет своему народу пути надежды и добра». (С. 26)

4. В рассказе о Пушкине Шаховская упоминает знаменитого архитектора Карло Росси (1775–1849). Его дочь – Зинаида Карловна Росси была прабабушкой Шаховской.

5. В роду Чиннова был декабрист Александр Иванович Якубович (1792–1845).

6. Двоюродный дядя Чиннова – народоволец П. Ф. Якубович (псевд. Л.Мельшин, 1860–1911).

7. Имеется в виду эмигрантский поэт В. Л. Корвин-Пиотровский (1891–1966), который не имел отношения к древнему роду Корвин-Косаговских.

8. Фраза Пушкина из рассказа «Старость Пушкина», сказанная им по поводу Жорж Санд.

9. Студент Обручев из рассказа «Старость Пушкина» приводил библиотеку Пушкина в порядок.

10. «Чужой в городе», «Пустыня», «Собачья смерть» – рассказы из обсуждаемой книги Шаховской.

11. В книгу включены три статьи о Михаиле Булгакове и две о Марселе Прусте.

12. Упоминаются сборники стихов З. Шаховской «Дорога» (1935) и «Перед сном» (1970).
13. Генрих Штаммлер (1912–2006), профессор, возглавлял с 1962 года кафедру славянских языков и литератур в Канзасском университете.
14. Стивен Ян Паркер (1939–2016), профессор славянских языков и литератур в Канзасском университете в 1970-е годы. В 1958 году он был в числе студентов Корнельского университета, где Владимир Набоков читал тогда лекции. В 1978 году в Канзасском университете он создал Общество Владимира Набокова и двухгодичный Исследовательский бюллетень Набокова, получая информацию о библиографии Набокова у В. Е. Набоковой.
15. Маргарита Далтон-Сечкарев (Margaret Dalton, 1928–), американский славист, специалист по литературе эмиграции, ученица В. М. Сечкарева в Гарварде; его жена. (*Прим. ред.*) Сечкарев Всеволод Михайлович (1914–1998), историк литературы, профессор Гарварда. В 1975 году в Германии под редакцией Сечкарева в серии «Colloquium Slavicum» вышел сборник стихов Г.Иванова «Собрание стихотворений» (Jal-Verlag – Würzburg).

З. А. ШАХОВСКАЯ – И. В. ЧИННОВУ

2 мая 1979

Дорогой Чин-чин,

Потянуло, несмотря на занятость, написать Вам и Иваску[1] – что-то нас всех хорошо связывает и мне очень скучно, что вы оба так далеко. Вечером, недавно, взяла перечитать Ваш сборник «Композиция». Еще не открыв его – с каким вкусом издано – в благородной простоте, на хорошей бумаге – это уважение к поэзии. А стихи, что говорить! Насколько тихие, хрупкие голоса лучше доходят, чем крики всяких вознесенских, не говоря уже о других, помельче (и помоложе). Бродский[2] интересен, но сух – и многословен, а главное – у него такие срывы вкуса – что как ножом по тарелке…

Люблю в «Композиции»:

«Сочетание в реке утиных теней
С отражениями русских церквей...»[3]

И думаю, что бессмертие поэтам нужно – мысль о нем поэтов утешает. На стр. 81 – прекрасное о нем стихотворение[4]. Вообще – многое люблю. А то, что из «Монолога» – тоже очень, хоть сама я – безнадежности не поддаюсь.

Всё вожусь с моим Набоковым – по-русски должен выйти в мае – так обещано, – но денежно интересны только иностранные издатель-

ства. Из них три и лично, и по телефону говорили, что берут, но я словам не верю, – а контракты они еще не прислали. Может быть, из-за этого я что-то ленюсь писать новое – не привыкла «в ящик», – теперь расплачиваюсь за 10 лет РМ и общественной жизни. Утеряна связь с французскими издателями. И я, как осел Буридана, – всё не знаю – возвращаться к французскому языку или для относительного русского бессмертия – еще что-нибудь по-русски начертать. Тут холод, зима – солнце месяцами не видела, а ехать никуда не хочется – все эти Transport en communs с people have money, but lack breeding[5], все эти толпы повсюду – меня угнетают. Вот Вам на память мое изображение[6]. Снимал художник Нуссберг[7], которого его соперники, тоже ex-советские, ругают [нрзб.] – все хороши!

Пишите мне хоть иногда – всё сохраню для потомств в архиве, на радость будущим открывателям нашего поколения… Дружески З. Ш.

---

1. Иваск Юрий Павлович (1907–1986), литературовед, литературный критик, поэт, доктор философии Гарвардского университета, профессор русской литературы. В США с 1949 года. Друг Чиннова. Они были много лет в переписке.
2. Бродский Иосиф Александрович (1940–1996), поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе, 1987.
3. Строки из стихотворения: «Только ветер пролетит, пойдет широко...» в книге «Композиция» (Париж, 1972). В книгу были включены и стихи из первого сборника «Монолог» (1950).
4. Речь идет о стихотворении «‘Поэты — бессмертны...’ Светлело, неярко...»
5. «В транспорте среди людей с деньгами, но плохо воспитанными». Шаховская почти дословно использует вошедшую в обиход характеристику определенного типа людей, из известной книги «Приземленная социология» под редакцией Джеймса Хенслина. (*Henslin, James M.* Down to Earth. Sociology: Introductory Readings (Free Press. 13th edition, 2005). Так в книге характеризуются люди с «новыми деньгами».
6. Фотография сохранилась в архиве Чиннова.
7. Нусберг Лев Вольдемарович (1937–), художник, теоретик искусства. Основатель группы «Движение» (кинетические проекты, перформансы). От кинетизма перешел к станковой живописи в стиле сюрреализма. Эмигрировал из СССР в 1976. С 1981 – в США. (*Прим. редакции*)

И. В. ЧИННОВ – З. А. ШАХОВСКОЙ

19 августа 1979

Шах-княгиня, наша дорогая,

Так я же путешествовал! Мотался! Возвращаюсь – средь груды

почтовых отправлений – «В поисках Набокова» с укоризненной надписью[1]. А в надписи 50% преувеличенья: только на одно письмо не ответил Чин-чин. Корреспондент я нерадивый, но Вы в числе немногих, кому отвечаю «аккуратно». Как бы то ни было – валяюсь в ногах, умоляя о прощении.

А за книгу – обнимаю. Изрекаю: Ваши поиски Н[абокова] увенчались успехом. Уверен, будет успех сопутствовать и «Поискам Н[абокова]» (это для диссертации о роли кавычек у Ч[иннова]).

Благодарю «слезно», что прислали сию «бутылку, брошенную в океан». Книга превосходна, очень интересна – и в набоковизме не затеряется. Вы на редкость убедительный свидетель (eyewitness), редкостно проницательный «оценщик»: оценили его безошибочно. К похвалам – 2-3 упрека. Не присмотрели за корректором, и вместо Эзры Паунда[2] получился Эзра Пунд (так, видно, французы произносят?). Не упомянута Итальянская академия. На стр. 57 профессор Эмеретюс вместо эмеритус, заслуженный профессор, как Чин-чин. На стр. 79 по-русски портреты назывались парсуной. Но это – пустяки совершенные, кто придерется – идиоты*.

Книгою насладился, и еще перечту, ради большего еще наслаждения. При всей сжатости, очень хорошо документировано.

Как это верно – стр. 93-94[3]; 91-92: Россия подменена Лолитой[4]; 127 – близорукость духовного зрения[5]. Забавно подмечено на стр. 84 насчет Америки[6], а до того – о сатире на нее в Лолите, не замеченной туземцами. 78 – о наблюдательности (7-8 строка сверху)[7]. 72: сравнение с фантазией почтальона Ш.[8] Прекрасно всё сказано на 57-60[9] и 41-43[10].

Шахкнягинюшка, уже час ночи, пора спать – а утром хочу отправить пораньше. Еще раз: отличная книга!

Я никогда не видел Н[абокова]. В Женеве спросил Слонима[11]: стоит ли заехать? Он не советовал: аудиенция была бы короткой...

(А насчет Lembla: у меня есть карта 17 века, из атласа Isaac'a Massa[12], и там в Moscovia три области Lembla. Сие между прочим.)

Ваше свидетельство достоверно – это, скорее, редкость. Написали и «нелицеприятно» и «начистоту», со спокойным достоинством. И честно: amicus Plato, sed magis amica veritas[13] (только любить этого Платона оказалось под конец не под силу...)

Прекрасно сделали, что издали! А на письмо с шахкнягининым портретом не ответил вовремя, ибо 1. Был в «нетях», нынче здесь, завтра там, в отсутствии, – и 2. Хотелось ответить патретом на патрет (получил за день до отъезда!).

Вообще же – votre presence dans mon coeur, chere Madam, est perpétuel et pour toujours[14]! Вы в моем духовном поле зрения, вместе со «few chosen» – forever[15].

Чмокаю дружески. Ваш Чин-чин.

PS. Божжа ж мой! Што жжа это, а? Сейчас вижу в [Русской] Мысли, что заболемши Вы! Лишимшись желчного пузыря! Ну, а зачем он Вам? Глебу Струве[16] или Берберихе[17] нужен, а Вы ж не желчная!

Всё обошлось, не правда ли, шах-княгиня душечка? Но берегите себя, не переутомляйтесь, не огорчайтесь: всё на свете трын-трава!

Надеюсь, не огорчили Вас какие-то сукины дети так, что пузырь воспалился? Выздоравливайте, голубчик, поскорей – Вы многим нужны!

Ваш друг-приятель Чин-чин.

* Рискуя прослыть идиотом, «придираюсь» к Хекселею на стр. 21. Альдус Хёксли[18], сия фамилия не склоняется. Poustiaki.

---

1. Надпись Шаховской на книге «В поисках Набокова» из архива Чиннова: «На два письма не было ответа от Вас, друг мой Чиннов – Игорь! Как в море бутылку, шлю теперь Вам эту книгу. – Улыбнитесь ей. Обнимаю. Шах-Зинаида. Париж. 1979».

2. Паунд, Эзра (1885–1972), американский поэт. В своей книге «Композиция» Чиннов приводил в эпиграфе строки из его стихов.

3. Шаховская пишет, что в прозе Набокова нет русского народа, а «описания его русской природы похожи на восторги дачника, а не человека, с землею кровно связанного». (Сс. 93-94)

4. Речь идет о стихотворении Набокова «Какое сделал я дурное дело…», где есть строчки: «Я, заставляющий мечтать мир целый // О бедной девочке моей». «Бедная девочка», по мнению Шаховской, это Лолита из одноименного романа. А в стихотворении Пастернака «Нобелевская премия», которое, по предположению Шаховской, пародировал Набоков, эти строки звучат так: «Я весь мир заставил плакать // Над красотой земли моей».

5. Шаховская пишет об «ощутимой нами в Набокове близорукости духовного зрения».

6. Шаховская пишет: «Как бы ни настаивал Набоков, за последние двадцать лет жизни, что он не русский, а американский писатель, – это еще одна из набоковских масок». (С. 84)

7. Шаховская пишет, что у Набокова: «в последние годы наблюдательность была оставлена без употребления, общение с ‘сырьем’ – материалом для его творчества – прекратилось». (С. 78)

8. Шаховская пишет там о романе «Ада»: «В ней нет набоковской легкости, она какая-то вымученная. Подобно знаменитому зданию, сооруженному своими руками во французской провинции Изера отставным почтальоном Шеваль <…> Громоздкое, барочное, хоть и современное нагромождение камней».

9. Шаховская пишет: «Поселившись в Монтрё, Набоков, по-видимому, нико-

го из старых своих друзей не видал. Посещали его там только его родственники и друзья его жены» (С. 57). Дальше речь идет о редких контактах Набокова с советскими писателями и с прессой. Заканчивая эту главу «С чужих слов», Шаховская пишет: «Набоков самый большой писатель своего поколения, литературный и психологический феномен. Что-то новое, блистательное и страшное вошло с ним в русскую литературу...» (С. 60)

10. Здесь речь идет о споре Шаховской с В. Набоковой, которая «обрушилась на весь русский народ, на ‘рабскую его натуру’». Шаховская пытается найти «на чем могла зародиться ненависть В. Н. к России?»

11. Марк Львович Слоним (1894–1976) – публицист, критик, переводчик, родственник В. Набоковой. Шаховская писала: «Слоним, находящийся в родстве с семьей В. Н[абоковой], говорил мне, что они не общаются с ним, потому что его семья стала православной» (стр. 43). Так что Чиннов его спросил, скорее, как «соседа», – Слоним жил в Женеве – всего в 100 км. от Монтрё.

12. Исаак Абрахамсон Масса (Isaac Massa, 1586–1643), путешественник, купец, голландский посол в Московии. Он – автор мемуаров и карт Восточной Европы и Сибири, а также карт России и провинций; последняя карта была закончена им в 1633 году.

13. «Платон мне друг, но истина дороже.» (*лат.)*

14. Ваше присутствие в моем сердце, мадам, вечно и навсегда. (*фр.*)

15. Вместе с немногими избранными – навсегда. *(англ.)*

16. Глеб Петрович Струве (1898–1985), историк литературы первой волны эмиграции, критик, профессор Калифорнийского университета (с 1947). В 1962 году, когда Чиннов оформлял документы для поступления на работу в американский университет, Струве отказался дать ему рекомендацию. Три рекомендации дали другие профессора.

17. Нина Николаевна Берберова (1901–1993), поэтесса, прозаик, литературный критик, жена В. Ф. Ходасевича (1886–1939).

18. В современной транскрипции: Олдас Хаксли (Aldous Leonard Huxley, 1894–1963), английский писатель.

Публикация – О. Ф. Кузнецова

КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА

Геннадий Кацов

Четверть века без Иосифа Бродского. Актуальный ориентализм

...Где муж вправе продать жену, если она бесплодна. Где вываривают трупы покойников, а затем растирают их, пока не получится нечто вроде кашицы, которую смешивают с вином, и потом пьют этот напиток. Где самый желанный вид погребения – это быть отданным на съедение собакам, а в других местах – птицам...

Мишель Монтень. Опыты. Том I. Глава 23, 1570-е годы

…Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого последователя пророка и читаем сущность ислама. Где мы начинаем думать, что веры – затихающие струи волн, разбег которых – виды.

Велимир Хлебников. Зверинец. Лето 1909

1

Эту последовательность, само собой сложившуюся, фиксируешь раз в пять лет невольно: вслед за юбилейным годом, отмечающим день его рождения, следует юбилейный год со дня смерти. В 2020-м, 24 мая, Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет, а в 2021-м, 28 января, – ровно четверть века с его ухода. Причем, если еще десять лет назад основной массив юбилейных исследований и статей был посвящен поэтике Бродского, то сегодня всё очевидней акценты расставлены на идеологических установках и политических взглядах нобелевского лауреата.

Особое внимание в 2014 г. привлекло стихотворение Бродского «На независимость Украины», с обвинениями и претензиями критиков по всему спектру – от украинофобии до имперскости. От этого отправного текста можно бы отталкиваться в дальнейшем в любую сторону, поскольку «Бродский хотел вырваться из СССР – не чтобы уехать, а чтобы ездить…»[1], а поездив по свету с 1972 г., отметил в своих наблюдениях много всего – противоречивого, тенденциозного и без учета, естественно, карающего института либеральных цензоров в будущем.

Он наговорил по поводу разных рас, народов, религий – на

солидный том в потенциальном прокурорском расследовании о несоответствии Бродского актуальным в XXI веке идеологическим представлениям. Перечень их нынче разрастается неумолимо и с космической скоростью: здесь и популярное движение Cancel Culture вкупе с BLM, и набравшая мощь тяжелоатлета «политическая корректность», и новая институциональная ортодоксия, теперь не только американская, – Critical Race Theory. Список каждый может продолжить по вкусу и собственным пристрастиям.

Всякого рода поношения в свой адрес Бродский отмечал не без сарказма: «Меня упрекали во всём, окромя погоды». И было за что, поскольку поэт никогда в своих эссе, тем более в поэтических текстах, не наступал песне на горло, и создается в наше время ощущение, что неоднократно предсказывая свой уход («Век скоро кончится, но раньше кончусь я…»), вздыхал едва ли не с надеждой и облегчением, будучи по природе лотофагом.

Действительно, XXI век, в котором поэт физически не присутствует, принес столько сюрпризов и в сфере гражданского права, и в отношении к свободам и обязанностям, что Оруэлл вместе с Бердяевым, Замятиным, Авторхановым, Белинковым, Солженицыным переворачиваются в гробу, а Бродский с Байроном нервно покуривают в сторонке. Иначе говоря, сегодня Нобелевский комитет, ознакомившись с эссе Бродского (они, в основном, были написаны по-английски, и всего 30-35 лет назад их с восторгом принимали западные интеллектуалы), вряд ли рассматривал бы его как кандидата на эту репутационную, правда, уже немало себя опорочившую, награду. В наши дни эссе Бродского просто бы «не соответствовали»... А то, что гениально, многопланово, глубоко, интертекстуально написано и о чем – дело десятое.

Прожив немногим менее половины своих лет на капиталистическом Западе, Бродский не застал, к его счастью, эпохи, когда идолами значительного сегмента нынешнего молодежного электората окончательно стали Ноам Хомски и Сол Алински. Когда в Конгрессе США звучат голоса антизападников и антисемитов, а из библиотек выбрасывают книги неугодных высокоморальной сегодняшней цензуре авторов, таких как Гарриет Бичер-Стоу и Марк Твен. И не рекомендуют к просмотру фильмы, вроде оскароносного «Унесенные ветром», – классику американского кинематографа и нацинальное «нематериальное» достояние страны. И угрожают снести памятники Сервантесу и Теодору Рузвельту. И запрещают к показу целые серии мультфильмов, таких как «Симпсоны» и «Том и Джерри», а шесть книг детского писателя Теодора Сьюза Гейзеля, также известного как Доктор Сьюз, больше не будут издавать из-за «расистских и обидных» картинок.

Во всей этой гигантской компаративистской теме «Взгляды

Бродского – расовые, гендерные, религиозные, историко-политические, этические... – и наше умопомрачительное время» я хотел бы выделить лишь одно направление. По сути, оно является продолжением исследуемой в литературоведении проблематики о постколониальной поэзии и влиянии постколониальной идеологии на литературы мира и их авторов, прежде всего стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

2

Надо отметить, что известный подход в русском ориентализме, начиная с эпохи Петра I, никак не предполагал столь радикального невнимания к актуалиям Востока – даже не неприятия, а именно, говоря современным сленгом, «пофигизма». В «Путешествии в Стамбул» Бродский походя отмечает:

«Наверное, следовало с кем-то познакомиться, вступить в контакт, взглянуть на жизнь этого места изнутри, а не сбрасывать местное население со счетов как чуждую толпу, не отметать людей, как лезущую в глаза психологическую пыль...»

Исторически так сложилось, что отношение в России к Востоку амбивалентно: с одной стороны, как к «другому»; с другой – едва ли не родственное, как к части своего «я». Российская империя всегда жестко стояла на страже своих рубежей (а это значит, и ее колоний), и общий топос, как совокупность всех факторов среды существования, давал возможность россиянам ощущать себя старшим братом по отношению к народам малым.

Эта двуплановость глубоко исследуется, к примеру, в книге «Русский ориентализм. Азия в российском сознании от эпохи Петра Великого до Белой эмиграции» канадского историка профессора Давида Схиммельпеннинка ван дер Ойе (David Schimmelpenninck van der Oye, Brock University, Онтарио), – такой взгляд со стороны, из Канады, на российские историю, географию, литературу, искусство, в котором соединены разножанровые тематические единицы – «Кавказский пленник» Льва Толстого, «Апофеоз войны» художника Верещагина, «Князь Игорь» композитора Бородина – как структурные составляющие в общем контексте востоковедения. В результате в России, в отличие от тех же США и Великобритании, не сложился некий целостный образ Востока, а существовал, как в калейдоскопе, кавказский Восток и Восток среднеазиатский; Восток, представленный Китаем или Японией, и т. д.

В значительной степени Россия в экспансии на Балканы и Восток видела свое будущее, а образованное общество считало, что восточный вектор перспективен по многим направлениям. И это отражалось в

классической русской литературе, которая в немалой степени черпала примеры и образы из литературы западной (в творчестве Афанасия Никитина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Сенковского, Бестужева-Марлинского, Тютчева, Фета, Лескова, Достоевского).

Несколько определенней всё выглядит в эпоху Серебряного века, когда были обозначены полярности, допустим, от Бальмонта, для которого Восток-Азия был источником мудрости и примером в этом для подражания, до Андрея Белого, для которого и Восток, и Запад были уже двумя сторонами российской идентичности. И это при том, что в его «Серебряном голубе» и «Петербурге» прочитывается нескрываемая настороженность, негативно-пугающее настроение, даже страх по отношению к Востоку (позже мы остановимся подробней на двух интонационных сторонах в западном хрестоматийном ориентализме – ксенофобской и ксенофилической).

Безусловно, Восток при этом подавался как экзотика, нередко в духе стилизаций и пушкинского «Подражания Корану». И если в традиционном ориентализме оппозиционная пара «Запад – Восток» становится модой уже во времена Байрона, им же и сформированной, то в ориентализме российском, как отмечает в интереснейшей монографии «Концептосфера ориентального дискурса в русской литературе первой половины XIX в.» П. В. Алексеев, мы наблюдаем триаду «Запад – Россия – Восток».

И к Востоку отношение двойственное: это и адресат колониальной экспансии, которого надо бы цивилизовать, и неиссякаемый исток поэзии и европейской духовности: «...ориентализм в русской литературе (‘русский ориентализм’) – это особый дискурс, сформированный в России во второй половине XVIII – первой половине XIX в. под влиянием западноевропейского ориентализма и направленный на то, чтобы ‘изобрести’ тот Восток, который необходим русской культуре для решения проблем самоидентификации» (Алексеев, с. 311).

Иными словами, Россия одновременно является и Западом, и Востоком, если проанализировать сформировавшийся за столетия российский взгляд в этом нарративе. И здесь особо любопытно отметить позицию художника Верещагина, ряд современников которого были уверены, что неоднозначные его изобразительные работы связаны, прежде всего, с критикой российской внешней политики. Это уже ближе взгляду Бродского, который явно проводит параллели между Османской империей и современным ему СССР, а потерявший свое былое величие Стамбул – с советским в самых разных смыслах Ленинградом, родным городом поэта.

Василия Верещагина можно назвать моралистом в русском изобразительном искусстве. Во время службы в Туркестане Верещагин

отмечал: «[я] не имел страстной любви к Востоку, Боже упаси! Я учился на Востоке, потому что я был там свободнее... чем на Западе. Вместо парижского чердака или какой-нибудь меблированной комнаты... на Васильевском острове, я предпочел бы киргизскую юрту». (*Лебедев, А. К.* Василий Васильевич Верещагин. Жизнь и творчество. – М., 1972, с. 54). С одной стороны, Верещагин видел на Востоке варварство и иррационализм, а Запад определял как место, где восторжествовал разум; но с другой, он отразил в своих полотнах то, чему был свидетелем во время своих путешествий по Азии: жестокость империи по отношению к провинциям. И вопрос об ответственности России в этом случае был одним из важнейших, если мы говорим о сюжетах картин Верещагина, о ракурсе, в котором вопрос был подан.

Вот этот этический момент в самых неожиданных плоскостях спустя несколько столетий взял за основу и Бродский, освещая свое путешествие не столько по городу Стамбулу с его историей, сколько по обиталищу потомков завоевателей-янычар с их современной географией.

3

Достаточно взять только один сборник эссе Бродского, составленный самим автором, – «Less Than One: Selected Essay» (N.Y., 1986), чтобы понять: Бродский написал, казалось бы, на все десять лет без права переписки. По сегодняшним меркам. Чтобы придать фокус этим заметкам, имеет смысл рассмотреть известнейшее эссе Бродского «Путешествие в Стамбул», в котором серьезный поэт и высокопарный эссеист бродит по пыльному Стамбулу, предлагая самые неожиданные дискурсы в заезженной, казалось бы, антонимической паре «западная демократия и восточная деспотия». И причины, отмеченные в эссе, у нас сегодня есть возможность наблюдать в виде следствий, а именно: бесповоротное поражение западных ценностей и торжество восточного миропорядка. В 1990 году Бродский говорит в интервью корреспонденту польского журнала «NaGlos» Гжегожу Музялю:

«Наш мир становится вполне языческим. И я задумываюсь, а не приведет ли это язычество к столкновению – я страшно этого опасаюсь... <...> между исламским миром и миром, у которого о христианстве остались лишь смутные воспоминания. Христианский мир не сможет себя защитить, а исламский будет давить на него всерьез. <...> Прагматики утверждают, что разница между двумя мирами не столь уж велика. Я же в это ни на секунду не верю. <...> В конце концов, наш мир на шесть веков старше ислама. Поэтому, полагаю, у нас есть право судить, что хорошо, а что плохо.»[2]

В наше время всё идет к последовательному, практическому

упразднению основ демократии, берущей начало с античности, и строительству в развитых странах социалистически-восточного общественного уклада, в нашем случае, в эссе, – со времен Османской империи. Предчувствуя этот захват западной цивилизации в плен «янычарами» (в духе шпенглеровского «Заката Европы», да и «Конца истории» Фукуямы), Бродский с тревогой и пониманием того, что исторический детерминизм неизбежен, так описывает, к примеру, стамбульские мечети: «Эти гигантские, насевшие на землю, не в силах от нее оторваться застывшие каменные жабы! Только минареты, более всего напоминающие – пророчески, боюсь, – установки класса земля-воздух, и указывают направление, в котором собиралась двинуться душа. <…> Этот комплекс шатра! придавленности к земле! намаза»[3].

Восемь лет спустя, в стихотворении «Ritratto di donna» (1993), тот же настороженный взгляд облекается в рифмованные строки: «...Зима. Стамбул. / Ухмылки консула. Настырный гул / базара в полдень. Минареты класса / земля-земля или земля-чалма / (иначе – облако). Хурма, сурьма. / Другая раса».

Зачем путешественнику углубляться в сакральное знание того, что представляют собой тайны застывшего в развитии Ориента – в виде гигантского, чуждого западному человеку, восточного базара? Надо ли Западу сближаться с Востоком, не опасно ли это в последней четверти XX в. для всей западной цивилизации, прежде всего? И способен ли Запад выдержать нашествие с юга и востока в веке XXI? Здесь Бродский следует уже проверенной в своих поэтических текстах импликации: «зачем нам двадцатый век, если есть уже / девятнадцатый век», «зачем нам рыба, раз есть икра, <…> зачем вся дева, раз есть колено».

Чем обернется для нас и наших потомков сближение культур в изумляющей своей вульгарностью идее всеобщего равенства – «мультикультурализме»? Какие вирусы, в разных смыслах, подхватят народы развитых западных стран, открыв границы и получая, в результате, на своих территориях мусульманские анклавы, в которых граждане с паспортами западных государств живут по законам шариата? А законы эти однозначно противоречат юридически-правовому статусу классического государства европейского типа и соответствующим конституциям, противоречат основам демократии. Как долго в США будет работать «плавильный котел» при таком сценарии?

Даже в столь далеком от заданной тематики стихотворении, как «Шесть лет спустя» (1968), Бродский не забывает ужаснуться от собственных интуиций по отношению к Востоку: «...и тридцать дней над морем, языкат, / грозил пожаром Турции закат».

Насколько был прав – или не прав – Иосиф Бродский в своих стихотворных и прозаических травелогах по Турции, Мексике,

Северной Европе (и Венеции, кстати)? Небезучастный наблюдатель, консерватор с постколониальным мышлением, остро ощущавший современность и ужасавшийся от роковых предчувствий по отношению к давшим ему «вторую жизнь» США, и к любимой им Швеции, которую называл своей экологической нишей, да и к обожаемой Венеции. Насколько толкователь Юга и Востока, западный человек Иосиф Бродский оказался, в итоге, провидцем?

4

В своем сборнике литературно-исторических путешествий «Гений места» Петр Вайль, сдружившийся с Бродским в последние его годы, пишет: «‘Путешествие в Стамбул’ – самое, вероятно, уязвимое сочинение Бродского: с точки зрения историка, богослова, филолога, логика… Эссе о Стамбуле – наглядный пример той жизненной позиции, которую Бродский сформулировал в обращенном к Томасу Венцлове ‘Литовском ноктюрне’: ‘...Вся жизнь как нетвердая честная фраза на пути к запятой’»[4].

В этом же роде высказывается и Венцлова, близкий друг Бродского на протяжении десятилетий, в «Путешествии из Петербурга в Стамбул», посвященном рассматриваемому нами эссе: «Постоянно встречаются фразы типа: ‘Я не очень хорошо представляю себе, что творилось об ту пору в Иудее’ (с. 80); ‘При не помню уж каком султане, да это и неважно, – была Айя-София превращена в мечеть’ (с. 100). Эрудиция Бродского порой и в самом деле дает неожиданные сбои – например, в рассуждении об элегическом дистихе (с. 74), которое уточнено в английской версии...»[5]

Создается впечатление, что Бродский, словно представляя реакцию массового читателя с левой идеологией, пытается всё сгладить: мол, хотите верьте – хотите нет, в рассуждениях моих вы найдете неточности, так что ваши взгляды моя позиция вряд ли может оскорбить... При том, отмечает Венцлова, точка зрения и отсчета Бродского как раз достаточно продумана, аргументирована и крепко выстроена: «В целом эссе Бродского – что видно уже из названия – строится как отрицание Йейтса. Великолепной Византии, средоточию искусства, мудрости и святости, преддверию рая, а то и попросту раю, Бродский противопоставляет угрюмый Стамбул, где путнику, равно как и местному жителю, надлежит оставить всякую надежду. Эта тонкая игра теряется для русского читателя, который со стихами Йейтса, увы, обычно не знаком... Русское название эссе, намеренно прямолинейное, отсылает к другой традиции – традиции российских философских путевых очерков: ‘Путешествие в Армению’, ‘Путешествие в Арзрум’, а в конечном счете – ‘Путешествие из Петербурга в Москву’...»

Здесь важно отметить, что такое непримиримое, пессимистическое, дистопичное (в наше время торжества массовой культуры запросто навесили бы ярлык «расистское») построение логических и семантических конструктов в эссе Бродского имеет биографическое основание, на что толсто намекает и сам автор. Несколько смежных пар в его тексте очевидны, и когда он говорит о том, что является жертвой не столько истории, сколько географии, эта установка приобретает артикулированные очертания: христианский Константинополь – предшественник исламского Истанбула, и христианский Санкт-Петербург – предшественник большевистского языческого Петрограда, и современный Стамбул, растерявший былое величие, – как и советский Ленинград («великий город с областной судьбой»). Но эти важные для всего текста аналогии не должны уводить нас от иного, крупного масштаба: возможность сосуществования западной и восточной цивилизаций. Верней, невозможность, по Бродскому, – развивая мысль Киплинга о том, что Запад и Восток никогда не сойдутся.

5

Как Иосиф Бродский ощущает и оценивает в исторической перспективе и географической ретроспективе Восток? Точней, один турецкий его угол, открывшийся из-за ширмы с ее запутанным восточным узором? Хотя, возьмем шире: сходные впечатления возникают по прилете не только в Стамбул, но и в иное южное место: «Скушно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй, / всюду жестокость и тупость воскликнут: ‘Здравствуй’…»[6]

Несколько цитат из «Путешествия в Стамбул»:

«Я прибыл в этот город и покинул его по воздуху, изолировав его, таким образом, в своем сознании, как некий вирус под микроскопом. Учитывая эпидемический характер, присущий всякой культуре, сравнение это не кажется мне безответственным… я ощущаю себя разносчиком определенной заразы, несмотря на непрерывную прививку ‘классической розы’, которой я сознательно подвергал себя на протяжении большей части моей жизни. Меня действительно немного лихорадит от увиденного; отсюда – некоторая сбивчивость всего нижеследующего...»

«Что серо-бурый, грязноватый его цвет был цветом фасадов и интерьера почти всего и, в частности, нескольких контор Стамбула, где я побывал за последние три дня. Что улицы в этом городе кривы, грязны, мощены булыжником и завалены отбросами, в которых постоянно роются голодные местные кошки. Что город этот – всё в нем – очень сильно отдает Астраханью и Самаркандом… В общем, достаточно, чтобы засорить подсознание...»

«Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа Азии. Зелень только на знамени Пророка. Здесь ничего не растет, опричь усов. Черноглазая, зарастающая к вечеру трехдневной щетиной часть света. Заливаемые мочой угли костра. Этот запах! С примесью скверного табака и потного мыла. И исподнего, намотанного вкруг ихних чресел что твоя чалма. Расизм? Но он всего лишь форма мизантропии. И этот повсеместно даже в городе летящий в морду песок, выкалывающий мир из глаз – и на том спасибо. Повсеместный бетон, консистенции кизяка и цвета разрытой могилы… Местное население, в состоянии полного ступора сидящее в нищих закусочных, задрав головы, как в намазе навыворот, к телеэкрану, на котором кто-то постоянно кого-то избивает. Либо – перекидывающееся в карты, вальты и девятки которых – единственная доступная абстракция, единственный способ сосредоточиться. Мизантропия? Отчаяние? Но можно ли ждать иного от пережившего апофеоз линейного принципа: от человека, которому некуда возвращаться?»

«И эта загадочная субстанция, эта пыль, летящая вам в морду на улицах Стамбула, – не есть ли это просто бездомная материя насильственно прерванных бессчетных жизней, понятия не имеющая – чисто по-человечески, – куда ей приткнуться? Так и возникает грязь. Что, впрочем, тоже не спасает от сильной перенаселенности...»

«Я приехал сюда взглянуть на прошлое, не на будущее, ибо последнего здесь нет: оно, какое оно ни есть, тоже ушло отсюда на Север. Здесь есть только незавидное, третьесортное настоящее трудолюбивых, но ограбленных интенсивностью истории этого места людей. Больше здесь уже никогда ничего не произойдет, кроме разве что уличных беспорядков или землетрясения...»

6

Как уже отмечено выше, размышляя по поводу сказанного, важно учитывать утонченный солипсизм автора, подчас опрометчивый; его резко индивидуальный, «личностный фактор» в манере изложения, советский имперский бэкграунд и навязанное еще со школы представление о восточной деспотии и повинующихся беспрекословно массах (с проекцией, уже в процессе самообразования, на советский имперский режим и оболваненный соцпропагандой советский народ). Бродский это периодически в эссе и сам отмечает:

«Что ж, вполне возможно, что мое отношение к людям, в свою очередь, тоже попахивает Востоком. В конце концов, откуда я сам? Но в определенном возрасте человек устает от себе подобных, устает засорять свои сознание и подсознание. Еще один – или десяток – рассказ о жестокости? Еще один – или сотня – пример чело-

веческой подлости, глупости, доблести? У мизантропии, в конце концов, тоже должны быть какие-то пределы. Достаточно поэтому, взглянув в словарь, установить, что 'каторга' – тоже турецкое слово. Как и достаточно обнаружить на турецкой карте – то ли в Анатолии, то ли в Ионии – город, называющийся 'Нигде'...»

В определенной степени, рассказ о Стамбуле – это рассказ о себе самом, пересказ историй собственной болезни и хворей своей родины. По-разному об этом сказано в поэтических текстах и эссе Бродского, и вполне прямолинейно – в стамбульском тексте: «Взглянуть на Отечество извне можно, только оказавшись вне стен Отечества. Или – расстелив карту. Но, как замечено выше, кто теперь смотрит на карту?» И с продолжением – в другом месте:

«Не Оттоманская ли мы теперь империя – по площади, по военной мощи, по угрозе для мира Западного. И не больше ли наша угроза оттого, что исходит она от обвосточившегося до неузнаваемости – нет! до узнаваемости! – Христианства. Не больше ли она, оттого что – соблазнительней? И что мы слышим уже в этом вопле покойного Милюкова: 'А Дарданеллы будут наши!'?»

Складывается впечатление, что Стамбулу досталось от Бродского и за весь Ленинград, и за всю Россию с СССР, которые поэт, игнорируя оба названия, чаще называл Отечеством. Возможно, Стамбулу достается и не всегда по заслугам, но ведь Вайль в своих заметках об этом городе фактически не находит ничего более достойного среди достопримечательностей, чем турецкий кофе (Бродский – чай). Так что, за восхищением от Востока и за позитивом – это к Байрону.

Можно ли ожидать чего-то другого от человека, прожившего 32 года при советской власти, пусть и фрондерствующего, пусть и выгнанного ею в три шеи за границу? Нутро – оно себя проявит, как ни старайся, – заметит некий критик. Одна из самых проницательных исследовательниц темы путешествий в бродсковедии, Санна Турома отмечает: «Авторитарная точка зрения в путевых нарративах Бродского, особенно неевропейских, обусловлена русским, советским и европейским имперским знанием. По той же причине можно задаваться вопросом, как это делает Деннис Поттер в своем исследовании европейской литературы путешествий, представляет ли эта литература 'попытку преодолеть культурную дистанцию с помощью длительного акта понимания' или же 'средство для выражения европоцентристского тщеславия или расовой нетолерантности'. Этот вопрос небезынтересен и для исследования русской литературы путешествий в целом и путевой прозы и поэзии Бродского в частности, несмотря на идиосинкразический характер подобного тщеславия в России»[7].

Здесь, казалось бы, можно поставить точку, поскольку тема

заезжена (западный, тем паче советский человек, со своим уставом в восточном монастыре), если бы фраза в эссе «не Оттоманская ли мы теперь империя» касалась лишь России. Время выводит на другие масштабы, и Бродский-оракул сегодня прочитывается так, что под «мы теперь» подразумевается весь Запад. Чего стоит только один фрагмент – походя брошенное в эссе замечание:

«...в сфере жизни сугубо политической политеизм синонимичен демократии. Абсолютная власть, автократия синонимична, увы, единобожию. Ежели можно представить себе человека непредвзятого, то ему, из одного только инстинкта самосохранения исходя, политеизм должен быть куда симпатичнее монотеизма. Не стоит, наверно, называть вещи своими именами, но демократическое государство есть на самом деле историческое торжество идолопоклонства над Христианством...»

Что же, собственно, от интеллектуала и нобелевского авторитета Иосифа Бродского хотели бы сегодня услышать западные интеллектуалы и авторитетные либералы? Или скажем так: чего они сегодня в его творчестве не слышат?

7

Трудно представить, что от Иосифа Бродского можно было ожидать романтических ориенталистских стереотипов в стиле Гёте, Гюго, Скотта, Майн Рида. Другая эпоха, другой опыт – по сути, разные клише и литературные предпочтения. Как отмечает Вайль: «Иосиф Бродский знал то, чего не мог знать Леонтьев, тем более – Байрон. За Бродским – опыт XX века, с его страшными героями, масштабы и деяния которых не мнились деспотам Востока. ‘Цветущая сложность’ оборачивалась таким образом, что единственным – бескровным и достойным – противовесом оказывалась ‘пиджачная цивилизация’».

«Пиджачная» – это чиновничество, «синие» и «белые» воротнички с их постным, на годы расписанным бытом в постиндустриальных городах: пять дней в неделю работа – выходные, работа – праздничный день, работа – отпуск. Ясное дело, сравнение с Востоком, «землей и садом грёз», явно было в пользу последнего.

Шаблоны ориентализма можно легко расставить по двум местам: «ксенофобские» (негативно-пугающие) и «ксенофилические» (притягательные). Оба с четким гендерным признаком. В изобразительном искусстве – это запоминающиеся акцентуированные образы. Ксенофобские – в лучших мужественных образцах, как на картине «Араб, сражающийся со львом» Делакруа или иных разных авторов в разных живописных манерах – «Арабские воины на конях», «Арабская стычка», «Арабы в засаде», и прочая, прочая. В ту же копил-

ку – какой-нибудь янычар на скакуне с ятаганом, который одним ударом разрубает неприятеля по диагонали так, что легендарный в этом деле красный рубака Семен Михайлович Буденный позавидовал бы.

Выдуманный, из эротических снов и детских игр в войну, мускулинный и театральный араб (мавр, египтянин, марокканец, сириец, индус) побеждал в воображении любого представителя «пиджачной цивилизации», зачахшего в своем стремлении к прогрессу и обществу всеобщего благоденствия. Мужчина в ориентализме – это не статическая мощь любого из васнецовских трех богатырей, а мастер в боях без правил: хитрый, опасный, стремительный, сильный и неутомимый. Как тигр или лев, но только еще больший хищник, поскольку в схватке со зверем всегда выходит победителем.

И, само собой, восточный воин любвеобилен. К его неутолимой похоти – одалиски, замещенные в наше время в коллективном сознании красавицами из порнохабов, сладострастницы из закрытого от постороннего взгляда и свободной буржуазной прессы гарема. Томные, аппетитные, понятно – похотливые и безотказные. Из «Бассейна в гареме» Ж.-Л. Жерома, «Мук любви» Э. Лонга, «Турчанок в гареме» Ф. М. Бредта, в том же очаровательном стиле *тюркри* – из «Турецкой бани» Ж.-О. Д. Энгра. Любопытно, что Бродский, написав «Развивая Платона» в сослагательном наклонении, упоминает лишь двух живописцев-неоклассиков, чье вдохновение вполне вписывается в идею платоновского утопического государства: «…я б скучал в Галерее, где каждое полотно / – особливо Энгра или Давида – / как родимое выглядело бы пятно».

Иными словами, для задавленного ханжеством, нормами, условностями и спартанским воспитанием европейца либо американца из привилегированных школ как XIX, так и XX века, ориентализм – это виртуальная реализация комплексов, замещение в воображении дефицита комфорта, свободы любить и убивать, жить, в конце концов, не по правилам и полицейским нормам соцобщежития, которые навязывает общество равных возможностей.

Вольная трактовка восточных сюжетов, экзотика с удалыми бойцами рукопашного боя и раскрепощенными девицами-красавицами (в уважающих себя современных борделях непременно есть комнаты-шатры с восточным антуражем в виде пальм, песчаных холмов, верблюдов на заднем плане и оазиса в стиле «всё включено» на переднем) – это укладывается в мифологему о повышенной чувственности, восточных наслаждениях и мире мечты, почти неземной. Проще говоря, всё это имеет такое же отношение к реальному Востоку, как и война киношного индейца Гойко Митича, сербско-немецкого актера, с киношными же ковбоями – к реальному Западу.

Ориентализм, таким образом, – это и создание некоего восточного мифа, и попытка сориентировать в своих представлениях Восток в том направлении, которое Западу понятней и привлекательней. Возможность отойти от известного рационализма в сторону романтики и грёз. Вайль уточняет: «Восток – это был вариант. Жизненная альтернатива. Восток как опыт (реальный и, главное, умозрительный): иного пространства – огромного, немеряного, незанятого; иного времени – глубже древность, дольше день, медленнее ритм; иного человека – подчиненного своим неведомым условностям, оттого казавшегося безусловнее, первозданнее, свободнее».

Другое дело, стоит ли к этому человеку, подчиненному «своим неведомым условностям», приближаться на расстояние выстрела или ножевого удара. Что называется, не зная броду, – и Бродский от идеи погружения в тему однозначно отказывается:

«Наверное, следовало взять рекомендательные письма, записать, по крайней мере, два-три телефона, отправляясь в Стамбул. Я этого не сделал...»

Эстетически Бродский далек от хрестоматийного рахат-лукумного ориентализма. Всё еще можно читать тематическую прозу по ориентальному поводу, но сколько сегодня ни сочиняй, всё худо-бедно получается сиквел «Бахчисарайского фонтана». Этически же у Бродского явно не было ни времени, ни желания познавать чары южного темперамента и осмысливать восточные сказки каждой из 1001-й ночи.

Сработал инстинкт самосохранения. Нравственный инстинкт, как считает Вайль: «На этом инстинкте самосохранения – нравственного! – стоит задержаться. Тезис Аверинцева: ‘Мудрость Востока – это мудрость битых, но бывают времена, когда, по пословице, за битого двух небитых дают. На пространствах старых восточных деспотий был накоплен такой опыт нравственного поведения в условиях укоренившейся политической несвободы, который и не снился греко-римскому миру...’ Бродский против такого кошмарного сна, тем более – яви, ‘мира с совершенно отличными представлениями о ценности человеческого существования, нежели те, что были в ходу на Западе’. Против мазохистской установки на ‘битость’... В прекрасной статье ‘Путешествие из Петербурга в Стамбул’ Т. Венцлова, перечисляя атрибуты ада в эссе Бродского, указывает на более глубокую, чем просто геополитическая, метафору, говорит о катабазисе, нисхождении в царство мертвых».

В эссе «Путешествие в Стамбул» Бродский если и говорит об ориентализме, то с сарказмом и иронией; турецкие реалии вызывают в нем отвращение и, по большому счету, не интересуют. Он и не пытается анализировать местный колоритный контекст, ограничив-

шись общими важными рассуждениями философского и религиозного порядка. И это в какой-то мере спасает его (при том, что «колониалист и империалист» – а как иначе! – по рождению и образу мысли) от разящего направо, но не налево, гнева «правильно» ориентированных потомков.

8

Классический ориентализм – это попытка определить, вычислить иноверца и чужого, *другого*, не столько его поняв, сколько подстроив под себя и, таким образом, его выдумав. Так были сконструированы к середине XIX в. расхожие образы бедуинов и арабов, а также негров – в виде услужливых и покорных рабов. После отмены рабства в США вполне обходились знаниями о них как о лучших баскетболистах и боксерах, неутомимых в сексе и джазе. Белому населению до какого-то времени проще и лучше было не думать о том, что в черных людях кипел разум возмущенный и на святой и правый кровавый бой он был идти готов. Периодические погромы с массовым убийством белых горожан потрясали крупные города Восточного побережья с XVIII в., а в Нью-Йорке «черные бунты» (black riots) обычно заканчивались чудовищными пожарами, от которых сгорало до половины всех построек.

И вот этот «другой» в конце концов на сложившееся положение вещей обиделся. Причем, обиду не выказали японцы и китайцы, мексиканцы и индусы – в основном, обиженными и обделенными были афроамериканцы, как их стали называть с последней четверти XX в., и турки с арабами плюс присоединившийся к ним ряд мусульманских народов.

«В современной гуманитарной науке понятие ‘ориентализм’ означает не только востоковедение и увлечение Востоком в художественной культуре, но и различение ‘Востока’ и ‘Запада’, необходимое Западу для культурного конструирования Востока и обретения власти над ним (основой для такого подхода стала концепция ‘ориентализма’ американского ученого Э. В. Саида)», – отмечает Е. А. Чач[8].

Здесь мы подошли к учению преподававшего в нью-йоркском Колумбийском университете профессора Эдварда Вади Саида (Edward Wadie Said, 1935–2003). Как сказано о нем в Википедии: «Американский интеллектуал арабского происхождения. Литературовед, историк литературы, литературный и музыкальный критик, пианист. Теоретик культуры, автор знаменитой книги ‘Ориентализм’ (1978), жестко критикующей западные воззрения на Восток и обвиняющей западную науку в духовной поддержке и оправдании колониализма».

В вышеупомянутой работе Саид назвал интерес к Востоку

«опредмечиванием». Запад втискивает то, что ему непонятно, в свои рамки, навязывает свое миропонимание, представляет театр восточных действий иллюзорно, подстраивая его под свою схему. И здесь Саид делает революционный, сегодня – достойный подражания шаг: ориенталистское искусство – вещь не только колонизаторская, но и расистская. По Саиду, пора говорить о культуре закабаления, а если от творчества перейти к науке, то изучение на протяжении веков Корана, арабо-мусульманских традиций, языков, систематизация по шкале ценностей – это отвратительная попытка проведения Западом своеобразной разведки боем. Чтобы следующие поколения белых колонистов успешней давили свободолюбивые, мудрые не по-западному, народы Юго-Востока...

Надо сказать, что в Нью-Йорке есть достойный внимания музей ориентализма – научно ориентированный музей Дагеша в Нижнем Манхэттене (Dahesh Museum of Art); и есть немало ученых, включая образованных, эмансипированных арабов, которые считают учение Саида прежде всего политически мотивированным, идеологическим манифестом, и подвергают его резкой критике. В последние годы – всё реже, но это связано с общим политизированным фоном, на котором леволиберальная профессура и неисчислимые адепты развернули священное зеленое знамя учения Саида – своего кормчего.

Основной тезис его учения, пожалуй, таков: «Всякий европеец, отзывавшийся о Востоке, был расистом». Перекликается с известным советским слоганом о капиталистической науке – «продажной девке империализма», но ведь Саид и есть плоть от плоти основных социалистических, леволиберальных установок. Он и к Израилю относится в известном духе, что неудивительно (вернемся к Википедии): «Активист палестинского движения. Был членом Палестинского национального совета. Главный консультант по делам Палестины в США. Популярный журналист, жесткий критик израильской политики в палестинском вопросе, сионизма и арабского национализма». Добавлю и его известный труд «Палестинский вопрос» (1979).

Белые ученые вообще не способны понять Восток, – сообщает в «Ориентализме» «американский интеллектуал арабского происхождения», – и не должны заниматься востоковедением, поскольку они не арабы... Ничего вам не напоминает? Белые актеры не должны играть черных и азиатов и не должны озвучивать не-белых анимационных персонажей (напомню: недавно актер Хэнк Азариа каялся публично и извинялся за то, что озвучил стереотипного индийца Апу в «Симпсонах»). При этом актрисе очень темного цвета кожи Джоди Тернер-Смит предложили играть королеву Анну Болейн в мини-сериале – понятно, с усиленной феминистской составляющей. Верю, что

английская королева любого цвета кожи всё равно одолеет душный патриархат тюдоровской Англии. И если надо, либеральный зритель массово черную королеву в этой не шахматной партии поддержит.

9

Расизм, по мнению Саида, присущ ориентализму как неизбежная характеристика отношения народа-господина к народам подчиненным, которые не могут «сами выражать свои интересы». В послесловии к книге «Ориентализм» издания 1995 года Саид писал: «Я вспоминаю один из первых арабских обзоров моей книги, в которой автор ‘Ориентализма’ был назван поборником арабизма, защитником униженных и оскорбленных, чья миссия – в том, чтобы призвать власти Запада к чему-то вроде эпического и романтического mano-a-mano. Несмотря на явное преувеличение, в книге действительно присутствует чувство враждебности Западу, как его воспринимают арабы, а также содержится достойный, с точки зрения многих образованных арабов, ответ».

Этот ответ, по мнению Саида, – на вопрос, которому уже несколько тысячелетий. Саид указывает на одну из трагедий Эсхила, в которой Греция изображала персов варварами. Обобщим: колыбель европейской цивилизации, Греция неполиткорректно относилась ко всему Востоку, что проявилось на отношении к персам. Стало быть, история ориентализма в таком «дурном смысле», завершает мысль Саид, началась две тысячи лет назад. Ну что тут добавить?.. Отмечу, что афроамериканцам повезло меньше: они требуют репараций за ущерб, нанесенный рабством, ведя отсчет всего-то за последние пять столетий, начиная с 1619 г., когда судно с первыми рабами причалило к берегам Северной Америки.

Учение Саида живет и побеждает, а дело его не забыто. Теперь представьте, если бы Иосиф Бродский в своих эссе, посвященных Югу и Востоку, исследовательски подошел бы к увиденному, приводя цитаты из Корана, анализируя вековые восточные традиции и пытаясь углубиться в итоговое настоящее? В какую, простите, котлету превратили бы его имя и его труды сегодня радетели за идею «белой вины»?!

За имперскость еще можно дать десять лет, как я писал в начале этих заметок, но за изучение и толкование белым человеком восточных премудростей книги Бродского выносили бы из библиотек и сжигали в правильные времена на площадях; и снесли б памятник, будь он установлен Бродскому по месту его работы в Библиотеке Конгресса (1991–1992 годы). Да, еще и всех регалий лишили бы – неважно, что покойника: он в этом случае попадает в список прочих

«мертвых белых мужчин». Как лишили почетных званий лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине (1962) Джеймса Уотсона в 2019 году за ряд «идеологических заблуждений».

В эссе Бродского на временнóй карте соседствуют христианско-византийский Константинополь и мусульманско-османский Стамбул. Большинство аналогий и ассоциаций – из времени прошедшего, а в настоящем – поверхностный взгляд эстета на город, остановившийся в своем развитии на заснувшем на столетия Востоке. Практически ничего от исследователя-ученого – метафоры, стремительно рождающиеся сентенции и погружение во время. Умнейшая позиция, ведь недаром Исайя Берлин из всех качеств особо выделял у Бродского ум.

Конечно, не индульгенция «на всю длину потемок», но от сегодняшнего мракобесия, по крайней мере. Не зря Томас Венцлова в своем эссе отметил особо: «Время – основная тема ‘Путешествия в Стамбул’, как, впрочем, и всего творчества Бродского».

Трудно пройти между Сциллой и Харибдой совсем без потерь: между классическим ориентализмом и современным популистским учением Саида. Похоже, Бродскому это удалось. В конце концов, обвинения в колониальности (не современный расизм же, хотя близко) с имперскостью всегда можно списать за счет влияния советской системы – но дальше предъявить Бродскому последователям Саида и иже с ними практически нечего. Да, они сегодня формируют, как принято говорить, «повестку дня», однако расправиться с Бродским до конца не получается.

Не без изъяна, но не так, как бы им хотелось, уязвимо его представление о том, что Западу близко подходить к Востоку не стоит. В книге Льва Лосева[9] находим: «...упоминания Ислама в ранней поэзии Бродского могут озадачить читателя <…> Главный пафос этого <…> монолога – в разоблачении попыток насильственно управлять ходом истории, ‘организовывать’ всеобщее счастье...»

Бродскому подсказывает это опыт и интуиции. И простая логика: вначале колонисты к ним, теперь – колонии к нам. От «бремени белого человека» эпохи Киплинга до «вины белого человека» за все «белые привилегии», с «белой хрупкостью» (White Fragility) в рамках Whiteness Studies – расстояние всего в одно столетие. Не стоило сближаться.

В известном смысле, позиция Бродского не противоречит английской поговорке «не будите спящую собаку». В этом плане Бродский неполиткорректно выступил провидцем, но ведь, как свидетельствует история, да и география, – мало кто к провидцам готов прислушаться.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Ахапкин, Д.* «Теперь меня там нет...»: идеальный город Иосифа Бродского / Журнал «Звезда», № 1, 2021.

2. *Лосев, Л.* «Азия» в мире Бродского. Иосиф Бродский / ЖЗЛ. – М. Изд-во «Молодая гвардия», 2010 г. – С. 163.

3. *Бродский, И.* «Путешествие в Стамбул». Здесь и далее – из сборника «Антология текстов. К фестивалю медленного чтения». URL: http://files.esh-kolot.ru/reader-print.pdf

4. *Вайль, П.* Босфорское время. Из книги «Гений места». Здесь и далее – «Иностранная литература», № 2, 1998.

5. *Венцлова, Т.* Путешествие из Петербурга в Стамбул. Здесь и далее – «Собеседники на пиру» (Литературоведческие работы). URL: https://lit.wiki-reading.ru/46078

6. *Бродский, И.* «К Евгению» (из мексиканского цикла).

7. *Турома, Санна*. Бродский за границей: Империя, туризм, ностальгия / Научная библиотека / М.: Изд-во «НЛО», 2020.

8. *Чач, Е. А*. Ориентализм в общественном и художественном сознании Серебряного века. Автореферат / Санкт-Петербургский государственный университет. – С.-Пб. 2012. – URL: https://disser.spbu.ru/disser/%7Bzashiti_disser_id%7D/avtoref-Chach.pdf

9. *Лосев, Л.* «Азия» в мире Бродского... Указ. изд-во. – С. 161.

Нью-Йорк

И. И. Грубмайр

Русский Загреб Татьяны Пушкадии-Рыбкиной

Памяти Т. В. Пушкадии-Рыбкиной (Puškadija-Ribkin)
1929–2021

Из Нью-Йорка в Загреб я улетала с единственным контактом. Ростислав Владимирович Полчанинов прислал мне накануне имейл своей загребской знакомой – Тани Рыбкиной, как он ее по-дружески называл. А знакомы они были еще со времен своей балканской молодости. Таня была членом организации русских скаутов-разведчиков в Боснии, и Слава, в свои 20 с чем-то лет, казался ей, девочке-подростку, почти стариком. Через полвека они возобновили общение и стали активно помогать друг другу в сборе и сохранении русского исторического наследия на Балканах.

Имя Татьяны Витальевны Пушкадии-Рыбкиной знакомо всем, кто занимается историей эмиграции в Хорватии. Она родилась в 1929 г. в русской семье и выросла в русской колонии – сначала Загреба, а потом в Баня Луки. В детстве ездила с бабушкой в Блиню к священнику о. Александру Волковскому, принимавшему там у себя свою паству. В школьные годы участвовала в Национальном движении русской молодежи. В студенческие годы дружила с русскими сверстниками. Как видно, русский эмигрантский мир был ей знаком не понаслышке.

Семья Татьяны Витальевны, как и тысячи других русских беженцев, попала в Королевство сербов, хорватов и словенцев в 1920 году. Сначала вместе с детьми приехал дедушка по материнской линии – Александр Яковлевич Мурза. Александр Яковлевич родился 25 августа 1861 г. в Кишиневе; родители – Яков Фомич, коллежский асессор, и Александра Васильевна Мурза. С 1881 г. он учился на физико-математическом факультете в СПбУ. К сожалению, неизвестно, где получил медицинское образование. Работал на Урале, в Екатеринбурге, там же женился на акушерке Елизавете Семеновне, урожденной Медведевой, родившейся в 1864 г. в Ялуторовске. На Урале родились их дети: Глафира (26.04.1897), Екатерина (12.12.1901), Наталья (1.12.1903) и Яков (23.04.1905).

По воспоминаниям Екатерины Александровны, в Екатеринбурге они «жили во дворе больницы». В 1907 г. семья переехала в Одессу. «...Я поступила в первый класс гимназии. Но об этом периоде не осталось много воспоминаний. Часто, возвращаясь домой, по дороге рассматривала книги в

газетных киосках и, конечно, запаздывала к обеду. Мама сердилась, но недолго. Помню, что в Одессе вдоль улицы, где мы жили, росло много акаций, которые, когда цвели, опьяняюще пахли. Через открытое окно ветки вваливались в комнату и наполняли ее своим тяжелым ароматом. В Одессе первый раз увидела Черное море. Поразила меня его ширь и глубина. Видела огромные пароходы, которые приставали к самому берегу. Люди с пароходов бросали монетки, а мальчишки, как рыбешки, ныряли и хватали денежки на лету. Меня поражала их храбрость и ловкость».

В Одессе Александр Яковлевич служил городским санитарным врачом. В 1911 г. он участвовал в мероприятиях по «борьбе с чумной заразою», за что 23 декабря 1911 г. был награжден нагрудным знаком «Борьба с чумою».

После короткого пребывания в Одессе семья переехала в Москву, но ненадолго. Из воспоминаний Екатерины Александровны: «В Москве я училась во втором классе гимназии. Гимназия была частная, недалеко от нашего дома. Но она оказалась не на высоте. Это я увидела, когда мы через 2-3 года переехали в Киев, где я безнадежно провалилась на вступительном экзамене при переходе в 3-й класс. О времени, проведенном в Москве, воспоминаний осталось мало. Большая темная квартира. Единственно помню посещение Третьяковской галереи. У меня глубоко запечатлелись некоторые картины. Еще и сейчас их помню и вижу».

Следующим пунктом в передвижениях семьи Мурза стал Киев. Здесь в 1919 г. Екатерина Александровна с серебряной медалью окончила женскую гимназию А. В. Жекулиной. В Киеве ее отец уже не работал врачом. По семейной легенде, у Александра Яковлевича там был свой небольшой театр.

Воспоминания Екатерины Александровны заканчиваются двадцатым годом. Она ссылалась на перенесенный в тот год тиф и им объясняла утрату памяти последующих событий. Скорее всего, эта «забывчивость» явилась результатом пережитых душевных травм.

В феврале 1920 года вместе с детьми – дочерьми Екатериной и Натальей, сыном Яковом – и сестрой супруги, Анной Семеновной[1], на пароходе «Габсбург» Александр Яковлевич эвакуировался из Новороссийска. Елизавета Семеновна не смогла поехать. Она осталась в России со старшей дочерью, страдавшей эпилепсией. 11 мая 1921 г. Глаша умерла. В декабре 1922 г., через Польшу и Чехию, Елизавета Семеновна приехала в Сараево.

Предположительно, из Константинополя семья ехала поездом через Салоники в Белград, и по пути их высадили возле города Враньска Баня, в Сурдулице в Сербии. В то время там построили больницу, специализировавшуюся на легочных заболеваниях. На ее открытие приезжал король Александр. Скорее всего, Александру Яковлевичу Мурза предложили там работу. Но уже с 1921 г. и до самого выхода на пенсию он служил врачом в военной больнице в Сараеве.

Дети были определены на учебу: Наташа – в Девичий институт в Белой

Церкви, Яша – в Донской кадетский корпус в Билече. Екатерину отец отвез в Любляну, где она поступила на медицинский факультет, и устроил жить в русской семье. Поскольку в то время в Люблянском университете было всего два первых курса, то завершить учебу можно было в ближайших университетах – в Граце (Австрия) или Загребе. Екатерина выбрала второй вариант. Осенью 1923 г. она приехала в Загреб. На вокзале ее встречал представитель Общества русских студентов Виталий Рыбкин.

Вскоре семью постигла трагедия: 21 апреля 1924 г. при загадочных обстоятельствах застрелился сын Яша. Предположительно, это была игра в русскую рулетку. Елизавета Семеновна, очевидно не справившись с горем, переехала в Загреб к старшей дочери Екатерине.

Младшая дочь Наталья после окончания Девичьего института училась в Загребском университете на химико-технологическом факультете, который окончила в 1929 году. Вместе с нею этот факультет окончил и ее будущий муж – Церковников Евгений Тимофеевич[2], с которым они обвенчались в 1928 г. в Блине у о. Александра Волковского. А Екатерина Александровна в 1926 г. вышла замуж за Виталия Макаровича Рыбкина, с которым дружила с момента их встречи на загребском вокзале.

Виталий Макарович родился 5.05.1897 в Ейске. Родители – Макар М. Рыбкин и Татьяна Ивановна, урожд. Морозова. В семье было 10 или 11 детей. Все, кроме Виталия и Николая[3], остались в России.

Для Виталия Макаровича Рыбкина и Евгения Тимофеевича Церковникова, попавших на чужбину без родных, семья их жен – сестер Мурза – восполнила потерянных родственников. Оба они с глубоким уважением относились к своему свекру, который, думается, в чем-то заменил им их отцов. «Я его очень любил. Был он очень доброжелательным, человеком широких взглядов», – писал в своих воспоминаниях Е. Т. Церковников.

Виталий Рыбкин в 1916 г. учился в Политехническом институте императора Александра II в Киеве. В 1918–1919 гг. – в Алексеевском Донском политехническом институте в г. Новочеркасске. В мае 1919 г. находился в Новороссийске. В 1920 г. приехал в КСХС и оказался в г. Славонски Кобош в Славонии. Туда требовался кузнец. Виталию Макаровичу предложили состоятельную невесту, имение которой было как раз рядом с домом кузнеца, – прекрасная перспектива объединения имущества. Но Виталий Макарович предложение не принял и сбежал в Загреб. Он так или иначе планировал туда поехать – хотел учиться в университете. В 1926 г. он закончил отделение машино- и судостроения Высшей технической школы, ставшей как раз в том году техническим факультетом Загребского университета. Работал ассистентом на сельскохозяйственно-лесном (лесохозяйственном) факультете университета.

А через два года закончила университет и Екатерина Александровна. Она получила место ассистента в Центральном институте рентгенологии при

медицинском факультете. В 1929 г., 23 января, у Екатерины Александровны и Виталия Макаровича родилась дочь Таня.

Маленькая Таня с детства говорила по-русски. Читать и писать ее учил сначала дедушка, а потом папа. Папа давал ей задание – каждый день списывать из какой-нибудь книги одну страницу. В голодные военные годы, в отместку ему, она списывала рецепты из поваренной книги Елены Молоховец. А потом, уже будучи взрослой, часто сожалела о своей детской жестокости и желании досадить отцу. В Загребе у Тани была подруга-хорватка. Таня учила ее писать кириллицей, а подружка учила ее латинице. Таким образом, еще до школы девочка знала обе азбуки[4].

Большую часть времени Таня проводила с бабушкой, Елизаветой Семеновной. Они вместе ходили в церковь. И если девочка хорошо вела себя во время службы, после этого заходили в кафе, где Елизавета Семеновна покупала внучке «кайзерицу»[5]. В конце войны, когда с едой уже было плохо, Таня и ее одноклассники играли в игру «Что бы я сейчас поел». Для Тани это всегда была «кайзерица» с ветчиной. Бабушка научила Таню готовить свои знаменитые пироги и пасхальные куличи. И когда Елизаветы Семеновны не стало[6], в первую Пасху без бабушки куличи пекла ее 11-летняя внучка.

Из воспоминаний Татьяны Витальевны: «1935 год принес много значительных перемен в нашу семью. Дедушка, который был врачом в военной больнице в Сараеве, ушел в 1934 году на пенсию и собирался переехать в Загреб... Главным образом поэтому маме и папе удалось найти две квартиры в новопостроенном доме[7]. На первом этаже поселились дедушка, тетя Аня, Наташа, мамина сестра, – с мужем, дядей Женей, – и вскоре родившейся их дочкой Ниной[8], а на втором – бабушка, мама, папа и я. Однако эта «идиллия» продолжалась недолго. Папа, ассистент на лесохозяйственном факультете, остался без работы и постоянного заработка. Мама получила хорошее доходное место врача в больнице в г. Баня Лука[9]. Меня записали в первый класс начальной школы в Загребе. В декабре 1935 года[10] умер мой дедушка, а в феврале 1936 года бабушка и я переехали к маме в Баня Луку, куда вскоре приехал и мой папа».

Детство Тани прошло в Баня Луке. Там она окончила гимназию. Там участвовала в движении русских соколов[11]. Ее отец, преподававший в средней технической школе, принимал активное участие в жизни русской колонии и помогал в организации и проведении молодежных лагерей. Мама работала в двух больницах, а в 1940 г. открыла в Баня Луке свой частный рентген-кабинет, но в 1944 г. рентген-аппарат был незаконно изъят у нее усташами[12]. Во время войны в семье Рыбкиных появилась еще одна девочка.

Из воспоминаний Татьяны Витальевны: «Это была сербская девочка из села возле Карловца. Папа ее взял из детского лагеря[13]. Там было много детей. И многие русские брали детей. Она стала ходить в школу. В 1945 г. появился ее отец. Из целой семьи осталась только эта девочка – мать и

бабушка пропали без вести. Он обещал моим родителям, что она будет ходить и дальше в школу. Но когда привел ее домой, какая там школа... Нужно было работать».

В 1944 г. дом Рыбкиных был разрушен при бомбардировке. Они перебрались в другой дом, поменьше. Во время одного из следующих воздушных налетов значительно пострадал дом, в котором жили Елизавета Константиновна Вяткина и ее дочь Шура[14], подруга Тани на всю оставшуюся жизнь. Вяткины бежали от бомбежки и нашли приют у Рыбкиных.

Из воспоминаний Татьяны Витальевны: «Тетя Лиза и Шура переселились к нам. Когда они бежали из своего дома, тетя Лиза захватила самые необходимые вещи. Среди них обнаружили бумажно-картонные формы для печенья. Она, бедненькая, захватила первый мешок, который попался. В частности, захватила она и такую деревянную посуду, в которую откладывали закваску. Тогда сохраняли кусок теста, который потом в этой же посуде размачивали. И когда пришло время делать куличи, тетя Лиза вспомнила, что где-то у нее в этих вещах была закваска. Нашли! Вся полна была песка, кирпичей, мусора от бомбардировки. Всё это соскребли, и закваска еще действовала. Сделали куличи на закваске. Правда, долго поднималось, но поднималось».

В апреле 1945 г. в Баня Луку вошли партизаны. Из воспоминаний Татьяны Витальевны: «Это было 23 апреля 1945 г. Шел весенний нудный дождь. Партизаны входили в город. Ружья висели дулом вниз, чтобы вода не заливалась. Среди них много было женщин. И вот они идут, на головах шапки, по ним течет вода, капает внизу с шинели. Когда они входили в город, усташей уже не было, остались только домобраны. Было соглашение, что когда начнет выть сирена, это значит, что партизаны входят в город с юга, а на север уходят домобраны. По существу они просто разошлись. Это было ночью, в дождь – двадцать минут выла эта сирена. Это был просто ужас! Тем более что у нас не было стекол на окне. Они поразбивались при бомбардировке. А на окне были прибиты мамины рентгеновские снимки. С них в горячей воде смыли изображение, сшили на швейной машинке по размеру окна. Это защищало от холода и других внешних вещей, но совершенно не защищало от звука. <...> Тяжелое это было время». Екатерину Александровну сразу же мобилизовали в Югославскую народную армию и направили на работу в госпиталь. А в мае того же 1945 г. Виталия Макаровича арестовали за участие в Движении русской молодежи. Его и Евгения Владимировича Антоневича, председателя русской колонии, приговорили к двум годам заключения. Что было большой удачей, поскольку в Загребе в то время расстреливали и за меньшее.

В январе 1947 г. Екатерину Александровну перевели в Сараево, в госпиталь VI армии. Руководил больницей русский врач Константин Иванович Кочергин[15]. Таня осталась в Баня Луке одна, так как через несколько месяцев заканчивала гимназию. На это время она переехала к супруге арестованного Е. В. Антоневича – Наталье Ивановне. Летом Таня получила аттестат зрело-

сти, она хотела стать врачом. В тот год открылся медицинский факультет в Сараеве – выпускники школ в Боснии, желавшие изучать медицину, могли учиться только там.

Виталий Макарович после освобождения из заключения в мае 1947[16] не хотел больше оставаться в Боснии и уехал в Загреб. Перед Таней встал вопрос: куда дальше? К маме в Сараево или к папе в Загреб? На семейном совете выбрали Загреб. Медицинский факультет стал невозможен. Родители предложили химический – в семье уже было два химика, Наталья Александровна и ее муж Евгений Церковников. Таня согласилась. В Загребе Виталий Макарович и Таня поселились в квартире, которую снимал сын Евгения Владимировича Антоневича – Лель. Он учился в университете. К нему вскоре переехала и его мать, Наталья Ивановна. Комнаты распределили таким образом: одну отдельную – Наталье Ивановне, проходную – Виталию Макаровичу, Таня взяла себе бывшую комнату прислуги возле кухни, а Лель расположился в прихожей. Еще одну отдельную комнату занимал сын владельцев квартиры. Евгений Владимирович Антоневич, инженер лесного хозяйства, в то время работал в Лике.

Из воспоминаний Татьяны Витальевны о своем студенческом времени в послевоенном Загребе: «У нас была дружная, сплоченная компания. Собирались часто... Каждый день куда-нибудь ходили: или к театр, или в кино, или на концерт. По воскресеньям мы ходили на прогулки, на Слемя[17], ездили в Самобор[18]. С утра бежишь на лекции, после обеда на семинары, а вечером в театр или еще куда-нибудь. И поэтому у меня не было времени думать о политике. Это уже потом я поняла, что время Информбюро[19] прошло для меня незамеченным. Сейчас, когда я о чем-нибудь читаю, думаю – это было в то время!»

На третьем курсе университета Татьяна Рыбкина должна была получить стипендию для учебы в Москве, но в советском консульстве в Белграде ей отказали в визе после расспросов о том, кто ее родители и есть ли у нее в Советском Союзе родственники. В середине 1949 г. Екатерина Александровна, постоянно подававшая прошения о переводе из Сараева в Загреб, наконец-то получила разрешение. Приехал в Загреб и Евгений Владимирович Антоневич. Жильцов в квартире прибавилось. Екатерина Александровна запротестовала – ей было неудобно жить в проходной комнате. Вскоре Рыбкины переехали этажом ниже, где сдавалась комната. А затем Екатерина Александровна получила отдельную квартиру на ул. Звонимирова, а потом на ул. Варшавской, где Татьяна Витальевна жила до конца своей жизни.

В Загребе Виталий Макарович нашел место сначала на фабрике Fotokemika, а затем преподавал в средней технической школе. Скончался он 26 сентября 1973 года. Екатерина Александровна работала в госпитале. В 1960 г. в чине подполковника медицинской службы ЮНА вышла на пенсию. Умерла она 17 декабря 1995 года.

В ноябре 1953 г. Татьяна Рыбкина окончила Загребский университет по специальности инженер-химик. В то время было трудно найти работу. Ее научный руководитель предложил ей место в лаборатории на строящейся кондитерской фабрике «Краш». Между тем у друзей семьи Павловичей Татьяна встретилась с Владимиром Алексеевичем Мошиным[20], известным византологом, который тогда руководил архивом Югославянской академии наук[21]. Он хотел организовать в Государственном архиве Хорватии отделение по реставрации документов и предложил Татьяне обратиться туда. Директор Госархива Йосип Матасович одобрил эту идею, но нужно было получить разрешение на открытие рабочего места. Процедура длилась около года. В ноябре 1954 г. Татьяна Рыбкина начала работать в Госархиве.

Современные методы консервации и реставрации архивных материалов в Хорватии только начинали формироваться. В Госархиве даже не было подходящего для лаборатории помещения. И тогда, по договоренности с Историческим институтом JAZU, Татьяне Витальевне была предоставлена возможность работать в их реставрационной лаборатории. Это длилось до 1964 г., пока архив HDA не получил собственную лабораторию на ул. Высокой, 15[22]. До 1958 г. Татьяна Витальевна занималась реставрацией документов, которые приходили в лабораторию Исторического института JAZU из других институтов. В их числе практически не было документов из Госархива. Причина заключалась в том, что в то время там не было описи поврежденных документов. По предложению Татьяны Витальевны таковые стали создаваться[23].

В архиве HDA Татьяна Витальевна руководила Центральной лабораторией консервации и реставрации. В 1955 г. по инициативе JAZU вместе со своим отцом, инженером В. М. Рыбкиным, и его другом, русским инженером Н. Н. Павловичем, она занималась разработкой аппарата для ламинирования архивных документов, запатентованного под названием «Импрегнатор»[24]. Всю свою жизнь Татьяна Витальевна училась, профессионально развивалась. В дополнение к своему образованию химика в 1955–1957 гг. она прошла курс истории и истории искусства на философском факультете Загребского университета, а в 1956–1957 гг. – архивно-палеографический курс, организованный Историческим институтом JAZU. В 1956 г. после сдачи экзамена получила квалификацию консерватора архивных документов.

В 1966 г. Т. В. Рыбкина получила стипендию на обучение в СССР, но не смогла поехать, так как ей не дали разрешение на выезд из Югославии. Вместо этого в 1967 г., с января по июль, будучи стипендиатом ЮНЕСКО, она прошла курсы повышения квалификации в реставрационных лабораториях ведущих европейских музеев и библиотек: British Museum в Лондоне, Bodleian Library в Оксфорде, Archives Nationales и Bibliotheque Nationale в Париже, Institut di patologia del Libro в Риме, Biblioteca nazionale centrale во Флоренции, Biblioteca apostolica в Ватикане, Statni ustredni arhiv в Праге, Archivum Glowny Akt Dawnych в Варшаве и др.

На протяжении всей своей работы в архиве HDA Татьяна Витальевна неоднократно участвовала в научных конференциях в СФРЮ, а также представляла Югославию на международных профессиональных форумах. Ее деятельность выходила за рамки архива HDA. Так, в 1973–1979 гг. она возглавляла Комиссию по консервации и реставрации Союза обществ сотрудников архивов Югославии. В начале 1970-х гг. преподавала защиту архивных материалов в аспирантуре Задарского и Загребского университетов. Кроме того, являлась экзаменатором по этому предмету в Центре изучения библиотечного дела, документации и информационных наук Загребского университета. В 1981 г. получила от Архивного совета Хорватии звание архивного консультанта.

В 1985 г., раньше положенного срока, Татьяна Витальевна по семейным обстоятельствам вышла на пенсию. Ей нужно было ухаживать за престарелой мамой (Екатерине Александровне было 84 года) и маленьким внуком. Но архивное дело ее не отпускало. В свободное время она начала заниматься историей типографий, переплетчиков и книготорговцев в Загребе XVI–XVIII вв.[25] В целом список публикаций Т. В. Пушкадии-Рыбкиной, до выхода на пенсию и после него, насчитывает около 80 работ.

«Вдруг я вспомнила – я ведь русская. Русских в Загребе и во всей Хорватии в свое время было немало. И если я уже ‘роюсь’ в архивных документах, почему бы не поискать что-нибудь про русских», – писала она. Татьяна Витальевна начала собирать материал о русских загребчанах и их общественной, культурной и научной деятельности. Один за другим извлекала на свет «русские» фонды в родном Хорватском государственном архиве, Государственном архиве города Загреба, Национальной и других библиотеках. К этому добавился сбор сведений о русских захоронениях на загребских кладбищах. После смерти мамы Татьяна Витальевна регулярно бывала на кладбище Мирогой и видела, как одна за другой исчезают русские могилы. Ее стала интересовать и эта тема. Исследовательский опыт, приобретенный за годы работы в архиве, помог Татьяне Витальевне систематизировать богатейший материал. Все собранные ею сведения легли в основу книги *Emigranti iz Rusije u znanstvenom i kulturnom životu Zagreba*[26], увидевшей свет в 2006 году. Книга сразу же привлекла к себе внимание. Это была своего рода энциклопедия, собрание бесценных и тогда еще мало кому известных фактов. Многих из людей, которые упоминаются в книге, Татьяна Витальевна знала лично. Ее отец, Виталий Макарович, увлекался фотографией. Поэтому в семейном архиве Рыбкиных хранились уникальные свидетельства жизни русских колоний Загреба и Баня Луки. Некоторые из этих снимков вошли в книгу. В 2007 г. «Эмигранты из России в научной и культурной жизни Загреба» были переведены на русский язык. За свой труд Татьяна Витальевна получила российскую награду – почетный знак Росзарубежцентра «За вклад в дело дружбы». Книга вышла небольшим тиражом, быстро разошлась и стала библиографической редкостью.

В 2012 г. я переехала из Нью-Йорка в Загреб, с тем самым имейлом Татьяны Витальевны от Ростислава Владимировича Полчанинова. Мы познакомились. И началось наше активное общение, главным образом на тему эмиграции. Опираясь на список в книге Татьяны Витальевны, я стала фотографировать могилы на загребских кладбищах, отмечать эксгумированные, добавлять в фототеку новые. И однажды пришло осознание того, что бесценной книге нужно новое издание. Татьяна Витальевна согласилась. Около пяти лет мы с нею трудились над книгой. К тому моменту я уже переехала в Австрию, и наша работа перешла главным образом в цифровой формат имейлов. В каждый мой приезд в Загреб мы по нескольку часов в день занимались у Татьяны Витальевны дома, а в перерывах пили кофе, который она готовила по собственному рецепту. Кофе у нас обязательно сопровождался ее воспоминаниями, многие из которых я записала. К сожалению, Татьяна Витальевна так и не согласилась ни на одну видеозапись. Она также очень не любила фотографироваться – старость давалась ей тяжело. Последние два года не выходила из дома. Подолгу стояла у окна и наблюдала за жизнью на улице. А еще ее связью с внешним миром был интернет – она была умелым пользователем: легко находила любую информацию, следила за событиями Русского Зарубежья, вела обширную переписку.

В 2019 г. наша книга увидела свет, в новом облике и с новым названием – «Эмигранты из России в Загребе. Жизни и судьбы». По сути, это было второе русскоязычное издание. В него было добавлено много новых сведений и новых, в основном из частных архивов загребчан, иллюстраций, которые никогда ранее не публиковались; были значительно расширены и доработаны некоторые главы, включены новые приложения. В марте того же года состоялась презентация книги. Проходила она в архиве HDA, где столько лет проработала Татьяна Витальевна. К сожалению, по состоянию здоровья сама она не смогла участвовать. Вклад Татьяны Витальевны есть и в работах других авторов – она никогда никому не отказывала в помощи.

В январе этого года Татьяны Витальевны не стало. Незадолго до ее 92-го дня рождения. Позади осталась долгая и плодотворная жизнь. Она пережила несколько государственных строев и две войны. Впервые побывала в России, вернее в СССР, в 1987 году. Оставила после себя множество бесценных трудов и след в сердцах любивших и уважавших ее людей.

Насколько значителен для Хорватии вклад Татьяны Витальевны Пушкадии-Рыбкиной в формирование и развитие реставрации и консервации архивных материалов, настолько же важно для нас ее русское наследие, бережно собранное в память о предыдущих поколениях эмигрантов в этой стране.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

КСХС – Королевство сербов, хорватов и словенцев.

ЮНА – Югославская народная армия.

HDA – Hrvatski državni arhiv / Хорватский государственный архив.
JAZU – Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / Югославянская академия наук и искусств (25 июня 1991 переименована в HAZU).
NDH – Nezavisna Država Hrvatska / Независимое Государство Хорватия (10 апреля 1941 – 9 мая 1945).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Анна Семеновна Медведева (25.07.1879 – 17.12.1962) выезжала по документам своей сестры, остававшейся в тот момент на родине.
2. Н. М. Рыбкин (26.12.1904, стан. Каменская, Область Войска Донского – 25.07.1985, Риека), химик-органик, профессор университета. В 1919 г. был эвакуирован из родной станицы вместе с гимназией в Крым, а оттуда в составе Донского кадетского корпуса далее – в КСХС. Семья осталась в России.
3. Николай Макарович Рыбкин в мае 1919 г., тогдашний студент или кадет, числился в списке личного состава эскадренного миноносца «Жаркий» в качестве кока. URL: https://kortic.borda.ru // Гражданская война. Белый черноморский флот. – С. 2. В эмиграции оказался в Тунисе. Виталий и Николай переписывались. В семейном альбоме Рыбкиных есть фотография Николая, подписанная Виталию и датированная 1923 г. Виталий Макарович переписывался и со своей матерью, оставшейся в России.
4. В то время в Хорватии в первом классе учили латиницу, а во втором – кириллицу. В Боснии, где она скоро будет учиться, было наоборот.
5. Булочка с ветчиной и листиком салата.
6. Елизавета Семеновна умерла 28 декабря 1940 года. Ее похоронили в Баня Луке, а после войны останки перевезли в Загреб и захоронили в могилу ее мужа.
7. На ул. Шкрлчева, 10, в районе парка Максимир.
8. Нина Евгеньева Церковникова (в замуж. Плечаш, 20.03.1935, Загреб, – 16.04.2010)
9. Босния. Екатерина Александровна получила там должность рентгенолога.
10. 2.12.1935. (*Прим. авт.*)
11. Во время NDH эта организация была запрещена, и тогда работа продолжилась в рамках Движения русской молодежи и ОРЮР.
12. Хорватская фашистская организация, основанная Анте Павеличем в 1929 году. Являлась правящей партией в Независимом государстве Хорватии с апреля 1941 г. до мая 1945 года.
13. Концентрационного лагеря.
14. Дедушка Шуры Вяткиной, вице-адмирал Федор Алексеевич Вяткин (1864–1944), был активным членом русской колонии в Загребе и инициатором постройки в 1928 г. русской православной часовни Святого Воскресения Христова на кладбище Мирогой.
15. Константин Иванович Кочергин (27.10.1904, Курская губ. – ?). Окончил Первую русско-сербскую гимназию и медицинский факультет Белградского университета (1933).
16. Вскоре он был реабилитирован, но проведенные в заключении два года не были включены в его рабочий стаж, что стало камнем преткновения при выходе на пенсию.

17. Гора рядом с Загребом.
18. Город в 25 км от Загреба.
19. Резолюция международной организации «Коммунистическое информационное бюро» от 28 июня 1948 г., выдвинувшая по инициативе И. Сталина ряд обвинений в адрес руководства коммунистической партии СФРЮ, в частности, в отклонении от курса марксизма-ленинизма, и приведшая к исключению КП СФРЮ из данной организации.
20. Мошин Владимир Алексеевич (26.09.1894, СПб., – 3.02.1987, Скопье, Македония), византолог, славист, профессор университета. В 1947 г. по приглашению Югославянской академии наук и искусств переехал в Загреб из Белграда и возглавил архив академии. После основания в 1948 г. в Загребе Института истории Югославской академии наук был назначен и. о. директора до выхода на пенсию в 1959 году. Заслугой проф. Мошина является открытие в институте ценной специализированной исторической библиотеки. Кроме того, он тесно сотрудничал с Институтом старославянского языка в Загребе. В 1947 г. из молодых сербских и русских студентов Владимир Алексеевич основал церковный хор загребского Преображенского храма. В те времена это было проявлением большой храбрости: в 1945 г. регент этого храма А. П. Космаенко был расстрелян.
21. JAZU.
22. В 1975 г. лаборатория архива HDA снова переехала, на этот раз на ул. Савская дорога, 131. Более просторное помещение позволило расширить коллектив реставраторов, с которыми Т. В. Пушкадия-Рыбкина делилась своими знаниями и опытом.
23. Здесь и далее: *Mušnjak, Tatjana*. Bibliografski prilog o Tatjani Puškadija-Ribkin, Arh. vjesn., god. 46 (2003). – Сс. 221-232.
24. Одна из статей Т. В. Пушкадии-Рыбкиной на эту тему: *Dadić, Vera; Ribkin, Tatjana. T*echniques of Delaminating Polyethylene Laminates / Restaurator. International Journal for the Preservation of Library and Archival Material. Volume 1 (3), Jan. 1, 1970.
25. Некоторые из работ Т. В. Пушкадии-Рыбкиной того периода: *Puškadija-Ribkin, T.* Vodeni znakovi papirane zagrebačkoga Stolnog kaptola (Water Marks of the Zagrabian Cathedral Chapter's Paper-Mill) / Arh. vjesn., god. 37 (1994). – Сс. 209-220; *Kessler, Wolfgang.* Zur Geschichte des Buchdruks im Binnenkroatischen Raum bis zum Beginn der „Illyrischen Bewegung" (1835) / В книге: *Detlef Haberland (Hg.)*. Buch – und Wissentransfer in Ostmittel – und Sűdosteuropa in der Frűhen Neuzeit / Műnchen 2007. – Сс. 215-279.
26. Эмигранты из России в научной и культурной жизни Загреба. (*хорв.*)

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

«Нет, не прахом, а солнечной пылью...»

Памяти Норы Крук (1920–2021)

6 июня 2021 года на 101-м году жизни ушла Нора Крук (1920–2021), поэт Зарубежной России, поэт Русского Китая и Австралии.

Нора Крук (Элеонора Марьяновна Крук, урожденная Кулеш) родилась в 1920 г. в Харбине. Потом семья переехала в Мукден, затем – в Шанхай. Русский Китай того времени считался одним из центров русской культуры: там работали Валерий Перелешин, Ю. Крузенштерн-Петерец, Ларисса Андерсен, там начинал свою актерскую жизнь Юл Бриннер, туда ехал за публикой Вертинский... Эмиграция первой волны создала свой мир – научный, церковный, промышленный, архитектурный, торговый, театральный, издательский, литературный. Русские эмигранты выстраивали Шанхай и Харбин, несли европейскую культуру Востоку, но главное – сохраняли себя, свою культуру, в надежде на возвращение в Россию. Она была недалеко – на том берегу Амура – такая желанная и недосягаемая. С приходом к власти коммунистов русская диаспора в Китае была уничтожена. Те, кто вернулся на родину, – попали в ГУЛаг, остальные... белых эмигрантов отказались принимать все «цивилизованные» страны. И лишь президент Филиппин услышал боль апатридов: в 1949 году пустынный остров Тубабао стал на несколько лет настоящим домом для почти шести тысяч русских робинзонов. Александра Толстая и о. Иоанн Шанхайский два года добивались помощи от Европы и США для белых эмигрантов. Выжившие смогли переселиться в Австралию, Гонконг и США.

Известный поэт Русского Зарубежья Валерий Перелешин, начинавший свою творческую деятельность в Русском Китае, как-то признался: у него есть три любимые женщины – Ларисса Андерсен, Юстина Крузенштерн-Петерец и Нора Крук. С 1957-го до 1975 г. Нора Крук жила в Гонконге. Там Нора выпустила свой первый сборник стихов «Even Though» (1975). Переехав в Австралию, Нора заявила о себе как об англоязычном поэте: в 1993 г. она выигрывает австралийскую литературную премию Jean Stone Award, в 2000 г. – премию женского Союза писателей. В 2004 году вышел второй сборник английских стихов Норы Крук «Skin for Comfort», а в 2011-м – сборник «Warming the Core of Things». Но Крук продолжала писать и по-русски. Вся ее жизнь до последнего дня была связана с Русской Австралией. Нора Крук – автор нескольких англоязычных сборников стихов, а также публикаций в русской периодике США, Китая, Израиля и Австралии. В 2008 г. Нора Крук стала лауреатом литературного фестиваля «Антиподы: русская литература в Австралии». Из-под ее пера вышли переводы на английский М. Волошина, Б. Окуджавы, М. Алигер и др. Поэзия Норы Крук – это не только красивый

язык восточной ветви эмиграции, не только интересная форма стиха, выработанная под влиянием англоязычной поэзии, – это еще и отображение значительного пласта русской истории, жизни русских австралийских эмигрантов.

Редакция НЖ

* * *

Мир рождается в детстве. Такой голубой и зеленый!
Весь без острых углов, весь – пронизанный солнцем хрусталь.
Он растет вместе с нами – большой, молодой и влюбленный,
Чуть скрывая в тумане такую манящую даль.

Возмужанье полно драгоценно-простых откровений,
Мир дано полюбить и познать. И, скрывая испуг,
Биться с силами тьмы, вознося человеческий гений,
И, столкнувшись с невидящим Богом, вернуться на Круг.

И уже разуверившись в Истине и Совершенстве,
И уже потеряв Мирозданья ненайденный смысл,
Мир дано полюбить и принять в первозданном блаженстве,
Кожей, слухом, глазами осмыслив гармонию числ.

Так становится синтез творенья неведомым знаком,
И в погоне за смыслом теряются смысла следы.
Ощутимый всё ярче, мой мир рассыпается прахом…
Нет, не прахом, а солнечной пылью, журчаньем воды.

Мукден, 1936

* * *

Джакаранда роняет листву, как перья,
Оголясь, расцветает персидским цветом.
Вопреки реальности и неверью,
Возрождаюсь женщиной и поэтом.

Этот праздник кожи и обонянья
Тянет в мир таинственный – за порог,
И сомненья старые и прощанья
На развилке дорог.

Тяжесть лет свинцом на моих подметках,
Шрамы тонкие светятся на запястьях,
Дни скользят, замолённые, как четки,
Но весна колдует, и это – счастье!

2000-е, Новый Журнал, № 270, 2013

ОБ АВТОРАХ

БЕЛЬСКИЙ Станислав (1976, Днепропетровск). Поэт, переводчик современной украинской поэзии, издатель. Работает программистом. Публиковался в журналах «Воздух», «Арион», «Волга», «Новый Мир», «Дружба Народов», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Крещатик» и др. Автор сборников стихотворений «Рассеянный свет», «Птицы существуют», «Станция метро Заводская», «И другие приключения», «Музей имен», «Ошибочные теоремы» (2020), а также переводов Остапа Сливинского, Василя Махно, Олега Коцарева, Сергея Жадана, Олеся Барлига. Куратор поэтической книжной серии «Тонкие линии» (Днепр). Соорганизатор днепровского поэтического фестиваля «Чернил и плакать». Лонг-лист «Русской премии» (2017). Живет в Киеве и г. Днепр.

БРЕЙТЕР Полина. Прозаик. Окончила факультет романо-германской филологии Одесского университета, кандидат наук по математической лингвистике. Была уволена из Кировоградского пединститута за антисоветские разговоры со студентами; работала в сельской школе под Одессой. В 1992 эмигрировала в США. Автор книг «Уроки чтения», «Октава» (2020).

ВОЛЬФСОН Янислав Бениаминович (1953, Смоленск). Окончил Крымский медицинский институт. С 1990 года живет в США, работает врачом в Вудбери (Миннесота). Впервые опубликовался в 1990-х в альманахе «Стрелец» (Париж–Нью-Йорк–Москва). Автор книг стихов «Ялтинская фильма» и прозы «Глаз вопиющего в пустыне».

ГРУБМАЙР Инна. Педагог, кандидат филологических наук, исследователь истории русской эмиграции. Европейский представитель Пушкинского общества Америки. Член редколлегии «Вестника» общества. Живет в Австрии.

ДУБРОВИНА Елена (Ленинград). Поэт, прозаик, литературовед. Член редколлегии «Нового Журнала». Эмигрировала в конце 1970-х. Автор десяти книг на русск. и англ. языках, включая три сборника поэзии; составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917–1975. A Bilingual Anthology», а также составитель (вместе с Мари Стравинской), автор вступительной статьи, комментариев и именного указателя Собрания сочинений Юрия Мандельштама (В 3-х тт., 2018), сборника «Литература русской диаспоры. Пособие для ВУЗов» (2020). Была гл. редактором ж. «Поэзия: Russian Poetry. Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad. Past and Present» (США). Лауреат Национальной литературной премии им. Шекспира за мастерство перевода (2013); сборник рассказов «Черная луна» был признан «Лучшей книгой года» в Германии (2017). Живет в США.

ЖАДАН Сергей (Старобельск, 1973). Прозаик, поэт, переводчик, музыкант, общественный деятель. Пишет по-украински. Автор прозаических и поэтических книг, среди них романов «Депеш Мод», «Anarchy in the UKR», «Ворошиловград», «Месопотамия», «Интернат», книг малой прозы «Биг Мак» и «Гимн демократической молодежи», сборников стихов «История культуры начала века», «Цитатник», «Марадона», «Огнестрельные и ножевые», «Тамплиеры», «Антенна» и др., а также книги переводов Пауля Целана. Член ПЕН-клуба. Лауреат премии имени Джозефа Конрада, премии «Книга года» BBC в номинации «Лучшая книга десятилетия». Переводы призведений Сергея Жадана выходили во многих странах мира.

ЗУБАРЕВА Вера. Поэт, прозаик, литературовед. издатель. Филолог, канд. фил. наук (Пенсильванский ун-т). Автор литературоведческих монографий, книг поэзии и прозы на русском и английском языках. Главный редактор ж. «Гостиная», президент проекта «Русское Безрубежье». Автор книг «Об ангелах и людях», «Одесский трамвайчик», «Тень города или Эм цэ в круге» и др. Лауреат международных литературных премий им. Беллы Ахмадулиной, им. Константина Паустовского и др. Публикуется в журналах «Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Знамя», «Интерпоэзия», «Нева», «Новая юность», «Новый мир» и др. Живет в Филадельфии.

ИВАНОВА Ольга (2-ой псевдоним – Полина Иванова; автоним – Ольга Яблонская. Род. в Москве). Поэт. Окончила литературный институт, отделение поэзии. С 1997 года состоит в СП Москвы. Публикуется в ж. «Новый мир», «Континент», «Интерпоэзия», «Новый берег», «Арион», «Дружба народов», «Новая реальность», «Дети Ра» и др. Автор семи поэтических сборников и антологий, вышедших в России и за рубежом.

КАЗАРНОВСКИЙ Александр (1951, Москва). Проазик, переводчик, общественный деятель. Окончил московский пединститут. В 1993 репатриировался в Израиль. Преподавал в созданной при его участии школе-интернате. Летом 2005 Александр Казарновский участвовал в сопротивлении депортации евреев из Газы и Северной Самарии, был арестован. В 2009 году Казарновский стал инициатором и одним из организаторов акции протеста против давления администрации США на Израиль. Переводил стихи Роберта Фроста, Джеймса Джойса, Г. Честертона, Г. Лонгфелло, немецких поэтов-романтиков, а также современных английских и американских поэтов. Автор книг «Поле боя при лунном свете» (премия «Олива Иерусалима», 2005), «Расправа» и др. Его рассказы и очерки печатаются в израильских газетах и на русскоязычных сайтах.

КАЦОВ Геннадий (1956, Евпатория). Поэт, журналист. Окончил Николаевский кораблестроительный институт. С 1989 года живет в США. В

1989–1991 гг. вел передачи по культуре в программе «Поверх барьеров» на радио «Свобода». С 2010 г. – владелец и гл. редактор портала RUNYweb.com; также работает на телевидении RTN/WMNB. Автор книг «Притяжение Дзэн», «Словосфера», «Меж потолком и полом», «25 лет с правом переписки», «три ‘Ц’ и Верлибрарий», «Нью-йоркский букварь», «На Западном фронте. Стихи о войне 2020 года» (2021) и др. Живет в Нью-йорке.

КУЗНЕЦОВА Ольга Феликсовна (1953, Москва). Литературовед, филолог. Ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, канд. филолог. наук. Составитель книг «Письма запрещенных людей. Литература и жизнь эмиграции. 1950–1980 годы. По материалам архива И. В. Чиннова», «Путеводитель по фондам ОР ИМЛИ РАН. Русское Зарубежье. Документы, книги, периодика» и др.

ПОПОВ Вячеслав (1966, деревня Малые Коряки Смоленской области). Поэт, филолог. Учился в Новосибирском, а затем в Тартуском университете. С 1994 года занимался редакторской работой в книжных издательствах Киева и Петербурга, с 2001 года – в г. «Коммерсант». В последние годы подборки стихотворений вышли в журнале «Знамя» и ряде сетевых изданий. Автор сборника «Там» (2021). Живет в Москве.

ФАБРИКАНТ Борис (1947, Львов). Поэт. Публикуется в ж. «Крещатик», «Интерпоэзия», «Литеrrатура», «Эмигрантская Лира», «Литературный европеец», «Литературный Иерусалим» и др. Автор книг поэзии «Стихотворения», «Сгоревший сад», «Крылья напрокат». Первое место в номинации интернет-конкурса «Эмигрантская Лира», второе место на Всемирном фестивале «Эмигрантская Лира» (2018), второе место на фестивале «Пушкин в Британии» (2018). Член СРП. Живет в Англии.

ХАЗАН Владимир Ильич (1952). Филолог, литературовед, специалист по русской поэзии XX в. и Русскому Зарубежью. Профессор Еврейского университета (Иерусалим); автор проекта «Школа гуманитарных университетских знаний». Автор книг и статей по проблемам русской истории, литературы и русско-еврейского культурного диалога, в том числе: «О. Мандельштам и А. Ахматова: Наброски к диалогу» (1992); составитель и комментатор Собрания сочинений Д. Кнута (В 2-х тт., 1997, 1998), «Пинхас Рутенберг: от террориста к сионисту. Опыт идентификации человека, который делал историю» (В 2-х тт., 2008), «Одиссея капитана Боевского: русский моряк в Земле обетованной» (2007) и др. Живет в Израиле с 1992 года.

ШАПОВАЛОВ Вячеслав. Поэт, переводчик тюркской и европейской поэзии. Д-р наук, профессор, академик. Народный поэт Киргизии, заслуженный деятель культуры, лауреат Государственной премии, «Русской премии», Премии

РусПЕНа, «Эмигрантской лиры» и др. Автор 14 поэтических сборников, ряда книг переводов поэзии Запада и Востока, научных монографий. Родился и живет в Бишкеке (Киргизстан).

ШЕСТАКОВ Сергей (1962, Москва). Поэт, педагог. Окончил МГУ по специальности механика; работал геологом, инженером, учителем математики. Заслуженный учитель РФ. Автор и соавтор около ста статей по методике преподавания математики в средней школе, более 80 учебных пособий. Заместитель гл. редактора литературно-общественного журнала «Новый берег» (Копенгаген). Дипломант премии «Московский счет» за лучшую поэтическую книгу года (2011, 2015, 2016 – Специальная премия). Публиковался в ж. «Волга», «Звезда», «Знамя», «Нева», «Новый мир», «Урал», «Шо» и др. Автор шести сборников стихотворений, среди них «Непрямая речь», «Схолии», «Другие ландшафты», «Короткие стихотворения о любви». Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».

ЯРМОЛИНЕЦ Вадим. Писатель, журналист, радиоведущий. Окончил факультет иностранных языков Одесского университета. В 1990–2009 гг. – корреспондент, а затем редактор отдела городских новостей г. «Новое русское слово» (Нью-Йорк). Ведущий авторских программ «Утреннее шоу с Вадимом Ярмолинцем» и «Вечерний эфир» на Radio Davidzon (Нью-Йорк). Автор пяти книг прозы, среди них – «Кроме пейзажа. Американские рассказы». Финалист литературных премий «Большая книга» и Премия им. Марка Алданова. Учредитель и координатор литературного конкурса им. О.Генри «Дары волхвов».

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:
Patron: The Tcherepnine Society; Russian Nobility Association in America;
Sponsors: American-Russian Aid Association "Otrada"; Eli & Ludmila Flam Living Trust; Mrs. Krinka Petrov & Mr. Alexander Petrov; Mrs. Larisa Vulfina & Mr. Yan Vulfin;
Fellows: Mr. A. Nemirovsky; Mr. Ara Moussaian;
Friends: Mr. & Mrs. G. Golovin; Mrs. V. Gashurova; Ms. C. Raeff; Mrs. I. Volkovich.

It requires the support of loyal friends for year 2021–2022:

Patron – $ 5,000 and up
Benefactor – $ 2,000 and up
Sponsor – $ 1,000 and up
Fellow – $ 500 and up
Friend – $ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to
THE NEW REVIEW
1216 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10001

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61
Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421
Париж, Франция: Виталий Амурский: vitaly.amoursky@ gmail.com
Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2
Магазин «Фаланстер»: Москва, Тверская 17; тел.: 7+495-629-88-21
Магазин «Подписные издания»: 191014 Санкт-Петербург, Литейный пр., д.57
Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France
Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel;+972 55 968 24 16
На сайте журнала через PayPal (кнопка: Подписка)
Вы можете оформить электронную подписку на журнал. Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)

Новый Журнал
THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2022

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):
для университетов и организаций
в США – $ 150.00, за границу – $ 200.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка
(4 книги, включая пересылку):
в США – $ 80.00, за границу – $ 120.00

Цена отдельного номера – $ 16.00
дополнительно за пересылку:
в США – $ 7.00, за границу – $ 25.00

E-access на год – $ 185.00

Комбинированная подписка на год
(E-access и 4 журнала)
в США – $ 320.00
за границу – $ 360.00
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте
www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:
The New Review
1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478
www.newreviewinc.com
newreview@msn.com